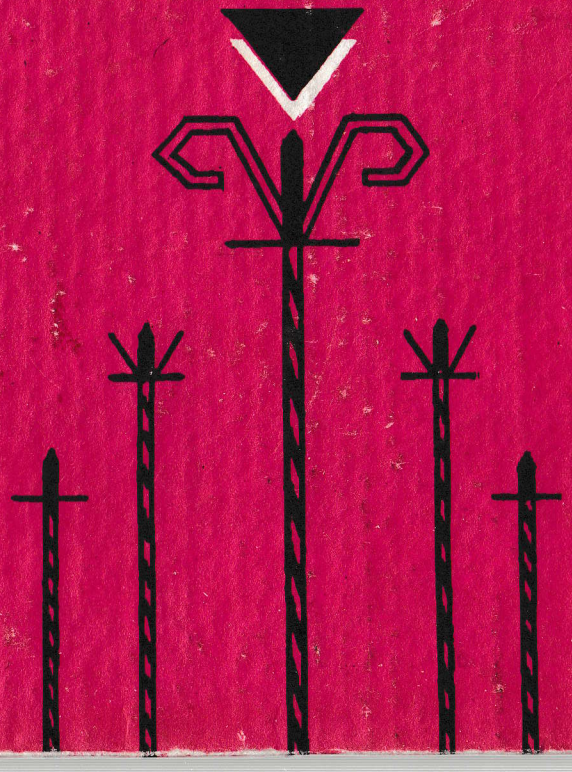
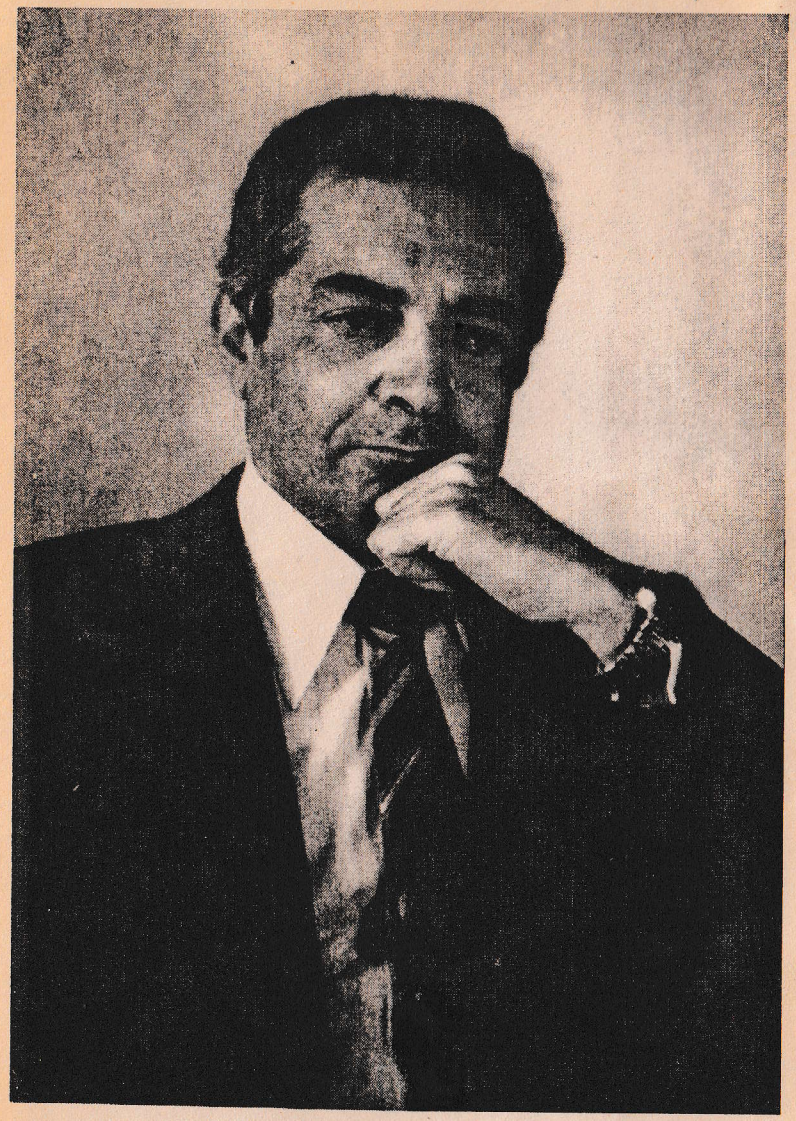
Феликс
БАХШИЕВ

Пришествие





84(2Рос.Даг)
Б30

Феликс
Бахшиев

Пришествие

57630
Хасавюртовская ЦБС
ДАССР

Дагестанское книжное издательство
Махачкалал 1998

ББК 84 Даг
Б 30

Бахшиев Ф.
Б 30 Пришествие: Проза разных лет. — Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1999. — 512 с.

В сборник известного дагестанского писателя Ф. Бахшиева вошли произведения, написанные в разные годы. Их герои — люди, попадающие в разные житейские ситуации, в которых одни оказываются не на высоте, а другие, наоборот, проявляют лучшие человеческие качества.

В центре внимания автора извечные темы добра и зла, любви и предательства.

ББК 84 Даг

Б 4702010204—15
М 123—99

© Бахшиев Ф., 1999

ISBN 5-297-01266-X

РОМАН

МОНОЛОГ НА ПЛОЩАДИ СОГЛАСИЯ

1

Я вспоминаю плас Конкорд, куда мы вышли прогуляться накануне моего отъезда, огромную просторную чашу площади Согласия, искрящийся великолепный фонтан, каменные статуи, олицетворяющие города Франции, и тебя.

Красивый, черноволосый мужчина, ты сидел у подножия статуи и смотрел на меня. В твоем взгляде не было ни тоски, ни вопроса. Но я знал: все узнанное, услышанное от меня было для тебя серьезно, слишком серьезно.

Я вспоминаю просторную чашу площади Согласия, Париж в солнечном свете, кружева балконов, опоясывающих дома и придающие им невесомость и изящность, облачную белизну Сакре-Кер, Сен-Жермен де Пре, четкую планировку Марсова поля и впечатляющий мемориал на Мон-Валерьен... Я мысленно возвращаюсь к просторному, красивому бульвару Османа и к магазину, над входом которого крупными буквами пламенела вывеска «Осман». Казалось, сама судьба привела меня к этой вывеске, к этому магазину, заставила задержаться, а затем и войти. Здесь я увидел пожилого мужчину и молодого, которому могло быть чуть более тридцати. Это был ты. А пожилой, как позже выяснилось, твой отец, а мой — дядя...

Встреча с твоим отцом была трогательной.

Вспомни, как я зашел в ваш магазин, и твой отец, сидевший в углу, в кресле, любезно спросил:

— Что желаете, мсье?

— Ничего, — ответил я, — увидел вывеску, разобрало любопытство: что могло привести турка в Париж.

— Мсье, — произнес твой отец, — я не турок.

— Простите, если обидел.

— Мой отец приехал из России, — произнес он спустя некоторое время, не слушая меня. — Из России, — повторил он.

— И давно? — заметил я.

— Давно, — коротко ответил он.

— А я вот недавно... из России.

Я с любопытством оглядел забитые богатыми товарами полки и направился было уже к выходу, как хозяин магазина вскочил с кресла, подбежал ко мне, схватил за руки и закричал: — Осман, иди сюда скорей, Осман...

И ты появился в дверях, ведущих из торгового зала в комнаты. Ты несколько секунд глядел на нас и хотел было повернуть назад, когда твой отец проговорил:

— Осман, он из России.

Что было потом, ты прекрасно помнишь. Вы усадили меня за стол, и твой отец рассказал мне о себе, о своей жизни, о городе, в котором родился, и в глазах у него стояли слезы, а у меня в горле застыл ком, и мне казалось, что бледность растекается по моему лицу, и мысль мучила сознание: но я-то какое имею к нему отношение. Пусть из одного города, пусть даже с одной улицы, но он уехал, покинул землю отцов, когда меня еще не было на свете. А ком в горле не таял. Потом твой отец выложил на стол восточные яства. Провожал он меня целый квартал, а прощаясь никак не хотел отпускать руку и очень просил, настойчиво просил зайти, если выпадет свободная минута.

А ты пошел со мной до отеля. Шел и расхваливал свой дом, торговое предприятие отца, оставшееся в наследство от деда, ночи Парижа.

— Я вам покажу мой Париж, весь Париж, — говорил ты, улыбаясь. — И вы его полюбите. Париж не любить нельзя.

Я хотел тебе возразить: — Он не твой город, откуда у тебя к нему такая любовь? Но вовремя сдержался, задумавшись: ну, а какой же твой? Город, в котором родились дед и отец? О котором ты только слышал? Или все-таки тот, в котором ты издал свой младенческий крик? И тут же другая мысль смутила меня: а может ли Париж стать твоим городом, твоей родиной, если земля твоих предков, твой язык, твои песни и танцы там, далеко на востоке... Там, где ты никогда не был даже во сне.

— Я вам покажу Париж, — повторил ты, — он вам понравится. Вам понравится наша жизнь...

Я слушал тебя, ступая по вечерним парижским улицам, и вдруг невольно представил свой город, родных, жизнь... Я мог бы поведать историю моего города и его людей и тебе. Но поймут ли меня твои сердце и разум? Ведь они — плоды дерева, выращенного на другой почве и привитого иной культурой.

Я решил пощадить тебя. И слушая твой рассказ о Париже, вспомнил свой дом.

2

Перистые облака, еще несколько минут назад плывшие в бездонном небе сиреневыми лоскутами, окрасились в пепельный цвет, когда Джамал через Ашага-Гапы вошел в город. Бесконечно длинная стена ящерицей тянулась с горы к морю.

Джамал возвращался с виноградников Юсуф-бека. Изношенные, потрескавшиеся чарыки поднимали дорожную пыль, неясного цвета косоворотка не отлипала от мокрой спины, некогда солдатские штаны были живописно усеяны заплатами, а от самого Джамала исходил запах пота. За ним устало шли десятки так же, если не хуже, одетых мужчин.

У базара Джамал остановился, снял невысокую, выцветшую каракулевую шапку, вытер бритую голову тряпицей и повернулся к мужчинам:

— Спокойной ночи, братья.

Потом заложил руки за спину и спокойным, ровным шагом побрел в сторону площади.

Площадь, мощенная гранитным булыжником, разделяла город на две половины: верхнюю, которая состояла из магалов, и нижнюю, убегавшую ровными узкими улицами к морю. Неказистый, с низкими, вросшими в землю окнами дом Джамала стоял на площади, от него убегала вниз улочка, на которой даже в знойные летние месяцы не просыхала грязь.

Джамал отворил калитку, вошел во двор, повесил шапку на сучок, скинул чарыки, снял рубашку и громко позвал:

— Симон, Гаврил, есть кто дома?

Во двор выбежали мальчишки. Увидев отца, один устремился за кувшином, другой за полотенцем, и вско-

ре Джамал умывался холодной родниковой водой Шейх-Салаха.

Когда Джамал вошел в комнату, на полу уже было расстелено суфре [1], жена положила на середину кукурузные лепешки, несколько кусков овечьего сыра, зелень, потом внесла видавший виды, но начищенный до блеска самовар.

— С чего это ты меня сегодня по-царски кормишь?— шутливо удивился Джамал.

— Глядите-ка на него, как будто в другие дни он голодает!— обиделась жена.

— Да шучу я, — быстро сдался Джамал. — Уже и шуток не понимаешь. Симон, Гаврил, идите есть. И ты садись, жена.

Сыновья сели по обе стороны от отца, жена напротив, и все тихо и степенно принялись есть. Джамал допивал третье блюдечко чая, когда скрипнула калитка и на пороге появился небольшого роста сухонький старик. Сложив руки на груди, он ждал, когда Джамал оторвется от блюдца.

— Садись, Аскер-даи, гостем будешь, — прервала молчание жена Джамала.

— Спасибо, уважаемая, я пришел передать Джамалу, что его просит к себе Осман-бей.

Джамал чертыхнулся, но продолжил безмятежное чаепитие.

— Я жду, уважаемый Джамал, — заискивающе, но с повелительной ноткой в голосе проговорил старик.

— Жди, никто тебя не гонит.

— Как ты сказал? — изумился старик.

— Послушай, я не слуга Османа, а если он просил меня прийти, пусть подождет. А теперь иди.

Старик тут же исчез. Когда за ним скрипнула калитка, жена Джамала всплеснула руками:

— Ты в своем уме, как можно грубить...

Но Джамал с улыбкой прервал ее:

— Слуге богатого купца? Неужели ты хочешь, чтобы я стал слугою слуги? Хорошо же ты думаешь о своем муже. Ну, довольно пустословить, вытащи из сундука мой праздничный наряд, не пойду же я к богачу в чарыках и залатанных штанах.

Жена долго возилась в соседней комнате, наконец,

[1] Суфре — скатерть.

вышла, бережно положила сверток в угол и горестно произнесла:

— Почему Всевышний наказывает только бедных...

— Что еще случилось? — насторожился Джамал.

— Мыши точили зубы о твои штаны.

Джамал сделал удивленный вид, широко раскрыл глаза и вдруг громко расхохотался.

Поздно вечером Джамал вышел из дома. В старых замшевых туфлях, серых холщовых штанах и черной рубашке, опоясанный кавказским ремешком, высокий, стройный, он долго стоял у своего неказистого дома, глядя на него и любуясь звездами. Потом заломил тулью каракулевой шапки, достал из кармана четки и, перебирая их, пошел через площадь.

На противоположной стороне, метрах в семидесяти, стоял дом Османа, от которого вверх уходили магалы. Джамал подошел к дубовой калитке, взялся за медное кольцо, потянул его несколько раз. Во дворе залился колокольчик, а вслед за ним залаяла собака. Наконец калитку приоткрыли и пропустили Джамала.

— Осман-бей устал от ожидания. Он долго не любит ждать.

Старик выскочил вперед Джамала и засеменил по дорожке, выложенной из гранитных плиток.

— Что же ты его не позабавил? — спросил спокойно Джамал. — Или уже отупел и ничего забавного не смог придумать?

— Я здесь, Джамал, — раздался голос из беседки, увитой виноградом. Навстречу ему вышел высокий, худощавый мужчина. — Если ты не против, посидим здесь, на воздухе.

— Какая разница, — сказал Джамал.

Оба одновременно опустились на подушки. Джамал снял шапку, положил на колено и принялся перебирать четки.

— Говори, купец, для чего я тебе понадобился.

Осман засмеялся.

— И с годами ты не меняешься, сосед. У всех принято в первых словах справляться о здоровье домочадцев, о делах, или ты живешь по законам неведанного нам мира?

Джамал провел ладонью по бритой голове, усмехнулся:

— Мои слова здоровья твоей семье не прибавят, как,

впрочем, и твои. Лучше скажи, для чего я тебе понадобился.

— Мой старый слуга от тебя без ума,— снова засмеялся Осман.

— Дай ему волю, он погнал бы меня камчой.

— Тебя погонишь...

— Чего звал, говори.

— Мне нужен верный человек сопровождать караван с товарами в Табасаран.

— Дальше.

— Небольшую охрану из верных людей. Хорошо заплачу.

— Хорошо заплатит, — хмыкнул Джамал. — А ради чего еще нам идти в такой путь... Сейчас из каждой расщелины, из-за каждого дерева может выстрелить ружье...

— Смутное время, — поддержал Осман.

— В разбойники уходят не от хорошей жизни, — сказал Джамал, и тут же изменил тему разговора: — Но если мы сейчас, в самый разгар работы, уйдем с виноградников, Юсуф-бек нас рассчитает и больше не пустит на плантации.

— С Юсуф-беком я поговорю и все улажу.

— В таком случае я подумаю.

Осман достал из-под подушки небольшой мешочек, наподобие кисета, и бросил к ногам Джамала. Мешочек упал у ног, издав металлический звон.

— Раздай немного своим людям.

— Не надо. Когда вернемся — расплатишься. Я пойду: засиделся.

Джамал встал, заломил шапку и лихо надел.

— Прости меня, сосед, — Осман громко хлопнул ладонью по лбу, — я не предложил тебе полакомиться чем-нибудь вкусным.

Джамал глянул на него и вдруг громко расхохотался:

— Это твой старый слуга сбил тебя с толку. Передал о моем долгом ужине, а вот что я ел — не разглядел. Ну да ладно, я шучу. Будь здоров, сосед, я пошел.

Вернувшись домой, Джамал лег на тахту, сделанную из досок и обернутую изодранной буйволиной кожей, и закрыл глаза. Жена на веранде месила тесто из кукурузной муки. Было тихо и покойно. Вдруг на узкой улочке раздались мальчишечьи крики: «Бей его, пузатого...», потом все стихло.

Вот пострелята, подумал Джамал и улыбнулся: да мы сами были такими. Он не заметил, как в комнату вошли Симон и Гаврил с опущенными головами. Лишь после того, как до слуха дошли причитания жены, бросил взгляд на сыновей.

— Кто это вас так разукрасил? — спросил Джамал, не двигаясь.

— Керим, — пробубнил Симон. — И Назым.

— Наверное, за дело. Как вы думаете, за дело? Молчите? Значит за дело. Если бы умели драться, постоять за себя, не ходили бы побитыми. Не хочу на вас глядеть, уйдите с глаз моих.

В это же время Керим и Назым, оборванные, исцарапанные, стояли перед отцом. Старый слуга, всплескивая руками, громко охал:

— Эти оборванцы никак не угомонятся. Каждый вечер — потасовка...

— Прекрати, — прервал его Осман. — Кто вас побил?

— Кто же еще, как не дети этого оборванца, нашего соседа Джамала...

— Я просил тебя не кричать, я спрашиваю своих сыновей: кто побил?

— Симон...

— Гаврил...

— Они зря не тронут. Побили — значит поделом. Идите умойтесь.

— Как же, как же, не тронут, для них ни бога, ни закона нет... — старый слуга засеменил за мальчишками, продолжая причитать как женщина.

3

Осман, полулежа на подушках, думал о предстоящей поездке. С торговыми караванами он ходил в горные районы и прежде бывал в Азербайджане, но то было славное время, когда встречать его выходили всем аулом, а торговля становилась настоящим праздником для горцев. Сейчас отправляться в горы было рискованно из-за разбойников. Черт бы их побрал. Что ни год, их становится все больше и больше. Когда вернется на нашу землю покой и согласие, никто не ведает, кроме одного Аллаха.

Осман провел ладонями по лицу сверху вниз, потом

налил из чайника, стоявшего на подносе, чай в блюдце и, подняв его на растопыренных длинных тонких пальцах, принялся с наслаждением пить крепкий горячий напиток.

Сейчас идти одному с караваном опасно, продолжал размышлять он. Обдерут, разденут. Без верных, смелых сопровождающих нельзя. А Джамал—тот, кто мне нужен. Бедняк, которому дороги честь и имя. И щедростью Аллахом не обделен: последние чарыки может отдать нуждающемуся. Выбор мой верен. И с собой приведет себе подобных. Нет, что тут и думать, на него я могу положиться.

Осман положил в рот кусок ореховой халвы с медом, наполнил блюдце чаем и поднес к губам.

Табасаранцы должны принести мне выгоду: я им — ткани, домашнюю утварь, они мне — ковры. Их ковры имеют спрос на кавказских рынках. В Баку, Тифлисе за них дают хорошую цену. Из Табасарана мы можем направиться в Кайтаг. Правда, Джамалу я не сказал о том, но ведь он не бросит меня в пути. Не должен бросить.

Опустив блюдце на поднос, Осман принялся с удовольствием есть кишмиш и грецкий орех. Это лакомство он любил с детства, и оно не переводилось в его доме.

Итак, решено: Табасаран и Кайтаг. Джамал не осерчает, он понимает душу купца. Да и серчать-то ему за что: оплачу вдвойне. Пока еще можно, надо торговать, делать деньги. А там, глядишь, может, и торговле придет конец, земля наводнится разбойниками и грабителями, а у меня другого ремесла нет. Чем владел отец, то передал и мне.

Осман поднялся, подошел к окну и распахнул его. В густой зелени пела цикада. Откуда-то доносился писк неведомой птицы. Залаяла собака, ее поддержала другая, третья, и, казалось, собаки всего города вдруг ополчились на неизвестного беднягу, оказавшегося поздно на улице. Вскоре не стало слышно ни собак, ни писка птицы, только цикада продолжала петь свою длинную, бесконечную песню.

4

Ты ушел. А дымок сигареты, оставленной тобой в пепельнице, еще долго поднимался осторожно, боязно,

таял в середине комнаты, оставляя после себя лишь запах: сладковато-терпкий. Наконец сигарета погасла.

Сидеть одному в комнате стало невыносимо скучно. Я вышел на улицу. Стоял теплый, тихий вечер. Было безлюдно. На фронтоне кинотеатра висел огромный портрет женщины, очевидно, героини фильма. Неоновые трубочки и лампы всевозможных цветов раздевали и одевали ее.

Дойдя до конца улицы, я свернул направо. И остолбенел. На меня обрушились сразу пожар реклам и гул. Несколько минут я не мог понять, что происходит. Улица полыхала в неоновом свете. Красное, зеленое, желтое пламя выплескивалось на толпы людей и вереницы машин.

Люди и машины шли так медленно, движение было так тягуче и вязко, словно его сдерживала невидимая магнитная сила.

Но людская река все-таки текла, и над ней стояли запахи жареного мяса и бисквита, духов и сигаретного дыма. И выхлопных газов.

Я вошел в эту реку и, сдавленный ею, поплыл по течению, не ведая, куда она меня вынесет. По обе стороны ярко горели окна порно- и сексмагазинов, аттракционов, ресторанов и кафе, салонов эротики.

Кто-то взял меня за локоть. Рядом стоял крепко сбитый мужчина в клубном костюме.

— Мсье, зайдите в наш салон эротики, вы не пожалеете.

— Спасибо, мсье, у меня нет желания.

— Вам его разбудят, — широко улыбнулся зазывала.

— Премного благодарен за услуги, но обойдусь без вашего искусства.

— Не пожалейте потом, мсье, упущенного шанса.

— Не беспокойтесь, довольствуюсь тем, что отпущено богом, — засмеялся я.

Зазывала оставил меня и поспешил искать клиента.

Наконец я вышел на площадь, от которой в разные стороны уползали улочки, словно щупальца спрута. Слева от меня на темном здании медленно вращались крылья ветряной мельницы. Вспыхнул свет и погас. Но я успел прочесть: «Мулен Руж». Значит, знаменитый «Мулен Руж»!.. Я вышел на Пигаль, воспетую корифеями литературы.

Вдруг я почувствовал на себе чей-то взгляд. Стал озираться. И опять взгляд, острый. Я принялся искать его в толпе, но тщетно. Это он вызвал в душе неясную тревогу.

5

Дюжина тяжело навьюченных низкорослых лошадей, осторожно перебирая копытами, то и дело соскальзывая, лихорадочно напрягшись и удерживаясь на скалистой тропе, медленно поднималась в гору. Слева в голубовато-пепельном тумане бездны пропасти гудела бурная река.

Впереди каравана шел Джамал, опираясь на тяжелую палку из орехового дерева. За ним ступал Осман. Остальные — шесть сопровождающих и двое слуг купца — замыкали шествие. Солнце давно скатилось за гору, и низкое остывающее небо укутывалось лиловыми полосами легких облаков.

— Благополучно выбраться бы с этой тропы, пока не застала ночь, — сказал Осман.

— Выберемся, не тревожься, — успокоил его Джамал. — По этим камням не раз ступала моя нога. — Джамал тихо затянул песню Ашуг Гариба.

— Брат, спел бы громче, — раздался голос из конца каравана. — Уж очень душевно и жалостливо поешь.

— Можно и громче...

Голос у Джамала был хриплый, но довольно сильный и приятный. Наконец караван вышел к лесу.

— Его нам сейчас и недоставало, — пробурчал Осман и обратился к Джамалу: — Может, станем здесь на ночь, не пойдем в лес...

— А какая разница? — хмыкнул Джамал. — Хаспушу[1] и здесь вольготно. За нами-то пропасть.

— Поступай, как знаешь, да надеемся на Аллаха.

Джамал ступил в лес и прошел несколько сотен метров, когда мысли его оборвал свист. Он остановился и глянул вперед. Метрах в десяти от него у широкого ствола дерева виднелся человек в большой мохнатой папахе и в рваном бешмете. В правой руке он держал ружье наизготове.

[1] Хаспуш — разбойник.

— Эй, люди, хотите жить — отойдите в сторону, иначе всех перестреляем, — гаркнул тот.

— Ты что из себя хаспуша строишь? — спокойно ответил Джамал. — Сначала узнай, кто мы, с чем идем, а потом угрожай и требуй.

— А я и есть хаспуш, — гаркнул человек в папахе и захохотал. — Сначала узнай: кто мы, с чем идем, — передразнил он. — Знаю, с чем идете, потому и встал на вашем пути.

Он снова захохотал. Дружный смех раздался в темноте леса.

— Перестань страшить нас, тьфу. — Джамал смачно плюнул. Человек в папахе оборвал смех. — Лучше назови свое имя.

— Зачем тебе мое имя, босяк...

— Ну, если тебя отец не нарек в младенчестве именем, то у меня оно есть. Меня звать Джамал.

Человек в папахе опустил ружье, приблизился к Джамалу.

— Джамал из Рукеля, что ли?

— Джамал из Дербента.

— Такого я не знаю, — с сомнением произнес он.

— Это Джамал из Дербента, я его знаю, — раздался голос из леса.

— Ну и что с того, что он Джамал из Дербента...— произнес человек в папахе. — Чего ты хочешь? — обратился он к Джамалу.

— Поговорить с вашим главарем, — усмехнулся Джамал.

— Иди. — Человек в папахе махнул ружьем. — А вы стойте здесь, ждите. И чтоб никто не пытался убежать, перестреляют мои ребята вас, запомнили?.. А ты иди за мной...

Джамал не сделал и пятидесяти шагов, как кто-то коснулся его плеча:

— Присядь, дальше не пойдем.

Джамал опустился на пень, оглянулся. Вокруг рассаживались человек двадцать обросших мужчин в изношенных платьях, босые. За веревочными поясами торчали кинжалы, в руках увесистые дубинки.

— Я сразу догадался, что не разбойники вы, — усмехнулся Джамал.

— А кто же мы, по-твоему? — гаркнул человек в папахе.

— Нищие, обездоленные люди. Такие же, как и я сам. Только вас страдания ваши повели на разбой.

— Правильно говорит Джамал из Дербента, — произнес кто-то, — верно говорит...

— Дай послушать... — прервали его.

— Переловят вас, пересажают. Какие вы борцы... нищие хаспуши...

— Ты что это нас за дураков принимаешь? — гаркнул человек в папахе. — Умник нашелся, поглядите на него.

— Да, умник нашелся, — засмеялись мужчины.

— Чуть умнее вас, — сказал Джамал. — Да ладно, это ваше дело. А я пришел вам не нагыл[1] рассказывать, а просить: отпустите караван, его ждут в аулах. И хозяин каравана Осман не такой уж плохой человек. Бедняков не унижает, старается им помочь. Ну, а то, что он купец, это ремесло его, так же как ваше — разбойное дело, — усмехнулся Джамал. — Вы живете своим ремеслом, он — своим. Каждому свое.

— А если мы вас перебьем? — сказал человек в папахе.

— Мы тоже не кур кормим. И мы перебьем вас немало. Ты знаешь, кто сопровождает караван? Мустафа-пехлеван, Ревшан, Саид-Хан...

Среди мужчин прошел гул удобрения.

Джамал продолжал:

— Дадаш-халу, Нариман, Юсуп... Да у каждого по ружью против ваших дубинок.

— Что же ты предлагаешь, Джамал из Дербента? — спросил человек в папахе. — Не можем же мы вас отпустить просто вот так, любая лисица расхохочется над хаспушами.

— Зачем же просто вот так? — засмеялся Джамал. — Осман, я думаю, даст вам денег и ткани на одежду...

— Ну, если так... — протянул человек в папахе.

— И мы согласны, Хасбулат, — загалдели разом мужчины. — Ради чего бить своих братьев?

— Так ты Хасбулат из Кайтага, который ограбил казну, раздал бедным, угодил в Сибирь и бежал? Слышал о тебе, слышал...—проговорил Джамал, пристально глядя на человека в папахе.

---

[1] Нагыл — сказка.

Тот осклабился и трижды с силой стукнул кулаком себя в грудь.

— Да, это я.

Когда подошел Осман, Джамал усадил его рядом и тихо спросил:

— Ты можешь дать им немного денег и ткани на одежду? Гляди, как обносились.

— Дам, конечно, Джамал, только бы не было кровопролития и грабежа.

Вскоре в небольшом овражке горел костер. Вокруг него, вольготно расположившись на земле, спали и хаспуши, и сопровождавшие караван. Джамал лежал рядом с Османом, слушал потрескивание сучьев, глядел в темное безлунное небо и ни о чем не думал. Просто лежал, слушал и глядел. Потом закрыл глаза. Сквозь дремоту он услышал голос Османа:

— А не унесут они в чащу половину каравана?

— Будь спокоен, — проговорил Джамал, не открывая глаз. — Хасбулат — человек слова.

Как только забрезжил рассвет, караван тронулся в путь. До самого Хучни его сопровождали несколько человек Хасбулата. Когда вдали показалась отлогая гора, возвышавшаяся над Рубасчаем, они повернули обратно.

В полдень караван вошел в Хучни. На узкие пыльные улочки высыпал простой люд. По возгласам, взглядам, сутолоке было видно, как они заждались купца.

6

Джамал отворил калитку, вошел во двор, распахнул ворота.

— Заходи, гостем будь...

Лошадь ступила во двор и встала.

— Иди, иди, никто тебя не обидит,— Джамал хлопнул легонько ладонью по крупу.

Во двор выбежали из дома жена и дети.

— Где ты пропадал целый месяц? Я уж извелась, мальчики глаза проглядели, думали, не дай бог что случилось...

— Думал, полегче хлеб заработать, а оказалось, что на Юсуф-бека спину гнуть, что на Османа — один черт. И там батрачишь, и тут. Легкого хлеба нигде нет.

— А ты думал, тебя Осман озолотит...

3507 кр.

— Человек он неплохой, но купец есть купец, и мысли его, как пчелы вокруг нектара, только вокруг денег и роятся. Да ладно, черт с ним, с Османом. Давайте-ка снесем мешки.

— Что ты привез? Порадуй хоть нас, — спросила жена.

— Мешок кукурузной муки, мешок орехов и бурдюк сыра.

— А денег не дал?

— Как не дал? Все это я купил на деньги, да кой-какая мелочь осталась. Симон, отведи лошадь Осману.

Симон взял лошадь за поводья и пошел через площадь, осторожно ступая босыми ногами по горячим булыжникам. Калитка была приоткрыта. Он просунул голову во двор и негромко позвал:

— Есть здесь кто-нибудь?

Из беседки выскочил ростом с него мальчик, аккуратно одетый и причесанный. Увидев Симона, он осклабился и радостно закричал:

— А, голодранец, сейчас-то уж я намну тебе бока.

— Я тебе намну, — Симон пригнулся и вобрал голову в плечи. — Не посмотрю, что двор твой, так намну, что запищишь.

— Посмотри на себя, червяк.

— А ты на себя, курдюк.

— Чего ты такой худющий?

— А от того, что ты сильно обжираешься.

— Ух, голодранец.

— Купеческий щенок.

— Керим, сколько раз тебе говорить, чтобы ты забыл это слово? — раздался вдруг повелительный голос, и во дворе показался Осман. — Кто тебя учит таким гадким словам? Ну-ка пойди принеси сюда мешок, который я засунул под тахту на веранде. Живо.

Керим побежал. Осман подошел к Симону, оглядел его жалостливым взглядом, вздохнул:

— Тощий совсем, как голодный козленок.

— Я не козленок. Возьмите вашу лошадь, и я пойду, — оскорбленно проговорил Симон.

— Ну ладно, не козленок, подожди, я кое-что тебе подарю. Вот и Керим бежит. Открой, Керим, мешок, вытащи штаны, рубашки, куртку, ботинки, правда, немного они поношенные, но вид у них еще хороший, возьми себе, Симон, носи на здоровье.

— Я не побираюсь, пусть носят их ваши дети. — Симон бросил поводья и побежал со двора.

— Ах ты негодник, ты еще и оскорбляться умеешь,— возмутился Осман, — глядите-ка на него, до захудалого ишака не дорос, цыплячьими ногами еле передвигает, а уж оскорбляться умеет и грубить, ах ты пострелёнок.

А про себя подумал: из таких голодранцев могут вырасти настоящие люди.

7

Получив от портье ключ, я быстро поднялся на второй этаж, почти взбежал: хотелось быстрее зайти к себе, броситься на диван, почувствовать, как отдыхают ноги и тело, как с них сползает усталость, потом принять ванну и лечь спать — все-таки Париж, жадный до жизни и красивый до умопомрачения, утомлял меня. Итак, получив от портье ключ, я быстро поднялся на второй этаж, отпер дверь своей комнаты, вошел, провел рукой по стене, ища выключатель. Послышался щелчок, вспыхнул свет, я бросил взгляд на свою временную обитель и... ахнул.

На моей кровати лежала раздетая женщина.

Я зажмурился, вернее, что-то заставило меня зажмуриться и отвернуться.

Неужели ошибся комнатой, мелькнула мысль, срам, так и на неприятность можно напороться.

Я спустился вниз и, подавляя в себе неловкость, тихо спросил у портье:

— Вы мне дали ключ от моей комнаты?

— Да, мсье, — ответил он, удивленно глядя на меня. — А что вас беспокоит?

— Ничего. Благодарю.

Наверное, все-таки я угодил в чужой номер, сказал я себе и поднялся снова на второй этаж.

Открыл дверь комнаты.

На кровати в эротической позе лежала женщина.

Нет, теперь ошибки быть не могло. Она лежала в моей комнате. Я осмелел и пригляделся к ее лицу. Она была молода, очень молода и обаятельна.

Поняв мое внимание к себе по-своему, она растянула чувственные губы в улыбке и подняла одну ножку, делая очевидные призывные жесты.

— Bonjour, mon amu! Vite anli! [1]— проговорила она красивым голосом.

— Bonjour, madam! Comment ecti ici? [2]

— О мой друг, ты знаешь французский язык? — Она удивленно и артистично подняла тонкие брови. — Ну, беги же ко мне, я давно тебя жду.

— Как ты здесь оказалась? — повторил я. — Может, ты перепутала номер?

— О нет, — она кокетливо улыбнулась.

— Тебе дали ключ или завели?

— Какая тебе разница? Иди же быстро, я заждалась тебя.

— Как без шума избавиться от нее? — сверлила мысль мой мозг, в то время как чувства подчинялись уже ее похотливой красоте.

— Ну... иди же, — она протянула ко мне руку.

— Но прости, мне нечем платить...

— Нечем?.. — она звонко рассмеялась. — Поделись-ка, как ты мог остановиться в этом отеле с пустым карманом? Я не верю тебе, иди же.

— Мадам, поверь, мне уже нечем платить.

— Неужели любишь играть в любовь? Ха-ха-ха. Или, может, просадил в казино? Ну да ладно, я не для того хожу в отель, чтобы штопать дырки в карманах.

Она встала, голая красивая француженка, быстро оделась и, бросив: «Адью, мон шер ами», выскочила из комнаты.

Не скрою, мне вначале казалось, что к визиту в мой номер в отеле был причастен ты, Осман. Но те редкие часы, в которые мы виделись, отметали эту мысль. А одна встреча, знаменательная для нас с тобой и с твоим отцом, и вообще ее перечеркнула.

8

Джамал достал из-под матраца огрызок карандаша, клочок газетной бумаги, из которой крутил самокрутку, и на чистой ее полоске написал: «чаша переполнилась». Он долго еще думал, держа карандаш на весу, но так больше ничего и не добавив, позвал Симона.

---

[1] Здравствуй, мой друг, беги быстро в постель.

[2] Здравствуй, мадам, как ты здесь оказалась?

Мальчик прибежал со двора и замер перед отцом, вытянув руки.

— Дядю Петра помнишь еще, не забыл? — спросил Джамал, скатывая бумажку.

— Какого? — лицо Симона удивленно вытянулось.

— Который работает на железной дороге. В депо. Ну, там, где паровозы ремонтируют.

— А, это тот дядя с пышными усами и голой головой?

— Голой, — укоризненно поглядел Джамал на сына и засмеялся. — Бритой головой. Так вот, разыщи его и передай ему эту бумажную палочку. Только ему. Если кто-нибудь к тебе пристанет, ну, сам знаешь, не маленький, заложи незаметно ее за щеку. Понял?

— Да, отец.

— Ну, беги.

До депо было далеко. Симон бежал то трусцой, то вприпрыжку, а то и останавливался передохнуть. У железнодорожного переезда с криками металась огромная толпа. Симон приблизился, присмотрелся. Шла драка между рабочими и полицией. Симон обошел ее сторонкой и побежал по железнодорожному полотну.

У входа в депо его остановил окриком сторож:

— Куда разогнался, пострелёнок?

— Дядя Петр нужен.

— Так и сказал бы. Ребята, кликните Петра.

В депо стоял гул. Шипели и свистели маневровые паровозы, гремело железо, сновали люди, перепачканные углем. Эта картина так заворожила Симона, что он не заметил подошедшего Петра.

— Ты чей, малец?

Голос заставил его вздрогнуть. Он съежился было, весь напрягся, но, увидев пышные усы, сразу успокоился.

— Джамала я.

— Что-нибудь случилось? — насторожился Петр.

— Отец просил передать вот это, — Симон протянул ему записку.

Петр развернул ее и принялся читать, потом проговорил:

— Ты погоди, я сейчас.

Он очень скоро вернулся и протянул Симону записку.

— Передай отцу. Только отцу, понял? Никому больше.

Дома Джамал с нетерпением ждал Симона. Развернув принесенную им записку, он прочитал: «Недовольство на плантациях — это хорошо. А как отходники, ремесленники? Поддержат? Поговори, узнай настроение. Готовим митинг и забастовку».

Значит, подошло время. Сколько же можно ждать? Все требовали свергнуть царя, ну, свергли его. А что изменилось? Временное правительство продолжает топтать нас, богачи богатеют. Пора народу брать власть, пора. Кажется, это время подходит. Петр знает, он все знает.

Джамал надел шапку, лихо заломил ее и направился в чайхану Ашота. Крупный и тучный мужчина, в белом накрахмаленном фартуке сапогом раздувал начищенный до блеска медный самовар. Джамал окинул взглядом чайхану и, не найдя свободного места, пошел к стойке.

— Здравствуй, Ашот. Мир и благополучие твоему дому, — приветствовал он громко.

— И ты здравствуй, Джамал. Давно не заглядывал... что тебя привело в чайхану?

— Подал бы лучше другу чаю.

— Баш юсте [1], садись, дорогой. Лучшего чая ты не выпьешь во всем Дербенте.

— Так бы сразу...

Ашот поставил на стойку небольшой чайник с чаем, тонкий стакан с блюдцем и колотый сахар. Джамал сел на высокий табурет, облокотился на стойку и пристально взглянул на Ашота.

— Ребята готовы? А главное — с желанием идут?

— Бог их знает. Но говорят искренне: если Джамал зовет, значит ведает, на что идет.

— Не я зову, Ашот, большевики зовут, а они борются за меня, за тебя, за всех нас. Я не большевик, я безграмотный Джамал из Дербента, всю жизнь на поденной работе, но вот сердцем чувствую: они ведут борьбу ради нас, простых обездоленных людей. Как же не идти с ними, не поддерживать их. И потом, надо уразуметь, Ашот, если не мы, то кто же поддержит их... Я с ними, Ашот, я не уроню свой намус [2].

— Мы с тобой, Джамал.

— Спасибо за доброе отношение. Давай пить чай. —

[1] Баш юсте — с удовольствием, дословно — на голове.

[2] Намус — совесть, честь.

Джамал налил чай в блюдце, отхлебнул и разинул рот. — Ай-яй-яй, обжег рот, негодник, ты что мне кипяток подсунул...

— Надо было пораньше обжечь, чтоб меньше трепался.

Они глянули друг на друга и весело расхохотались.

Вернувшись домой, Джамал лег на тахту и пустился было в размышления, как скрипнула калитка и на веранду поднялся мальчик.

— Керим?

— Отец велел передать, чтоб вы зашли к нему вечером.

— Что ему нужно? Случилось что-нибудь?

— Он не сказал. Велел передать, чтобы обязательно зашли.

Вечером Джамал пошел к Осману не через площадь, а обогнув ее, миновав несколько улиц. Калитка была незаперта. Джамал нырнул во двор, притворил ее, закрыл на щеколду. Осман ждал, сидя на подушках под развесистым тутовым деревом.

— Долго же ты шел ко мне, — сказал с иронией Осман.

— Не хотел, чтобы кто-нибудь увидел, кружил, как хитрый лис.

— Почему «как»? Ты и есть хитрый лис. — Осман улыбнулся, потом пригнулся и хлопнул ладонью по колену. — Не обижайся, что лисом тебя назвал... — Он задумался, затем продолжил: — Чувствую сердцем и вижу своими глазами: люди готовят бунт. Большой бунт. Не принесет ли он большой беды?

— Ты спрашиваешь, как купец, я отвечаю, как бедняк: нет для бедняка больше той беды, в которой он оказался. Что ему остается, как не драться за себя, за будущее своих детей? Так жить больше невмоготу.

— Но объясни мне, как поступят с моим добром. Я его не крал, я наживал своим горбом, своим трудом, смекалкой. Как поступят с моим добром?

Джамал задумался, погладил бородку, потом посмотрел Осману прямо в глаза.

— Ты знаешь, сосед, я не большевик, я многого в политике не понимаю. Но чувствую... Сам посуди: стоит ли проливать кровь, если богатеям оставят их богатство? Что изменит борьба, если бедняк останется бедняком, а богатый — богачом? Я так думаю.

Установилось долгое молчание. Наконец его прервал Осман.

— По-моему, Джамал, в твоих словах есть правда. Наши богачи, — он усмехнулся, произнеся эти слова, и снова повторил: — Наши богачи замышляют что-то недоброе. Слышал я сегодня в городской думе, что собираются они арестовать кое-кого. Не осложнил бы этот арест жизнь нашего города.

Дает знать, чтобы были осторожны, сказал про себя Джамал, но внешне ничем не выказал своих чувств. Посидели молча еще несколько минут, потом Джамал поднялся, пожелал хозяину дома спокойной ночи и тем же кружным путем вернулся к себе.

Не успев еще переступить порога комнаты, он нетерпеливо окликнул Симона.

— Что еще стряслось, дай мальчику спокойно заснуть, — заворчала жена, раскатывавшая в углу веранды плоские листы теста для лаваша.

— Попозже заснет, мать, сейчас дело есть, очень срочное.

— Жалко мальчика, весь день помогал по хозяйству, уморился...

Но Симон уже выходил из комнаты, протирая глаза.

— Дело есть, сынок, срочное. — Джамал ласково погладил его по взъерошенной голове, чего от него редко видели. — Беги к дяде Петру, скажи, пусть не раздумывая уходит из дому. Понял? Не раздумывая. Его могут арестовать.

Мальчик кивнул головой и сбежал с веранды.

— Что-то серьезное стряслось, Джамал? — спросила тревожно жена.

— В мире каждый день что-то серьезное происходит. Разве этим удивишь людей.

— Да прекрати ты свои пустые рассуждения. Неужели не можешь просто и вразумительно объяснить, что происходит?

— Э, что ты понимаешь, женщина, в таких делах, как...

Но дальше Джамал не стал говорить, он снял шапку, повесил ее на большой ржавый гвоздь, растянулся на тахте и блаженно вздохнул. Жена что-то долго говорила себе под нос, но он не слушал: его мучил вопрос — знает Петр о разговорах, происходивших в городской думе, или до него они еще не дошли. Его вывел из полудремотного состояния голос Симона:

— Отец, дяди Петра дома нет.

Джамал вскочил, сел на тахте, уставился на сына:

— Как так нет... Надо было подождать... Как ты мог уйти, не предупредив его, постреленок, ну-ка сбегай обратно.

— Нет его, отец. Увели его.

— Как увели, кто? — не понял Джамал.

— Тетя Мария сказала: пришли трое и увели. Она сидит дома и плачет.

Увели. Не успел предупредить. Гляди, упрячут за решетку всех большевиков, если их не предупредить об опасности. Значит, прав был Осман. Прав? А почему он мне сообщил поздно вечером? Ждал, пока арестуют большевиков? Невероятно. Ждал их ареста, а потом предупредил меня? Но ведь могли и меня взять. Меня? Тьфу. Кому я нужен? Кто я такой для них? Значит, Осман специально ждал до вечера... Не верится мне... Не хочу в это верить... Что делать... Что же делать... Уйти. Да, уйти к тем, кто может помочь. Не за себя боюсь, кто меня возьмет и кому я нужен... Их надо спасать, вызволить из неволи. А это Джамал должен совершить. И совершит.

— Жена, я ухожу.

Из рук жены от неожиданности выпал лист лаваша.

— Ты что, отец, опять чудачества свои вспомнил, куда ты в такое смутное время уходишь от семьи? На кого ты оставляешь нас, детей своих... — запричитала она.

— Молчи, мать, молчи. Так надо, слышишь? Людей надо выручать. Ухожу в Табасаран. Но никому ни слова о том, где я. Поняла? Если вдруг объявится Петр, кто знает, может, объявится, ему скажи. Больше ни одному человеку. Сыновей береги. Я пошел.

Джамал снял с гвоздя шапку, надел, заломил тулью и ушел в темноту.

9

День близился к концу. Джамал споро поднимался по горной тропе. Далеко внизу ревела река.

Наверх вела и широкая дорога, по ней гнали скот,

скрипели арбы и повозки, но Джамал любил эту тропу: то ли потому, что она была безлюдна, то ли за дикую первозданную красоту, а то ли потому, что вчетверо сокращала путь...

Наконец Джамал преодолел последний крутой подъем, тяжело вздохнув, остановился. Пот струился по его лицу. Со вчерашнего вечера, с той минуты, как вышел за порог своего дома, он еще не отдохнул. Несколько минут сидел у своего старого друга — аробщика за Шуринскими воротами, пока тот выводил из стойла лошадь, ровно столько же у кунака в Ханжалкале, которому оставил лошадь, чтобы тот перегнал в Дербент. И вот этот переход по тропе.

Джамал снял шапку, вытащил из кармана тряпицу, служившую платком, вытер бритую голову, потом глаза, лоб, губы и бороду, засунул обратно в карман и водрузил шапку на прежнее место. Впереди стоял лес.

Теперь надо найти их, сказал Джамал себе. А вдруг они ушли из этого леса... От такой шальной мысли по спине пробежали мурашки. Куда они уйдут, не должны, пытался успокоить себя Джамал, а мысль не оставляла его. Ну что ж, пусть уходят, буду искать всюду, пока не найду. Да и люди помогут разыскать их. Хаспуш не иголка в стоге сена. Джамал вошел в лес и двинулся по еле приметной, давно нехоженной тропе. А что, если окликнуть... Идти и окликать, подумал он и обрадовался такому решению. Вдруг кто-нибудь из его людей услышит?

— Эй, Хасбулат, слушай, это я, Джамал из Дербента, — крикнул он, не сбавляя шага.

— Эй, Хасбулат, слушай, это я, Джамал из Дербента, — неслось через каждые сто шагов.

Была минута, когда Джамалу почудился шорох, он остановился, прислушался, но вокруг все сковала тишина.

Уже в глубине леса раздался властный голос:

— Что тебя привело в такой поздний час?

Джамал от неожиданности остановился, но не испугался, а наоборот, обрадовался и кротко сказал:

— Долго ж я тебя искал.

— Долго, скоро звезды будут гаснуть.

— Что же не отзывался?

— Мой человек тебя не знает. Новый он. Шел за тобой. Потом прибежал ко мне. Так что все-таки привело тебя? Что-то очень серьезное, иначе ночью в лес не сунулся бы.

— Посидеть надо, поговорить, Хасбулат. На ногах мы наше дело не разрешим.

— Иди за мной, Джамал из Дербента.

Спустя некоторое время они вышли к приземистому домику.

— Пока входить не будем, — предупредил Джамал. — Дело серьезное, надо поговорить наедине.

— Как знаешь. Пойдем, приляжешь на копну сена, отдохнешь с дороги. Исмаил, — сказал Хасбулат в темноту, — принеси поесть.

Мужчина, к которому обратился Хасбулат, не мешкая расстелил на земле перед Джамалом тряпицу, разложил на ней куски лаваша, овечий сыр, кувшин с айраном и исчез в темноте. Неторопливо жуя, Джамал поведал Хасбулату, что его привело в лес.

— В большевики записался? — сказал Хасбулат. — С большевиками связался?

— Я тебе уже говорил, что я безграмотный и политикой не занимаюсь. Вот ты стал хаспушем не ради удовольствия или громкой славы. Я знаю о тебе все. И грабишь, и обираешь богатых, чтобы раздать бедным награбленное. А не будет богатых — чем займешься?

— Ха-ха-ха, — расхохотался Хасбулат. — Домой поеду, землю пахать, вино давить...

— А ты над большевиками насмехаешься. И они хотят, чтобы мы землю пахали, вино давили, но свое, а не Юсуф-бека и ему подобных...

— Довольно словами лесных зверей пугать. Скоро рассвет, вздремнуть надо. Исмаил, — бросил он в темноту, — дай нам бурки. Утром продолжим разговор.

Джамал растянулся на сене, подложив под себя половину тяжелой жесткой бурки, накрылся другой половиной, закрыл глаза и тут же уснул.

Первым, кого увидел Джамал проснувшись, был Хасбулат. Тот полулежал на копне сена.

— Ты меня сторожишь от Симург-гуша[1]? — пошутил Джамал, откидывая бурку.

— Наоборот, Симург-гуша от тебя, — осклабился довольный своей остротой Хасбулат. — Сижу и думаю. И ничего в голову не лезет.

— Конечно, трудно, — согласился Джамал.

---

[1] Симург-гуш — сказочная птица, персонаж арабских сказок.

— Главное, как подобраться к начальнику тюрьмы. Вот и ломаю голову. Но одна мысль все же родилась в моей голове. Не прикинуться ли мне человеком князя Кайтагского. И заявиться от его имени к начальнику тюрьмы. Слыхал я, они знакомы. Но вот как пробраться в тюрьму... Я пройдусь по лесу, а ты пока умойся, поешь.

Небо было холодно-голубым, когда тронулись в путь. По тропе спускались ловко, гуськом, в самом хвосте один из хаспушей вел за собой трех привязанных друг к другу лошадей.

— Скорей, братцы, скорей, — покрикивал шедший впереди Хасбулат, — до первых лучей солнца мы должны быть в лощине. Там мелколесье, — объяснил он Джамалу, шедшему позади него, — наша защита. Там и переждем до сумерек.

Они вошли в лощину запыленные, пропотевшие, а лучи солнца так и не позолотили небо: оно с каждой минутой становилось все более хмурым, облачаясь в рваные тучи.

— Это нам годится, — усмехнулся Хасбулат. — Меньше людей будет шляться по дорогам.

В мелколесье хаспуши разбрелись и каждый занялся своим делом: кто зашивал рваную штанину, кто ремонтировал чарыки, а многие, раздевшись у речушки, славившейся на всю округу теплой целебной водой, принялись размазывать по телу ил и землю, которые выгребали с неглубокого дна. Джамал, недолго думая, тоже разделся, полез в воду, лег на спину и принялся размышлять над злой судьбой этих несчастных и обездоленных людей. У каждого из них были жена, дети, старые родители, а они вынуждены скрываться в горах и лесах лишь только потому, что где-то в чем-то не услужили беку, не согнули спину перед городовым, осмелились упрекнуть землевладельца в бесчеловечности и обмане. Каждый из них был травинкой этой земли, придорожным цветком, придорожным кустом, без них земля оголилась бы, высохла и зачахла. Джамал хорошо знал одного из них — Шими. С малых лет он гнул спину на рыбозаводчика, а семья из восьми человек жила впроголодь. Непокорный, несгибаемый дух жил в Шими. Намус свой нес высоко, ходил с гордо поднятой головой, а рубаху и штаны носил в заплатах. Голова его никогда не знала тяжести шапки, и потому она поросла густой копной волос. Как-то он пошел проведать

больного родственника и засиделся. День клонился к вечеру, когда услышал шум во дворе. Успокоив больного, он вышел, плотно закрыв дверь, и увидел, как чиновник тянул тощую козу со двора, а хозяйка вцепилась в нее, голосила и не отдавала. Рядом дети. На вопрос Шими, что здесь происходит, чиновник и ухом не повел. Конечно, Шими понял, что произошло: родственник задолжал Юсуф-беку и тот послал чиновника конфисковать его имущество, а поскольку ценного в доме ничего не было, выбор пал на единственную живность. Шими повторил свой вопрос, на что опять не получил ответа. Тогда он засучил рукава рубахи, подошел к чиновнику, высоко поднял его и перебросил через забор на улицу. Спустя час, чтобы не оказаться в тюрьме, он ушел в горы.

— Хасбулат, эгэй, где Хасбулат...

Громкий голос прервал раздумья Джамала. Мелколесье пришло в движение. Кто обшивался — быстро оделся, кто купался — выскочил на берег.

— Здесь я, — послышалось из чащи. — Что случилось?

— Обоз идет.

— Большой?

— Десять подвод. И на каждой — солдат. Он же и погоняет лошадь, он же и охраняет.

— Обоз... Это же хорошо. Джамал, эгэй, Джамал.

Джамал успел одеться и уже спешил к Хасбулату.

— Джамал, сам Аллах послал нам этот обоз. Мы такое дело провернем... вся округа будет о нас легенды рассказывать. Братцы, берем обоз, только без единого выстрела, без рукоприкладства. Рассыпьтесь по обе стороны дороги. И замрите до моего сигнала.

Хаспуши быстро выполнили команду Хасбулата. Джамал сидел в придорожной канаве, в густых камышах, и внимательно глядел на дорогу. Вскоре послышался скрип колес, потом показалась подвода, доверху груженная, за ней тянулись другие. Лошади шли устало, понуро опустив головы. На подводах сидели солдаты, держа в руках поводья, на коленях у них покачивались винтовки. Многие дремали.

Хасбулат появился на дороге неожиданно. Как привидение. Он взял левой рукой первую лошадь за уздцы и громко и повелительно сказал:

— Поднимите руки, не стрелять... Всех уложим.

По обе стороны дороги из камышей выбежали хаспуши.

— Эх, матерь божья, влипли, как кур в ощип, — тоскливо произнес пожилой солдат, сидевший на первой подводе.

— Кура ты и есть, Степан, — зло произнес другой.— Чего ж дремал, а еще старшим тебя выбрали. Тьфу, на погибель нас затащил.

— Сам ты кура, хрен воронежский, — разозлился Степан. — Я глядел во все гляделки, а он будто из-под земли вырос. Черт их знает, где они здесь окопались. А ты, дурак, храпел и рот разинуть не успел, как у тебя винтовку отобрали. Отслужил, пора петь и отходную?

— Заткнись, кура...

— Я тебе щас так заткну харю, что навечно перестанешь горланить...

— Горцев обирали? — прервал их Хасбулат. — Продукты у них забрали?

— У них, — сказал Степан, — у кого же еще.

— Ваших побили?

— Поручика да Никиту из Аксайки, что под Ростовом, да Савелия из Дубравки, что под Саратовом... Мужиков жаль. А поручика, — Степан махнул рукой,— злой очень был. Нашего брата люто ненавидел. Вот над Трошкой так измывался, что злым сделал как собаку. Слыхал, как со мной разговор ведет? Аж словно с цепи рвется.

— Домой хотите?

— Пошто же не хотеть. Хотели бы, да боязно. А вдруг споймают, вернут?

— Не вернут. А вы нас не подведите.

И Хасбулат не скрывая изложил план действий.

Поздно вечером через Шуринские ворота в Дербент въехал обоз. На каждой подводе на мешках сидело по двое человек, да на облучке солдат. За обозом скакали три всадника.

Обоз протарахтел в южную часть города и остановился у ворот тюрьмы. С первого коня спешился высокий, статный, широкоплечий всадник; он был одет в черкеску, на голове белая папаха. Вслед за ним спешились два других всадника.

Первый быстрым, четким шагом направился к проходной. Часовой при виде его выбросил винтовку вперед, окликнул:

— Стой, кто идет, не велено пущать.

Человек в белой папахе рукоятью плетки с силой отвел винтовку, презрительно бросив:

— С кем говоришь, дурак, с князем Кайтагским.

— Не велено...

Но человек в белой папахе уже вошел на территорию тюрьмы, вслед за ним шли двое, тоже в черкесках, но в черных папахах.

— Где начальник тюрьмы? Канцелярия где? — бросил первый часовому.

— У себя, ваше-с. Прямо, а потом налево.

— Как величать?

— Александр Григорьевич, ваше-с, Долгополов.

Человек в белой папахе быстро пересек двор, поднялся на крыльцо, миновал просторную комнату, служившую приемной, и без стука вошел в кабинет.

— Ваше выс-благородие, от князя Кайтагского.

Пожилой худощавый мужчина, сидевший в кресле за столом, от неожиданности вздрогнул, потом вскочил было с места, но заставил себя сесть, однако продолжал упираться руками о стол, вобрав голову в плечи. Перед ним стояли три горца в папахах, положив руки на рукояти кинжалов.

— Кто будете и как попали сюда без разрешения, — попытался гаркнуть начальник тюрьмы, но голос подвел его.

— Ваше выс-благородие, от князя Кайтагского, — повторил человек в белой папахе. — Его выс-благородие приглашает ваше выс-благородие на свадьбу.

— На какую еще свадьбу?

— Они выдают красавицу дочь замуж за сына одного из членов городской думы, почетнейшего человека города, крупного землевладельца и богатейшего...

— Он меня не интересует... Князь Кайтагский... Это не тот, который...

— Так точно, ваше выс-благородие, именно тот, кто вас принимал по-княжески, когда вы были в Кайтаге. Да и сейчас он вам прислал гостинцы и просил, убедительно просил приехать на свадьбу.

Горцы в черных папахах бросили на стол два бурдюка с вином.

— Куда ж вы бросаете, на стол, и как так можно... Басурманы...

— Никто не видел, ваше выс-благородие.

— Садитесь, отдыхайте. Никифоров, где ты, черт тебя побери?

— Там никого нет. Что вы хотели, ваше выс-благородие?

— Стаканы. Угостить вас, как-никак гости.

Он вышел в приемную и вернулся с бокалами.

А в это время, привлеченные обозом, у ворот сгрудились свободные от вахты солдаты.

— Что везете, служивые?

— Никак, много харчей?

— Да все туда же, в гарнизон, — отвечал Степан, сидевший на облучке первой подводы. — А харчей видимо-невидимо. И вино тебе, и сыр овечий, и кукуруза, и мука, и фрукты...

— Вот битюги. Гарнизонных кормить изволят, а нас на похлебке держат.

— Так и быть, ребята, угощу винцом, — махнул рукой Степан. — Ну чего топчетесь, как телки, пейте, пока я добрый.

Минут десять спустя хмельные солдаты сидели на подводах и жаловались на свою судьбу.

— Братцы, а поручик-то Дракин трезвый, — молвил один из них. — Вот нам от него влетит.

— Сильно злой? — спросил Степан.

— Злой — не то слово. Зверюга.

— У нас тоже был такой. Убили его в перестрелке и легче стало нам. Значит, поручик где-то там?

— Кажись, обходит посты. Особо сторожит политических.

— Ну, вы пейте, ребята, я щас...

Степан незаметно прошел через проходную и направился в канцелярию.

Открыв дверь кабинета, он вытянулся во весь свой богатырский рост и гаркнул:

— Ваше выс-благородие, поручик Дракин ведет недозволенные разговоры.

— Кто такой? — выпучив пьяные глаза вскричал начальник тюрьмы.

— Поручик Дракин.

— Ты кто такой, дурак?

— Солдат Степан Ситный, ваше выс-благородие.

— Ситный. Тьфу. Поручик Дракин не может вести такие разговоры.

— Все слышали, ваше выс-благородие.

— Все?.. Арестовать. Дракина арестовать, отобрать ключи. Завтра я ему, сукину сыну...

Степан бросил взгляд на человека в белой папахе, развалившегося в кресле. Глаза у того смеялись.

— Пошел вон... — вскричал штабс-капитан.

Степан вышел со двора на улицу, где у обоза, в темноте, сидели хмельные солдаты, и взмахнул рукой. С подвод сошли люди в папахах и растеклись по территории тюрьмы.

Спустя полчаса по дербентским улицам в сторону Шуринских ворот направлялся обоз. В подводах, укрытые тряпьем и соломой, лежали люди. Замыкали обоз три всадника.

Из города обоз вышел без происшествий.

10

Пер-Лашез покорил нас. Нет, не то слово, — потряс. У Стены коммунаров мы возложили живые цветы.

Ты не мог понять наших чувств, нашего преклонения перед их именами. Очевидно, потому, что ты воспитан в другой среде, нет, не очевидно, а безусловно. Ты продукт другого общества, которое не вмешивается в политику, мирно, безропотно, безоговорочно ладит со всеми классами и общественными формациями, заботясь только о процветании своего дела. Своего бизнеса.

Мне кажется, ты не понял нас, Осман, и в тот миг, когда мы замерли у памятников безымянным, отдавшим жизнь в борьбе с гитлеровским фашизмом. С какой любовью был сделан памятник погибшим в Освенциме, узникам Бухенвальда! До этой минуты я не мог знать, не смел даже представить себе, что на Пер-Лашез могут быть воздвигнуты памятники из мрамора, обвиняющие, клеймящие фашизм. Один из них заставил меня содрогнуться. То была рука, прорывающаяся из толщи земли. Она словно взывала к живым: помните, мы ушли во тьму, в небытие, чтобы жили вы, в ваши сердца вечно должна стучаться память о нас, ненависть к человекообразным, нас, безвинных, замучившим и уничтожившим, решимость не осквернить саму суть и смысл жизни человеческой. Помните, такое не должно повториться. Никогда.

Я чувствовал мольбу, страсть, силу этой руки. А ты стоял безучастный и холодный к ней. А тебя не коснулась война? Фашистский сапог не осквернил траву в

твоем дворе, не бил кованым каблуком в дверь, не топтал женщин, девушек, детей?..

В голове роятся мысли о кованом сапоге, а передо мною рука, белоснежная рука, вырвавшаяся из темной тверди земли.

— Я вам покажу сказочный Париж...

Голос донесся до меня то ли со стороны, то ли сверху, я никак не мог понять, откуда, кому принадлежит он и чего хочет от меня. Я не мог понять, почему он должен был раздаться сейчас, как он осмелился раздаться, нарушив строй моих мыслей, вползая в святую святых — мою душу, мое сердце.

И снова:

— Я вам покажу сказочный Париж...

И я пошел вслед за друзьями, которых увел ты, Осман. Кесарю кесарево, живым живое.

Мы уселись в твою машину, и она понесла нас по улицам Парижа, догоняя закатные лучи солнца. Машина шла мягко и быстро, съедая проспекты, площади и бульвары, заюлила по узким улочкам и замерла на вершине холма.

Мы вышли из машины. Рядом высился белокаменный Сакре-Кер — храм Святого Сердца. Внизу, насколько хватало глаз, лежал Париж, залитый золотом заката. Я окинул взглядом Монпарнас, Марсово поле, а перед глазами стояла рука, вырвавшаяся из земной тверди.

Потом ты нас снова повез по бульварам, выехал на улицу Королей, рядом с Нотр Дам де Пари, забитую автомобилями многих стран мира. Мы вошли в этот чудовищно огромный, массивный и в то же время изящный собор, забитый тысячами людей и, замерев, долго слушали орган, захвативший нас, приковавший к себе божественной музыкой.

А в моих ушах стояла другая музыка — стон белоснежной руки, вырвавшейся из земной тверди.

Слышал ли ты, Осман, когда-нибудь музыку-стон той руки?

11

Сам черт не разберет, что тут происходит. Взяли власть Советы, люди только успели вздохнуть свободно, как появились деникинцы. А вслед за ними и «красные

фески»[1]. И вот гуляют они в моем городе, к купцам захаживают, землевладельцев оберегают от бывших батраков, в игорных домах набивают карманы. В офицерском клубе табачный дым вырывается из окон, словно там разгорается пожар. А солдатня... Тьфу, пакостники. В курятнике не оставят ни одной птицы, увидят смазливую женщину или девушку, тут же лезут облапить. Ни бога у них нет, ни намуса. Какую власть они думают установить, какую жизнь дать людям — ни богу, ни дьяволу не ясно.

Так думал Джамал, возвращаясь поздно вечером домой. Он спускался по узкой улочке магала к площади, когда по камням мостовой раздался гулкий стук каблуков, а потом и грозный окрик:

— Стой.

Перед Джамалом выросли три фигуры.

Первый из них был в кителе, перепоясанном портупеей.

— Где был? Куда идешь так поздно?

— К мулле ходил.

— Все они ходят к мулле, — зло проговорил другой, с винтовкой в руке. — А ковырнешь клинком — большевик.

— Какой он большевик, — проговорил третий, — босяк, да и только. Гляди, в чем ходит. Босяк и есть.

— А шапка заломана-то...

— Без шапки им нельзя, ваше выс-благородие, — подал голос третий. — В шапке у них, так сказывают, вся честь.

— Ладно, иди, — махнул рукой первый, — и смотри у меня, по ночам не ходи, не то в тюрьму угодишь, либо пулю схлопочешь.

— Сволочи, — подумал Джамал, спускаясь по улочке, — встретились бы вы мне поодиночке, я бы вам показал босяка, а то ходите сворой со страху, одного-другого проучишь, да третий успеет укусить...

— Кто идет? — мысли Джамала прервал окрик.

— Чтоб вы все сгорели в аду, — проговорил Джамал, потом громко бросил:

— Босяк идет.

— А что босяку ночью делать в магалах? Воровал, видать?

Перед ним стояли двое в красных фесках.

---

[1] Красные фески — так в обиходе называли турок.

— Не вор я, Аллах свидетель. К мулле ходил, совета спрашивал.

— Что тебе может мулла посоветовать в ваше смутное время? Нас спроси, понравишься — поможем. Ну, говори, что с тобой стряслось?

— Лошаденка была во дворе, неказистая, от жеребца и ишачки, неказистая, да помощница, ведь я аробщик, без лошаденки пропаду, так вот лошаденка неказистая была, и ту увели.

— Кто увел?

— Не знаю, кто их разберет... Зашли в кителях, фуражки на голове, не ведаю, что и кого искали, но лошаденку увидали, взяли под уздцы и увели. Неказистая была, а увели.

— Это гяуры были. Конечно, гяуры. Ладно, иди оплакивай свою лошадь.

Джамал пошел, ухмыляясь над своей фантазией, но вдруг приостановился, прислушался.

— Рустам-бей, если этот голодранец легко отдал гяурам лошадь, он с той же легкостью отдаст мне свою шапку.

— У него и так горе, а ты ему прибавишь другое. И зачем тебе его шапка? Она не стоит и одного абаси [1].

— Не говори так, я хорошо разглядел. Она стоит того, чтобы ее сдернули с головы этого дурака.

Джамал не стал слушать дальнейшего их разговора и быстро пошел прочь.

Вскоре за спиной послышались шаги. Потом повелительный голос окликнул его:

— Ну-ка стой. Я тебе говорю. Стой, не то стрелять буду.

— Я не понял, что ты ко мне обращаешься. Стою.

— Сними шапку и подай мне.

— Чем моя шапка провинилась перед тобой?

— Снимай, говорю.

Джамал незаметно оглянулся: второго турка не было видно.

— Подойди, возьми. Одни лошаденку неказистую увели, другие шапку снимают с головы. Что за время такое...

— Много не болтай, давай шапку и беги, если жить хочешь...

Турок приблизился. Джамал резко ударил турка

[1] Абаси — монета, равная 20 копейкам.

ногой ниже паха. Тот согнулся и с пронзительной болью выдохнул:

— Вай, ана.

Не давая турку опомниться, Джамал сцепил обе руки и с силой обрушил ему на голову. Турок мешком свалился на землю.

Кипя яростью, Джамал ногой отбросил его к забору, свернул за угол и вышел на площадь.

12

Утром «красные фески» забрали Османа. Под забором его дома был обнаружен турок без сознания. К счастью для Османа, к полудню тот пришел в себя и мог говорить. Купца отпустили, даже не извинившись перед ним.

Потрясенный грубым обращением, Осман вернулся домой подавленный. Он почему-то стыдился самого себя, хотя и не совершил никакого проступка. Просто стыдно за то, что его, купца, известного в городе человека, повели не разобравшись и не попытавшись даже прислушаться к его объяснениям, а потом выставили на улицу, не признав своей вины за нанесенное оскорбление.—Неужели эти люди надеются долго оставаться в городе? — спросил он себя. Они же растопчут, изгадят все наши нравственные устои, внесут в нашу жизнь сумятицу и страх. О всемогущий, если ты есть на небе, воскликнул он в душе, не дай им хозяйничать в нашем городе, изгони их, избавь нас от их лая и оскала...

Осман осторожно открыл калитку, ступил во двор, обернулся и только тогда понял, что она была незаперта. Он поднялся на веранду, уставился на кресло, потом опустился в него. Тяжесть не покидала: тяжесть возмущения, гнева, протеста давила душу.

Вдруг его слух уловил причитания и резкий мужской голос. Он прислушался, потом встал, открыл дверь в комнату.

Жена сидела на корточках, била себя по лицу и плакала, причитая. Мимо нее носился взад-вперед худощавый невысокий мужчина, злой и желтый от желчи. Он то и дело выбрасывал руки вперед и повторял:

— Не плачь, сестра, не изводи себя, мои друзья ему помогут.

— Чего же они до сих пор спят, твои друзья? Его,

бедного, там бьют не один час... Аллах, спаси его, вытащи из рук этих жестоких турок...

— Не изводи себя, сестра, мои друзья ему помогут, — вновь повторял мужчина, перебегая от стены к стене.

Осман молча прошел к подушкам, опустился, прислонился к стене, откинув голову. Жена замерла, мужчина остановился посреди комнаты.

— Вот я и вернулся, — Осман попытался улыбнуться, но выжал только ухмылку.

— Я сказал тебе, сестра, что мои друзья ему помогут, — произнес металлическим голосом мужчина.

— Ты прав, дорогой Илдирим, они ему помогли, — удивленно и радостно произнесла женщина.

— Твои друзья... — медленно, с иронией произнес Осман. — Твои друзья — меньшевики и не знали, что я у турок.

— Как же ты вышел? Убежал? — удивился Илдирим.

— Спасибо турку, которого не до смерти избили. Пришел в себя... — Осман вдруг от души рассмеялся.— Э, нет, спасибо надо сказать тому, кто не до смерти его избил.

От этого смеха ему стало легче и уютней в своем доме.

— Ну что за поганое время настало, сам дьявол не разберет. Белогвардейцы свои порядки устанавливают, турки — свои, а настоящего-то порядка нет. Власть должна быть одна. И порядок один. — Илдирим входил снова в раж: он стал бегать по комнате, выбрасывая вперед руки. — Настоящий порядок могут установить только меньшевики. Посуди сам, военные вызвали ненависть у местного населения. Почему — знаешь сам. Грабеж, самоуправство, беззаконие и всякое другое. А меньшевики имеют свою программу, свое отношение и к буржуазии, и к крестьянству, и ко всяким прочим...

— Ну и беги к своим меньшевикам, — отрезал Осман.

— Что ты сказал? — опешил Илдирим.

— Беги, говорю, к своим меньшевикам. У меня от этих ваших шикающих слов — меньшевик, большевик— голова тупеет, понимаешь, щелкни по ней сейчас — загудит, как казан. Меньшевик, большевик... Мне плевать на этих шиков, мне торговать надо, делать деньги, понял, вот мое занятие, а эти шики мне не дадут своим

ремеслом заниматься. Я не глупее тебя. А теперь иди домой и будь спокоен: я у себя и больше меня не заберут. Если, конечно, под моим забором не обнаружат избитого турка или белогвардейца.

Илдирим бросил взгляд на Османа, потом перевел его на сестру, повернулся и быстро пошел прочь.

— Почему ты ему нагрубил? — начала было жена, но Осман прервал ее:

— Помолчи, жена. Этот бездельник кроме как болтать ни на что не способен. Не хочу упрекать твоих родителей, я не вправе этого делать, но они не сумели воспитать и вырастить себе достойного наследника. Сколько ему уже, за тридцать или около, но он кроме болтовни, как я знаю, ни на что не способен. Лучше закрой плотно дверь, присядь поближе и послушай, что я тебе скажу. Насколько я уразумел, а меня пока моя голова не подводила, ни при большевиках, ни при меньшевиках нам так, как мы жили, не дадут уже. Большевики, что тебе о них сказать, это народ простой: голодный, обездоленный народ, который хочет уничтожить кабалу, нищету, невежество, неравенство, не потерпит, конечно, он и богатых. А мы с тобой относимся к ним. Конечно, не убьют нас, не пустят по миру, но попытаются поравнять с собой. Меньшевики, эти хитрее. Они нас в обиду не дадут, но сосать будут нашу кровь, как пиявки. Так что, как говорят в народе, в доме Ивана морозно, в доме Ахмеда горячо. И принял я решение уехать.

Жена всплеснула руками.

— Помолчи и слушай. Пока они здесь передерутся, нам надо отсидеться где-нибудь. А лучшего места, чем в Тавризе, нет. Велихан нас примет, в обиду не даст, это старый и верный мой кунак, да ты его помнишь. А кончится эта драчка, восстановится порядок, я надеюсь, старый порядок, единозаконие, вернемся в свой дом.

Осман замолчал. И тут жена запричитала:

— Несчастные, несчастные мы люди. Бросить свой дом, свою землю, могилы отцов и уйти на чужбину, и из-за чего... о Аллах, почему ты на все закрыл глаза, почему ты нас гонишь на чужбину, неужели ты не хочешь вернуть мир своей земле... О мои родители, что же происходит на земле...

— Перестань, жена, не изводи себя, плачем вчерашний день не вернешь. Прекрати, я тебе сказал.

Жена перестала причитать и только всхлипывала.

— Слушай меня внимательно. Вечером сшей несколько кожаных поясов, в которые можно заложить золотые монеты. Вели Аскеру помочь, он верен нам. Собери самое ценное и необходимое, слышишь, не казаны и тазы, а самое ценное и необходимое. Я все сказал, что хотел.

Осман встал и медленно вышел во двор. На душе было неясно и беспокойно. Конечно, срываться с насиженного места, уезжать с земли предков в неведомое было тяжело, ох как тяжело, но успокаивала мысль: а вдруг все образумится, вернутся старые добрые времена и все пойдет своим чередом. А вернутся ли? Сколько хребтов поломает это противоборство, пока кто-нибудь не возьмет власть... Нет, что тут думать и изводить себя, он решил: надо ехать.

Опускался вечер. На улицах и дворах беспокойно завывали собаки.

— Аскер! — требовательно позвал Осман.

— Здесь я, — послышалось из беседки и на дорожку выскочил верный слуга и работник.

— Аскер, разузнай, у кого можно купить три фаэтона и коней, да смотри, чтобы и те и другие были добрыми. Рассчитывай на долгую дорогу.

— Коней бы надо по паре в упряжке.

— А я тебе не говорю — по одному. Сегодня вечером постарайся купить. Завтра будем собираться в дорогу. Послезавтра с рассветом в путь. Ты как посоветуешь?

— Верно решил, ночью ехать нельзя, на дорогах кто только не шныряет: и чужие могут пристать, и свои, сейчас брат брата бьет, сын отца... А днем как-то безопасней...

— Так и решим. Предупреди Гасана, Садыка и Вели, чтобы лишнее не болтали своим приятелям и приятельницам.

Весь следующий день Осман с домочадцами и работниками собирались в дорогу. Дорогие одежды и ценности запихали в огромные саквояжи и уложили во второй фаэтон, мануфактуру, втиснутую в несколько сундуков, — в первый, ковры в третий фаэтон. На первых порах будет чем торговать — так мыслил Осман. На рассвете перед выездом он набил кожаные пояса золотыми монетами, обмотался ими несколько раз, велел то же самое сделать жене. Кроме того, в кармане

его брюк лежало письмо, любезно доставленное Илдиримом, которое разрешало беспрепятственно передвигаться по дорогам до Баку.

... Осман с плачущей женой и сыновьями вышел из дому, навесил на двери несколько больших замков, затем запер калитку, и все четверо сели в средний фаэтон, где их терпеливо поджидал Аскер. На переднем сидел один работник, на заднем — двое. У каждого за пазухой лежал револьвер, а у Аскера вдобавок под облучком был спрятан карабин.

— Все ставни закрыл на засов? — спросил Осман.

— Все.

— Подушки, оттоманки, утварь отнес старикам моей жены?

— Да, как велел.

— Сказал, что мы скоро вернемся?

— Конечно. Попросил присмотреть за домом.

— Ну, кажется, все, — Осман замолчал, потом тихо произнес: — Прощай, мой дом, моя земля... постараемся недолго быть на чужбине. Жди нас.

Жена всхлипнула, но Осман мягко положил ей на плечо руку, и она умолкла.

— Поехали, — проговорил он тихо.

— Трогай, — негромко крикнул Аскер тому, кто сидел на первом фаэтоне, и лошади, цокая копытами, тронулись с места.

Город еще спал. Небо только начинало светлеть. Когда фаэтоны выехали за Шуринские ворота, Осман встал, обернулся, долго глядел на крепость, длинную каменную стену, уходившую в сторону моря, на раскинувшиеся сады, и что-то сжало его горло. Он пересилил себя, сел и закрыл глаза, словно решил вздремнуть.

Сытые кони бежали резво. Дорога была безлюдна. Только с восходом солнца, когда на землю легли теплые золотистые лучи, появились арбы крестьян, да и тех было очень мало: боялись белогвардейцев или «красных фесок», охочих до чужого добра. В полдень сделали привал на обед, отъехав от дороги в рощицу. Сидя за скатерью, Осман обратил внимание, что Керим ест без охоты.

После обеда, трясясь в фаэтоне, Осман внимательно поглядывал на сына, который с трудом открывал слипающиеся веки.

— Что с тобой, сыночек, тебе нездоровится? — заволновалась мать, все еще находившаяся в горе и печа-

ли. — Положи голову мне на колени. Осман, он весь горит, Осман, он пропадет в пути...

— Молчи, жена, — хмуро произнес Осман и крикнул Аскеру: — Сверни с дороги, сделаем привал.

Остановились под развесистым дубом, у родника. Для мальчика расстелили ковер, под голову подложили маленькую подушку, накрыли буркой. Все сидели в замешательстве, глядя на него и не зная, что делать.

— Ему бы трав целебных, — проговорил со вздохом Аскер.

— Ты сведущ в травах? — с надеждой в голосе спросил Осман.

— Где там.

— Так, может, из местных кто разбирается в травах? Аскер, сходи в селение, узнай, кто лечит травами. Обещай хорошо заплатить. А еще лучше — попроси его прийти сюда.

Аскер вернулся к вечеру. Рядом с ним шел пожилой крестьянин. Он был бедно одет, небрит. Крестьянин приветствовал их, подошел к Кериму, присел, приложил руку ко лбу, потом коснулся его губами.

— Я вижу, вы собрались в дальнюю дорогу, мальчика нельзя брать с собой.

— Почему нельзя? — вдруг закричала жена Османа. — Я не могу его бросить... Аллах, за что ты нас так сурово караешь, чем мы провинились перед тобой, мальчик мой, никому я тебя не отдам...

Осман обнял ее за плечи, привлек к себе, успокоил, а про себя подумал: не дай бог, если с ней случится истерика.

— Объясни, земляк, почему нельзя? — спросил Осман.

— Кажется мне, у него горячка или лихорадка.

— Откуда тебе знать?

— Я лечил таких.

— Ну так вылечи. На награду не поскуплюсь.

Крестьянин усмехнулся:

— Думаешь, раз-два выпил настой из трав и уже встал на ноги? Быстрый. Недели пройдут. Но вылечить можно. А в дороге пропадет мальчик...

Осман посмотрел ему в глаза и почему-то поверил. Снова заголосила жена.

— Замолчи, — взорвался Осман. — Ты чего хочешь, чтоб мы его похоронили в дороге? Или видеть живого? Замолчи, говорю. И оставаться мы не можем долго, —

произнес он тихо, словно про себя. — Послушай, земляк, может, ты возьмешь его в свой дом, — с надеждой в голосе сказал Осман, — вылечишь, денег я оставлю тебе сколько надо, а потом отправишь в Дербент. Сделай благородное дело, прошу тебя как человек человека...

— Жалко мальчика, — проговорил крестьянин. — Надо взять к себе. Так к кому его отправить?

Осман задумался: к кому? К родителям жены? Но их крестьянин не знает и в городе не все знают. Джамал... Османа от неожиданной мысли даже бросило в пот. Джамал... А почему бы и нет. В дом этого бедняка? О Аллах, о чем я думаю: не у Джамала же моему сыну жить. Джамал отведет его к Илдириму. Это уже родная кровь как-никак.

— Джамала знаешь? Джамала из Дербента.

— Порасспрошу, найду, — сказал крестьянин. — Впрочем, что-то я о нем, по-моему, слышал.

— Ну это уже лучше, — обрадовался Осман, и ему показалось, будто камень свалился с плеч. — Это хорошо, что слышал. Значит, найдешь.

— Найду и здоровым передам ему мальчика. Если решились, собирайтесь, поедем в селение, как-нибудь переночуете у меня, кто в доме, кто на сеновале, а кто в фаэтонах. У меня, не обессудьте, ни комнат нет, ни матрацев, ни одеял.

— Как называется селение? — спросил Осман, уже трясясь в фаэтоне. Крестьянин сидел рядом с Аскером.

— Магарамкент.

Крестьянин не обманул Османа. У него не оказалось ни лишних комнат, ни лишней постели. Под одним густо залатанным одеялом спали шестеро детей. При виде незнакомых мужчин и женщины жена крестьянина зажгла свечу, вызвала мужа в другую комнату, долго шепталась, потом пригласила их и расстелила постель, которую держали для гостей. Остальные заночевали в фаэтонах.

Проснувшись рано утром, Осман с женой подошли к сыну, спавшему под буркой. Осман осторожно разбудил его:

— Как ты себя чувствуешь, сынок? — спросил он тихо.

— Ничего, папа.

— Сынок, послушай меня. Мы уезжаем, оставляем тебя у этого доброго человека, который тебя вылечит.

Делай все, что он будет говорить. Как вылечишься, он отвезет тебя в Дербент, к дяде Илдириму. Понял, сынок?

— Понял, папа. Но я хочу ехать с вами. Как я буду без вас... — голос его сорвался.

— Ты болеешь, сынок, дорогу не осилишь... я хочу, чтобы ты был жив и здоров. Придет время, мы опять будем вместе.

— Хорошо, папа.

Горло Османа перехватило, он переборол себя, тихо обратился к жене:

— Едем. С Керимом все будет хорошо.

Жена стояла не шелохнувшись. Осман взял ее под руку и повел во двор: она шла как в тумане.

Крестьянин успел уже напоить и накормить коней и смотрел, как гости собираются в дорогу. Осман протянул ему мешочек с золотыми монетами и тихо проговорил:

— Прошу тебя, убереги его, вылечи и убереги...

— Будь спокоен, брат. Все будет хорошо.

Вскоре фаэтоны выехали со двора.

Керим, приподнявшись, вздрагивая от рыданий, долго смотрел в низкое окно вслед уходящим фаэтонам, пока они не скрылись вдали.

13

Отряд белых вышел к Ашага-Гапы [1] гурьбой. Видно было, они торопились, и подгонял их страх быть захваченными.

Дорога уже гулко гудела от офицерских и солдатских сапог, когда воздух прорезал крик «Азади» [2].

В мгновение ока смешалось все.

Джамал бросился на смуглого мужчину, подмял его под себя, потом схватил за грудки. Но тот оказался напористым, а может, злость придала ему силы, только он обхватил Джамала за шею, и оба покатились по пыльной дороге. Джамал умудрился ударить его коленом в пах. Тот охнул и обмяк. Джамал взялся за рукоять кинжала, вытащил его из ножен, но тут противник вдруг истошно и жалобно закричал:

[1] Южные ворота.

[2] Азади — свобода.

— Земляк, побойся Аллаха, что ты делаешь? Наши отцы и деды родились и умерли на этой земле, а мы пускаем друг другу кровь. Земляк, опомнись...

Рука Джамала с обнаженным кинжалом застыла в воздухе.

— Кто ты?

— Дербентец я, Илдирим, ты меня должен знать. Деверь Османа я...

— Какого Османа...

— Купца Османа...

— Что же ты, поганец, с белыми, или отец для того тебя родил, стал врагом своего народа?

— Я не враг вам, нет... поверь, просто я хотел уйти с ними, чтобы не мешать вам, нет, что я говорю, чтобы найти сестру, Османа... поверь.

И этому ублюдку Осман хочет отдать своего сына, подумал вдруг Джамал, глядя в широко раскрытые, испуганные глаза Илдирима. Чему он может научить Керима, если сам лишен и чести, и мужества. Вот лежит, распластался как червь подо мной... И он должен был стать воспитателем Керима! Тьфу. Да я ему и не заикнусь, что мальчик у меня, в моей семье. Пропадай сам, ублюдок, в какой желаешь стороне, но мальчика погубить я тебе не дам. А страху-то в твоих глазах, страху-то! Как же ты думаешь прожить остаток своих лет, ты, червь...

Джамал встряхнул Илдирима за грудки, отбросил от себя и тихо произнес:

— Благодари Аллаха, что ты деверь Османа. Из уважения к нему, слышишь, только из уважения к нему отпускаю тебя. Сгинь, чтобы я не видел и тени твоей.

Джамал вскочил и с обнаженным кинжалом в руке бросился в гущу боя.

14

Джамал опустился на истертый и выцветший палас, бросил взгляд на суфре и, потирая руки, произнес:

— Покорми, мать, вкусно и сытно...

Жена бросила на белое суфре несколько плоских сухих лавашей, принесла сыр, налила в глиняные кружки кислое молоко. Она вышла и вскоре зашла, неся

осторожно большую сковороду, на которой еще продолжало жариться в масле жаркое из коровьих кишок, печени и легких. Потом на суфре появились арбуз, дыня и виноград.

Сыновья сели, как всегда, по обе стороны от отца, напротив расположились жена и Керим. Керим сидел насупившись, отвернувшись от суфре. Джамал бросил на него мимолетный взгляд, отломил кусок лаваша, опустил его в сковороду и, пропитав жиром, поднес ко рту.

— Только наша мать может готовить такие вкусные блюда.

— Это твоя новая власть продает нам такие продукты.

— Ты так не шути, жена, — нахмурился Джамал.— Сейчас всей стране тяжело. И прошу тебя, при людях эти глупые слова не произноси. Опозоришь имя Джамала на весь Дербент.

— Не такая уж я дура...

— Керим, а ты почему не ешь? Не нравится? Может, голова болит? Не болит? Так чего ты ждешь? Когда в сковороде останется запах жаркого? Ну-ка, ломай лаваш и ешь, мужчина должен есть, чтобы иметь силу.

Керим нехотя стал есть.

— Ты живешь у меня потому, что так велел твой отец. Хороший он был человек, Осман. Хотя и не ходили мы друг к другу, куда уж нам ходить, я бедняк, он купец, но относились с уважением. Скажу тебе от сердца, человек он был с намусом. Но вот уехал зря, этого я не одобряю. Как можно уйти с той земли, где родились твои предки, твой отец, давший тебе жизнь, где живет твой народ, который обучил тебя своему языку. Нет, этого я не понимаю. Я расскажу тебе, мальчик, сокровенное, о котором никто из моей семьи, кроме жены, не знает. В пору моей юности приглянулась мне одна турчаночка, гостившая в Дербенте. Прелестная, нежная, глаз не оторвать. Но и сладкий сон имеет конец. Однажды она уехала. Как потом я узнал, в Истамбул. Я места себе не находил. И в один из безрадостных для меня дней, ни слова не сказав родителям, ушел я из дома. Пошел пешком в Истамбул. Не буду тебе рассказывать, как я шел. Путь мой был долог и не так весел, как я думал. На пропитание зарабатывал случайной работой. Но дошел. Только вот радости никакой не испытал. И не потому, что не нашел своей красавицы, да разве ее в таком огромном городе, как Истамбул, сыщешь. Не потому. Мне вдруг стало не хватать запахов моих пыльных улиц, моих накаленных солнцем камней крепостных стен, моего неказистого дерева, ладоней моей мамы, от которых всегда пахло теплым лавашем и сыром... Ничто не могло убить во мне эти запахи: ни шум истамбульских улиц, ни его минареты и мечети, ни его каштаны, потрескивавшие на жаровнях... И я вернулся. И, подойдя к Ашага-Гапу, опустился на колени и глубоко вдохнул запах дороги, а потом обнял нагретые камни крепостной стены... Земля велика, стран и народов множество, а родина у человека одна и язык один.

Тоска по родителям бывает тяжела и мучительна, но по родине — во сто крат мучительней. Я бы ни за какое золото мира не покинул бы свой город, который облазил на четвереньках, обежал мальчишкой, обошел уже взрослым и изучил все его голоса и шорохи, испил студеную воду из родника Шейх-Салаха, собирал инжир и виноград, пусть даже с чужих садов и плантаций... Поверь мне, мальчик, я ни за какое золото мира не отдам это жаркое, даже его запах.

Ешь, Керим, и помни мои слова, ты уже большой мальчик. А я хочу тебе добра. Хочу, чтобы этот город оставался как и прежде твоим.

15

Вторую половину дня я посвятил нашей совместной прогулке по Парижу. Была середина сентября, когда небо становилось густого синего цвета, а солнце ласкало и нежило, постепенно наливаясь соком, чтобы потом поджечь горизонт и сверкающие стекла домов. Париж был великолепен. Может быть, ты преднамеренно вывел меня на улицу в этот час, чтобы я влюбился в город? А не влюбиться было нельзя. Бульвары купались в золоте солнца, окна зеленых мансард начинали полыхать огнем, а белые ажурные балконы, опоясывающие этажи домов, бросали длинные тени, и казалось, что огромные здания стоят в переплетении кружев.

Эйфелева башня вблизи мне не понравилась; я стоял под ней и недоуменно глядел на это хаотичное переплетение грубого металла, но поднявшись в стоместном лифте на третью смотровую площадку, был приятно

поражен панорамой Парижа! Ты что-то мне говорил, но я не слышал тебя. Я просто смотрел на Париж, выискивая знакомые мне улицы, бульвары, соборы... Я наслаждался простором, красотой и покоем города.

Потом мы праздно шли по просторным улицам и вышли к дому-музею Родена. Ты пригласил меня посетить музей.

Затем ты повел меня в Тюильри посмотреть на прелестных дев. Идти сквозь эти ряды под насмешливыми взглядами было испытанием не из легких, но я прошел, ловя твою усмешку.

День отгорал, небо было в розовых полосах и пятнах, когда мы вышли на Елисейские поля. Я понимал, я чувствовал твое желание раскрыть передо мною каждую страницу этой многовековой книги под названием Париж.

Ты взял такси, и машина помчала нас в неведомую мне сторону. Наконец такси остановилось у входа в кабаре. Здесь будет небезынтересно, сказал ты, это музыкально-литературное кабаре «Ловкий заяц». Быть в Париже и не посетить «Ловкого зайца» на Монмартре нельзя.

Ты и на сей раз оказался прав. Было поистине интересно: мы слушали музыку, смотрели канкан, пили кофе с коньяком, к нам подсели миленькие девушки, которых ты подозвал незаметно взглядом, но так же незаметно, после какого-то танца, я вышел из кабаре и ступил в темноту узких улиц. Я шел по каменной мостовой и чувствовал на себе взгляды девиц, стоящих вдоль глухих каменных стен, источавших сырость.

16

Джамал проснулся до первых петухов. Он лежал, глядя на гаснущие звезды, потом встал, обул истоптанные чарыки, прошелся по веранде из угла в угол и, как был в нижнем белье, вышел во двор.

Было прохладно и сыро. Октябрь доживал последние дни.

Джамал медленно прошел до калитки, бесстрастно глядя на фруктовые деревья, теснившие небольшой двор, потом вернулся и присел у летней кухоньки на колченогую грубо сколоченную скамью.

Теперь бы жить и жить, сады закладывать, сыновей

растить, а я старею, безропотно сказал он про себя и провел ладонью по бритой голове. Пятьдесят лет прожито, целая жизнь человека. А что я видел, что нажил? Если бы родиться вновь...

Джамал улыбнулся, хмыкнул и несколько раз ударил согнутыми костлявыми пальцами по груди: гулко. На здоровье обижаться не следует, подумал он, крепок еще, да и бритая голова молодит меня. Что это я стал расхваливать себя, как старая дева? Не дай бог, мои мысли узнают люди.

Джамал встал и направился к веранде, увешанной тяжелыми гроздьями винограда, связанными суровой ниткой. А все-таки жить хочется долго, сказал он себе, время-то настало какое! Работай, прояви себя — и ты в почете и уважаем. Не хочешь — через силу засучишь рукава рубахи, закатаешь штаны и побежишь за этими молокососами, сломя голову... Вон какой канал вырыли лопатой, киркой и ломом, не канал, а настоящее русло реки. Пыль глотали, комаров кормили, в грязи скользили и ползали, солнцем и потом пропитались, а строили. И пошла вода. И зацветут сады, заколосятся хлеба на радость детям нашим. Время-то какое настало.

Джамал поднялся на веранду, сорвал крупную ягоду с увесистой грозди черного винограда, отправил в рот. Он закрыл от удовольствия глаза и покачал головой: сладок, как наша жизнь.

Мысли его прервал истошный крик соседского петуха. Взлетев на гребень забора, он неистово кукарекал, багровея от натуги. Джамал сорвал ягоду, запустил ею в петуха. Тот захлопал крыльями и, продолжая кукарекать, слетел к себе во двор.

— Время мне напоминает, горлопан, — пробурчал беззлобно Джамал, — я и без твоего крика свое время знаю. Тоже мне, страж времени.

Джамал сбросил с ног чарыки, босой осторожно вошел в комнату и открыл ставни окна. На полу, на широком матраце, укрытые одним одеялом, латаным и перелатанным, спали трое мальчишек. Симон лежал на спине, подтянув одеяло под подбородок, Керим, упершись ногами ему в бок, наполовину вылез наружу, Гаврил свернулся калачиком в ногах Симона. Эх, дети, усмехнулся Джамал, надо же так куролесить во сне.

— Вставайте, мои мальчики, вставайте, — сказал он вслух бодро, но не громко, чтобы не испугать ребят.— Вставайте, вас ждет школа.

Симон открыл глаза сразу, будто и не спал. Керим долго ворочался, потом долго протирал глаза, пока не сел, скрестив под собой ноги. Гаврил продолжал посапывать.

— Вас ждет школа, — повторил Джамал, — выйдите во двор, умойтесь под краном, вода освежит и ободрит вас.

Мальчишки вышли во двор, а вскоре тишину утра нарушили крики и визг: Симон мылся под краном и брызгал водой на Керима.

— Жена, что ты замешкалась, — крикнул Джамал с веранды, обратившись в сторону летней кухни, — детям в школу пора.

— Не шуми, старик, детям в школу пора, — беззлобно передразнила жена, — не с петухом надо было сражаться ни свет ни заря, а разжечь огонь в куруге [1].

— Мужчинам — мужское дело, женщинам — женское.

— Если мужчины побьют всех петухов, что станется с бедными курочками... Да и людей обречете на голод.

— Что ты сказала?

— Яиц лишитесь.

— Договорились, — Джамал улыбнулся и спустился к крану. — Идите завтракать. Женщину хлебом не корми, только дай ей возможность развязать язык...

Позавтракав, мальчики подхватили свои сумки и вышли со двора. Школа находилась в верхнем магале, и дорога к ней проходила мимо дома, в котором еще недавно жила семья Османа.

Поравнявшись с калиткой, Керим невольно остановился, приоткрыл ее и заглянул во двор. Здесь все было, как при отце. Только напротив беседки, по другую сторону от дорожки, появилась еще одна, да звонкие детские голоса, смех и плачь слышались во всем доме.

Керим обвел взглядом двор. Вот старое, большое тутовое дерево, под которым он собирал крупные мясистые сочные ягоды, вот вишенка, а вот яблоня, на ней и сейчас краснеют яблоки, вон на верхних ветках, куда не добрались руки, а вот и виноградник, но уже без тяжелых гроздьев — съели... К горлу подкатил комок, на глаза навернулись слезы.

[1] Куруг — сложенная из кирпичей печь, в которой пекут чурек или лаваш.

— Что ты тут высматриваешь? — за плечом раздался голос Симона.

Керим вздрогнул, тяжело вздохнул, опустил голову.

— Жалко стало, что дети едят? Они же сиротки. Ни отца у них, ни матери. Погибли за революцию. Пусть уж хоть фруктов наедятся.

— Пусть едят, мне не жалко, — пробурчал Керим.

— А чего ты сопли распустил?

— Наш дом...

— Был, — отрезал Симон.

— И остался бы нашим, — продолжал Керим, — если бы дядя Джамал согласился перейти в него. Давали же вам полдома?

— Да, давали.

— Чего ж не пошли? Не на глиняном полу спали бы сейчас, не в фанерном туалете сидели бы, облепленном мухами.

— Мой отец на чужое добро не зарится. Мы этот дом не строили, и ни к чему он нам. А вот сироткам нужен: у них никого на всем белом свете не осталось, пусть хоть этот дом и сад радость им доставят.

Симон повернулся и пошел скорым шагом, бросив через плечо.

— Так и мой отец сказал.

Джамал долго смотрел мальчикам вслед, стоял у полуразвалившихся ворот, потом пошел по двору, покачивая головой и размышляя: конечно, тяжко Кериму свыкнуться с нашей бедностью, что тут и говорить, семья жила в достатке, широко, не стесняя себя ни в чем, и вдруг ни семьи, ни достатка... Семью он постепенно забывает, годы камень обтачивают, не только чувства человека, но вот достаток... Ах, Керим, Керим, жалко мне тебя по-человечески, уж лучше бы ты не заболел, а уехал с отцом и братом, как бы то ни было и на чужбине был бы рядом с единокровными, и радость делил бы, и горе. А здесь все для тебя ново. Мы к этой жизни рвались, боролись за нее, головы сложили, детей сиротами оставили, а ты жил в достатке, рос хозяином. Кого винить в твоей судьбе? Винить-то и некого. Ах, Керим, Керим, как тяжело вырастить тебя таким, чтобы ты продолжал любить землю своих предков, и вырастить тебя таким я должен.

Джамал подошел к неказистым воротам, сколоченным из фанерных отходов, долго смотрел на них и вдруг с силой пнул их ногой.

— Вай, кто там рушит наше добро, вай...

— Не кричи, жена, это я, — подал голос Джамал.

— Ты что, старик, рехнулся, свой дом рушишь?

— Ха, ха,— Джамал засмеялся. — Новый буду строить, жена. Новые поставлю ворота и сад разведу. Вот тут, вдоль стены, отделяющей меня от соседа, посажу гранаты, инжир, миндаль.

— Я только и слышу от тебя: сделаю, посажу. Одни праздные слова, а дел ни на шои [1].

— Ах, ты так заговорила, ну-ка неси сюда топор, ножовку, молоток, гвозди, в кухне лежат, в ящике, неси, неси, а я доски перенесу, я тебе докажу, способен я еще работать на шои или нет.

Джамал принялся за дело. Спустя полчаса он строгал доски и сколачивал их, обнажившись по пояс.

Когда мальчики вернулись из школы, они не поверили своим глазам. Отец работал в поте лица.

— Чего глазеете, как совы, — шутливо прикрикнул на них Джамал. — Идите обедать и бегом ко мне. Будем ставить новые ворота.

Уже в сумерках, когда ворота были насажены на петли, во двор вошел Петр. Он крепко обнялся с Джамалом, потом отстранился, шутливо спросил:

— Что ты дышишь, как загнанный мерин?

— И не спрашивай, брат, целый день старую жизнь ломаю.

Петр уперся взглядом в Джамала, ничего не понимая.

— Ну как ты не замечаешь, брат, новые ворота...

И обменявшись взглядами, они вдруг весело и звонко рассмеялись.

Проводив Петра в комнату, Джамал с мальчиками прибрал двор, умылся, потом все вместе сели ужинать.

— Вот ты сегодня организовал строительство у себя во дворе, а мы задумали крупное строительство за городом, — Петр отставил стакан и откинулся на подушку.—Завод будем строить. Стекольный. По нашим подсчетам выходит, что он будет самым крупным в России. И первым.

— Это хорошо, — сказал Джамал, потягивая из стакана горячий напиток.

— Хорошо-то хорошо, да вот людей не хватает. Рабочие руки нужны.

[1] Шои — пять копеек.

— Какой разговор, — Джамал отодвинул стакан.— Я наберу людей.

— Нет, этого мало.

— Как мало? Ты же не знаешь, сколько я наберу?

— Мало, Джамал. Нужны каменщики, хорошие первоклассные мастера, плотники, разнорабочие. Тысячи мастеров. Где мы их найдем? В Армении, в Центральной России...

— Значит, ехать надо, искать.

— То-то, искать. Наш край мало кто знает, и сам посуди, с насиженных мест не так-то легко снимается мужик.

— Значит, ехать надо, — повторил Джамал.

— Да, вот я и подумал: а не поможет ли нам в этом деле Джамал. Он с простым людом находит общий язык, душу его знает, мысли читает... Посылаем мы не одного тебя, ехать надо в разные края. А ты нам помог бы в этом важном деле. Подумай. И новые края повидаешь, и с новыми людьми наговоришься, а то Дербент да Дербент, за стенами города ничего и не видел.

Джамал усмехнулся. Петр заметил его усмешку, добавил:

— Это я так, образно. А поглядеть на Россию было бы интересно.

— Подумать надо, — коротко сказал Джамал. — Хватит об этом. Давайте-ка лучше есть. Где твое говурме [1], жена?

— Несу, несу, — донесся голос из кухни.

Но прежде, чем зашла хозяйка, по комнате разлился вкусный аромат восточного блюда.

17

Фаэтоны вырвались, наконец, из грязных и шумных окраин Тавриза и покатились по респектабельной тенистой улице, застроенной особняками.

Фаэтон, в котором сидел Осман с женой и сыном, катил первым. Здесь, в Тавризе, Осман мог позволить себе не бояться нападений и вылазок бандитов.

Было далеко за полдень. Но солнце, словно присохший желток на раскаленной сковороде, источало жар. На узких улочках, заселенных ремесленниками и бед-

[1] Говурме — жаркое.

нотой, оно раскалило стены ветхих домов, однако здесь, на булыжной мостовой, политой водой, под широкими кронами деревьев было довольно прохладно.

Осман велел Аскеру остановить лошадей у высокого двухэтажного дома с колоннами и крутыми ступеньками и, спрыгнув с фаэтона, подошел было уже к ручке колокольчика, повисшей на чугунной калитке, когда на балкон вышел дородный мужчина в голубом халате, расшитом золотом. Увидев Османа, он сделал удивленно-радостное лицо, возвел руки к небу и громко воскликнул:

— Сам Аллах прислал мне тебя, друг мой. Мой дом — твое владение, твоя крепость, прими лошадей, Пирвели, — крикнул он слуге, — помоги гостям.

Он споро спустился вниз, обнял Османа, низким поклоном и словами «моя добрейшая ханум» приветствовал жену Османа, привлек к себе Назыма и повел их в гостиную. Уже переступив порог гостиной, он вдруг хлопнул мясистой ладонью себя по лбу:

— Я ошалел при виде вас. Вместо того, чтобы дать вам возможность после долгой дороги помыться и отдохнуть, потащил на праздную беседу. Ну, не дурной я, что ты скажешь, Осман... Ха-ха-ха... Простите меня, брат и сестра, идите, располагайтесь, как у себя, отдыхайте. Для бесед времени у нас будет много.

Полчаса спустя, умывшись и приведя себя в порядок, Осман вышел на балкон, удобно расположился в плетеном кресле-качалке и тихо проговорил:

— Вот такие дела, брат Велихан, еще несколько дней назад у меня был свой дом, свой город, свои деревья, свои прохладные аллеи в саду. Сегодня у меня три фаэтона, шесть лошадей и небо над головой.

— Увидев твой обоз, я сразу догадался, что произошло, — сказал Велихан, отирая платком бритую голову, — но при ханум не стал ни о чем спрашивать.

Велихан задумался, потом произнес:

— Неужели то, что они затеяли, серьезно? — и не дожидаясь ответа, продолжал: — Откуда у этой голытьбы столько ума, решимости, ненависти к жизни... Жили же веками отцы, деды и не роптали, а этим подавай свободу, равенство, братство. Тьфу. Придумали слова, а теперь в них вдыхают жизнь свою. Надолго они, Осман? — вдруг резко спросил Велихан.

Осман пожал плечами.

— Вот, вот. Вы там дали им волю, вот они и взбрыкнулись. И кто отвечать перед Аллахом за весь этот тахта-базар будет? И куда мы с тобой денемся... Ты на меня, брат, не обижайся, это я так, философствую, а честно говоря, не скрою от тебя, не дай Аллах нашей голытьбе замутить ум: все собъет, разрушит. Подумать страшно.

Велихан замолчал, разгладил ладонью длинные пышные усы, и в это время со двора раздался голос:

— Хозяин, а хозяин.

Он удивленно округлил большие глаза, но тут Осман встал из кресла, подошел к перилам и глянул вниз.

— Что случилось?

— Хозяин, прости нас и не сердись, не держи на нас зла. Мы решили покинуть тебя.

— Расстаться с тобой, — уточнил другой. — Верой и правдой служили тебе, не обессудь, сейчас решили завести семьи, заняться делом, пока молоды.

— Ну что ж, воля ваша. Вам спасибо за службу, работали вы у меня исправно. Передайте Аскеру, чтобы выплатил вам; куда вы пойдете на ночь глядя, переночуйте, завтра уйдете.

— Спасибо за великодушие, хозяин.

Когда работники ушли, Велихан непонимающе взглянул на Османа и удивленно спросил:

— И ты их отпускаешь?

— А что мне с ними делать? Они же не рабы мои.

— Я бы не отпустил. И пикнуть бы не смели. Ну и мягкотел ты, друг мой. Ну ладно, дело твое. Пойдем-ка ужинать и спать.

Утром Османа осторожно разбудил Аскер. Осман сел на постели и тихо, почти шепотом, пристально глядя в бледное лицо старика, спросил:

— Что еще стряслось?

— Коней угнали... — прошептал Аскер.

— Каких еще коней? Кто угнал?

— Гасан и Садык, ты их отпустил, а они и коней угнали. Двух коней...

— Этого еще не хватало, — Осман замолчал, потом прошептал: — Никому не говори об угоне. Сделай так, чтобы Велихан не узнал, ну дай его работникам по несколько монет, сам знаешь, как поступать.

— Может, все-таки разыскать их и как следует наказать за воровство? Тут умеют наказывать, — Аскер зло хихикнул, — отсекут кисть руки или ухо...

— Что ты, что ты, побойся Аллаха, — Осман встал,

прошелся по комнате. — Из-за каких-то кляч... Никому об угоне, слышишь, не позорь меня перед Велиханом. Он достаточно насмехается над нами, а тут еще угон кляч... Ни в коем случае, ты меня понял?

— Как знаешь, воля твоя.

— Ты лучше займись поиском небольшого и недорогого дома, где можно открыть и лавку. Поживем, приглядимся, прислушаемся, что происходит в дорогом сердцу городе Дербенте, может, скоро придется возвращаться... как знать...

— Да услышит Аллах твои слова, — Аскер поднял глаза к потолку, затем опустил голову и произнес: — В мои годы жить на чужбине, вдали от камней моих предков — горше смерти.

— Ну хватит, не береди рану сердца, иди, — Осман отвернулся к окну, чтобы скрыть свое волнение.

Через несколько дней, благодаря поискам Аскера и большому коммерческому опыту Велихана, Осман купил небольшой старенький особняк за сносную сумму, сделал ремонт и поселился в нем. Жена тут же занялась хозяйством, сын Назым облюбовал запущенный сад, а Осман с двумя работниками принялся за обустройство лавки. Неделю спустя его лавку посетил первый клиент — Велихан. Он бросил взгляд на шерстяной палас табасаранских мастериц и, подмигнув Осману, громко воскликнул:

— Прекрасная вещица. И вообще, твоя лавка полна прекрасных вещей.

Выйдя вслед за работником, который нес покупку, перекинув через плечо, Велихан продолжал восклицать на всю улицу:

— Мои глаза увидели в лавке Османа то, чего не увидели у других. Верно говорят, Кавказ богат умельцами и мастерами...

После Велихана в лавку зашел сосед, служащий полицейского управления. Он долго приценивался к кубачинским кинжалам и, наконец решившись, выбрал себе один, попросив в долг. Прошло несколько дней, и клиентура достигла такой цифры, что Осман стал спокоен за существование и жизнедеятельность своего небольшого предприятия.

Теперь у него был дом, лавка, приятель, с которым он вечерами пил чай, играл в нарды и вел длинные разговоры о том, что происходит на Кавказе, в России, предсказывал исход борьбы, конечно, желаемое выдавая за действительное, а на душе не было ни покоя, ни радости. По ночам ему все чаще и чаще стал сниться Керим, покинутый дом, могилы родных с каменными, иссеченными временем, ветром, солнцем и дождями плитами, исписанными вязью... Но чаще всего Осман думал о сыне.—Как там мальчик?—спрашивал он себя и себе же отвечал:—Наверное, Джамал давно передал его Илдириму. Джамал человек честный, добропорядочный, верю ему. А вот Илдирим... Хоть бы дал знать о себе, а то живем в неведении. Бедный мой мальчик, если бы злая судьба не разлучила, был бы сейчас с нами, и печаль моя не была бы так мрачна, и взор мой не был бы устремлен на дорогу, и слух мой не искал бы твоего голоса, бедный мой мальчик...

Как-то ночью, мучаясь бессонницей, он впервые за последние месяцы, вернее, со времени приезда, обратился к жене.

— Спишь? — коротко и тихо окликнул он ее.

— Я давно забыла, когда спала. Дремлю, просыпаюсь... Только закрою глаза, как она протягивает руки и зовет к себе...

— Кто она?

— Земля наша... — жена тихо всхлипнула. — На какую муку мы обрекли себя. То за мной бегут могильные плиты, и я с криком просыпаюсь, ты не слышал моего крика?

— Нет.

— Значит, я кричу во сне. То меня ищет мой Керим, то на меня обрушивает свои камни Нарын-кала... Не знаю, как я не сошла еще с ума.

— Потеряли мы землю отцов, — проговорил Осман. — Я думал привыкну к другой земле, переборю себя, переломаю... не получается. Запах не тот, и цвет не тот... Кричит ее голос во мне, душу раздирает. Хожу по улочкам Тавриза, а перед глазами — мои магалы, слышу зов муэдзина, а перед взором Джума-мечеть, пью воду, а пытаюсь вспомнить вкус родниковой воды Шейх-Салаха, а мое море... Какую же силу надо иметь, чтобы не отчаяться и не...

Осман не договорил, но жена поняла и твердо произнесла:

— И думать не смей. У нас дети, их надо на ноги поставить. — Она замолчала, опять тихо всхлипнула.— Помнишь, как я тебя просила, умоляла не уезжать, да разве вы, мужчины, послушаетесь когда-нибудь женщи-

ну? Сидели бы сейчас в своем доме, в городе отцов и дедов, а здесь... кому мы здесь нужны, что нам здесь дорого?

— Кто знает, как бы мы сейчас там жили? — с сомнением сказал Осман.

— Жили бы не хуже остальных. Женское сердце тоньше чувствует. Да ладно, не мучай себя и меня, постарайся уснуть. Кто знает, может, нам еще улыбнется счастье и мы вернемся на родину. Кто знает...

Они проговорили до рассвета и следующую ночь, и еще одну, и еще... Успокоение не приходило.

Однажды на закате дня, когда шум улицы стал утихать, а жара спадать, к Осману, сидевшему у широких дверей лавки, подошел Аскер. Он прислонился к косяку, покашлял в ладонь, потом тихо произнес:

— Не омрачай сердце думами. Так и здоровье подорвешь свое, а на твоих плечах семья...

Осман взглянул на него, но ничего не ответил.

— Тебе надо уехать подальше... — Аскер опять покашлял. — Подальше, куда не доходят ветры родной земли, ее запахи... Подальше...

— Я думаю об этом, — проговорил Осман. — Ты говоришь, Багдад, Истамбул. Но ведь там такая же нищета, как и здесь. Ты посмотри на этих несчастных, живущих на грязных окраинах, пропитавшихся зловонием и пылью. На теле лохмотья, в глазах — молчаливый крик о хлебе. Разве на них можно глядеть без состраданья?

— А разве у нас не так было? — усмехнулся Аскер.

— У нас? Там? Нет, не так. До такой степени может докатиться только безвольное существо. У нас люди были не безвольны.

— По их милости мы и оказались здесь.

Осман бросил взгляд на Аскера, но не стал спорить с ним. Несколько минут он молчал, потом медленно проговорил:

— Вот, может, во Францию податься?

— Во Францию? — протянул Аскер.

— А чем она тебя пугает? Ты же предлагаешь дальше от ветра, запахов родной земли. Вот и я подумал о Франции. Чем она тебе не нравится?

— А почему она должна мне нравиться? — удивился Аскер.

— Вот именно, приложим все свое умение и жизненный опыт, чтобы она нам понравилась.

На улице показались Велихан и начальник городской полиции, весело беседовавший с купцом и широко жестикулировавший.

— Опять спешит за очередной порцией золотых монет, — подумал Осман и зло сплюнул, — тьфу ты, пакостник. Каждый месяц заходит за своей долей, пиявка, тьфу. А я-то, глупый, думал, что здесь пиявки к нам не присосутся.

— На стакан чая можно к тебе? — широко разведя руки и улыбаясь, нараспев протянул Велихан.

— И на чай можно, — ответил Осман и свесил в поклоне голову перед начальником городской полиции.

18

В разные концы страны разъехались посланцы Дербента в поисках искусных мастеровых. Джамал поехал в Армению. Он рассчитывал, что людей этого горного края не придется упрашивать ехать на стройку. Кто из бедняков не согласится, думал он про себя, покинуть безжизненные горы ради хорошего заработка. Джамал еще крепче уверился в своем мнении, когда проезжал по безжизненным степям Азербайджана. Он глядел из окна вагона на потрескавшуюся, иссохшую и выжженную горячим солнцем и выскобленную ветрами землю и горько сокрушался о судьбе людей, которые пытались зажить в этих богом забытых местах. В степи вдруг появлялись несколько чахлых деревьев, низкие глинобитные домики, колодец. Небольшие огороды, пропеченные солнцем, и нефтекачки. На жалостливый, протяжный гудок паровоза из домиков выбегали ребятишки и махали ручонками вслед уходившим вагонам. И жалкий оазис удалялся, а вскоре и исчезал в знойном мареве как привидение, как мираж.

Тяжела доля человеческая, думал Джамал, а там, в горах Армении, где вокруг голые камни, как рассказывают старики, во сто крат тяжелей. Разве сравнить их с нашими горами, покрытыми лесами, кустарниками, альпийскими лугами.

Как обескуражен, поражен был Джамал, когда столкнулся с упорным нежеланием жителей гор покинуть родные места. Селения, в которые он заходил, были как две капли воды похожи друг на друга: каменные домики, каменные заборы, каменные завалинки,

камнем мощенные улочки, дворы выложены камнем. Везде, куда ни бросишь взгляд, камень, нагретый солнцем и источавший тепло. И ни деревца, ни кустарника. А люди и не помышляли покидать эти места.

Глубоко запал в душу Джамала разговор на закате дня в селении Аревик. Удобно расположившись на теплой завалинке, мужчины вели непринужденную беседу. Говорили о новой жизни, о новых стройках, а потом громко вздохнул белобородый столетний Ованес.

— Эти горы, — он поднял тяжелую суковатую палку и стал тыкать ею в сторону возвышавшихся вокруг селения скал, — наш дом. Отчий дом. Их могли покинуть прадеды наши, деды, отцы, мы... Ведь сколько пришлось испытать... Но сидим, не уходим. Здесь — прах наших предков, наша история, наша судьба. Они, вот эти суровые, безмолвные горы, дали нам ремесло. Мы стали мастерами по камню. Искусными мастерами. Посмотри, дорогой гость, что творят наши резчики. Ты видел дом Самвела или Карапета? От их искусной резьбы трудно глаз оторвать... А родник Аревик, который расписал Мартирос? А школу! А кладбище! Да, дорогой гость, горы нам дали ремесло каменотеса и резчика, как другим степи — ремесло хлебопашца и скотовода, леса — охотника, реки и моря — рыболова... Природа-мать всех наделила ремеслом.

Столетний Ованес замолчал, задумался. Потом, улыбнувшись в усы, тихо проговорил:

— А если тебе нужны мастера — дадим. И в других селениях соберем. Как же не помочь соседям в большой стройке?

Он тяжело поднялся, постучал палкой о каменные плиты и пошел шаркающей походкой, бросив из-за плеча:

— А теперь пойдем ко мне в гости. Дом мой посмотришь, детей порадуешь, о своем городе расскажешь. И вы тоже вставайте, послушать умного человека — что мудрую книгу прочесть.

Шестьдесят искусных мастеров привез с собой Джамал. А спустя неделю после заката солнца три каменотеса вошли во двор Джамала.

— Мир этому дому, есть здесь кто? — спросил один из них сильным голосом.

Джамал спустился с веранды.

— О, мои армянские друзья? Рад вас видеть, проходите, садитесь под виноградник... жена, поставь-ка нам самовар.

— Мы не чай пить пришли... — они сели на расстеленный палас, скрестив по-турецки ноги.

— И все-таки сначала угощу вас чаем, а потом ругайте меня. Я ведь чувствую, что вы чем-то недовольны.

— От чая мы не откажемся, ваш чай славится, — армянин с зычным голосом улыбнулся. — А недовольства выскажем до угощения, иначе не в сладость твое угощенье. Приехали мы сюда строить завод. Видим, завод будет большой. Приехали не только мы: много мастеровых с Брянщины, с Тамбовщины... Приехали с большим желанием работать. Устроили нас в палатках, в бараках; мы понимаем, стройка только начинается. Но как мы живем? Воды нет, днем и ночью — комары и гнусы, хлеб из города привозят с перебоями... Над свалками мусора гудят тучи мух. Среди мастеровых пошел ропот, уважаемый Джамал. Если так будет и дальше, уедут они. И каменотесы, и печники, и плотники... Обратились мы к начальникам... Главный инженер отмахнулся: у меня, говорит, для вашего быта времени не остается. Мне завод надо поднимать. Неужели он не понимает, кто должен поднимать завод?

Джамал, глядя на его большие, тяжелые, испещренные бесчисленными бороздками и покрытые мозолями ладони, внезапно вспомнил селение Аревик, каменные заборы, дома, улицы, скамейки, пропитанные солнечным теплом.

Армянин продолжал:

— Нас дома камни окружают со всех сторон, но такой грязи не было и не будет... Вот пришли к тебе, уважаемый Джамал.

— И правильно сделали, что ко мне пришли.

После ухода гостей Джамал отправился к Петру. Дома того не оказалось. Что это за работа такая, сказал про себя Джамал, днем в исполкоме, ночью в исполкоме, когда же голове и сердцу отдыхать! Так и растаять можно, как свеча...

Вытерев ноги о половик, он осторожно открыл тяжелую дверь, обитую черной кожей, вошел в кабинет и, подойдя к стене, опустился на скрипучий стул. Петр сидел за большим столом, уткнувшись в бумаги. Подняв голову и всмотревшись в Джамала, он откинулся на спинку стула, устало спросил:

— Джамал? По лицу вижу, что-то случилось.

— Случится, если будем сидеть в кабинете.

И Джамал подробно изложил жалобу мастеровых.

— Безобразие. Форменное безобразие, — тихо и жестко проговорил Петр.

— В безобразии виноват и я, друг мой. Как могло случиться, что я забыл этих людей? Ведь работаю бок о бок с ними, а ни разу не поинтересовался, как устроились, не зашел посмотреть, как живут... Или душа устает, черствеет?

— Ты-то при чем? Ты работаешь не меньше других, посмотри на свои руки, они стали жестче камня, и лицо обуглилось под палящим солнцем.

— Нет, Петр, не пытайся снимать с меня вину. Я их сорвал с насиженных мест, привез сюда, я и в ответе. Срам, какой срам...

— Довольно казниться. Рано утром отправлюсь к ним. Поедешь со мной?

— А ты как думаешь?

И Джамал сгорбившись, словно под тяжестью вины, вышел из кабинета.

19

На вокзале Сен-Лазар Османа с семьей и работниками ожидал немолодой, но еще черноволосый, крепкого сложения, уверенный в себе высокий мужчина. В сером элегантном костюме и табачного цвета полуботинках он прохаживался по перрону, поигрывая бронзовой тростью с серебряным набалдашником, и скользил взглядом по лицам приезжих. Увидев Османа, он направился к нему, показывая в дружеской улыбке ровный ряд золотых зубов.

— Добро пожаловать. Восточные люди почти всегда воскрешают в моей памяти... что бы вы думали? Национальные блюда.

— И какие же, к примеру, уважаемый? — удивленно и настороженно спросил Осман.

— Долму из виноградных листьев, пити и тандырный лаваш.

Осман бросил недоумевающий взгляд на спутников, но тут мужчина разразился заразительным, непринужденным смехом, успокаивая Османа.

— Простите меня за разглагольствования мои. Увидел вас и вспомнил Гянджу, я ведь из Гянджи. Вам Велихан разве не рассказал о моем происхождении?

— Не припомню, нет, — сказал Осман.

— Ну, это непростительное с его стороны упущение. Сеттерхан, или Серж по-французски, так меня называет жена, — он чуть мотнул головой, представляясь.— Получив письмо Велихана, я долго думал, где вам подыскать дом. А потом решил: приедете, поживете пока в отеле и сами присмотрите себе жилище. Не дай Аллах, не угодить вам — станешь вечным врагом. А я хочу видеть в вас друзей. Нас ведь здесь не так много.

Сеттерхан и Осман пересекли длинный перрон и вышли на улицу.

— Здесь недалеко приличный отель, «Морни», вам понравится, снимите семье апартаменты и работникам комнату. И ходите по городу, приглядывайтесь к домам. Здесь все покупается и продается. А я всегда к вашим услугам. Да, чуть не забыл, вот моя визитная карточка.

Осман спрятал протянутый ему прямоугольник плотной гладкой бумаги, а Сеттерхан тем временем подозвал два фиакра.

Отель «Морни» Осману и его домочадцам понравился, он был уютный, красивый, даже импозантный, готовили блюда в ресторане отеля превосходно, но век в отеле не проживешь, надо было иметь свой дом, свой угол, да и делом заниматься.

Первые дни Османа знакомил с Парижем Сеттерхан. Брали с собой и Назыма. Уютно устроившись в фиакре, вслушиваясь в ритмичный цокот копыт, купцы беседовали между собой, но беседа не мешала Сеттерхану знакомить Османа с улицами, бульварами и площадями, и особенно обратить внимание на дома, где продавались квартиры. Утомившись от качки фиакра и монотонного стука подков, они заходили в кафе или бистро и, опустившись в глубокие удобные кресла, пили «Наполеон», запивая черным кофе, а мальчику брали сок и мороженое. Особенно нравилось Осману посещать бистро, откуда открывался вид на Марсово поле и Эйфелеву башню. Эта громадная чаша площади со строгой архитектурой зданий и фонтанами и устремившаяся в небо металлическая конструкция уводили его мысли от оставленного дома, магала, родного города, давали короткую передышку уставшей, утомившейся душе.

Вскоре Осман стал выходить в город один. Он пеш-

ком ходил по его улицам, прислушивался к языку, заходил в магазины, присматривался и прикидывал, чем можно здесь торговать. Как-то он остановился у магазина, над входом в который висела броская цветная вывеска «Вартан». Вот так бы и мне, мелькнула мысль, назвать магазин своим именем: «Осман» и чтобы потом передать сыну, внуку. Этот Вартан тоже, наверное, покинул родину в поисках счастья, нашел ли он его? Осман шагнул было к дверям, но вдруг заставил себя остановиться и повернуть прочь. Не хочу, сказал он себе успокаивающе, если этот Вартан станет вспоминать свой отчий дом, причинит мне боль, а я не хочу боли, не хочу...

Очутившись через полчаса на широкой людной и шумной улице и бросив взгляд на трафарет, Осман приятно удивился.—В честь кого?— спросил он себя, недоуменно пожав плечами и подняв брови. В честь кого? Бульвар Османа? Надо узнать. Узнать немудрено, Сеттерхан разъяснит. Вот если бы на этой улице открыть свой магазин! Как звучало бы: магазин «Осман» на улице Османа. Красиво... Да, да, только на этом бульваре, именно на этом я должен купить дом. И нигде больше.

Несколько дней Осман ходил по облюбованному бульвару от его начала до конца, заглядывал в продающиеся дома, примеривался к ценам. Наконец он облюбовал два этажа в большом каменном доме, опоясанном ажурными белыми балконами.

На роль стряпчего Осман взял Сеттерхана и не ошибся. Сеттерхан сумел так обставить дело, что хозяин дома в конце концов не только заметно сбавил цену, но и помог найти таких ремонтников, у которых оказались быстрые и золотые руки. Не прошел и месяц, как дом Османа был готов. На первом этаже разместился магазин в пять окон. Из него вели две винтовые лестницы: одна наверх, где со вкусом были отделаны и обставлены пять комнат, впрочем, тоже не без помощи Сеттерхана, другая вниз, в подвал, где хранились тюки мануфактуры, ковры и восточные товары.

И наконец настал тот день, когда Осман сел в кресло в дальнем углу магазина, и, перебирая крупные янтарные четки, встречал и провожал взглядом покупателей, кивком головы веля своим работникам отпускать нужный товар, следил, как приобщается к делу Назым;

быть предельно вежливым к клиентам он наставлял и учил его с первого же дня.

Время как будто утрясало все, Осман с домочадцами привыкал к другому городу, другому укладу жизни, но тоска... Тоска то и дело подкатывала к горлу, сжимая его безжалостными пальцами. И часто эту тоску нагоняли протяжные песни покинутой родины, которые напевали работники. Правда, старый Аскер, поймав взгляд Османа, тут же прерывал песню, но другой, молодой, и не думал. Он вкладывал в песню всю душу свою, вызывая у жены Османа слезы. Наслушавшись и наплакавшись, она уходила в свою комнату, ложилась на диван, приложив к разболевшейся голове пузырь со льдом.

20

Отель «Флорида», в котором мы жили, располагал к праздной жизни и безмятежному отдыху. И роскошные номера, и превосходная кухня уютного ресторана, и богатая гамма цветов расслабляли, уводили от жизненных забот. Я с любопытством осматривал богатое убранство предоставленных в наше распоряжение комнат и приданных к ним вспомогательных помещений с ваннами и раковинами удивительных, диковинных форм и цветов, восхищался патио с музыкальным фонтаном посреди. Если на время забыть о мировых катаклизмах, выбросить из головы омрачающие мозги и душу думы о будущем человечества, — это был райский уголок Земли.

После легкого завтрака мы вышли из отеля. Улица была запружена машинами; они шли медленно, словно слепые, на ощупь. У монолитного серого здания вокзала Сен-Лазар сновали толпы негров, и голову беспрестанно буравила мысль, что это не Париж, а какой-то неизвестный, неведомый, экзотический африканский город. Женщины, дети, подростки, мужчины с черной кожей, толстыми губами, с гордой осанкой вели себя как хозяева. Они уверенно и спокойно взирали на гудевшую вокруг жизнь. Совершенно свободно и спокойно держались полуобнаженные молодые женщины, и тоже бесстрастно глядели на гудевшую вокруг жизнь. По тротуару ступали высокие стройные молодые полицейские и тоже спокойно взирали на гудевшую вокруг жизнь.

Я с любопытством изучал парижскую улицу, но мой урок был прерван мягко подкатившим малолитражным автобусом. Нас ждали в редакции газеты «Фигаро».

И снова меня приятно поразила роскошь, на этот раз конференц-зала.

В непринужденной, казалось бы, приятельской беседе, мы с каждой минутой все больше убеждались в огромном различии целей наших газет. Нет в мире безыдейных изданий, даже в том мире, где правит капитал. И бульварные газетенки, порнографические журнальчики, вечерние листки, в которых не найдешь ни одного политического слова, ни одного лозунга, — они тоже несут в себе политический заряд — идеи своего общества.

Шеф-редактор «Фигаро» кичился тем, что его газета — королева сенсаций.

— Вы не ставьте нашу прессу в один ряд с вашей,— говорил он, пристально глядя мне в глаза: — Наши цели крайне различны. «Фигаро» — королева сенсаций, как, предположим, «Монд» — королева информации.

— Может быть. А впрочем, оно так и есть. Но сенсация, согласитесь со мной, не должна служить дезориентации, дезинформации общественности, разжиганию страстей, особенно националистических, нагнетанию пропагандистской кампании.

— Что конкретно вы имеете в виду?

— Я вспомнил события в Закавказье. И как вы подбирали интервью с мест событий. А брали вы их только у боевиков, командиров так называемых «комитетов обороны». Целью газеты было скомпрометировать решение о введении чрезвычайного положения, представить дело так, будто для ввода армейских подразделений в Баку не было ни малейших оснований. Создать впечатление, что не было никаких погромов, что в городе нет необходимости защищать население от насилия. Что и насилия как такового не было. А суд вершили русские солдаты, которые ворвались в город без предупреждения, круша и сметая все и вся на своем пути, проливая кровь ни в чем неповинных людей.

Шеф-редактор «Фигаро» долго изучающе глядел на меня.

— Вы хорошо осведомлены о событиях в Закавказье?

— Если вы мне поверите... а впрочем, вряд ли вы мне поверите. По крайней мере, лучше ваших корреспондентов. Но... я хочу вот о чем сказать... вы ведь неплохо были информированы о том, как развивалась обстановка в Азербайджане и Армении, сколько усилий предприняло советское руководство, чтобы разрядить обстановку, найти политические пути решения проблемы.

— О, вы мне делаете комплимент и заодно хотите блеснуть своей профессиональной и политической зрелостью? — он снисходительно улыбнулся.

— Простите, я хочу сказать, что некая сенсационность вашей газеты страдает необъективностью. Ваши журналисты позволяют себе нарушать профессиональную этику...

— Это их взгляд на события, беспристрастный взгляд журналиста. Мы не навязываем им свое мнение. Лично я признаю право любого государства на обеспечение безопасности своих граждан, а в данном случае это — главная цель. Безусловно, необходимо восстанавливать порядок, но с минимальным применением силы.

— Вы, очевидно, не могли не знать, что боевики, которым сочувствовали «Фигаро» и другие газеты, захватывали заложников, нагнетали обстановку, нападали на военные объекты, военнослужащих, членов их семей. Их отряды насчитывали тысячи хорошо вооруженных террористов.

— Да, да, я был информирован и об этом.

— Но ведь издатель или шеф-редактор имели возможность наложить запрет на фальсификации...

— Вот тут-то вы и ошибаетесь. У нас каждый журналист имеет право высказывать свою точку зрения, свое мнение на события...

— Даже инсинуации...

— Он несет ответственность за каждое свое слово.

— Но бочку меда, в которую подбрасывают ложку дегтя, уже ничем не очистить.

Шеф-редактор поглядел на меня долгим взглядом, потом громко расхохотался.

— Но есть ведь катализаторы, которые перегонят его в другой продукт. Вы владеете биохимией?

Мне не хватает еще биохимии, подумал я про себя, поняв его намек.

— Да, да, я вас прекрасно понимаю. Нам следует всегда заботиться о беспристрастности, соблюдении чувства меры и здравого смысла в информационной работе, чтобы информация действительно служила взаимо-

пониманию между народами. Но... свобода слова, право на собственное мнение — оно, по-моему, часто мешает нам в нашей работе.

— Конечно. Мне вчера рассказали, как ваше телевидение взяло интервью у старых нацистов-эсэсовцев, но правительство наложило запрет на передачу. По принципу: не будите спящую собаку.

Шеф-редактор расхохотался громко и непринужденно.

— Вы мне нравитесь, ха-ха-ха, клянусь святым Себастьяном, с вами интересно беседовать, ха-ха-ха...

— Мне было интересно поговорить с вами, — сказал я ему, глядя в холеное лицо, — чтобы понять ваш метод работы.

В уличной сутолоке я вдруг почувствовал, что мне не хватает тебя, Осман. Да, да, именно не хватает.

Нет, ты не ответил бы на мои вопросы, но мне все-таки не хватало тебя. Не хватало, чтобы поспорить, поговорить, излить душу, чтобы не нести думы в себе.

21

— Симон, сядь пониже, мне не видно, — прошептал Керим, макая перо в чернильницу.

Симон сполз ниже, вытянув ноги под партой далеко вперед.

— Не видно... Я сегодня, наверное, не сдам контрольную, — в голосе Керима чувствовались растерянность и нервозность.

Симон повернулся вполоборота.

— Сейчас как?

— Придвинь поближе.

В классе стояла тишина. Чуть поскрипывали перья, то и дело стучась острыми клювами в чернильницы. Восьмиклассники писали контрольную работу по алгебре.

Керим списывал торопливо, но чисто и грамотно, то и дело повторяя:

— Не спеши, не успею...

Керим весь превратился в нервный комок, сердце стало биться в груди сильней, к горлу подступала тошнота, по лбу катились горошинки пота. Подергивая обоими ногами, он старался не отставать от Симона: а вдруг шутки ради возьмет да сдаст свою работу, как

быть в таком случае? Положить на стол недописанный лист, нерешенную задачу? Надо успеть.

Керим только раз бросил взгляд на класс, уставился в окно, сказав про себя: а на дворе уже вечер, как рано стало темнеть, и снова принялся заполнять лист...

Внезапно он перестал писать, уставился в затылок Симона и прошептал:

— Дальше. Ты что, не решил?

— Все.

— Как все? У кого ж теперь спишем?

Симон, облегченно вздохнув, сел удобно, закрыв широкой спиной парту, и сказал, не оборачиваясь.

— Контрольная решена. Можно сдавать.

— Ты что-то сказал? — пожилой длиннолицый учитель математики в очках в тонкой стальной оправе поднял от стола голову.

— Контрольная решена, говорю.

Симон повернулся к Кериму и подмигнул ему.

— Ну что ты горланишь на весь класс. Решена — сдавай.

Симон поднялся и направился к столу.

Глядя на него, крепкого, широкоплечего подростка в холщовой застиранной рубашке, подпоясанной узким ремешком, в холщовых неясного цвета штанах и матерчатых, натертых мелом, туфлях, Керим зажмурился и мысленно сказал себе:

— Какой стыд! Ведь я выгляжу точно как он, на мне те же отрепья. Какой стыд... Неужели отец одевал бы меня в такую рубаху, штаны, нет, конечно, нет. Ну а если бы его, как сейчас красиво говорят, экспроприировали бы, забрали бы все для бедных, сумел бы он меня одевать иначе... Отец, если бы ты был здесь...

Керим попытался представить образ отца, но лишь смутные очертания лица его всплыли в памяти и тут же погасли, вытесненные наплывшим образом Джамала.

— Керим, ты пишешь контрольную или сочиняешь поэму?— голос учителя вернул его к действительности.

— Я уже написал.

— Ну так сдай ее и сочиняй себе на здоровье песни.

Когда Керим возвращался к своей парте, Симон тихо спросил его: — Ты о чем размечтался?

— О нас с тобой, — так же тихо ответил Керим. — Подумалось: наденешь ли ты когда-нибудь приличное?

— Ну конечно, сыну купца срамно носить холщовые

рубаху и штаны, — протянул с издевкой Симон. — А нам можно, ведь мы, дети батраков, и их не имели...

— При чем тут купца, — протянул Керим и вдруг огрызнулся: — Для того вы буржуев прогнали, чтобы тряпье носить?

Симон повернулся к нему лицом, посмотрел открыто и долго в глаза, потом улыбнулся и сказал:

— Придет время, и костюмы наденем, рубашку с галстуком. Ведь вот учимся же, скоро школу окончим, а разве прежде к грамоте допускали? Да что объяснять, не дурачок же ты. Конечно, тяжело тебе, да уж привыкай.

— А я давно привык.

— И правильно. И нечего себе душу тревожить.

22

Обедали молча в большой столовой комнате за круглым столом. Первые месяцы на кухне хозяйничала принятая по объявлению молоденькая красивая француженка Катрин, подстриженная под мальчишку. Легкая, быстрая, она успевала и поесть приготовить, и в квартире прибрать, и в магазин сходить. Но с некоторых пор у плиты встала жена Османа, и на кухне вновь аппетитно запахло долмой, пити, гоурмой, пахлавой, шекер-черегом и шекер бурой [1], различными восточными пряностями, остро щекотавшими ноздри.

Вот и в этот день на столе стояло блюдо с горячей дымящейся долмой, соусница с острым соусом, от которого исходил запах чеснока, зелень, плоские лаваши, прослоенные маслом, луком и орехами, графин с сухим вином, фрукты.

Обедали молча. Осман аппетитно отправлял в рот долму с виноградными листьями, запивал из бокала глотком вина и снова всаживал вилку в зеленое тело виноградного листа, лоснящееся от жира. Назым раздевал вилкой долму, откладывал в сторону листья и ел горячее мясо с рисом. Жена Османа делила долму на дольки и медленно нехотя ела.

В дверь просунулась голова Катрин:

— Месье, вас там, внизу, требует какой-то господин,

[1] Азербайджанские блюда и сладости.

говорит, что родственник, я попросила его подождать, а он...

Договорить она не успела. Отстранив ее, в комнату быстро и уверенно вошел Илдирим. Сидевшие за столом, пораженные неожиданным появлением Илдирима, с минуту молчали. Затем Осман вскочил со стула, пожал протянутую шурином руку и усадил его за стол.

— Аллах праведный, — всплеснула руками жена Османа, — откуда ты явился... Я-то думала, что ты остался там...

— Верно, мы думали, что ты там, — протянул Осман.

Илдирим, не обращая внимания на них, обследовав цепким взглядом стол, потянул носом воздух, схватил со стола десертную вилку и принялся жадно уплетать одну долму за другой, опуская в соусницу.

Осман переглянулся с женой; та снова всплеснула руками и дрожащим голосом протянула:

— Откуда ты явился такой голодный и обносившийся...

— Я не голоден, — сказал Илдирим, набивая рот, — просто давно, очень давно не ел наших блюд.

Он наполнил бокал вином, залпом осушил его и снова принялся есть. Наконец насытившись, откинулся на спинку стула и вдруг зло проговорил:

— Страна дураков, лентяев, лежебок, трусов. Так легко отдать ее голодранцам могли только наши ленивые и трусливые толстосумы. Вам повезло, вы счастливо отделались, вы не видели, что творили простолюдины. Они захватывали дома имущих, выгоняли семьи. Они разграбили город, в котором родился и вырос я, мой отец, дед и прадед. Родина, моя родина, тьфу, сейчас там господствуют простолюдины, вчерашние наши батраки...

— Подожди-ка, — прервал его Осман, — я слышал совсем другое.

— Ты слышал и слышал уже издалека, а я видел вот этими глазами. — Илдирим ткнул пальцем себе в глаза. — Да, да, вот этими. Я боролся, я сражался как мог. И ты знаешь, с кем столкнулся, схватился в одном из боев? С Джамалом, твоим соседом — голодранцем. Я всю свою злобу выместил на нем, сделал его на всю жизнь инвалидом. Ох, как я хотел уничтожить его, но зная твое к нему отношение, даровал ему жизнь.

Осман слушал его терпеливо, не перебивая, почему-

то переставая верить каждому произносимому им слову. Наконец он спокойно и твердо произнес:

— Прекрати сорить словами. Скажи лучше, где мой сын Керим.

— Твой сын Керим? — Илдирим удивленно поднял брови. — Твой сын Керим? Не знаю. А он разве не здесь?

Лицо Османа побледнело, в глазах вспыхнула ярость.

— Я его послал к тебе. Где мой сын?

Илдирим бросил растерянный взгляд на сестру, на Назыма и тихо произнес:

— Я его не видел.

— Не видел? Я его, больного, оставил в селе, попросив, как только выздоровеет, привести в Дербент, к Джамалу, чтобы он передал тебе. И ты говоришь, что не видел Керима?

— Не видел... Когда я столкнулся с Джамалом, он мне ничего о мальчике не сказал.

— Еще бы, ты его истязал, а он должен был о твоем племяннике вспомнить? — насмешливо сказал Осман.

— Он, несчастный, от боли забыл о нашем Кериме...

Осман отвернулся от Илдирима и отошел к окну, жена его, не вмешиваясь в разговор мужчин, тихо всхлипывала.

— Если Керим у Джамала, с ним ничего не случится, не плачь, сестра, поверь своему брату. Слышишь, я повторяю: если Керим у Джамала, с ним ничего не случится, — проговорил Илдирим.

Осман не шелохнулся. Он смотрел в окно, провожал взглядом поток машин, спешивших куда-то парижан и думал про себя: все, что сейчас здесь говорил Илдирим, вранье. Чистейшей воды вранье. Он с малых лет рос врагом и бездельником, им остался и в зрелые годы. Но последнее, что он сказал сестре о Кериме, должно быть правдой, должно быть.

Осман почувствовал за спиной чье-то присутствие. Медленно повернул голову: Илдирим.

— Я пришел к тебе с делом, Осман. Я долго, очень долго искал тебя, наконец нашел и пришел с делом: возьми меня в компаньоны.

— Тебя? К себе в компаньоны? — удивленно поднял брови Осман. — Ты никогда не занимался нашим

делом, да что мне говорить о тебе, сам знаешь себе цену. — Осман замолчал, после долгой паузы спросил:— Что у тебя есть?

— Как что есть?

— Какую долю ты вкладываешь в дело, ну, чем ты располагаешь, какими средствами?

— А никакими.

Осман посмотрел на него долгим взглядом и вдруг громко расхохотался:

— Узнаю Илдирима... Узнаю, наконец, Илдирима, этого бездельника и трепача. Слышишь, жена, вот твой братец, каким мы его знали дома. Ну и нахал, ну и хитрец.

И он снова залился смехом.

— Обзывай, как хочешь, я тебя прощаю. Только скажи, что согласен.

— Пристрой его к своему делу, — робко произнесла жена. — Все-таки он на чужбине и одинок.

Осман вышел из комнаты, прошел в спальню, открыл потайной сейф в стене, достал из него не считая пачку банкнот и, вернувшись в столовую, бросил на стол.

— Возьми и займись делом.

Илдирим засунул руки глубоко в карманы брюк, весь вытянулся, как вытягиваются петухи перед кукареканьем, и удивленно поднял брови:

— Ты мне отказываешь?

— Возьми и займись делом, — повторил Осман.

— Своему родственнику? Брату по вере? Вместо того, чтобы протянуть мне руку участия, окружить заботой? Ты ли это, Осман, неужели очерствело твое сердце или оно всегда было черствым, безучастным к окружающим? Неужели тебя вскормил и вырастил тот древний город, в котором мы жили? В таком случае ты несчастен, Осман, и я плачу по тебе.

— Я сам давно плачу по себе, — Осман опять отвернулся к окну, — с того дня, как очутился на чужбине из-за таких болтунов и пустоголовых политиков, как ты и твои друзья — меньшевики. Но... я не хочу об этом говорить. Возьми деньги, их тебе хватит надолго, и займись делом. Но ко мне не просись.

— Ты меня выбрасываешь за порог, — вдруг взвизгнул Илдирим, — на улицу, в грязь, в неведомое... Это бесчеловечно...

— Где ты был до сих пор? Сейчас у тебя деньги, иди, займись делом.

— Бездушный, Аллах знает, кого наказывать. Очевидно, он не зря наказал тебя, убив Керима, да, да...

Установившуюся было тишину вспорол крик жены Османа. Она сползла на пол без чувств. Назым подбежал к ней. Осман подошел к Илдириму вплотную, жестко схватил за борта костюма и прохрипел в лицо:

— Что ты сказал, повтори...

— Пусти, прошу, пусти, — задыхаясь прошипел Илдирим, — больно, пусти же... Не знаю ничего, со зла, со зла сказал, пусти...

— Чтоб я больше не видел твоей тени в своем доме. Пошел вон...

И Осман с силой оттолкнул Илдирима от себя. Тот отлетел к дверям, потом, придя в себя, поправил костюм, неожиданно устремился к столу, схватил пачку банкнот и, не оглядываясь, выскочил из комнаты.

23

Джамал сидел во дворе и медленно и вкусно пил чай, держа блюдце на растопыренных пальцах. На грубо сколоченном низком столике стоял заварной чайник, накрытый полотенцем, и глиняная вазочка с мелко наколотым сахаром.

Кончался день, и багровый свет поднатужившегося солнца, не желавшего скрываться за гору, заливал небо и перистые облака.

Над головой Джамала, подпираемые неотесанными стволами срубленных в лесу молодых деревьев, шатром висели виноградные кусты: крупные, увесистые гроздья белых и черных ягод застыли, опутанные серебристой шелковой паутинкой.

Было тихо. Жена ушла к захворавшей соседке, и Джамал в уединении потягивал чай, с наслаждением ощущая его терпкость и тонкий, нежный аромат. Он любил такие минуты: остаться наедине с собой, расслабиться, и уйти воспоминаниями в прошлое. И ход его мыслей не нарушал в такие минуты ни писк голодной мыши, доносившийся из сарая, ни оживление кошки, ни глухой шлепок сорвавшейся виноградной ягоды.

Джамал выпил третье блюдце чая, когда скрипнула калитка. Он не обратил на скрип никакого внимания, нащупал в вазочке самый мелкий кусочек сахара и положил его под язык.

— Ты стал забывать законы гостеприимства, — раздался громкий, веселый голос. — На тебя не похоже. Зазнался. Или, может, в нэпманы записался?

— Годы... Я не властен над годами. И слух стал слабеть, и зрение. Кто же там идет, не вижу. Петр? Неужели Петр? Садись, дорогой, рядом, чаю попьем. Жена, принеси-ка чашку и блюдце... Ах, будь ты неладна, ее же нет дома...

Джамал встал и направился в дом.

— Да угомонись ты, я к тебе не чаевничать пришел, — крикнул ему вдогонку Петр.

— Такого чая, как у меня, ты нигде не выпьешь,— сказал Джамал, выходя из дома. — Еще не пробовал, а уже обижаешь: я к тебе не чаевничать пришел.

— А у тебя и слух стал слабеть, и зрение?

Петр и Джамал переглянулись, расхохотались.

— Находит на меня иногда такое, — проговорил Джамал. — Отвлекаюсь от всего, что окружает меня, и пускаюсь философствовать.

Он налил Петру чай, придвинул поближе к нему вазочку с сахаром и потянулся к крупной виноградной грозди.

— Не срывай, — опередил его Петр. — Не хочу.

Отхлебнул чай, покачал головой, проговорил: — Хорош.— Выпил полблюдца:

— Философствование, конечно, штука приятная, но философствовать надо не отвлеченно, а применительно к нашей действительности.

Джамал бросил испытующий взгляд на Петра, потом, протянув руку, сорвал от розовой грозди ягоду и отправил в рот. Выплюнул косточки, с улыбкой спросил:

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то хочу, дорогой товарищ мой и друг, что в колхоз люди плохо идут. Жить хотят хорошо, иметь желают многое, а в колхоз плохо идут. Такая вот философия.

— В колхоз не идут? Вспомни, как отозвались о наших людях Орджоникидзе, Калинин. Как сейчас помню их лица, их слова... Какие люди... Орджоникидзе, Калинин... Ты представляешь, Петр, какие люди...

— Рабочие заслушались.

— А ты говоришь... в колхоз плохо идут. Пойдут, еще как пойдут, дорогой товарищ Петр.

— Так помоги, чтоб пошли.

— И помогу.

Джамал сорвал еще одну ягоду:

— Думаешь, я не понял, с чем ты пришел? Хитрый ты, брат Петр, да я еще хитрее. Ты, видно, стал забывать, что меня звали лоти Джамал из Дербента.

Оба тихо засмеялись.

— Годы, правда, уже не те. Шесть десятков прожил на белом свете. Но имя-то мое не потускнело, не поблекло. Лоти Джамал из Дербента, а, звучит? Знаешь что? Мы с тобой сейчас выпьем белого вина.

Джамал встал и споро направился в сарай.

— Не надо, мне еще в исполком идти.

— Ты как думаешь? — раздался голос из сарая.— А со мной ты сейчас не работаешь разве? Или не мне читал свою политграмоту?

Джамал вышел, держа в одной руке глиняный кувшин, в другой тарелку с миндалем.

— Выливай из стаканов чай, будем пить, брат ты мой, божественное вино, приготовленное вот этими руками.

Петр ушел, когда сгустились сумерки, а чуть погодя вышел со двора и Джамал. Заложив руки за спину и перебирая четки, он неторопливо направился в центр города, где строился большой кинотеатр.

Под черной тарелкой радиорепродуктора, вороной притнездившейся к телеграфному столбу, на длинной грубо сколоченной скамейке сидели старики. Седобородые, все в каракулевых шапках, они молча перебирали четки. Джамал подошел, поздоровался со всеми, пожелав доброго вечера, тоже застучал костяшками четок.

— Ну что же ты молчишь? — послышался голос с другого конца скамейки. — Нам и без тебя скуки хватает.

— Не хочешь ли ты сказать, почтенный, что я принес скуку? — спросил Джамал.

— Не хочу. Оно и так видно.

— Меня зовут Джамалом не для того, чтобы я судачил о дырявом нижнем белье соседа, развешанном на сухих ветках гранатового дерева.

Дружный смех стариков был ответом ему.

— Слышал, ворчун, как тебе ответил наш Джамал?

— От него только грубости и колкости услышишь,— донеслось с конца скамейки.

— Помолчите, дайте послушать черную тарелку, — проговорил хриплый, прерывающийся голос.

Он принадлежал почтенному Дадашу.

Репродуктор передавал вечерние новости. Где-то в России, название области старикам ни о чем не говорило, засуха погубила урожай, где-то строился большой тракторный завод, где-то крестьяне всем селом пошли в колхоз. Затем заиграл духовой оркестр.

— Вот теперь можно не скучать, — тихо сказал Джамал. — Ну разве не тревожный хабар: засуха погубила урожай. Или не радует весть: всем селом пошли в колхоз, — осторожно заметил Джамал.

— Прав почтенный, — раздался голос ворчуна, — никому не пожелал бы голода, тем более, когда власть наша, земля наша, и работаем на себя...

— А там крестьяне всем селом пошли в колхоз, — вставил снова осторожно Джамал.

— Там пошли, а у нас не идут, — отпарировал ворчун с конца скамейки.

— А у нас пойдут, если не будут пугать людей, — проговорил один из стариков.

— Пугать? Ха-ха-ха, — рассмеялся ворчун, потом закашлялся, помолчал, чуть погодя повторил: — Пугать? Побойся Всевышнего, кто может пугать людей пойти в колхоз? Кто осмелится на такой шаг?

— Есть такой, есть.

— Прав он, есть, — поддержал Дадаш.

— Так кто же этот негодяй? — любопытство разбирало ворчуна.

— Ты уж так сильно не оскорбляй его, — усмехнулся Дадаш.

— Хорошо, не буду, но кто же этот человек?

Установилось молчание, потом кто-то тихо проговорил:

— Нахсин.

— Сторож мечети? — удивленно протянул ворчун.— Нет, не поверю. Благоверный, добропорядочный человек. Не поверю.

— Своего соседа спроси, он Нахсина часто видит.

— Спроси у сторожа о колхозах, он тебя вразумит.

Заговорили наперебой старики, покашливая, похихикивая, одни бросали колкости в адрес Нахсина, другие заступались за него, защищая от наговоров.

— Нам самим тоже надо что-то предпринять, чтобы люди пошли в колхоз, — сказал Джамал.

— Что ты сказал, повтори, — попросил Джамала сосед, приставив ладонь к уху.

— Говорю, нам тоже надо что-то предпринять, чтобы люди пошли в колхоз, — громко повторил Джамал. — Советская власть нам добра желает, а мы еще раздумываем, брать это добро или нет.

— Верно ты говоришь, — высоким голосом заговорил сосед Джамала, — за эту власть мы тоже боролись, а теперь что получается: тому не прекословь — обидишь, тому не перечь — он человек Всевышнего. Недостойно мы себя ведем, мужчины. При царе Николае не боялись городовым и жандармам правду в глаза говорить, руку на рукоять кинжала — и лезли в драку, а сейчас, когда власть наша, молчим. Я глухой, не все расслышал, о чем вы тут как курочки кудахтали, но одно скажу: позорно мужчинам молчать. Я все сказал, если кто услышал меня — спасибо.

— Спасибо и тебе за верные слова, дорогой Насим, и за нестареющую молодость, — проговорил, улыбаясь, Дадаш. — Ты нам хороший урок преподал.

Старики заговорили все сразу, Джамал встал, попрощался, пожелав спокойного вечера, хотя на него никто не обратил внимания, и направился в верхнюю часть города.

Поднимаясь по темным улицам, прислушиваясь к стуку четок, Джамал думал, прикидывал, как ему подойти к сторожу Нахсину, и ничего не мог придумать.

Джамал как раз поравнялся с дубовыми воротами Джума-мечети, когда калитка в них скрипнула и на улицу вышел невысокий плотный мужчина в черной одежде. Увидев у ворот человека, тот остановился и устремил на Джамала взгляд.

— Слава Аллаху, это ты, Джамал. Напугал меня. Что ты делаешь в такую пору у моих ворот?

— Ворота не твои, Нахсин, а Всевышнего. Твои ворота в первом магале и можешь быть уверен, что их я никогда не переступлю. А эти принадлежат всем детям Аллаха.

— Не вразумляй. Не так выразился, он мне уже прокламацию читает.

— И не думаю. — Джамал улыбнулся в темноте.— Ты у нас самый что ни на есть приближенный к Аллаху. Разве я позволю себе кощунствовать?

— Верно, верно ты говоришь! Что мы стоим на улице, зайдем в мечеть, присядем, поговорим о жизни, о человеческих душах...

— Утомился я от бесед сегодня, в ушах звон стоит и голова тяжела, как казан.

— Прокламации читал людям?

— Нет, Нахсин, не прокламации читал. Ходил к друзьям молодости, их детям, спрашивал, почему не идут в колхоз.

— И что же? — после минутного молчания спросил Нахсин.

Джамал затянул паузу.

— И что же говорят? — нетерпеливо переспросил Нахсин.

— Всякое говорят, — произнес Джамал.

— Мне было бы небезынтересно знать, о чем они говорят.

Джамал опять затянул паузу, потом тихо проговорил:

— Какие-то люди пугают колхозом. Говорят, что дома, дети, жены — все будет общим.

— Астаупирулла, астаупирулла, — Нахсин обеими ладонями замахал на Джамала. — Какие глупости ты изрекаешь, астаупирулла.

— Глупости они изрекают?..

— А кто они? Не сказали?..

Джамал долго не отвечал.

— Имен не назвали. Но говорят, из тех, кто еще в восемнадцатом году туркам и белогвардейцам помогал. Чтобы Советов не было.

Установилось долгое молчание, которое никто не хотел нарушать. Край темного неба засветился: из-за горы выползла луна.

— Смутное, непонятное было время, — произнес наконец Нахсин. — Люди не знали, что происходит, куда катится мир.

— Люди знали, куда катится мир, — усмехнулся Джамал. — Потому-то одни бились за новую жизнь, другие за старую. Заболтался с тобой. Поздно уже, домой пора.

— Не торопись, вместе пойдем, ночь темная, не дай Аллах и голову расшибить можно...

— Мало я таких ночей прожил?..

И Джамал неторопливо пошел вниз, к площади.

24

Был воскресный осенний день. Одни фруктовые деревья, освободившись от тяжелого времени, стояли голые и сиротливые, другие еще гнулись под тяжестью плодов. Радовали глаз гранаты, айва, инжир, миндаль. Скрестив под себя ноги, прислонившись спиной к стволу яблони, Джамал, закрыв глаза, покачивал головой в такт музыке. Напротив него на подушках сидели постаревшие друзья молодости. Гюршюм, крупнолицый и крупноглазый, чуть прикрыв веки, играл на таре. Вартан, бритоголовый и с большим изогнутым носом на мясистом круглом лице, водил смычком по кеманче. А Сеттер, выбивая сильными пальцами из бубна дробные звуки, пел. Пел, высоко задрав большую седую голову. Грустная, протяжная песня плыла над двором, который заполнили запахи гоурмы [1] и жареной рыбы.

Песня кончилась, музыканты отложили свои инструменты, достали из карманов кисеты и принялись свертывать самокрутки.

— Жена, где же, наконец, твое угощение? — громко спросил Джамал, снимая шапку и кладя ее аккуратно рядом с собой.

— У меня не сто рук, — послышалось из летней кухни. — Когда управлюсь, тогда и подам угощение.

— Тебе не стыдно при моих друзьях так отвечать мне? — удивился Джамал. И тихо проворчал: — Язык распустила.

— Не стыдно. Стара я, устала. Помощница нужна в доме. Женил бы старшего.

— Женить старшего? — удивленно протянул Джамал. — Ты что говоришь, жена? Ты думаешь, что говоришь? Он же еще птенчик, который и крыльев своих не пробовал. Ха-ха-ха-ха, рассмешила, жена.

— Да, да, да, и жени, пока не испортился.

— Ну прекрати, — произнес Джамал. — Жениться должен мужчина, а не сосунок. Придет время, и орел найдет орлицу.

Но переставая ворчать, жена расстелила суфре, положила перед гостями фади [2], овечий сыр, в сковородах гоурму и рыбу, графин белого вина, зелень и сама села чуть поодаль.

---

[1] Гоурма — вид жаркого.

[2] Фади — лепешка, испеченная на масле.

— Не обижайся на мужа, сестра, — весело проговорил Гюршюм, протянув руку за кресс-салатом. — Он немного строг, но прав. Твоему старшему учиться надо, а подругу жизни он себе всегда найдет.

— Но мне тяжело. Четверо мужчин на моих плечах, — и жена Джамала повела плечами.

— Ты гордись, сестра, что у тебя четверо мужчин,— вздохнул Вартан. — У моей жены одни девочки, мне-то каково.

Все весело рассмеялись.

— Мы для чего боролись за эту власть? — Гюршюм мягко посмотрел на хозяйку дома. — Чтобы наши дети получили образование, жили лучше нас, интереснее. А для женитьбы, ты меня извини, сестра, много ума не надо.

— Да вот они и сами, возмутители нашего спокойного вечера, — воскликнул Сеттер.

Симон и Керим поздоровались и присели на скамейку, стоявшую у веранды.

— Что за торжество, отец? — спросил осторожно Симон.

— Негодник, еще и спрашивает, — наигранно возмутился Джамал. — Окончание школы разве не наш праздник? Вот мы и отмечаем торжество музыкой, песней. Ну-ка, сыны мои, признайтесь, подыскали ли вы себе невест? Не то мать женит вас на первых встречных.

— Какая еще женитьба? О чем ты, мама? — пробасил Симон. — Нам еще учиться.

— Тогда не надо было в чужие двери заглядывать, — назидательно произнесла мать.

— В чьи двери мы заглядывали? Что ты говоришь, мама?

— Ты во двор Азизова, а Керим — Зейналова.

Джамал поднял удивленные глаза на жену и протянул:

— Посмотрите-ка на эту женщину! Все она знает и все скрывает от меня. Куда это годится? Так значит, дочки Азизова и Зейналова, говоришь? Азизов — это мелкий торговец, что ниже училища живет? Пригожие у него девочки растут. И Зейналова детей я видел, одна краше другой. Вот что, друзья, — обратился Джамал к гостям, — поедим все, возьмем, что лежит на суфре, и с музыкой отправимся к будущей родне.

— Что ты говоришь, старый разбойник, какую глу-

пость хочешь еще натворить? — всплеснула руками жена.

— Ну почему же глупость? — удивился Джамал.— Ты десять минут назад твердила, что надо женить старшего. Говорила?

— Неужели женишь? — проговорила жена, прижав руки к груди.

— А почему нет? Чем они хуже других? Поговорим с Азизовым и Зейналовым, сыновей отправим на учебу, получат высшее образование, приедут и женятся. Так я говорю, будущие орлы?

Симон и Керим, опустив головы, не отвечали.

— Все ясно. Вы сидите дома, а мы пойдем продолжать наш праздник.

Закончив трапезу, Гюршюм, Вартан и Сеттер взяли в руки свои инструменты и заиграли свадебную мелодию шолохо. С музыкой они вышли со двора. За ними степенно следовал Джамал.

После их ухода мать накормила Симона и Керима, потом ребята прибрали с суфре, вытрусили и сложили палас и сели на скамейку в ожидании отца.

Мать то и дело выходила во двор, прислушивалась и беззлобно ворчала:

— Старый дурак не разумеет, что в гостях нельзя засиживаться. В первый день надоешь хозяевам, во второй немил будешь.

Уже время приближалось к полуночи, а Джамала все не было.

— Не напился ли? — испуганно шептала мать. — А может, что случилось?

— Мы пойдем встретим отца, мама, — сказал Симон, вставая со скамейки.

— Нет, нет, не ходите, он скоро придет, — успокоила она сына, а про себя сказала: разве можно детей отправлять в ночь одних! Не дай бог что случится.

— Это же недалеко, мама, — произнес Керим.

— Недалеко Азизов живет, а Зейналов в магале. Не смейте никуда ходить.

За полночь скрипнула калитка. Симон, Керим и мать устремили глаза в темноту. Двое мужчин несли на руках Джамала. Они поднялись на веранду и уложили его на тахту. Джамал тихо стонал.

— О Всевышний, что же с ним случилось? — Мать всплеснула руками, засуетилась, забегала, не зная, что делать.

— Он лежал без сознания на улице в нижнем магале, — сказал один из мужчин, — недалеко от детского сада, бывшего дома купца Османа.

— О Всевышний, что ему надо было в нижнем магале? Ну да, он же ходил к Зейналову, сватать ходил, насватал себе на голову...

— Видать, его ударили по голове, сзади. Принесите полотенце и воду, умойте его.

Мужчина снял с Джамала шапку. Голова была в крови.

25

Ты все чаще искал со мной встречи, а при встрече все настойчивее приглашал к себе в гости. Я никак не мог понять причину твоих настойчивых приглашений. Неужели, думал я про себя, тебе что-то нужно от меня, и ты никак не соберешься, не осмелишься признаться? А может, замышляешь дурное? В последнее я почему-то не верил.

Вот и в очередной раз, когда ты меня пригласил посетить свой дом, а я отказался, заявив, что еще не знаю Парижа, ты замолчал, а потом, вскинув взгляд, в котором я уловил затаенную надежду, предложил:

— В таком случае поужинаем вместе. Мы пойдем к «Максиму».

Именно так и сказал: к «Максиму», а не в «Максим». Я согласился. И не жалею.

Вечер, проведенный в «Максиме», остро врезался в мою память. Не блюдами, запах от которых напоминал букет терпких осенних цветов, не залихватскими, чередовавшимися с грустными, русскими песнями. А людьми. Людьми, называвшими себя парижанами, но с русской тоской в глазах. Тщетно пытавшимися вспомнить некогда родные березовые леса, золотые плесы, ковыльные степи.

Я ясно вижу перед глазами престарелую чету, которая старческими шажками, но чинно вошла в ресторан. Он белый как лунь, одетый в темно-синий костюм, и она в сером платье до пят, и тоже седая. Он бережно держал ее под руку. Остановившись по-соседству с нашим столом, он выдвинул стул и чуть дрожащим голосом произнес:

— Прошу, сударыня.

— Благодарю, сударь.

Я вздрогнул от неожиданности, услышав русскую речь.

— Что будете заказывать, мон шер ами?[1]

— Я полагаюсь на ваш выбор, друг мой.

Это было поразительно и невероятно: за тысячи километров от России увидеть и услышать двух престарелых россиян, волею судьбы заброшенных в Париж.

Поймав мой взгляд, он произнес, не отрывая глаз от меня:

— Мне сдается, мон шер ами, сей молодой человек из России.

— Что ты, Сашенька, тебе почудилось, — прикрыв рот ладонью, тихо сказала она.

— Я это чувствую, сударыня.

Он встал, подошел к нашему столику и, отвесив легкий поклон, спросил по-французски:

— Извините меня, мсье, что отвлекаю вас от трапезы, тысячи извинений, но удовлетворите мое любопытство: вы из России?

— Из России, — ответил я по-русски.

— Сударыня, Машенька, я же говорил тебе — из России, — по-детски обрадованно сказал он, повернувшись к спутнице. — Я же говорил тебе...

— Садитесь за наш столик, — предложил я.

— Благодарю вас, сударь. — Он вернулся к спутнице, помог ей подняться и, взяв под руку, подвел к нашему столику. Они сели и принялись в четыре глаза глядеть на меня.

— Боже мой, как далека Россия, — прошептал он, и в шепоте его послышалась безнадежная тоска.

Она достала из черной сумочки белоснежный платок и приложила к влажным глазам.

— Как вы счастливы, сударь, если б вы знали, как вы безмерно счастливы, — сказал он тихо.—Вижу, вы хотели бы узнать, кто лишил нас этого счастья? Сами, сами лишили, по молодости лет.

Он замолчал. Сделав заказ подошедшему официанту, проговорил:

— Время было такое непонятное, смутное, в той круговерти брат терял брата, отец сына, имущие свое

[1] Мон шер ами (франц.) — мое сердце, моя душа.

нажитое добро... Непонятное... Уехал Алексей Николаевич[1], уехал Иван Алексеевич[2], уехали и мы.

— Да, мой друг, — сказала она, обращаясь к нему.— Нам казалось, что в России гаснет огонь творчества и никто уже не способен будет создать таких воздушных, божественных строк:

«Сквозь эту белую вуаль
Я вижу берег очарованный
И очарованную даль...»

— А тот, чей гений родил такую воздушную поэзию, неожиданно создает образы двенадцати апостолов, мужицкую поэму, воспевающую буйную стихию революции. Как не потеряться, как не заблудиться в поисках правды?

Я не перебивал их. Я дал им возможность излить свою тоску, чаша которой не иссякала и не иссякнет до последнего дыхания их.

— Вы счастливы, сударь, — сказал он, — у вас есть своя земля, Россия. А мы словно пришельцы, пришли сюда никем не званные и ненужные и уйдем незаметные. Уж на что, сударь, был велик и известен Федор Иванович, а похоронили его на кладбище Ботильон, положили у изголовья камень и забыли[3]. Придешь в минуту тоски к нему, а в изголовье и ромашки полевой не увидишь, не то что букетов...

Он ссутулился, прилег грудью на край столика, опустил голову, потом вытянулся и посмотрел мне в глаза:

— Одно могу вам сказать, сударь: никогда мы с Машенькой ни единого худого слова не сказали о России нашей.

Она всхлипнула и тут же замолчала.

— Терпели многое: ломали образ жизни, талант молодости разменяли на потребу общества русских беженцев, или как они себя величают, — русских парижан, но Русью не торговали. Да, сударь мой. Да что я на вас грусть-тоску навеваю. Расскажите, какая она сейчас, Москва-матушка, Петроград, Ревель, Вильно. Сохранили ли старину, старина ведь, сударь, это воспоминание будущего, школа жизни, если хотите знать, да, да...

[1] Алексей Николаевич — Толстой.

[2] Иван Алексеевич — Бунин.

[3] 29 октября 1984 года в Москве, на Новодевичьем кладбище, состоялось перезахоронение праха великого русского певца Ф. И. Шаляпина, скончавшегося в Париже в 1938 году.

Скажите-ка, сударь, а сохранили вы Чистые Пруды, Покровские ворота? Соборы и церкви, мы слышали, вам не приглянулись, и они теряли золотые маковки, таяли, как свечи, пока вы вдруг не образумились: для чего стирать с лица земли старую культуру, память о прародителях... Так сохранили ль вы Чистые Пруды?

— Живут и Чистые Пруды, и Покровские ворота.

— Слышишь, Машенька, Чистые Пруды сохранены. Вам знаком синематограф у Покровских ворот? Так вот в доме, в котором расположен синематограф, на третьем этаже мы и жили. Боже ж мой, как давно это было! — с тоской и болью в голосе протянул он.

— Но почему вам не поехать в Россию? Я понимаю, конечно, тяжело, прожив всю жизнь здесь... Но сумела Одоевцева перебороть себя...

— Что вы, сударь, Ирина цельный, мужественный человек. Мы ее близко знали. Признаться, право, и отговаривали от поездки. В таком возрасте, сударь, и в Россию? А как она мне ответила, надо было это услышать: пусть умру в дороге, но это смерть на пути в свою Россию. Так она ответила. А мы, два старых русских человека, боимся неизвестной нам России, да и могилы русских не отпускают нас. Могилы Романовых, Голицыных, Юсуповых, ведь все они здесь... и Рахманинов, и Бунин, и Тарковский.

Он продолжал говорить, изливать свою больную по родине душу, а перед моими глазами проходили образы русских интеллигентов — Алексея Толстого, Александра Куприна, художника Билибина, артиста Александра Вертинского, Андрея Белого, И. Соколова-Микитова, Марины Цветаевой... «Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам, — писал А. Толстой. — Мы были просто несчастными существами, оторванными от Родины, птицами, спугнутыми с родных гнезд. Мы ели горький хлеб на чужбине.... Совесть меня зовет... спать в Россию». А как трогательно, душевно, восторженно писал о своем отчем крае Александр Куприн в статье «Москва родная» в «Комсомольской правде»: «Душа отогревается от ласки этих незнакомых людей. Даже цветы на Родине пахнут по-иному. Их аромат более сильный, более пряный, чем аромат цветов за границей... На Родине все лучше!..»

Четверть века скитался по разным странам, вдали от родины Александр Вертинский. Четверть века его

сопровождали шумный артистический успех и тяжелая, изнурительная тоска по отчему краю. Многие там, на Западе, называли его «сумасшедшим», «ненормальным», когда он в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, возвратился домой. Нет, не сумели разглядеть те «многие» в певце, а может, и не хотели, его истосковавшуюся и изболевшуюся по родной земле душу, когда он пел со сцены: «Здесь шумят чужие города, и чужая плещется вода, и чужая светится звезда»... В своих мемуарах он писал: «Все восходы, все закаты мира, всю экзотику далеких стран, все, что я видел, все, чем восхищался, — я отдаю за один, самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день у себя на Родине».

Несколько потоков эмиграции объединили творческий потенциал, творческую мысль России. В первые годы советской власти часть художественной интеллигенции не поняла и не приняла программу большевиков. В шестидесятые годы не позволялось мыслить широко и демократично, и смелое слово, честное произведение вызывало ярость лидера и предложение покинуть страну. Семидесятые, душные для смело мыслящих людей, вынуждали их самих уезжать за рубеж. Но страшная болезнь, с которой они никогда еще не сталкивались в своей жизни, — ностальгия, или попросту тоска по Родине, обрывала их путь. На чужбине, во Франции, скончались Виктор Некрасов, Андрей Тарковский, Александр Галич...

Я слушал сейчас голос русского эмигранта и запечатлевал в своей памяти образы двух престарелых людей, заброшенных то ли беспечностью, то ли страхом перед бурей событий на чужбину, но не забывших своего языка, отчего дома. И казались они мне двумя волею или прихотью судьбы уцелевшими листочками, оторвавшимися от березы.

26

Придя в себя, Джамал увидел жену. Она сидела у его изголовья и осторожно водила по лбу и лицу влажным полотенцем. По щекам ее текли слезы: она беззвучно плакала.

— Как постарела Марал, а я и не замечал, как она

постарела, — пронеслась мысль. Джамал зашевелил головой и тут же застонал от боли.

— Проснулся? На улице солнце заждалось тебя, что же ты так долго спишь? Твои друзья поминутно приходят и уходят, что же ты так долго спишь? Кто тебя хотел усыпить, кому ты в этом мире не угодил?..

— Не причитай, жена, я еще жив, — проговорил он еле слышно.

— Какой душман осмелился поднять руку на тебя, на моего Джамала, которого почитает весь город, да разве только город...

— Не причитай, сказал я тебе, — повысил голос Джамал и снова застонал от боли в голове.

— Не буду, не буду, успокойся, ни слова, ни звука больше не произнесут мои уста, замок повешу на них.

— Кто там сидит под окном, бараньей папахой заслоняет солнечный свет? — прошептал Джамал.

— Сосед Азизова Ашур.

— Лекарь Ашур?

— Да, лекарь Ашур.

— Чего он пришел? У нас в доме больных нет, жена.

— Прослышал о тебе, принес казан и бритву. Говорит, что тебе надо... в тебя надо жизнь вдохнуть.

— Кровь пустить вздумал?

Жена промолчала.

— Скажи ему, чтобы пустил кровь своим курам и индюкам. Я ему не птица, скажи...

Джамал скорчился от боли, которая, зародившись в затылке, поползла по позвоночнику.

— Успокойся, не разговаривай, тебе нельзя волноваться.

— Хорошо, вздремну немного.

Сквозь дрему Джамал услышал голоса, два голоса он узнал сразу, они принадлежали Симону и Кериму, третий был совершенно незнакомый. Он открыл глаза от прикосновения чужой руки, жесткой и тяжелой.

— А он, оказывается, спал, просто спал, — круглолицый мужчина с мелкими, глубоко посаженными глазками, над которыми нависли густые мохнатые брови, глядел пристально на него.

Неприятное лицо, подумал Джамал, кто это может быть? Наглый и колючий взгляд.

— На улице такое солнце, словно весна вернулась, а вы спите... Лежите, лежите, не вставайте. Вас удив-

ляет, кто я и почему вас тревожу? По глазам вижу. Я следователь. Фамилия моя Кауров. Хочу выяснить, кто и почему вас ударил.

Джамал слабо улыбнулся и чуть заметно покачал головой.

— Вы не видели, кто вас ударил?

— У меня на спине глаз нет, — прошептал Джамал.

— А тень, может, тень заметили?

— Ночь была темная.

— Шаги хоть слышали? Шорох?

— Нет.

— Никаких звуков?

— Только постукивание.

— Четок? За спиной?

— Да, своих четок.

— Вы способны шутить, следовательно окончательно пришли в себя. А не приходит вам в голову мысль, что сверху могло что-нибудь упасть?

— Откуда сверху? — спросил шепотом Джамал.

— С неба, конечно.

— Если бы с неба падали такие тяжести, на земле не осталось бы ни одного живого существа, — Джамал хотел засмеяться, но только хихикнул, и тут же лицо его исказилось от боли.

Установилось молчание. Жена Джамала намочила полотенце в холодной воде, выжала его и осторожно приложила ко лбу.

— Кто этот человек, сидящий под окнами? — вдруг спросил Кауров.

— Лекарь, — ответила жена Джамала.

— Лекарь? Вы что же, не вызывали врача?

— Врач приходил. Сделал уколы и ушел.

— А лекарь почему здесь? — не унимался Кауров, глазки его так и бегали от Джамала к окну и обратно.

— Кровь хочет пустить, говорит, больной тут же оживет, избавившись от дурной крови, — сказала она.

— Так это же хорошо. Пускайте кровь, — оживился Кауров.

— Не хочет, — она указала глазами на Джамала.

— Как так не хочет? — возмутился Кауров. — Человек печется о его же здоровье. Ну-ка приступайте к работе, — обратился он к лекарю и осекся.

Джамал чуть приподнялся, вперил взгляд в его маленькие бегающие глазки и вдруг что есть силы заорал:

— Убирайтесь отсюда. Во-о-он из моего дома!

И упал на подушки.

Когда вернулось сознание и он открыл глаза, голова была легкая и ясная, свинцовая тяжесть исчезла. У изголовья сидел Петр и большой шершавой, теплой ладонью водил по его щекам и лбу.

— Что же ты, брат, свою марку теряешь? Лежи, лежи. Устал лежать? Ну присядь, прислонись на подушки. Кауров, говорят, был у тебя? Кауров...

— Выгнал его из дома, — сокрушенно произнесла жена Джамала, стоявшая в темноте, у дверного косяка.

— Не твоего ума дело, — сухо проговорил Джамал.

— Кауров... Кауров... — снова повторял Петр.

— Знаешь что ли его? — спросил Джамал.

— Откуда мне знать его... Черт его знает... Да ну его, так ты все-таки заметил, кто тебя стукнул? Кто крался хотя бы за тобой?

— Нет. Ты знаешь, что слуха и зрения мне не занимать.

— Да и врагов у тебя в городе нет. Так ведь?

— Нет, конечно. С чего у меня могут появиться враги?

Джамал долго молчал, потом проговорил:

— Не было.

— А теперь?

— Знаешь, на что я ему намекнул? — задумчиво произнес Джамал.

— Кому?

— Сторожу Нахсину. На его связи с турками и белогвардейцами.

— Что же он тебе ответил?

— Дай вспомню... Не торопись, говорит, вместе пойдем, а дальше что он сказал, дай вспомнить... вспомнил: ночь темная, не дай Аллах, и голову расшибить можно.

— И голову расшибить можно? — переспросил Петр.

— И голову расшибить можно, — подтвердил Джамал. — И расшиб-таки.

— Ты уверен, что Нахсин?

— Если не своими руками, то руками своего приспешника. Кому же еще надо расшибить мне голову и за что?

— По логике вещей — да. Но доказательств — никаких, — Петр задумался.

— Не хочешь ли ты сказать, что я сам себе расшиб голову, — возмутился Джамал. — Напился у Азизова, затем у Зейналова, потом проводил друзей-музыкантов, поднялся к мечети, встретился со сторожем мечети, пьяный наговорил ему дерзостей, и когда во мне прозрела совесть, сгорая от стыда и позора, взял и расшиб себе голову. Только чем, не могу придумать. У меня в руках были только четки.

Петр засмеялся.

— Не горячись, брат. Я тоже не сомневаюсь, что на тебя покушался Нахсин или его человек. Но доказать-то мы не можем. Ничем не можем.

— Не можем, — согласился Джамал.

— Так вот, если придет следователь Кауров, а он должен прийти, ни слова о Нахсине.

— Я тоже так думаю. Жена, — Джамал повернул голову к двери, — что ты стоишь, как догорающая свеча. Ты видишь, мой дорогой Петр у меня в гостях, где наши самые вкусные кушанья, неси все сюда.

— Я давно жду, когда ты велишь накрыть суфре,— откликнулась жена.

— И открой окно настежь.

27

Симон и Керим уезжали на учебу в Москву.

Джамал шел по улице, опираясь на горбатую массивную палку: с того злополучного темного вечера у него часто кружилась голова и он смастерил себе подпорку, чтобы, не дай бог, не упасть перед людьми. Сухощавый, жилистый, подтянутый, в шестьдесят два года он выглядел крепким, бодрым мужчиной. Усы его и небольшая бородка снежной белизны красиво выделялись на мужественном загорелом лице. Зеленые глаза не потеряли блеска и смотрели открыто и прямо: в любую минуту в них можно было прочесть лукавство, хитрость или гнев.

Позади него, шагах в пяти, шли жена и Гаврил. За плечами Гаврила висели две тяжело набитые сумки. Женщина споро семенила, обутая в остроносые калоши, и тяжело дышала.

Она бросила взгляд на мужа, и внезапно щемящее чувство жалости охватило ее. Боже мой, подумала она, когда же мы вылезем из этой проклятой бедности? Всю

жизнь он боролся с нуждой, гнул спину. Гнул? Что я говорю! Нет, как раз он не гнул, не он ли пререкался с теми, кто заставлял его гнуться? Гордый был, самолюбивый, за это мне, наверное, и нравился. Да что бедность, вздохнула она, бедность ведь не порок, она человека не ломит. Слава богу, жить стало радостнее, вера в завтрашний день появилась. Вот дети закончат учебу, пойдут работать, тогда и заживем лучше.

Она еще раз глянула на шедшего впереди мужа и покачала головой. Разве в такой одежде она желала его видеть? Ходить бы ему в черкеске с золотыми газырями и в хромовых сапогах, а идет — боже мой, в выгоревшей солдатской шинели, холщовых брюках, худых туфлях... Но идет... люди, вы только посмотрите, как он идет: гордо, красиво, осанка падишаха и будто на нем одежда падишаха. Вот таким только я его и знаю.

Декабрьское солнце ярко светило, но не грело. Улицы были пустынны, если не считать мальчишек, которые у ворот играли в альчики. Черные тарелки репродукторов, прилаженные к телеграфным столбам, сообщали последние известия. Потом из них полилась музыка, под которую идти стало как-то веселее.

По улице проехал автомобиль, сопровождаемый тремя десятками ребятишек и шлейфом пыли. Глаза Гаврила засияли восторгом.

— Мама, я хочу научиться водить такие машины.

— Закончишь школу, сынок, и пойдешь учиться.

— Это настоящее мужское дело — водить такие машины.

— Мужских дел много, сынок, но если очень хочешь — води, кто тебе не дает...

Джамал остановился, повернул голову и, лукаво улыбаясь, сказал:

— Ты сначала замости улицу, не то пыль всем нам глаза выест и тебе тоже, будущему водителю. Гляди, если одни станут катить в автомобилях, а другие учиться в больших городах, мы из пыли и грязи никогда не вылезем.

И он снова пошел своей неспешной уверенной походкой.

— Что ты говоришь, старый? — в голосе жены сквозило удивление и возмущение. — Почему ты решил, что мои сыновья должны мостить улицы? Мало ты гнул спину на этой земле?

— Первым делом город надо строить, а потом катить в автомобиле, — бросил из-за плеча Джамал. — А что касается меня, я спину, насколько мне помнится, не гнул. — Он тихо засмеялся, потом продолжил серьезно: — Правда, жизнь моя была не сытая, но спину я не гнул.

Их пререкания прервал звонкий мальчишеский голос:

— Эй, дедушка, смотри не наступи...

Джамал бросил взгляд на землю и только сейчас заметил змейкой вытянувшиеся две веревки, потом поднял голову. На противоположной стороне улицы на телеграфном столбе, сцепив ноги, сидел мальчуган и завязывал веревки.

— Что ты там делаешь, постреленок? — спросил Джамал. — Или на земле уже места нет?

— Лозунг привязываю, не видишь?

— Лозунг?

— Ну, лозунг или транспарант, как их там называют, вот красная материя, сколько бы из нее сорочек вышло!.. — мальчуган присвистнул.

— Что случилось?

— Ничего не случилось. Крупская приезжает, комсомольцы мне так сказали.

— Вот комсомольцы бы и привязывали лозунг-транспарант. А то нашли кого поднять на столб. Гляди, не упади.

Выйдя на перрон вокзала, Джамал заметил вдали силуэты двух ребят. Не Симон ли с Керимом там стоят, подумал Джамал, плохо стал видеть, лет десять назад, да какое десять — пять назад я видел хорошо, далеко видел, а сейчас все расплывается перед глазами... Время — разрушительница... чтоб тебе пусто было...

— Гаврил, — позвал он громко.

— Что, отец?

— Пойди, посмотри, не Симон ли с Керимом там стоят. Если они, позови.

Гаврил сбросил сумки к ногам матери и, весело крикнув: по-моему, они, да, это они, с невестами своими — побежал.

Симон и Керим не заставили себя ждать. Они быстро подошли к отцу и стали, внимательно глядя на него.

— Это кто там с вами? Невесты ваши?

Ребята молча кивнули головой.

— Я не буду ждать поезда, мать вас проводит. Расплачется, станет причитать, я не переношу женских слез, поэтому не буду ждать поезда. А ей нельзя без слез: у матерей любовь вся в слезах и горе.

Джамал провел ладонью по голове Симона, потом Керима, вздохнул:

— Вы уже взрослые мужчины, оценивайте свои поступки сами, и чтобы ни в коем случае между вами не разгорелся огонек неприязни, который может перерасти в огонь вражды. Ни в коем случае. Вы — братья и друг за друга в ответе перед родителями, передо мной. Будут и тяжелые минуты, и грустные, они обязательно будут, жизнь не всегда сладка, как мед, и тогда вспомните, что ваш отец Джамал из Дербента никогда не склонял головы перед невзгодами. Я утомил вас, дети, идите к своим невестам.

— Береги себя, отец, — тихо проговорил Симон, глядя в зеленые глаза отца.

— О нас не беспокойся, — подхватил Керим, — себя береги и мать.

В душе Джамала что-то шевельнулась. Он хотел ответить детям, но в горле вдруг застрял ком, и он махнул рукой. Потом тяжело глотнув и откашлявшись, проговорил:

— Ну, идите, идите...

И не дожидаясь, когда сыновья отойдут, повернулся и пошел по перрону.

28

Керим направился по Охотному ряду к Манежной площади, когда у гостиницы «Националь» приметил молодого человека, который шел под руку с девушкой. Приметил потому, что и со спины, и по походке этот человек ему показался очень знаком. Не может этого быть, очевидно, я ошибаюсь, твердил он себе, а ноги несли его все быстрей и быстрей. Наконец он перегнал примеченную парочку, дошел до улицы Герцена и, сворачивая на нее, обернулся на какую-то долю минуты и бросил быстрый взгляд.

Да, то был Симон. Он о чем-то весело говорил с белокурой девушкой, не обращая на прохожих никакого внимания. Более того, как определил Керим, он был поглощен своей спутницей.

Керим был удручен и потрясен. Он шел по улице, никого не замечая, весь во власти своих мыслей. Ну как же так, задавал он сам себе вопросы, так быстро забыть ту, оставшуюся в Дербенте, щебетать над ухом первой попавшейся, случайно встреченной или искавшей встречи девушки... Как так можно...

Говоря с самим собой и не находя ответа на свои вопросы, Керим не заметил, как вышел к Никитским воротам. Остановившись и поразмыслив, куда двинуться дальше, он повернул на Суворовский бульвар и вскоре оказался на Арбатской площади. Блуждая глазами по толпе, он резко остановился, но шедший за ним мужчина наткнулся на него, чертыхнулся и заставил прибавить шагу. У синематографа стоял Симон с девушкой. Отойдя в сторону, к углу улицы Арбат, Керим принялся воровато поглядывать на них. Девушка оказалась стройна, более того — изящно сложена. На ней была белая юбка, белая блузка с короткими рукавами, на голове белый берет. И обута в белые туфли на низком каблуке. Она часто закидывала голову, видно, смеялась.

Наконец Симон с девушкой, затерявшись в толпе зрителей, исчезли за массивными дверями синематографа, и Керим, втиснувшись в автобус, поехал в общежитие.

Здесь, в пустой комнате, ему стало невыносимо одиноко, тяжко, и он бросился на кровать, уткнулся лицом в подушку, пытаясь уснуть. Сон не шел. Так пролежал он несколько часов, вспоминая родной город, знакомые и милые сердцу улицы и магалы, инжировые и ореховые сады, раскинувшиеся за мельницей, каменную косу, на которую ходили рыбачить, и молодежный клуб. Вспомнил сурового на вид, но мягкого сердцем и доброго Джамала, веселого и шаловливого Гаврила, пока не скрипнула дверь. В комнату, осторожно ступая, вошел Симон. Скинув туфли, он не раздеваясь прилег на кровать.

— Мы же с тобой обещание дали... даже больше— клятву.

— Не спишь? — удивился Симон.

— С тобой уснешь. Ты стал за юбками мотаться, как бабочка за нектаром...

— А ты что же, следишь за мной? Следишь, значит, за мной?

— Очень ты нужен мне, чтоб на тебя время тратить.

Сам путаешься в ногах. С какими-то бесцветными блондинками. В нашей семье нравы были строгие...

— В какой это нашей?

— В той, купеческой, о которой ты сам подумал. Не в вашей...

— Перестань дерзить. Что ты помнишь о той семье? А что до этой барышни... Нравится она мне, понимаешь. Нравится. Ничего у нас с ней серьезного не получится, но нравится. А своей дербентской красавице раз обещал — придется сдержать свое слово. Как изрек наш любимый поэт, наступлю на горло собственной песне.

— Обещание — это не любовь. Ты уж сознайся своей невесте в неверности и попроси прощения...

— А ты, я вижу, умом перерос меня!

— Почему я должен быть глупее? Я сын купца, ты сын лоти.

— Прекрати дерзить, не то сильно поругаемся.

Керим вскочил с постели и выбежал из комнаты.

— Совсем рехнулся парень, — произнес Симон, сел на кровати, потом нехотя обулся и вышел в коридор. Керима не было. Симон спустился во двор. Двор был пуст. Куда он мог деться, сказал про себя Симон, пожав плечами, как бы не натворил глупостей. И побрел по улице.

Была ночь. Поздно темнеющее небо обильно усеяли мерцающие звезды. В окнах домов погасли огни. Весенняя Москва быстро засыпала. Симон вышел на Котельническую набережную и пошел вдоль Москвы-реки, недоуменно вопрошая про себя: куда он мог подеваться, идти ему не к кому, в кармане не густо, а вдруг возьмет и укатит домой? Не может быть, он не сделает этого, не должен. Бросить институт, учебу из-за блажи? Нет... Сколько пришлось помучиться, на какие хитрости идти, чтобы поступить... и вдруг бросить!.. Нет...

И Симон явственно вспомнил тот полный трагизма и смеха день.

Экзамен по химии Керим не выдержал. Симон, одним из первых сдавший экзамен и теперь терпеливо сидевший на подоконнике в ожидании Керима, по выражению лица догадался: провал.

— Как же так? — сказал он коротко.

Керим пожал плечами.

— Рот хоть раскрывал?

— Раскрывал. Как рыба на суше. Ты ведь знаешь, что я в химии всегда плавал...

— Ну и дела, — протянул Симон.

— Да какие тут дела, — виновато усмехнулся Керим. — Сяду на поезд и укачу домой.

Симон так и въелся в него взглядом.

— Укатишь домой? И станешь посмешищем для всего города? Нет, я тебе не позволю этого сделать.

Он спрыгнул на пол, заходил нервно от окна к дверям аудитории и обратно, потом вдруг остановился, взял за руку Керима и коротко велел:

— Идем.

В приемной директора он властно бросил Кериму, указав пальцем на стул: — Жди.—Не обращая внимания на секретаршу, открыл массивную дверь и, шагнув в кабинет, плотно притворил ее за собой.

За большим столом сидел бритоголовый мужчина. Подняв лицо от бумаг, он пальцами протер глаза и только после этого с удивлением оглядел темноволосого смуглого юношу.

— С чем пожаловали, милейший?

— Мы с братом пожаловали к Вам из Дагестана. Край наш горный, суровый, и возвращаться ему домой с позором никак нельзя. Потому и зашел к Вам. И вот что хочу твердо Вам сказать: если только Вы его не зачислите в институт, я заколю своим кинжалом сначала его, потом Вас, а затем уже и себя. Я сказал все.

Директор поднялся из-за стола, упираясь в него тяжелыми кулаками, набычился и вдруг гаркнул:

— Вы что позволяете себе, пугать меня, директора института, вон отсюда, чтоб вашей тени здесь не видел...

— Извините, — тихо, но решительно проговорил Симон, — я не пугаю. Я предупреждаю...

— Во-о-он, — заорал, побагровев директор, указывая рукой на дверь, — во-о-он.

Симон вышел в приемную, опустился рядом с Керимом.

— Ну как? Почему ты так бледен и весь покрыт испариной? Не заболел?

— Сиди тихо, дай передохнуть...

В это время дверь кабинета резко распахнулась и в приемную выскочил директор:

— Мария, тут ко мне заходил один абрек, разыщи его срочно... Ага, вот он сидит с братом, торжествует свое нахальство и грубость, ну-ка зайди ко мне.

Он устремился в кабинет. Симон последовал за ним.

Директор взял со стола исписанный лист бумаги, положил в конверт, закрыл его и протянул Симону.

— Возьми. Разыщи моего заместителя по хозяйственной части и вручи ему. И вон с глаз моих...

К заместителю Симон и Керим вошли вместе, теряясь в догадках о содержании записки. Высокий худощавый мужчина лет шестидесяти в очках разорвал конверт, прочитал записку и, вдруг побледнев, опустился на стул.

— Вам плохо? — шагнул к нему Симон.

— Не подходите, стойте там, — жалобно попросил тот. — Там, где стоите.

— Да что случилось? — удивился Симон.

— Пока ничего.

— Почему же вы боитесь нас?

— А как вас не бояться? Вот что пишет сам директор: «У посылаемых мною к Вам абреков под косоворотками кинжалы. Весьма срочно поставьте Керима Османова на довольствие, выделите койку в общежитии, в противном случае они заколют кинжалами Вас, а затем и меня...»

Несколько месяцев спустя директор разыскал в общежитии Симона и Керима и, вспоминая тот бурный памятный день, смеясь поведал, что его ошарашила, а затем и покорила этакая наглая смелость Симона. Случай был довольно редкий, и вряд ли подобное этому могло повториться. И не убийства он испугался. Ничуть нет. В этой жаркой перепалке он мгновенно понял, что горцы приехали учиться, и они добьются своей цели, чего бы это им ни стоило. Таким ребятам надо и должно было помочь.

...Симон вышел на Красную площадь, присел на ступеньки собора Василия Блаженного, и им вновь овладело беспокойство за Керима.

— Где его черти носят? — сказал он вслух. — Как бы не натворил чего худого. Вымахал под потолок, а ума ни на грош. Дур-р-рак...

Последнее слово он произнес со смаком, встал и медленно пошел по брусчатке.

— Где я его найду в таком огромном городе?

До самого утра бродил Симон по улицам, переулкам, скверам Москвы, зашел даже на Казанский вокзал, надеясь там увидеть Керима. Поиски были тщетны. Заглянув в общежитие, он отправился в институт на занятия. Войдя в аудиторию, Симон увидел Керима, сидевшего за скамьей с зажмуренными глазами. Он опустился рядом и устало спросил:

— Где ты был?

— Гулял, — буркнул тот в ответ, не открывая глаз.

Симон положил на скамью руки, опустил на них тяжелую голову и закрыл веки.

Он открыл глаза неожиданно. И ничего не мог понять. Рядом стоял седобородый профессор и указкой легонько поглаживал его по голове. Студенты безудержно хохотали. Он взглянул на Керима, сладко посапывавшего во сне, и сам разразился хохотом.

29

Были теплые парижские предвечерние часы. По шумным, заполненным отдыхающими и спешившими с работы парижанами улицам и бульварам Назым, прогуливаясь, возвращался из лицея. Уже вошло в привычку удлинять свой путь, выходить по тесным улочкам на площадь Звезды и уже оттуда, где гудят как пчелиный рой Елисейские поля и потоки машин огибают Триумфальную арку, возвращаться домой.

Назым любил этот гул, суету, просторы проспектов и бульваров, широкие чаши площадей, веселый нрав и раскованность французов и старался — искал повод и находил его — чаще бывать в толпе, на улице, нежели у себя дома, в магазине, где от родителей неминуемо к нему переходила непонятная, неясная, неосознанная тоска, где все вокруг — и мебель, и вещи хранили угрюмость, более того, таинственную настороженность. Среди сверстников он забывал и дом, и удрученных родителей, а на улице окунался в беспечную праздность. Те полчаса, в течение которых он шел от площади Звезды до бульвара Османа, были для него самыми светлыми за день.

Назым остановился у своего дома и продолжал с любопытством разглядывать прохожих, когда под ухом прохрипел простуженный голос:

— Дай-ка, дай на тебя поглядеть, кажется, купеческий отпрыск! Ну конечно, он и есть. Как молодой хозяин ты еще не вступил в свои права? Что дико округлил глазища? Не узнаешь своего дядю Илдирима? Хорош же племянник, а впрочем, весь в отца. Вот стал бы ты молодым хозяином, вступил бы в свои права и взял бы

меня в компаньоны. И вправду взял бы, я верно думаю?

Назым глядел на дядю и все больше проникался к нему жалостью. Осунувшийся, с налетом желтизны на смуглом лице и в белках глаз, тот был одет в затасканный, помятый костюм, из-под которого выглядывала несвежая сорочка. Остроносые туфли на высоких скосившихся каблуках давно не знали крема и прикосновения обувных щеток.

— Да какой из тебя сейчас хозяин, ты овца в доме отца, — дядя осклабился, показывая кривой ряд гнилых и пожелтевших от сигарет зубов. — Много у тебя при себе денег?

— Денег? — Назым растерялся. Он полез в глубокий карман брюк, приговаривая, — пять или шесть, да пять или шесть франков...

— Что ты сказал? — прохрипел со стоном дядя.

— Пять или шесть франков...

— Замолчи, закрой свой рот, чтобы я не слышал больше этого. Сказать такое родному дяде! Попрошайке и то больше подают. Стыдно мне за тебя. А может, скрываешь? Посмотри-ка мне в глаза, прямо, нет, нет, не открывай рта, не хочу больше слышать о твоем богатстве, тьфу, о твоей щедрости. Ничего не поделаешь, придется обращаться к твоему отцу, или вернее — моему милому родственнику. Зайдем, что ли, домой.

Илдирим взял Назыма под руку и решительно ступил в магазин.

Осман сидел в глубоком кресле спиной к залу, наблюдая за посетителями в большое роскошное, в позолоченной оправе зеркало, висевшее на стене. С утра у него было просто замечательное настроение, что не так часто случалось: товар, прибывший из Ирана, имел хороший спрос, торговля шла бойко. С утра, с того самого часа, как высококачественные персидские ковры стали редеть в магазине, лицо его сияло загадочным светом. И только сейчас оно омрачилось, в ту минуту, когда в зеркале появился Илдирим с Назымом. Ни одним движением не выдал Осман своего настроения, ни один мускул не дрогнул на его лице. Он продолжал спокойно взирать в зеркало, перебирая четки.

Илдирим подошел к прилавку, оглядел зал, потом обернулся к Назыму:

— Где твой отец? Куда он спрятался от меня?

Назым неопределенно пожал плечами.

— Ну и родственник у меня, ну и скаредный мужик, скрылся, упрятался, эй, кто тут есть живой? Аскер, неужели это ты, а ведь на самом деле ты. Удивительно, что придает силы этим дряхлым рукам и ногам, что тебя держат на этой грешной земле и не отпускают к Аллаху. Не открывай рот, не надо, я не хочу с тобой спорить, иначе весь мой гнев выльется на тебя и обойдет твоего скаредного хозяина. Скажи лучше, где он таится?

— Здесь я, — спокойно отозвался Осман.

Илдирим инстинктивно быстро вобрал голову в плечи, оглянулся, но одумавшись, тут же осмелел и прохрипел:

— Не вижу своего богатого родственничка.

— Здесь я, — повторил Осман, — в кресле, спиной к тебе.

Илдирим наконец увидел его, подошел, осклабился:

— Ага, вот он где сидит, мой родственник. Посмотри на меня, вид мой жалок, и вызывает у кого сочувствие, а у кого и чувство омерзения. Я это понимаю... Ты даже не повернулся ко мне, взираешь на мое отражение в зеркале... На мое отражение... Как ты оказался жесток и эгоистичен. А ведь мы одного племени люди, более того, родственники, еще горше — одинокие чужестранцы, оказавшиеся на чужбине, далеко от могил своих отцов и дедов, и тебе позволяет совесть вышвырнуть меня из дому...

— Закрой свой рот и выслушай мое жесткое слово, — прервал его Осман. — Пока я жив, я буду проклинать денно и нощно тебя и твое имя за то, что ты лишил меня, мою семью и моих работников родины.

Воцарилось недолгое молчание, которое прервал Илдирим.

— Не маленький был. Надо было думать своей головой.

— Не желаю больше говорить с тобой, уходи, — жестко произнес Осман.

— С удовольствием покину твой дом, — Илдирим, болезненно улыбаясь, склонился в низком поклоне, потом резко выпрямился и зло проговорил: — Только дай мне денег. Без денег я пропаду. Я на своей шкуре испытал, что значит здесь быть не у дел. Тебе этого не понять, ты купец, ворочаешь тысячами, и на них покупаешь уважение, почет в обществе. А я — никто. Так

что... дай мне денег. Иначе я убью тебя, подожгу и магазин твой, и дом.

Назым, удивленный и пораженный дерзостью дяди, глядел то на него, то на отца, ожидая гнева последнего. Но молчание длилось долго. Наконец Осман повелительно проговорил:

— Вышвырните его вон.

Илдирим не успел сообразить, что происходит, как двое работников железной хваткой сковали его руки, подвели к дверям и, распахнув их ногой, с силой выбросили как ненужный тюк.

— Вот так, сын, озлобляется человек, сам не способный ни к чему и завидующий тому, кому сопутствует удача в жизни. Сядь в мое кресло, удобней. О чем я говорил?

Осман прошел до дальнего угла, перебирая четки, вернулся, затем прислонился к прилавку.

— Да, озлобленность — это страшная, коварная штука. Она грызет человека изнутри, как червь, въедаясь все глубже, жжет душу. Но есть одна штука, пострашнее озлобленности. Чувство ненужности. Оно опустошает человека, лишает его сил, способностей, уводит от деятельной жизни к безделию, безразличию, к гибели. К нашему несчастью, твой дядя заражен обоими пороками: и озлобленностью, и чувством ненужности. Особенно обострились эти болезни здесь, на чужбине. Ты почему ни о чем не спрашиваешь? — вдруг обратился Осман к сыну.

— Я слушаю, отец.

— То, что слушаешь — похвально. Но если у тебя не возник ни один вопрос, значит, я не сумел разбудить, потревожить твой разум.

— Меня волнует много вопросов, отец, но я не хочу их задавать сегодня.

Довольная улыбка легла на губы Османа, но он тут же согнал ее.

— Пойдем-ка наверх, ужинать пора. Аскер, — обратился Осман к работнику, — пора закрывать магазин. Да не забудь вынести из подвала новые товары.

Осман, а вслед за ним Назым поднялись по винтовой лестнице в гостиную. Уже в комнате, опускаясь на просторный диван, обтянутый огненного цвета велюром, Осман тихо сказал сыну:

— Не говори матери, что здесь был ее брат. Она еле выкарабкалась из болезней, а этот дармоед и бездельник своим появлением подтачивает ее силы. Червь... Нет, червь и тот на земле чем-то полезен, а он...

И Осман отрешенно махнул рукой.

За стол сели вдвоем. Назым долго ждал мать, но прислуга, отправившаяся за ней, вернулась одна и сообщила, что хозяйка плохо себя чувствует и не будет ужинать.

— Ты ешь, сын, ешь. За мать не волнуйся. В народе говорят, что женщины выносливее мужчин, оно и верно. Природа их одарила прекрасным здоровьем. Но чувствительность их беспредельна, а иногда, я бы сказал, совершенно нелогична. — Осман задумался, затем продолжал: — Они сочувствуют и знакомому и совершенно чужому, жалеют пичужку и кошку, кролика и змею... Не могу до сих пор понять, что направляет их поступки: разум, сердце или еще что-то...

Звон разбитого стекла заставил их вздрогнуть. Они переглянулись, потом одновременно вскочили из-за стола и устремились вниз.

Витринное окно магазина зияло как пустая глазница, пол был усеян мелким дробленым стеклом.

С улицы вернулись Аскер с работниками. Аскер устало опустился на стул и, не глядя на Османа, проговорил:

— Обежали весь квартал. Никого. Мне сдается, это дело рук Илдирима. Со злости. Или сам, или подкупил какого-нибудь бродягу, а то и сорванца. Что ты молчишь?

Осман продолжал молчать.

Назым долго глядел на отца, уставившегося в пустой квадрат окна, потом осторожно притронулся к его руке:

— Не надо об этом думать, потеря не велика.

Осман поднял на него глаза, полные тоски и грусти, и негромко произнес:

— Да разве об окне моя печаль или об Илдириме? О тебе моя печаль, сын. Все, что у меня есть, будет твое. Жизнь твоя будет безбедна, если умело распорядиться добром. Я живу для тебя и тобой. Ты моя единственная связь с родиной, память о ней. Был бы рядом Керим — мне было бы вдвойне легче, а тебе тем более — и помощь была бы, и опора, и поддержка. Старший брат, что отец для младшего. А чего достигнешь один, к какой пристани причалишь? Пока я жив, пропасть твоей

душе не дам, а там — кто знает, как может обернуться жизнь.

— С голоду не умру и побираться не стану...

— Я не о том. Я о духовной жизни. Часто ночами не сплю, все думаю, что будет знать мой внук о моей родине, о земле дедов, на чьем языке будет говорить он, чьи песни петь...

— Я его научу, отец, нашему языку...

— Научить языку, танцам, обычаям — это уже не то. Вот когда живешь среди своих — и слова, и музыку, начиная с колыбельной, впитываешь с молоком матери, даже свои кушанья ешь по-своему, пусть, как говорится, не цивилизованно, но по-своему... А тут женишься на какой-нибудь из потаскушек, которым за окнами числа нет, воспитает она сына по образу своему — и прервется ниточка, связывающая с родиной...

Осман обнял Назыма за плечи, потом слегка подтолкнул к винтовой лестнице:

— Пойдем, попытаемся заснуть. Уже поздно.

30

Мы ехали на встречу, организованную ассоциацией работников средств информации, ожидая выслушать всякие вопросы.

Конференц-зал был набит до отказа. Люди стояли в проходах. В глазах одних читались любопытство и интерес, других — насмешка и ехидство, третьих — настороженность, четвертых — опасение: возможно, за неудачные наши ответы? Так или иначе, но все были заинтересованы в разговоре.

Первые вопросы были безобидны: сколько в России газет, почему многие из них выходят многомиллионными тиражами, как живут наши журналисты...

Отвечали журналисты, как договаривались между собой, по порядку, как сидели за столом.

Наконец был подброшен первый острый камешек, именно в тот момент, когда очередь дошла до меня:

— Мы часто пишем и говорим, что на западном рынке российских товаров вовсе нет или их очень мало. И имеем для этого основания. Почему вы не развиваете свою промышленность?..

Товарищи посмотрели на меня. В их взгляде застыл вопрос: выручать?

— Во-первых, потому, что мы много и часто экспериментируем, нас не оставляют в покое реформаторские идеи, или если хотите откровенно — революционный синдром.

В зале послышался смех.

— А во-вторых, — я расстегнул ремешок своих золотых часов, снял их с руки и положил на стол. — Передо мной лежат наши часы марки «Победа». Выпуска 1950 года. Теперь будьте добры, пусть человек десять снимет с рук часы и откроет заднюю крышку. Открыли? У кого написано на механизме «Made in USSR»?

— Есть такие, — послышалось из зала.

— А теперь поднимите руки, кто обнаружил такую надпись? Так, шесть. У шестерых из десяти. Значит, шестеро носят отечественные часы. Объясняю, как это получается. Франция закупает у нас часовые механизмы, не уступающие лучшим первоклассным западным маркам, поскольку себестоимость наших ниже, и заключают наши механизмы в собственные корпуса, с маркой Франции. Для большей информации: наши часы закупают ФРГ, Англия, Бельгия, Нидерланды, Канада и многие другие страны.

По залу прокатилась волна оживления, раздались смешки в адрес незадачливого вопрошателя. Я продолжал:

— Чтобы вы имели представление об авторитете нашей тяжелой промышленности на зарубежных рынках, могу сообщить вам несколько ярких фактов. Право пользования разработанным нашими специалистами методом непрерывной разливки стали купили у нас двадцать шесть фирм, производства жидких самотвердых смесей — тридцать, испарительного охлаждения доменных печей — двадцать четыре, лицензию на установку сухого тушения кокса — семнадцать. Думаю, фактов достаточно. Мы ведем торговлю более чем со ста странами и если бы экспортировали товары низкого качества, вряд ли с нами кто-то захотел торговать. И потом... вспомните, что мы в некоторых областях впереди западного мира. Первым наш человек Юрий Гагарин покорил космос, первым наш человек Алексей Леонов вышел в открытый космос, первой наша женщина Валентина Терешкова побывала в космосе, первой советская женщина Светлана Савицкая вышла в открытый космос... Это, согласитесь со мной, о чем-то да говорит.

В зале раздались аплодисменты.

— В вашей стране идут реформы. Довольны ли вы их ходом?

— За короткий срок реформы не завершишь — это все у нас уже сознают. Если в центре что-то и делается, периферия очень медленно раскачивается, а кое-где и не желает раскачиваться. Прежний чиновничий аппарат продолжает руководить по-старому. Вы же читаете сообщения, что происходит в иных областях и республиках: от прямого недоверия к аппарату до забастовок. Даже если реформы не оправдывают всех наших надежд, они ценны уже тем, что развеяли образ врага, империи зла, как вы нас представляли.

— Не хотите ли вы сказать, что коррумпированные чиновники, мафиози саботируют ваши реформы?

— Это я и хочу сказать. Приведу вам такой пример: в прошлом году из двухсот пятидесяти видов остродефицитных товаров, закупленных за рубежом, трудящимся было продано только девять. А на прилавках магазинов из тысячи наименований товаров осталось около ста. Вы ведь сами прекрасно об этом проинформированы. А насилие в Азербайджане и Армении, вооружение боевиков — здесь не обошлось без мафии, время откроет их лица народу.

— Почему вы долго воевали с Гитлером? — раздался из зала высокий голос.

— Вы знакомы с историей второй мировой войны?

— Знакомы, и неплохо.

— Не могу разделить вашего мнения. Иначе вы имели бы хоть маленькое представление о том, что мы направляли свои усилия на строительство новой мирной жизни, оборонная промышленность была еще слаба. А на гитлеровскую Германию работала вся Европа. И нашему народу пришлось ускоренными темпами развивать экономику, эквивалентную экономике Западной Европы. И с успехом это сделали, и Гитлера разбили, и народы Европы спасли от фашизма.

— Ваше мнение об афганской войне. Ваше отношение к ней...

— Но ведь мы уже свое отношение высказали. Назвали и виновных, тех, кто дал команду ввести войска в эту страну. Я лично скорблю не только по десяткам тысяч погибших и изувеченных наших ребятах, но и по сотням тысяч погибших ни в чем не повинных афганцев. Что они понимали в политике Тарраки или Амина?

Ровным счетом ничего. Они пахали землю и разводили скот, пять раз в день совершая намаз, а им некоторые горячие головы решили дать демократию. А жизнь показала, что демократию, тем более социализм, на бронетанках не ввозят.

Мне очень хотелось, Осман, чтобы ты сидел в этом конференц-зале, слушал нас и постарался понять, какие усилия понадобились нашему народу и надобно прилагать ежедневно, ежечасно, чтобы, как это и ни тяжко, ни сложно, защищать свои убеждения, свои принципы.

31

Зима кончилась, но весна не торопилась вступать в город. Несколько недель с моря дул холодный ветер, а с серого, низко нависшего над улицами и домами неба, сыпал мелкий, невидимый глазу дождь. Густая, вязкая грязь с каждым днем поднималась, как тесто на дрожжах. Улицы опустели: не видно стало ни собак, ни кошек, ни вездесущих ребятишек, ни стариков. Много дней уже пустовала их лавочка под радиорепродуктором, и казалось, что голосам, вырывавшимся из черной тарелки, было как-то неуютно и одиноко.

Неуютно было и Джамалу. Он мог часами расчесывать мелкой расческой седую бороду, напевая, перебирать четки или аккуратно перелистывать древние книги, но дни становились длиннее, свету прибавлялось, и оставалось много времени, ничем не заполненного. Пойти к старым друзьям, товарищам юности не хотелось.

В один из таких дней к Джамалу явился следователь Кауров.

Джамал не слышал, как следователь вошел во двор, прошел по раскисшей дорожке к веранде и поднялся на ступеньку. Он увидел гостя, когда тот отбивал от ботинок комья грязи.

— Сильно не старайся, подошвы отлетят,— усмехнулся Джамал.

Кауров поднял голову, встретил взгляд хозяина дома и сделал удивленное лицо:

— Вы здесь? Я вас и не заметил. А насчет подошвы вы верно заметили: все худое — ненадежно.

— А как им быть толстыми, подошвам-то?

— Да, как быть толстыми? Время такое...

— Худое, — подсказал Джамал.

— Худое... Что вы меня путаете? — словно спохватился Каурoв.—Время как раз-таки веселое, бурное. Глядишь, где-то колхозный склад сгорел, кому-то в спину нож всадили, кто-то кирпичом по голове... Вы так ничего и не вспомнили по вашему случаю?

Взгляд его остановился на лице Джамала.

— Как я могу вспомнить сейчас, когда не мог вспомнить сразу... Тот случай я уже почти забыл, да что я говорю, совсем забыл. Что ты стоишь, присядь рядом, на тахту, будь гостем, скоро должна подойти жена, чаем крепким угощу, ты любишь чай? Или вино предпочитаешь? У меня есть хорошее вино, сам давил.

— Вот это хорошо. Хозяйскую жилку я ценю. Свое всегда бывает лучше, вкуснее, крепче. И много надавили?

— Несколько бочонков. Жена подойдет, попробуем по стаканчику из каждого бочонка.

— Ждать времени нет. Дел много. Так вы не вспомнили того, кто вас сзади по голове...

Джамал поймал острый, настороженный взгляд следователя и усмехнулся:

— Если б вспомнил, давно обратился бы, куда следует. Вся беда в том, что я не видел его.

— А может, его и не было? — спросил Каурoв.

— Кого его? — не сразу понял Джамал.

— Ударившего. Покушавшегося на вашу жизнь.

— Может, и не было, — протянул Джамал, искоса глянув на Каурова. — А не кажется ли тебе, что то могла быть и рука Аллаха?

— Чего-чего? — теперь протянул Каурoв.

— Рука Аллаха, говорю, — повторил Джамал.

— Да перестаньте вы... голову морочить мне. Я не из тех, кто верит восточным сказочкам. Послушайте, — глаза Каурова оживились, — а может, был приступ. С вами случались приступы?

— Какие еще приступы?

— Ну, сердечные... Вы теряли сознание?

— Никогда, — усмехнулся Джамал.

— Но теперь возраст у вас... можно сказать, преклонный. В каком году вы родились? Да, да, вспомнил, тридцать два года жили в старом веке, тридцать один— в нашем живете. Значит, седьмой десяток. Ну, на седьмом десятке можно и сознание потерять. Так вас ударили или вы все-таки потеряли сознание?

— Тебе-то зачем знать это? Я ведь в твою контору не заявлялся, разыскать и наказать моего недруга не просил.

— Ваше право просить или не просить. Наша обязанность, наш долг раскрывать преступление и карать преступника по закону. Так как мы договоримся, или, то есть, решим — вас ударили или у вас случился приступ?

— Считай как хочешь и дай мне отдохнуть, — махнул рукой Джамал, вытягиваясь на тахте.

— Я к вам еще наведаюсь, недели через две-три, к тому времени вы что-то решите... У меня лично создается впечатление, что вы потеряли сознание в результате острого заболевания. Послушайте, а к врачу обращались вы? — оживился Каурoв.

— Я тебе уже сказал, дай мне отдохнуть, — повторил Джамал и закрыл глаза.

— Я ухожу, загляну недели через две-три.

Джамал некоторое время ни о чем не думал, просто отдыхал от нудного и утомившего его разговора со следователем. И вдруг шальная мысль тревожно забилась у него в голове: а почему он заговорил со мной о болезни. Приступ острой болезни. Значит, я потерял сознание не от удара, нанесенного сзади, а от страшной боли. А я в своей долгой жизни никогда ничем не болел. Он меня все склоняет к болезни. Да еще как-то промолвил: «как мы договоримся»... Он хочет со мной договориться. Что все это значит, не пойму. Но понять надо.

Джамал открыл глаза и, заложив руки под голову, уставился в потолок.

Он хочет, чтобы я упал от приступа, а не от удара. Тогда выходит, что меня никто не ударил из-за спины. Кого выручает такой ход? Следователя, который закрывает дело? Но он на руку тому, кто нанес удар. Тот уходит в тень. Подожди-ка, Джамал, а не уводит ли сам следователь неизвестного в тень... Постой, постой, дай мне сосредоточиться... В ту ночь на улице не было ни единой души, кроме меня и Нахсина. Мог ли удар нанести сторож? Дьявол его знает... Но если вспомнить тот разговор, его намеки и полунамеки... Значит, следователь укрывает сторожа? Э, что-то я хитроумно плету свои рассуждения. Что может связывать Каурова и Нахсина. Нахсина, который в восемнадцатом был на дружеской ноге с турками и белыми... Был на друже-

ской ноге... А Кауров... Тьфу, у меня уже голова отупела от этих сволочей, засевших в мозгу. Пропади они пропадом.

Джамал встал с тахты, спустился во двор, вошел в сарай, налил в большой серебряный ковш вино из бочонка, выпил до последней капли, крякнул, вытер губы, усы и бороду ладонью, задумался и опять подставил ковш под тугую пахучую красную струю.

32

Не спалось. Было далеко за полночь.

Осман поднялся с постели, взял со стула шелковый халат, накинул на плечи и подошел к окну. По широкому бульвару, щедро освещаемому светом реклам, шли несколько парочек, любители ночных прогулок. Они останавливались у витрин магазинов, что-то бурно обсуждали, заливаясь смехом, потом крепко обнявшись шли к следующей витрине...

— Смотрю на бульвар, а перед глазами наши магалы, — проговорил Осман. — Темные, тесные магалы. Каменные холодные стены домов. Глухие заборы. Плоские крыши, залитые киром...

Жена заворочалась в постели, тяжело вздохнула и прошептала: — Все в воле Аллаха.

— Ватан... Ватан[1], — повторил Осман. — Думал ли я когда-нибудь, что в этом слове может быть заключено столько нежности, тепла, любви. Ватан... Магалы, пыльная дорога, уводящая в инжировые и ореховые сады, теплое и нежное море, караванные пути и тропы в горы, проводники, погоняющие лошадей и ослов, мой сосед Джамал...

— Не верю я, что Керима нет, — подала голос жена. — Никак не могу поверить, сердце не соглашается... Жив твой сыночек, говорит оно мне, жив и здоров, иначе и не вынесла бы его смерти...

— Джамал человек порядочный, степенный, Керима воспитает он, должно быть, хорошим человеком. Уму непостижимо: как только судьба не распоряжается человеком — семья на чужбине, потеряна навеки, безвозвратно, а сын в чужой среде, хотя и на родной земле...

— Чувствую я: жив мой сыночек...

[1] Ватан — родина.

— А я иначе и не думаю... Не даст ему погибнуть Джамал...

Послышался грохот, треск. Плотно притворив дверь, Осман вышел на лестницу и столкнулся с Назымом.

— Что случилось? — спросил он, сбегая вниз.

— Не знаю, отец.

В магазине творился хаос. Среди разбросанных тюков тканей, ковров, различного антиквариата по полу катались два человека. Наконец один взгромоздился на другого, оседлал и принялся наносить удары кулаками, хрипло приговаривая: — Собачий сын. Я давно слежу за тобой. Безродный пес.

Исподнее на лежавшем внизу было изорвано. Из носа текла кровь.

— Прекратите его избивать. Что здесь происходит? — спросил изумленно Осман. Такой картины он не видел за всю свою долгую жизнь.

Работник встал, ноги его дрожали.

— Он... он хотел... убить вас.

Осман удивленно переглянулся с Назымом.

— Убить? Меня? За что? Что я ему плохого сделал?

— Не знаю... — работник прислонился спиной к прилавку, не сводя с лежавшего на полу глаз. — Он поднимался к вам с ножом...

— Это правда? — тихо спросил Осман, подойдя к поверженному.

Тот не шелохнулся.

— Мне кажется, ты убил его, — сказал Осман, взглянув на работника.

— Жив... Такие выживают... Я давно приглядываю за ним.

— Почему же от меня скрывал?

— А о чем говорить? Что ваш верный работник замышляет против вас скверное? Вы бы не поверили. Я у вас тут недавно...

— И то верно.

Осман остановился над поверженным:

— За что ты хотел убить меня, Вели? Слышишь, я с тобой говорю. За что... Неужели зло и ненависть захлестнули тебя, помутили разум, залили глаза?

— Илдирим велел.

— Что ты сказал? — не понял Осман. — При чем тут Илдирим? Что-то ты путаешь...

— Илдирим велел убить вас, — повторил тот.

Осман поднял валявшееся на полу кресло, сел. И

почувствовал страшную усталость в теле. Что делать с ним, пронеслось в голове, оставить служить — доверять ему уже нельзя, успокоиться до следующего раза, пока не собьет его с истинного пути Илдирим? Выгнать на улицу—озвереет, глядишь, и убьет. Выдать полиции— своего сородича, покинувшего родину и мытарствующего на чужбине? Нет, не позволю себе этого. Но как быть, как с ним быть, что-то надо решить.

— А где Аскер? — вдруг спохватившись, громко воскликнул он. — Я не видел Аскера. Где Аскер?

Осман вскочил с кресла и с Назымом забегал по магазину.

— Где Аскер? Почему он не отзывается? Где мой старый и добрый Аскер, случилось ли с ним что?

— Отец! — раздался крик Назыма.

Осман замер от этого крика, потом устремился в угол магазина, где понуро стоял сын.

Под тюками материй лежал Аскер с разбитой головой.

Осман опустился перед ним на колени, осторожно провел пальцами по морщинистому лицу старика.

— Мой старый и добрый Аскер... Кто же тебя... Знал ли ты, что умрешь такой смертью, мой старый добрый Аскер? Как долго ты был со мной, делил радость и горе, тоску и печаль по потерянному, ты был единственным, кому я поверял свои страдания, кому раскрывал разрывавшееся сердце, мой старый добрый Аскер. С кем я теперь буду вспоминать годы молодости, кто мне будет напоминать о далекой земле...

По щекам Османа текли скупые слезы.

— Смотри, Назым, смотри и запомни на всю жизнь старого доброго Аскера. Смотри и запоминай... Назым, где ты, я тебя не вижу. Назым, где ты?

— Я звонил в полицию, — откликнулся Назым. — Сейчас подъедут.

— В полицию? Зачем ты это сделал? Ах да, убит старый добрый Аскер. Мой старый добрый, Назым, где ты?

— Я здесь, отец. Вот я, рядом.

— Смотри и запоминай старого доброго Аскера. Его больше не будет с нами. Больше не будет... О мой несчастный сын...

33

Запах жарившегося залома, казалось, парил над всей улицей. Вдыхая его и причмокивая языком, Джамал усмехаясь представлял, как ворчит жена на летней кухне, снуя от одной печи к другой. На большой чугунной сковороде в кипящем масле красноватой коркой покрывалась рыба, а в тону румянились лаваши. И это в такую-то рань, когда и солнце еще не поднялось над морем.

Затемно встал сегодня Джамал, выпил несколько глотков холодной воды, ополоснул лицо и направился на нижний рынок. Здесь шла уже бойкая торговля свежей рыбой. Домой вернулся он скоро, с тремя увесистыми заломами и охапкой свежей зелени. И как не ворчать старой женщине, которой хотелось на заре сладко поспать, а тут из-за прихотей мужа пришлось почистить рыбу, разжечь огонь в печи и другé, замесить тесто, а потом сновать от огня к огню, как бы не пережарился залом или лаваш. Как же не ворчать ей...

Джамал усмехнулся в усы от предвкушения вкусного завтрака и в душе попытался пожалеть свою старуху, которая мечется по кухне. Ну что поделаешь с собой, если так сильно захотелось свежего залома, что и сон стал в тягость, заставляя его поминутно переворачиваться с боку на бок, и ночь показалась бесконечной.. А старуха, что старуха, ей не привыкать работать у огня. Разве мало возилась она на кухне, когда дома были дети? А теперь целыми днями сидит у ворот и сплетничает с соседками.

На веранду поднялась жена, расстелила суфре, бросила взгляд на мужа, спросила:

— О ком твои песни?

— О тебе, старуха.

— Какие же в них слова?

— Жалостливые.

— С каких пор ты меня стал жалеть? — она улыбнулась, и улыбка на какие-то секунды разгладила сморщенное, как печеное яблоко, лицо. — И правильно поступал, что не жалел. Жалость старит душу человека. А может, и не жалостливые слова твоей песни? — она подняла на мужа глаза.

— Нет, конечно. Разве я позволю, чтобы ты постарела раньше меня? — Джамал тихо засмеялся.

— Эх, Джамал... — вздохнула жена, бросая на под-

нос вымытую зелень. — Ни годы, ни невзгоды, ни радости не изменили ни твоего характера, ни привычек.

Она спустилась с веранды и скоро вернулась, неся большое блюдо с заломом на одной ладони и лавашами на другой. Потом принесла графин белого вина и два глиняных бокала.

— Это кому второй, — наигранно удивился Джамал, — тебе, женщине?

— Если ты поешь обо мне песни, почему бы нам вместе не выпить за меня? — устало произнесла жена, опустившись на палас и поджав под себя ноги. — Наливай.

Они еще не успели доесть по куску вкусного залома, который так и таял во рту, когда во дворе послышались шаги и раздался мужской голос:

— Мир твоему дому, Джамал, ты не спишь?

— И твоему, — ответил Джамал. — Заходи, гостем будешь.

На веранду, тяжело и отрывисто дыша, поднялся грузный мужчина.

— Ашур? — удивленно воскликнул Джамал, но тут же погасил возглас и небрежно обратился к жене. — Неси, женушка, третий бокал. А ты садись, Ашур, садись и попробуй заломов, которых я чуть свет поймал.

— На лов ходил? — удивился Ашур, отправляя в рот хрустящую корочку.

— И таких трех красавцев принес, что жалко было бросать на раскаленную сковородку.

— Море нынче богатое, рыбы будет много. Но в твоем возрасте ходить на лов... — Ашур покачал головой.

— Не слушай его, председатель, — вставила жена, возвращаясь с бокалом. — Ты ли не знаешь, что Джамал горазд на шутки.

— А мне показалось, что он всерьез говорит, — сказал Ашур.

— Меня уже и в несерьезные записали, — усмехнулся Джамал. — Разве я тебя обманул, Ашур? Я сказал: «Садись и попробуй заломов, которых я чуть свет поймал». Так ведь сказал?

— Так, кажется.

— Но ты меня не спросил, где я их поймал. А спросил бы, я бы ответил: на нижнем рынке за деньги.

И Джамал довольный тихо засмеялся.

Ашур пригубил, попробовал на вкус терпкость, отпил глоток, потом выпил весь бокал, до дна, и проговорил:

— Хорошее вино. Если, конечно, не шутишь, что твое.

— Я никогда не шучу, Ашур. Я всегда говорю по делу. А теперь выкладывай ты свое дело.

— Это не мое дело. Общественное. Колхозное. В позапрошлую пятницу чья-то подлая рука вырубила наши виноградники на двух гектарах.

— Знаю, слышал.

— Думали всем правлением, как найти мерзавца. Созвать народ на собрание? Спугнем ведь вражину. И решили: не делать большого шума, забыть будто бы о случившемся, но посторожить... Две недели ночью члены правления как кроты закапывались в землю, выжидали. И вот поймали. Кого бы ты думал?

— Откуда мне знать, если город молчит.

— Самого тихого, смирного, верующего человека, Гусейна. С серпом в руках. Поймать поймали, а заставить произнести хоть слово не можем. Молчит, насупился, как сыч. Трудно поверить, что этот тихий, смирный многодетный человек, который батрачил на беков, мог поднять руку на свой же труд. Ведь сколько пота пролили, чтобы вырастить виноградники, и вот тебе — за одну ночь нет двух гектаров... Чует мое сердце: не он, а кто-то другой поднял его руку. Кто-то его напугал и заставил. Вот я и пришел к тебе с просьбой: поговори с Гусейном. Может, он тебе откроется.

— Отпусти Гусейна домой... — произнес Джамал после недолгой паузы.

— Отпустить домой? — не дослушав, прервал Ашур.

— Ты пришел ко мне за помощью, Ашур? Если ты пришел ко мне за помощью, отпусти Гусейна домой и предупреди, что к нему придет Джамал. Никуда он не денется из города.

— Но он может убежать...

— Куда? — усмехнулся Джамал. — От милиции?— Впрочем, его могут убить, подумал уже про себя Джамал. — Так что отпусти его домой.

И вдруг острая мысль, словно вспышка молнии, заставила его вздрогнуть. Неужели он? Нет, это уж слишком... Но почему нет, если он избрал себе путь вражды и ненависти... Он ли? Лоб его покрылся испариной.

— Джамал, тебе плохо? — донесся до него словно издалека голос Ашура.

— Нет, ничего, просто сердце сдавило, ничего...

— Тогда я пойду сделаю, как ты велел. Может, врача все-таки вызвать?

Джамал взглянул на Ашура и тихо проговорил:

— В этом деле врач не поможет. Поспеши, чтобы я через час мог навестить Гусейна.

Джамалу хотелось побыть одному, но вернулась жена, подошла, озабоченно посмотрела в глаза:

— Что с сердцем? Ашур говорит, сдает сердце у Джамала.

— Успокойся, жена, не было у меня никакой боли. Когда-нибудь разве болела эта грудь? — И Джамал постучал костлявым кулаком по груди. — Меня пот прошиб от мысли, что Гусейна толкнул на преступление... догадываешься, кто?

Жена долго глядела мужу в глаза, потом всплеснула руками и села на палас.

— Догадалась?

— Страшно даже подумать, — проговорила она, — и после этого ты еще в магал собрался? Никуда не двинешься отсюда, ни на шаг. Ты живым не вернешься оттуда...

— Одумайся, женщина, и успокойся, днем я иду, а днем кто тронет?

Джамал отряхнул шапку, заломил ее тулью, надел аккуратно на голову, опустив на глаза, и, заложив руки за спину и перебирая четки, вышел со двора. На улице он остановился, поднял голову, оглядел небо, которое стало нагреваться от горячего солнца, и направился в магал.

Жил Гусейн выше бывшего дома Османа и чуть ниже мечети. На стук Джамала калитка отворилась сразу: будто его ждали.

— Проходи, уважаемый, в дом.

Гусейн, пропустив гостя вперед, сильно, со стуком задвинул задвижку.

Джамал быстрым, цепким взглядом окинул небольшой двор, в котором играли дети, и последовал в дом.

— У тебя и виноград растет во дворе? — спросил он, усаживаясь на предложенную подушку.

— Как видишь, уважаемый.

— И тутовое дерево, и абрикос, и черешня, и айва, и гранат, и груша...

— Есть миндаль, инжир.

— Ну ты подумай только. Настоящий сад. Молодец,

добрые у тебя руки. А как мы жили двадцать лет назад? Уже забываться стала наша батрацкая жизнь.

— Да, уважаемый, как вспомню, голову хочется втянуть в плечи от стыда.

— Ты-то что видел? — усмехнулся Джамал. — Кажется, лет на тридцать моложе? Я перевидал немало человеческого горя и страдания. Жандармы полосовали нагайками. Юсуф-бек обирал и обманывал. А сейчас какая настала жизнь? Как в доброй сказке. И люди стали честнее и добрее. Правда, и прежде встречались хорошие. Ничего плохого не могу сказать о своем соседе Османе. Помнишь купца Османа?

— Как не помнить? Хорошо помню.

— Богатый был человек, властный, но и добрый, человечный. Сколько раз я сопровождал его караваны в горы. Никогда не унижал достоинства человека. Только добрым словом могу его вспомнить.

— Что-нибудь слышал, уважаемый, о нем?

— Нет, ничего не слышал.

В комнату вошла жена Гусейна, поздоровалась, поставила большой поднос с чайником, стаканами, блюдцами, сахаром и ореховой халвой и бесшумно вышла.

— Но есть и поганые, — продолжал Джамал. — Ты помнишь Илдирима, шурина его?

— Как не помнить?

— Это он напугал Османа новой властью, сорвал его с насиженного места, обманом, страхом сорвал с земли отцов, заставил уехать, и где он сейчас мытарствует, да и жив ли, кто знает. Злой человек Илдирим, злой. Да разве нет среди нас подобных Илдириму, которые и сами не любят новую власть, и в души других пытаются влить яд ненависти. Знаю я одного такого. Правоверного из себя кажет, благородного, сердобольного, а сам отговаривал людей вступать в колхоз. Встретился я как-то с ним ночью в магале, разговорился, намекнул, что знаю о его связях в восемнадцатом году с турками и белыми...

— О связях с турками и белыми? — перебил его Гусейн.

— Ну да, намекнул, что если будет пугать людей колхозом, расскажу всем о его прошлом. Знаешь, какой ответ я получил? Слышал, наверное?

— Слышал. В одном городе живем.

— Камнем по голове.

— Что же вы его не выдали властям, уважаемый? — тихо спросил Гусейн.

— За руку не пойман — не вор. Вот тебя схватили за руку — ты преступник, враг, тебя следует судить, а он, направлявший тебя на преступление, вложивший в руку серп — в стороне, в тени остался.

Джамал бросил взгляд на Гусейна: тот сидел бледный, низко опустив голову.

— Он, прикрываясь именем Аллаха, послал тебя совершать злое дело. А разве Аллах велит нам уничтожать плоды своих рук, хлеб, выращенный потом? Нахсин остался в стороне, в тени, а ты, безобидный и честный человек, вчерашний батрак, стал врагом своей власти, своего народа?

Джамал встал, искоса глянув на Гусейна: бледные щеки его подрагивали.

Спускаясь по крутой каменистой улочке, Джамал постарался вспомнить свой разговор с Гусейном. И вдруг его осенила мысль, от которой стало легко и даже радостно: Нахсин не тронет Гусейна, потому что тайна уже известна Джамалу. И тут пришло твердое решение: идти к следователю.

34

— Я приглашаю вас, уважаемый Осман, посидеть в ресторане и обязательно в поднебесье, — сказал весело Серж, игриво опираясь на трость.

Они гуляли по аллеям Тюильри, наслаждаясь теплом солнца.

— Нельзя ли на земле, я люблю чувствовать под ногами твердую почву, друг мой.

— В поднебесье лучше размышлять, воздух чище.

— Тебе лучше знать...

Выйдя из парка, Серж протянул трость навстречу проезжавшему такси. Машина затормозила. Он открыл дверцу, пропустил в салон Османа, затем аккуратно опустился на сиденье и коротко бросил шоферу:

— Монпарнас.

Спустя пятнадцать минут они сидели на открытой площадке ресторана «Монпарнас» на сто четвертом этаже. Расположившись в удобном кресле, Осман испытывал ощущение, которого не знал в своей долгой жизни. Он не видел ни домов, ни деревьев, не слышал

городского шума, все картины, силуэты, звуки исчезли. Вокруг и над головой было небо. Куда ни бросишь взгляд — небо. И глухая тишина. Казалось, гондола, оторвавшаяся от воздушного шара, застыла в воздухе и ждет мгновения, чтобы рухнуть.

— Вижу, вам нравится здесь, уважаемый Осман, — голос Сержа заставил его оторваться от мыслей.

— Что тебе ответить, друг мой Серж, если ты мне преподаешь урок о том, как слаб человек и деяния его перед природой.

— Преклоняюсь перед вашей мудростью, уважаемый Осман, но не надо так далеко уходить в своих суждениях. Я хотел на правах друга просто подсказать: мы как песчинки в океане и каждый день наш красив и шаток... И прошу вас, не называйте меня Сержем, для вас я — Сеттерхан. Когда слышу из ваших уст «Серж», меня словно режут тупой ножовкой.

На лице Османа засветилась улыбка, но тут же погасла.

Подошел официант, наклонился к Сержу.

— Послушай, друг мой Сеттерхан, я бы хотел заказать рыбу.

— Есть устрицы, мсье, осьминоги, кальмары, омары, — тут же откликнулся официант, обернувшись к Осману.

— Нет, не осьминоги и омары, а рыбу, сельдь, свежую сельдь, ее у нас называют залом.

— Свежую сельдь, мсье? Такой рыбы у нас нет...

— Позвони в рестораны, Шарль, может быть, у «Максима», в крайнем случае в магазине раздобудь, одним словом, где хочешь, а сельдь пожарь нам обоим.

— Ты часто бываешь здесь, Сеттерхан?

— Люблю деловые встречи назначать здесь. Никто не подслушает.

— Нашу встречу тоже надо считать деловой?

— Нет, уважаемый Осман, — Серж засмеялся. — Чисто дружеской. Я хочу просто посидеть с вами и просто кое-что сообщить. Я делец, бизнесмен, вращаюсь в обществе бизнесменов, биржевых чиновников и маклеров, знаю коньюнктуру сегодняшнего и предугадываю коньюнктуру завтрашнего дня. Деловые люди вкладывают свои деньги сегодня в военную промышленность. Это принесет огромный доход.

— Неужели мир готовится к новой войне?

— В Италии фашизм. Нацисты пришли к власти в

Германии. Это вам ни о чем не говорит? Германия всегда была врагом номер один для Франции.

— В мире опять неспокойно, — задумчиво проговорил Осман. — И куда же нас унесет очередная буря...

— Какая буря, уважаемый Осман? — не понял Серж.

— Поднявшаяся в семнадцатом буря оторвала меня от родины и понесла как перекати-поле по разным землям, пока я не зацепился здесь. Куда теперь понесет безумный ветер меня?

— Не омрачайте себе день, уважаемый Осман, до бури еще ох как далеко, да и будет ли она? Это еще вопрос.

— Я видел алчность многих, — продолжал Осман.— И белогвардейцев, и турок, и разных партий. И все требовали денег, денег, денег. Все беды человека от денег.

— От жажды господства и властолюбия.

— Но жажда господства и властолюбия возникает, чтобы овладеть богатством, деньгами. Сознанием правят деньги.

Осман замолчал. Серж, удобно вытянувшись в кресле, смотрел в небо.

— Я хотел дать вам еще один совет, — промолвил он, — если вы примете его. А принять его следует.

— Говори, Сеттерхан, слушаю тебя.

— Будьте обходительны с комиссаром полиции, мэром города, директором банка, дельцами — вашими соседями, оказывайте им внимание. Вы меня понимаете?

— Кажется.

Серж засмеялся.

— Одаривайте их время от времени. Приглашайте на обед, ужин. Одним словом, подкупайте их. Этим акулам ничего не стоит съесть мелкую рыбу, тем более приплывшую из другого моря.

— Спасибо, Сеттерхан, к этому совету я прислушаюсь.

К столику устремился официант, быстро и ловко выложил хрустящие ломтики батона, салаты нескольких видов, черную и красную икру, вино и две небольшие сковородки, которые распространяли аппетитный запах жареной сельди.

— Как долго я не ел залома! — проговорил Осман, снимая с рыбы хрустящую корочку и, обжигая пальцы, отправляя ее в рот. — Какое объедение. Ты что так

удивленно смотришь на меня, Сеттерхан, а, понимаю, я ем пальцами, а не вилкой! Плюнь на этикет, друг мой, рыба вкусна, когда ее едят руками, когда обсасываешь каждый палец. Послушайте меня, я в этом понимаю толк.

— Будь по-вашему, — сдался Серж.

— И наполни бокалы. Правда, это не наше вино, но все-таки из винограда.

Небо начинало остывать, когда Осман и Серж спустились на улицу. В окнах отеля «Монпарнас» ослепительно пылал багровый закат.

— Ты не возражаешь, друг мой, если я сейчас направлюсь на Монмартр? — обратился Осман к Сержу. Тот удивленно глянул на Османа, коротко засмеялся:

— Неужели, простите меня, уважаемый Осман, неужели вам захотелось посмотреть на девочек.

— В мои-то годы на них смотреть,—тоже засмеялся Осман. — А впрочем, любоваться может и дряхлый старец. Я часто гуляю по Монмартру. Его узкие каменистые улочки, невысокие каменные дома мне напоминают магалы моего города.

— Пойдемте, уважаемый Осман, пройдусь и я с вами.

Серж подозвал такси, и они сели в машину.

35

Тот день не изгладится из моей памяти никогда. Уже потом, после инцидента, ты все отшучивался, отмахивался, не принимая всерьез того, с чем мы столкнулись. Может, для тебя то было обыденным явлением, но ведь имя ему было фашизм. Я отказывался понимать, как можно снисходительно относиться к фашизму, не принимать его всерьез?

— Когда засыпает разум, просыпается чудовище, — говорили древние греки. Эти мудрые слова должны быть выбиты на стенах домов, над входами в церкви, соборы и костелы, над подъездами государственных учреждений и военных министерств и ведомств, на стенах аудиторий университетов... Когда засыпает разум, просыпается чудовище. Чудовище, которое ввергло в катастрофу полмира, уничтожив в пожарах, испепелив в газовых печах, изрешетив пулями пятьдесят миллионов человеческих жизней.

Тот день не изгладится из моей памяти...

Я с друзьями сидел в тенистом сквере, что примыкает к собору Парижской богоматери. На свежескошенной траве газонов безмятежно играли маленькие дети. Мамы и бабушки, подставив лица, плечи, руки солнцу, были поглощены вязаньем. Эта осенняя идиллия начинала умилять нас, и чтобы не расчувствоваться и не предаться слезливой сентиментальности, мы не сговариваясь встали, словно движимые одним чувством, и направились в собор.

Он был набит до отказа. Под тяжелыми холодными сводами стонали фуги Иоганна Себастьяна Баха. Орган то выплескивал из себя чарующие звуки, то выталкивал неистовые, бешеные удары, то выжимал из себя тихие жалобы. Мы были поражены игрой органиста. Какую же душу, какое сердце надо было иметь ему, чтобы вобрать и скорбь, и жалость, и гнев, и радость человечества, вобрать, пережить и передать нам. Какая титаническая сила заставила его выстрадаться, выразиться в музыке, чтобы разбудить в нашей памяти боль и гнев, разогнать в наших венах кровь...

Мы стояли и слушали, завороженные неистовой игрой и силой чувств музыканта. Стояли и слушали и тогда, когда умолк орган, потому что звуки долго плыли под сумрачными сводами собора, блуждая и не зная, как вырваться на волю. Или, может, не хотели нас покидать?

Мы вышли из собора Парижской богоматери и пошли по улице, находясь еще в плену у музыки Баха. И вдруг пронзительный свист и улюлюканье заставили нас вздрогнуть и очнуться. Я увидел перед собой ехидные, злобные, оскалившиеся лица, угрожающе поднятые кулаки, цепи, прутья. Перевел взгляд на своих друзей, опять на разинутые пасти и гнилые зубы... и все понял. Мы были оцеплены фашиствующими молодчиками. Они юродствовали как только могли: улюлюкали, орали, выкрикивали непристойные слова, звенели цепями, хохотали нам в лицо и ждали, выжидали момента, чтобы начать действовать. Я стал искать глазами блюстителей порядка и, наконец, увидел их метрах в пятнадцати, у бистро, спокойно взиравших на бесчинствующих молодчиков. Надо было принимать какое-то решение. Я вытащил из кармана паспорт и высоко поднял над головой.

— Моску... Моску...

Мои слова вызвали неистовый свист и гвалт у фашистов. Но вот, наконец, один из полицейских приблизился к фашистским молодчикам и стал разгонять их. Чей-то прут прошелся по его спине. Он резко крикнул и вместе с подоспевшими к нему другими полицейскими принялся обрушивать удары дубинками на головы, плечи, спины молодчиков. Оттесненные к стене, мы ждали исхода поединка, но вдруг рядом взвизгнул тормозами «Ситроен», ты выскочил из машины, втолкнул насильно нас в нее и вывез из «опасной зоны».

Как ты узнал, что мы у собора Парижской богоматери попали в беду? Под впечатлением пережитого я забыл спросить тебя в тот день, в сумятице дел забыл и на следующий. Так и не выяснив, уехал домой.

Много месяцев прошло с того памятного дня, наполненного музыкой неистового органиста и оргиями озверевших фашиствующих молодчиков. Но время от времени меня вновь мучает вопрос: как ты узнал, что мы у собора Парижской богоматери попали в беду, Осман? Не связан ли и ты ненароком с ними, считая их оргии шалостями переходного возраста? Или отправился искать нас, не застав в отеле? Но Париж огромен, а пути наши сошлись...

Так или иначе, вопрос остается открытым.

Шалости переходного возраста... Именно так ты назвал их действия, увозя нас от злополучного места. Шалости ли? А впрочем, так считали, очевидно, и блюстители порядка, спокойно взиравшие на оргии фашистов, и прохожие, выстроившиеся вдоль тротуаров, и посетители бистро... Считали, ибо они позволили своему разуму уснуть.

Страшно, Осман, и опасно, когда засыпает разум.

36

Приезд на каникулы Симона и Керима доставил Джамалу не только радость, которую он скрывал, но и множество хлопот. Сыновей предстояло женить. Обоих в один день, чтобы не готовить два свадебных стола: Джамал не мог позволить себе такой роскоши — не было у него ни денег, ни продуктов. Муку, мясо, рис, горох, рыбу, кишмиш, фрукты — все принесли родственники и друзья. И если жена, бросая косые взгляды на Джамала, ворчала: срам-то какой, по всему городу

люди будут шушукаться, что Джамал не нажил добра даже на случай женитьбы детей, он усмехался в усы и наставительно говорил: — Для себя же и принесли, есть и пить будут они, а женить сыновей я мог и без застолья, повел бы в загс, а оттуда — в дом.

— От тебя и этого можно было ожидать, — отвечала жена.

— А разве в том есть что-то предосудительное, женщина?

— Будь по-твоему, старик, не будем портить себе настроение в такие счастливые дни.

Накануне свадьбы Джамал принес домой аккуратно сложенный сверток и еще со двора подал голос:

— Жена, где мои сыновья ходят?

— В комнате с друзьями, где они еще могут быть,— ответила та из летней кухни.

Джамал поднялся на веранду, положил сверток на тахту:

— Симон, Керим...

— Мы здесь, отец.

Красивые, возмужавшие, крепкие, они стояли рядом так непохожие лицом друг на друга и такие родные ему. Он указал рукой на сверток.

— Разверните.

Симон бережно развернул сверток. В нем лежали аккуратно сложенные два черных костюма, белые рубашки, галстуки и полуботинки.

— Кому это, отец?

— Вам, кому же еще! Поедете со своими невестами в загс, зарегистрируетесь, сфотографируетесь на память для отца с матерью, поедете на красивой легковой машине, начальник пожарной дружины мне обещал ее. Затем сложите аккуратно костюмы. На свадьбе можно сидеть и без них. Джамал и его сыновья к костюмам не привычны. Мать купила вам по новой сорочке.

— О чем ты говоришь, старик?—возмутилась жена, подслушивавшая их разговор. — Или ты совсем рехнулся под тяжестью лет своих... Какие уважающие себя родители пошлют своих дочерей в загс прежде, чем заиграет свадебная музыка? Ты что, забыл веками сложившийся обычай? Сначала свадьба, а потом выдумывай, что хочешь.

Джамал усмехнулся, подмигнул сыновьям и наигранно тяжело вздохнул:

— Я твоим будущим родственникам уже заявил:

днем пойдут в загс, как того требует наша власть, а вечером сыграем свадьбу, как того требуют наши обычаи.

— И они согласились?! — изумленно спросила жена.

— Кроме тебя все со мной соглашаются.

Утром следующего дня дом Джамала напоминал муравейник: люди сновали по двору, женщины мыли зелень и фрукты, рис и горох для плова и ягни, рыбу и мясо, месили тесто для лавашей, мужчины несли от соседей столы, скамьи, стулья, доски; дети галдели, кричали, путались под ногами.

— Никогда не думал, что у меня столько родственников наберется, — твердил Джамал, прохаживаясь по двору. — Ну ты только посмотри, что делается... Воскресный базар... Да где же эта чертова машина, наконец, не подвела бы молодых. А почет-то какой, дети Джамала на автомобиле едут в загс. — Он подкрутил усы, провел ладонью по бородке довольный. — Что будет говорить город, а? Дети Джамала в загс ехали на автомобиле. А его все нет, тьфу ты, чертов шофер.

На улице захрипел простуженным голосом клаксон. Джамал встрепенулся:

— А вот и он. Не подвел. Симон, Керим, где вы там, выходите...

Симон и Керим, наряженные и сияющие, спустились во двор в сопровождении друзей.

— Садитесь в автомобиль, быстро, не то этот чертов шофер в кожаном шлеме и очках на лбу, напоминающий мне жабу, удерет от нас.

Взревел мотор, снова простуженно заголосил клаксон, и красная машина рванула с места.

— Не забудьте за невестами заехать, — крикнул вдогонку Джамал. — И сфотографироваться.

Спустя час клаксон возвестил о приезде женихов.

— Где же ваши законные жены? — удивленно произнес Джамал.

— Отвезли по домам.

— Дурни, а не абреки. Не могли умыкнуть.

После обеда за воротами послышалась музыка и во двор вошли Гюршюм, Вартан и Сеттер; они играли на таре, кеманче и бубне свадебную мелодию.

— Давно жду вас, давно жду, — ласково встретил друзей Джамал. — Случаем, не запылились?

— Запылиться не запылились, мы не за арбой шли, а вот в горле пересохло, — за всех ответил Гюршюм.

— Горло — что? Горло — ерунда. Размочим его стаканом доброго вина и споем свою любимую песню юности...

Джамал вдруг хлопнул себя по лбу ладонью:

— Что же это я? Ай-ай-ай, чуть не подвел ребят... Забыл о музыкантах. Видать, права моя старуха, говоря, что с годами теряется острота ума... Ай-ай-ай.

— А мы разве не музыканты? — обиделся Сеттер.

— Кто посмел сказать, что вы не музыканты? — удивился Джамал. — Все эти гармонисты и барабанщики ногтя вашего не стоят.

— Так в чем же дело? Что тебя удручает?

— Мне нужны еще музыканты. Симон и Керим пойдут за невестами одновременно. Понял теперь? Эй, Гаврил, где ты шляешься? — закричал Джамал.

— Здесь я, отец. И нигде не шляюсь, а помогаю накрывать столы.

— Ты знаешь Рустама? Ну того, что живет над верхним базаром? Бригадира колхоза?

— Ну, знаю...

— Он и его сыновья хорошие музыканты. Беги к нему и передай, что Джамал срочно ждет их.

В конце дня, когда лиловые облака, обрамлявшие края синего неба, посерели и на улицы мягко и незаметно опустились сумерки, из двора Джамала вышли две большие группы празднично разодетых людей. Впереди шествовали музыканты. За ними шли женщины с табагами[1] на голове, их замыкала молодежь с горящими факелами в руках.

Группа, в которой шел Симон, остановилась у дома Азизова. Женщины с табагами подошли к воротам и дробно застучали кулаками.

— Откройте тяжелые засовы и выдайте нам вашу пери[2].

— Кто вы такие? — послышалось из-за ворот.

— Ваша новая родня.

— Зачем вам понадобилась наша пери?

— Мы берем ее в дочери и в знак любви одариваем подарками.

Ворота широко распахнулись, и шествие с музыкой и веселыми возгласами, освещаемое факелами, ступило

[1] Табаг — большой плоский поднос со сладостями и свадебными подарками для невесты.

[2] Пери — красавица.

во двор. Поднявшись на веранду, женщины одна за другой опустили табаги. Хозяйка дома пригоршнями стала бросать сладости в толпу, потом всплакнула, вытерла слезу кончиком платка.

— Дорогие гости, садитесь за стол, угощайтесь, пока невеста соберется в путь.

Азизов первым сел за стол, налил в стакан красного вина, крякнул, тихо промолвил:

— Грустно отдавать дочь в другую семью. Нянчил, кормил, одевал, лелеял... И вот уходит навсегда из своего дома... Грустно...

— Уходит, чтобы построить свой дом, — послышался голос из-за стола. — Природа так повелевает: каждой птице — свое гнездо нужно.

— Это ясно, — сказал Азизов, — и все-таки грустно.

Внезапно, словно спохватившись, заиграли музыканты. Во двор, в сопровождении подруг, вышла невеста, накрытая шелковым платком, встала рядом с Симоном, их окружили факельщики, и шествие под свадебный танец двинулось в обратный путь.

У ворот их поджидал Джамал. Он подошел к Гюршюму и проговорил на ухо:

— Задержи их здесь недолго, вот-вот подойдет Керим с невестой, пусть вместе войдут в дом.

Но ждать не пришлось. Из-за поворота появилось шествие.

Искрометная, волнующая кровь и зовущая в круг музыка, восторженные, радостные крики обрушились на свадебные столы. Приглашенные встали, приветствуя новобрачных.

Молодожены прошли в дом. Здесь их ждал виночерпий. Поздравив молодых с браком, он преподнес каждому стакан с красным вином. Молодожены переглянулись, улыбнулись друг другу, выпили вино и бросили с силой стаканы. Они разбились со звоном.

— Молодцы, дети мои, — воскликнул виночерпий.— Ваша жизнь будет светла и радостна, и не омрачат ее никакие беды. А теперь займите свои места за столом.

Свадьба была в полном разгаре. Одни блюда сменялись другими, музыканты, а их было добрых шесть искусных музыкантов, невольно заставляли своей игрой выходить в круг каждого из сидящих за столом, станцевать с невестами, Сеттер радовал души песнями, и веселью, казалось, не будет конца.

Джамал и Петр вышли на улицу, сели на лавочку и прислонились спиной к стене.

— Веселый пир закатил ты сыновьям, Джамал, — произнес Петр.

— Не я, ты, — ответил Джамал.

— Как это я? — удивился Петр. — Свадьба-то в твоем доме?

— А с костюмами кто помог? Не будь костюмов — не смогли бы щегольнуть мои сыновья. Да еще на красной машине, — Джамал тихо засмеялся. — Спасибо родственникам, это они собрали такой обильный стол. У меня, друг, как ничего не было, так ничего и нет.

— Вот ты о чем! — протянул Петр и замолчал. — А сторож исчез, — произнес он, нарушив долгое молчание.

— Сторож исчез? — переспросил непонимающе Джамал. — Какой еще сторож?

— Нахсин.

— Нахсин исчез! — поразился Джамал. — Вот так новость.

— Не пойму, кто мог его предупредить. Долго ломаю голову и никак не могу найти ответа. Вспугнули? Предупредили? Перебрали всех: и председателя колхоза, и членов правления, не могут они предупредить. Все бывшие батраки, ничто не связывает их со сторожем...

— Нахсин исчез, — повторил Джамал, пытаясь понять, осмыслить случившееся. — Не может быть... Ведь я к следователю ходил. А он исчез...

— К какому следователю?

— К тому самому... Который приходил ко мне.

— К тому самому... — повторил Петр и замолчал.— Признаюсь тебе, Джамал, не нравится он мне. Ничего он мне плохого не сделал, и я против ничего не имею, но не нравится — и точка. Не по душе. Надо разузнать, расспросить людей, откуда он родом, — задумчиво проговорил Петр.

— Зачем расспрашивать людей, — сказал обиженно Джамал. — Кто лучше меня знает Дербент? Или ты мне уже не веришь? Он появился здесь... сейчас я тебе точно скажу, да, в восемнадцатом. Джамалу ты всегда верил, друг, и сейчас можешь поверить.

Петр задумался, потом тихо проговорил:

— В таком случае надо сообщить в НКВД.

Два старых друга сидели задумчивые, а над двором,

над улицей, над всем городом играла щемящая душу и бодрящая кровь свадебная музыка.

37

Осман проснулся глубокой ночью, разбуженный собственным криком. Он откинул одеяло, сел в постели, поджав под себя ноги, осторожно глянул в сторону жены, успокоился: она спала. Поеживаясь от холодного пота, Осман задумался над причиной своего крика, но так и не определив ее, поднялся с кровати и подошел к окну. Улица была безлюдна. Неяркий свет, выливавшийся из витрин магазинов, ложился пятнами на темный асфальт бульвара. Осман глянул поверх крыш, в небе еле светились редкие звезды. Внезапно в темном стекле окна появилось изображение мальчишеского лица. Оно наплывало откуда-то из глубины, из непонятной черноты и, увеличиваясь, все приближалось к Осману. И когда Осман, широко открыв глаза, узнал его и захлебнулся от неожиданности и захватившей его оторопи, лицо исчезло.

— Эзизим[1], — простонал Осман с болью в голосе.— Эзизим. Сколько же лет я не видел тебя? Почему ты сейчас привиделся мне... Да ведь и во сне ты посетил меня, именно ты, и так неожиданно, что я забился в крике... Ты так напугал меня... Эзизим, какой ты милый мальчик, около двадцати лет прошло, а в моей памяти ты сохранился мальчишкой. Сейчас ты был бы уже мужчиной, помощником отцу, имел бы семью, ну конечно имел бы, в таком возрасте все уже женятся. Но почему был бы? Я поручил тебя моему соседу Джамалу, он должен воспитать тебя настоящим человеком. Должен, я ему верю... Но погоди-ка, что тут врал Илдирим... Что тебя нет в живых? Если это сказал Илдирим, значит ему не стоит верить. Он ни разу в жизни не сказал правду. А может, это было единственное правдивое слово, произнесенное его устами? О Всевышний, не знаю даже, как и думать. Как думать... Но мать не верит в то, что тебя нет. Сердце матери живет тобой. Ему можно верить... Почти двадцать лет не видеть родное дитя и разговаривать с ним, лелеять его каждый день, каждый час... Какой неистребимой любовью должно жить

[1] Эзизим — дорогой мой.

сердце твоей матери, какой силой должно обладать ее хрупкое тело... Неужели ты жив, эзизим? Или нет тебя в живых? У кого узнать, где найти мне вестника добра или зла... И почему ты приснился мне? Случилось ли что с тобой? Горе ли постигло или охвачен радостью, которой ты решил поделиться со мной... Как мне узнать, что с тобой приключилось, почему ты устремился ко мне сквозь непроглядную тьму... У кого мне узнать... Эзизим... мозг мой тупеет, он бессилен ответить на мои вопросы, он не слушается меня, не подчиняется... Мозг мой тупеет, я больше не могу...

Из тьмы к нему вновь рванулось в каком-то неистовстве знакомое до боли мальчишеское лицо, вспыхнуло ярким светом и померкло.

Осман сполз на толстый ворсистый ковер, опрокинулся навзничь, потерял сознание.

38

Недолго гостили Симон и Керим у родителей: в Мосте ждала их преддипломная работа. Отгуляв свадьбу, починив крышу дома и глиняные полы, побелив комнаты и покрасив двери и оконные рамы, они провели две недели в садах, что раскинулись за северными городскими воротами. Получив разрешение в исполкоме не без помощи Петра, соорудили шалаш и поселились в нем с женами. С утренней зари до заката солнца молодые отдыхали на свежем воздухе, лакомясь фруктами, и только на ночь приходили домой. В субботние вечера Джамала навещали старые друзья Гюршюм, Вартан и Сеттер, и, расположившись за широкой скатертью, молодые слушали игру музыкантов. В эти вечера, казалось, не бывало конца песням, шуткам, воспоминаниям, веселым притчам, восточным сказкам.

Наконец подошел день отъезда. Симон и Керим уложили вещи жен в большие фанерные чемоданы, попрощались с матерью, которая отказалась идти их провожать, подхватили под руки своих подруг и отправились на вокзал. Джамал с Гаврилом последовали за ними.

На вокзале молодоженов ждали друзья. У их ног громоздились четыре ящика с фруктами.

— Куда все это? — возмутился Симон. — Мы с Керимом не амбалы таскать такую тяжесть на спине.

— Посмотрите-ка на них, — удивились ребята. — Им на дорогу такое богатство даешь, а они еще ломаются. И причем тут амбалы? Мы занесем их в вагон, а в Москве, не будь жадным, заплати носильщику, он и вынесет.

По перрону сновали сотни людей. Джамал провожал их взглядом, кого-то узнавал сразу, кого-то припоминал, а некоторых пытался — и не мог. Вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо, Джамал напряг зрение, вгляделся и промолвил про себя: — Не может быть, не он. Но как же не он, если вот он, передо мной, с чемоданом в руке. Неужели уезжает? Куда? Уезжает или удирает?.. Что же делать, что... Петра позвать? Но до него разве мне добежать, а времени осталось совсем мало. Уедет поезд.

Мысли путались в голове Джамала. Наконец он тихо обратился к Гаврилу:

— Сынок, беги в исполком, нет, беги в депо, к начальнику, пусть звонит в исполком Петру, пусть скажет — здесь следователь Кауров, он уезжает. Ты понял меня?

Гаврил исчез в толпе.

Джамал потерял следователя из виду, заметался взглядом по лицам, спинам, чемоданам людей, наконец нашел и облегченно вздохнул. Но вот уже и паровоз протяжно загудел, подали поезд, но ни Гаврила, ни Петра не было. Наконец Гаврил появился.

— Сынок, где Петр? Начальник успел ему позвонить?

— Дядю Петра забрали в НКВД.

— Что ты сказал?

— Дядю Петра забрали в НКВД.

Джамал остолбенел. Он не мог выговорить ни слова. Тем временем объявили посадку, Симон и Керим обняли отца, пожали ему руку, не замечая его состояния, подхватили жен и пошли к своим вагонам. Ребята понесли за ними чемоданы и ящики.

Джамал тупо смотрел на происходящее вокруг и монотонно повторял:

— Петра — в НКВД? За что в НКВД?

Он никак не мог представить, даже предположить, что Петра могут забрать в НКВД.

И снова повторял:

— За что в НКВД?

Загудел паровоз, вагоны дрогнули, медленно пошли мимо... В окне показались Симон и Керим.

— До свидания, отец, до свидания, Гаврил...

Джамал машинально поднял руку, махнул в их сторону, увидел в окне следующего вагона следователя Каурова, но отнесся к нему уже как-то безразлично, безучастно, потому что все его существо донимал один, монотонно повторявшийся вопрос:

— Петра — в НКВД... За что?

Придя домой и войдя в комнату, Джамал сел за стол, снял шапку, положил рядом и спокойным голосом велел Гаврилу:

— Принеси тетрадь и ручку.

— Что ты собираешься делать, отец? — спросил сын, исполнив его просьбу.

Джамал раскрыл тетрадь, опустил перо в чернильницу и, глядя, как с него сорвалась фиолетовая капля, сказал:

— Я собираюсь писать в НКВД. Писать обо всем, что знаю. О Петре, стороже Нахсине, о следователе Каурове, о себе.

Спустя несколько дней веселый Гаврил вбежал на веранду.

— Отец, ты спишь?

— Лежу на своей тахте, жду, когда обо мне вспомнят, вызовут.

— Дядя Петр дома.

Джамал сел, потом уперся взглядом в глаза сына:

— Не шалишь?

— Нет, отец, разве такими вещами шалят?

— И то верно.

Джамал не спеша, аккуратно надел на голову шапку, засунул ноги в чувяки и пошел чуть ссутулясь, заложив руки за спину и перебирая четки. В окне Петра было тихо. Джамал пересек небольшой дворик, вошел в комнату. Петр лежал на диване. Джамал сел на венский стул, откинулся на спинку, вытянул длинные ноги, устало положил руки с четками на колени.

— Как дела, Петр?

— Как видишь, жив, здоров.

— Это хорошо, что жив. А Кауров удрал.

— Как удрал? — Петр задвигался, пытаясь сесть.

— Лежи. Сел в поезд и уехал. Я ждал тебя на станции, а тебя забрали в НКВД. А Кауров спокойно уехал.

— Ничего, друг. Зато двумя врагами в нашем городе стало меньше.

— Верно ты говоришь, но где-то у кого-то на два

врага стало больше. Кто тот собачий сын, который составил на тебя наговор?

— Кто похитрей. Кто сумел опередить...

— А там не сказали? Там, где ты был?..

Петр горько усмехнулся.

— Как мы с тобой постарели, Джамал. А ты помнишь наши молодые годы, на рыбных промыслах...

И Джамал с Петром пустились в воспоминания не столь далекого прошлого.

39

— Ты что-нибудь помнишь о своем городе детства?— спросил Осман, уютно расположившись в неизменном кресле. Не видимый никому из посетителей магазина, он тем временем внимательным, оценивающим взглядом окидывал каждого входящего, наблюдал, как обслуживал его Назым, и когда оставался доволен его работой — ведь от внимательного, более того, бережного обращения с посетителями, росла клиентура и доход — на губы Османа ложилась довольная улыбка, и он гордо произносил:

— Машалла, Назым, машалла.

Зеркало после той страшной потасовки было заказано новое, и, к удовольствию Османа, оказалось и объемнее, и чище, и изящнее, в стиле Людовика Тринадцатого.

— Как не помнить, отец. Я был уже не маленький. Сколько же мне было? Семь, восемь?

— Около этого. Сам запамятовал.

— Помню дом наш, сад, и сейчас перед глазами беседка, увитая виноградом...

Назым успевал обслуживать покупателя и перекинуться словечком с отцом.

— Помню детей нашего соседа, ну того, что жил через площадь... Джамала, кажется...

— Джамала.

— Сколько мы дрались с ними, получали тумаков. Смешно вспоминать.

— И кто же одерживал верх? — Осман улыбнулся, ожидая хвастливого ответа.

— У них был крепче и здоровее старший, — произнес Назым. — Как же его звали? На «С» начиналось имя.

— Симон, если мне не изменяет память.

— Симон... Он был, знаешь, отец, яростный боец. Как зверек дрался, ничего и никого не страшился. И понятно, почему: вырос на узких улочках, в грязи, холоде, бедности. Потому и был бесстрашным.

Какие они сейчас там, подумал про себя Осман, пытаясь напрячь воображение, видать, уже крепкие мужчины, если, не дай Всевышний, ничего за эти годы не случилось, а Джамал уже одряхлел, ведь он старше меня... Какие они сейчас там?.. Но в памяти всплыла пыльная площадь, два разутых сорванца с синяками под глазами и Джамал в истоптанных чарыках, крепкий, непокорный, хитро улыбающийся зеленоватыми глазами, в неизменной каракулевой шапке, сдвинутой на глаза. И Керим... явился и исчез.

— Мой мальчик, — прошептал Осман. — Таким я его и помню. Таким он остался в моей памяти, и никак не хочет вырасти в зрелого мужчину.

В магазин вошли, громко и весело переговариваясь и безмятежно смеясь, несколько мужчин и женщин. Осман прислушался внимательней: они говорили по-русски.

Осман поднялся с кресла и подошел к посетителям.

— Вы русские? — спросил он, растягивая слова: ведь как давно он не произносил русских слов.

Посетители удивленно взглянули на него и снисходительно улыбнулись:

— Конечно, мы русские.

— Откуда... же... приехали... в Париж?

Назым остолбенело глядел на отца, говорившего на русском языке.

— Ясно откуда, из России.

— Из... какого... города?..

— Из разных. Есть из Москвы, из Киева, из Ленинграда. А вас какой город интересует? И, позвольте, откуда вы знаете наш язык?

— Я жил... на Кавказе... Есть... такой... город... Дербент... — Не могу же я им сказать, подумал про себя Осман, что удрал от революции. — Уехал... еще... до революции...

— Знаем мы Дербент. У нас Крымов, писатель такой, даже роман свой назвал «Танкер «Дербент». Так и называется. Дербент теперь известен каждому.

— А как... у вас... сейчас... там... жизнь. Есть... богатые... бедные, разутые...

— Нет ни богатых, ни бедных, все у нас живут хорошо. Вот видите, в чем мы ходим?

На них были ладно сшитые серые костюмы, кипельно белые сорочки, легкие туфли.

— Вы свой Дербент сейчас не узнаете. Приходите на выставку, там и посмотрите, как изменилась наша жизнь.

— На... какую... выставку?

— А вы разве не знаете? В Париже открывается Всемирная выставка. Россия построила свой павильон. Мы и приехали на выставку, представлять свою страну.

— Я... и не слышал... о выставке...—проговорил Осман и вдруг громко обратился к Назыму: — Сын, одари их всех подарками. Выбирайте... себе... что хотите... подарок от... меня с сыном... Не глядите... на меня... пугливо... Без денег... Как сувенир... Пожалуйста... я вас... прошу... Не обижайте... старого... человека...

— Ну, если уважить, то можно. Только, пожалуйста, не дорогие. Ну куда столько, молодой человек, вы же в трубу вылетите.

Осман весело рассмеялся.

— У нас... трубы... нет. Нам это... не... страшно.

Наконец каждому был вручен короб с сувенирами.

— Приходите на выставку. Мы вас будем ждать в нашем павильоне.

— Обязательно... придем, — заверил Осман, — обязательно. Для меня это... дороже... оставшихся лет...

Когда русские ушли, Осман обернулся к Назыму просветленный и счастливый:

— Ты слышал, сын? Завтра идем на выставку, Всемирную выставку в советский павильон. Я, ты, мать, скажи работникам, кто хочет, пусть пойдет с нами. Ты видел, как они одеты, веселы, жизнерадостны. И не к чему спрашивать об их благополучии, работе, когда они так искренни, и глаза их светятся счастьем. Неужели это им дала революция, от которой мы убежали? Завтра мы пойдем в советский павильон. Может, он нам расскажет, сын, о чем умалчивают наши газеты. Что только не писали о советских людях: и рога им приделывали, и в медвежьи шкуры одели, а они вот, перед тобой, на двух ногах и с ясным взглядом. Не надо обладать мудростью, чтобы понять, как они счастливы, сын. Завтра мы многое увидим своими глазами.

Поездка на солнечный юг Франции в многомиллионный портовый город была богата встречами. И с членами Марсельского отделения Франко-советского общества дружбы за хорошо сервированным столом. И с мэром города в муниципалитете. И с коллегами на студии телевидения, перед циклопическими глазами телекамер. Но самой впечатляющей, незабываемой для меня была встреча с Николаем Николаевичем. Так он назвал себя.

Не знаю, поймешь ли ты когда-нибудь, познаешь ли разумом и сердцем чувство родины, испытаешь ли щемящую до умопомрачения ностальгию... Испытаешь ли, Осман? Не знаю, не ведаю. Но Николай Николаевич познал, мне так показалось, ты бы прислушался к его последним словам, пригляделся к глазам, вникнул бы в просьбу...

Николай Николаевич, так он назвал себя.

Я разглядывал залитый жарким солнцем огромный порт, по которому скользили белоснежные теплоходы, фрегаты, бриги, акулообразные военные суда и подводные лодки, когда кто-то тихо произнес:

— Красиво, не правда ли?

На чистом русском языке.

Я медленно повернул голову. Рядом стоял коренастый, плотный мужчина пожилых лет. Кто, откуда, какие вопросы он готовит, что ему нужно от меня — мысли стали роиться в голове, но он опередил меня.

— Я видел вас вечером по телевизору. Хотел помчаться на студию, супруга удержала. Сам бог послал сегодня мне вас.

Он говорил, глядя вперед, в сторону моря.

— Вы знаете наш язык... Откуда?

— Я русский, — сказал он коротко.

Маленький черный буксир упорно тянул в порт огромный, как айсберг, лайнер.

— Я русский. Зовите меня Николаем Николаевичем.

Он умолк, очевидно, ожидая, что я назову свое имя. Я молчал.

— Меня можете не бояться, — он усмехнулся. — Я вам не причиню неприятностей.

— Почему вы решили, что я вас испугался?

— Ваши товарищи ведут себя за границей скованно, настороженно. Ведь там, за железным занавесом,

вас пугают Западом, преподносят разные небылицы, чушь несусветную. Разве мы, вот я, к примеру, похожи на тех, кого у вас шерстят?

— А вы к кому себя относите?

— Что вы имеете в виду, сударь? — мужчина поднял удивленный взгляд.

— К какой категории русских людей вы относитесь? К отпрыскам обветшалых князей, к обанкротившимся фабрикантам или продувшим в карты последнее кольцо белым офицерам?

Мужчина долго хранил молчание, словно ища свое сословие, потом вдруг громко и заразительно расхохотался.

— Ну вот видите, как я точно подметил, сударь мой, напичкали вас небылицами...

И он снова захохотал. Наконец, успокоившись, вытер платком глаза и со вздохом сказал:

— Я просто русский человек. Русский человек, которому жестоко не повезло с родиной.

— А разве бывает так, чтоб с родиной не везло? Даже уродливую мать сын не отвергает. Широта и щедрость души покрывают неказистость.

Он поднял на меня острый взгляд и раздельно, упирая на каждое слово, сказал:

— Вы молоды меня учить. Вас и в помине не было, когда с тысячами таких же я строил Беломор-Балтийский канал. Тысячами... Я, кадровый офицер, пришелся не ко двору большевикам, и из меня сделали землекопа. Люди голодали, стыли, но строили, фанатично веря своему усатому вождю, виня в своих бедах кого угодно, но только не его... Нет, нет, боже упаси, кого угодно, только не его. Он приближал народам России светлое будущее... Страшно было. Люди верили и гибли. Тысячами. Гибли с верой. И однажды я вдруг ошалел от мысли, что вот точно так возводил на болотах столицу своей империи Петр. На костях тысяч мужиков. Я возненавидел его, вождя народов России, возненавидел стройку. А потом мне удалось бежать за кордон. Вот так, сударь мой, я простился с родиной. Но Россия всегда жила и живет в моем сердце, та Россия, моя Россия, а не сталинская.

— Но она давно уже не сталинская. Вы, очевидно, плохо знаете нашу страну, нашу жизнь...

— Э нет, сударь, мы здесь о ней знали больше и лучше, чем ее народ. И изуверства Сталина и его окру-

жения. До вас письма Раскольникова дошли только несколько лет назад, а мы их читали уже в те годы.

— Николай, ты скоро перестанешь занимать молодого человека? Я с детьми иду в кафе, — послышался женский голос.

Мы обернулись одновременно. За спиной, метрах в десяти, стояла высокая женщина с двумя длинными и худыми, как жерди, ребятами.

— Моя семья, — сказал Николай Николаевич, слегка растянув рот в улыбке, но в голосе его послышалась почему-то отчужденность и печаль. А может, это мне показалось.

— Не откажите мне в просьбе посидеть в бистро, я хочу угостить вас стаканчиком вина. Мне хочется с вами посидеть, поймите же, наконец, сударь мой, ведь я русский...

— Николай Николаевич, поверьте мне, у меня нет ни минуты времени... Может, встретимся вечером, ну где хотите?

— Мы сегодня уезжаем, — он кивнул в сторону жены.

Он снова замолчал, но, словно спохватившись, продолжал:

— Я безумно люблю Россию. В войну вступил в Сопротивление, маки, мстил гитлеровцам, мстил за свою Россию. Уж мне можете поверить, как мстил — я ведь был кадровым офицером. А теперь вот полковник в отставке французской армии. Получаю приличную пенсию, у меня свой дом в Страсбурге, машина, на которой мы приехали сюда, в Марсель, к другу военных лет, я ни в чем не нуждаюсь. Ну так выпьем мы с вами стакан вина?

— Благодарю вас, Николай Николаевич, вечером... ах, да, вы уезжаете.

Опять раздался властный женский голос.

— Оставь меня в покое на несколько минут, чертова баба, — бросил из-за плеча Николай Николаевич, потом осторожно взял меня под руку: — Очень прошу вас, сударь мой, расскажите о России, о Москве-матушке, золотятся ли ее златоглавые соборы, церкви, Василий Блаженный, умоляю вас...

Да, я чувствовал по голосу, видел по глазам, как его душу, казалось бы, остывшую от тепла земли родной, разбудила, растревожила тоска по родине.

Тебе не испытать этого чувства, потому что ты не

терял самого дорогого и святого в жизни, твое сердце не знает утраты самой великой и бессмертной любви— любви к земле, вскормившей и вспоившей тебя, твоего отца и мать, твоих предков.

Мне запомнилась, Осман, еще одна встреча. Она глубоко запала мне в сердце.

Я тебе похвалился, что Тулузу из нашей программы не вычеркнули, но вот с рабочими завода встретиться не дали. Объяснили, что директорат не имеет возможности отрывать рабочих от конвейера. Встречу компенсировали воскресной прогулкой по городу.

Воскресная Тулуза. Она поразила меня весельем, праздничностью, богатством. Вдоль тротуаров на прилавках были выложены промышленные товары и продукты питания: говяжьи, бараньи, свиные туши, птица и рыба, экзотические овощи и фрукты. Из кафе и ресторанов распространялись ароматные запахи жареного мяса, лукового супа, кондитерских изделий. Неистовствовали оркестры, и шансонье пытались перекрыть их шум, чуть ли не всовывая в рот микрофон. Толпы людей медленно двигались по рядам, ощупывая, приценяясь, восхищаясь и брюзжа, торгуясь и чуть ли не ругаясь. И ведь были причины, вызывавшие столь яркие эмоции. Рядами и штабелями лежали на прилавках синие, белые джинсы. В огромных сетчатых корзинах лежала обувь из крокодиловой кожи и майки. В картонных коробках было перемешано нежнейшее женское белье. Везде лежал товар...

На небольшой площади, у собора святого Серафино, где стоял закрепленный за нами малолитражный автобус, я почувствовал на себе чей-то взгляд, обернулся. На меня смотрел невысокого роста пожилой мужчина. Он был одет в полотняные пиджак и брюки, обут в стоптанные туфли. В левой руке держал газеты, в правой — сетку-авоську. Я разглядел в ней батон, несколько помидоров, салат.

— Русские? — спросил он со славянским акцентом.

— Как догадались?

— И догадываться не надо. Флажок на капоте ваш.

— Но меня почему признали русским?

Мужчина засмеялся:

— Любопытствуете очень. Русские очень любопытные. Вас изумляет это богатство, роскошь? Буффонада. Это не что иное, как борьба за выживание. Попробуй

торговец не продать свой товар, хотя бы по сниженной цене, он будет неплатежеспособен и останется не у дел, пополнит ряды бездельников. Борьба за выживание, пся крев...

— Вы поляк?

— Поляк, — поправил он меня, поставив ударение над «о», — Станислав Косовский, честь имею. В тридцать девятом, когда Гитлер захватил Польшу, ушел во Францию, думал, эти дадут по зубам Гитлеру, куда там, хлипкий народ оказался, пся крев. Вступил в Сопротивление. С вашими ребятами довелось бить фашистов... Помню, один был крепкий, смуглый, другой сероглазый, какая-то звучная фамилия у него была, оканчивалась на адзе или радзе. Мы скрывались тогда в Альби. Мужественный у вас народ. Ну и я немало побил бошей. После войны служил в армии, ушел в отставку. Получаю пенсию, как видите, живу, ем витамины.

Он шутливо потряс авоськой.

— В Польше не бывали?

— Там у меня никого не осталось... После тридцать девятого.

Несколько минут молчали.

— Где вы научились так говорить по-русски?

— В Ковно. Я там долго жил... А это, — он кивнул головой в сторону торговых рядов, — пусть вас не изумляет. Счастливо вам доехать до дому.

И старый поляк пошел семенящим шагом, держа в одной руке газеты, в другой сетку-авоську.

Доводилось ли тебе встречаться с такими людьми, Осман, понять смысл их жизни?

41

Уже несколько месяцев Симон и Керим работали агрономами в колхозах. Чуть забрезжит рассвет, Симон отправлялся в Сабнава, а Керим в Белиджи. Одно облегчение: им дали лошадей как молодым специалистам. Симон и Керим заявили председателям: если не выделяете нам дом или ссуду на строительство, так предоставьте хоть средство передвижения. Председатели собрали правление, думали — рядили и дали им во временное пользование лошадей. У Симона оказался серый жеребец, у Керима — каурая кобылка.

Джамал посмеивался в усы и удивлялся: никогда не думал, что сыновья могут стать исправными конюхами. И верно: Симон и Керим привозили лошадям корм, чистили и мыли их, прибирали за ними двор, и лошади день ото дня становились ухоженней, даже, казалось, выросли и уже шли не понуро, а гордо вскинув головы, распушив пышные хвосты. Работы по уходу за лошадьми братья возложили бы на Гаврила, но он учился в институте в Махачкале и приезжал только на воскресенье, и то если не был загружен общественной работой.

— Что вы будете с ними делать зимой? — спросил как-то вечером Джамал у сыновей. — Они у вас замерзнут под открытым небом. Нельзя держать их на холоде.

— Навес построим, — не задумываясь ответил Симон.

— Навес на лето. Им надо бы сарай построить.

— Сделаем, — произнес Керим, расчесывая гриву кобылки.

— Сделаем... — передразнил Джамал. — Из стука моих четок, что ли?

— А мы доски потребуем у своих председателей. Так, Симон?

— Верно, выбьем.

И выбили. Спустя две недели у высокой каменной стены, в двух шагах от калитки, они уже стучали молотками, тесали, пилили, строгали. Ставили сарай.

С какой гордостью и любовью смотрел Джамал на сыновей, когда они, крепкие, загорелые, легко взлетали в седла, изготовленные и искусно расписанные старыми мастерами, его друзьями. Лошади, высоко вскидывая головы и кося большими умными глазами, закусив удила, гарцевали, нетерпеливо взбивали копытами землю, оглашали двор радостным храпом, предвкушая быстрый бег.

— В их души вселилась красота и гордость, — говорил Джамал сыновьям. — Судьба вознаградит вас за это.

— Ты стал верить в судьбу, отец? — смеялись сыновья, крепко, как влитые, сидя в седлах. — Ты, никогда не веривший в нее?

А лошади яростно били землю, и нетерпеливый храп их будил молодых женщин, они выносили мужьям свертки, опускали в расшитые яркими цветами хурд-

жины [1], и всадники наконец выезжали за калитку и галопом мчались по улице, затем Симон сворачивал направо, на дорогу в Сабнава, Керим налево—в Белиджи.

Как-то поздно вечером Кериму под руку попалась записная книжка. Раскрыл ее: почерк Симона. Стал читать, зачитался. Перевернув последнюю страничку, он вдруг громко, даже неожиданно для себя закричал:

— Симон...

Тот прибежал со двора встревоженный:

— Что случилось?

— Симон... Надо их печатать.

— Где печатать?

— Где печатать... — передразнил Керим. — Мне еще тебя учить. Неси в газету «Захметкеш» [2].

— Неловко как-то...

— Год будешь чувствовать неловкость, два, потом пропадет интерес... Завтра же пойдем в редакцию.

— И ты со мной?

— Ну конечно!

На следующий день, отпросившись с работы после обеда, они зашли к редактору газеты «Захметкеш». Тот, выслушав Симона, небрежно взял записную книжку, прочитал первую страницу, подняв удивленно брови, углубился в чтение и, наконец, положив перед собой, проговорил:

— У тебя, молодой человек, дар стихотворца. Мы опубликуем.

— Спасибо, — произнес Симон.

— Это тебе спасибо.

А к концу следующего дня Симон во весь опор мчался домой. Председатель колхоза, разыскав его в поле, сообщил, что у него родился сын.

Въехав во двор, Симон увидел отца, сидевшего как ни в чем не бывало на скамейке, подставив лицо заходящему солнцу, шапка лежала на колене. Рядом сидел Керим.

Симон соскочил с коня, привязал его к стволу дерева, только потом подошел к отцу.

— Поздравляю тебя, отец, с маленьким Джамалом.

Джамал поднял на него глаза, улыбнулся благодарно:

[1] Хурджины — сумки, сотканные из ковровой шерсти, перекидывают через седло.

[2] «Захметкеш» — «Труженик».

— И тебя поздравляю, сын, с наследником, хотя вернее, с продолжателем рода, наследовать-то ему нечего. А ты, Керим, что нос повесил? Не печалься, и у тебя родится. Просто кто-то должен быть старше, кто-то моложе, природа так распоряжается, ею понукать, как лошадью, нельзя.

42

В конце дня, когда уходящее солнце выплеснуло свое последнее тепло на город, в магазин вошел Илдирим. Не замечая Назыма, он проследовал молодцеватой походкой к креслу, встал за спинкой и, нагло улыбаясь в зеркало, подмигнув Осману, отрекомендовался:

— А вот и я, твой дорогой шурин Илдирим. Сдается мне, соскучился по своему родственнику?

На лице Османа не дрогнул ни один мускул. Сколько этому мерзавцу лет, подумал он про себя. Кажется, около шестидесяти, да, должно быть, но держится петухом, и как держится, хоть сейчас выставляй на петушиный бой. И выглядит неплохо, одет по моде, даже богато. Интересно бы узнать, кто его снабжает деньгами, а впрочем, этот тип не побрезгует быть и сутенером, и содержателем борделя.

— Вижу, ты не очень рад моему визиту, доброму визиту, — подчеркнул Илдирим. — В таком случае пока поднимусь к сестре, погляжу на нее, справлюсь о здоровье.

Он насвистывая поднялся по винтовой лестнице, высоко и гордо вскинув голову. Осман поймал в зеркале настороженный взгляд Назыма, однако ничего не сказал.

Сверху раздался голос жены:

— Осман, иди пить чай, позови и Назыма...

— У нас дела, жена, вы пейте...

— Обязательно что-нибудь выклянчит у сестры, — недовольно проговорил про себя Осман. — Нет у этого человека ни мужского достоинства, ни самолюбия. Тьфу...

Чаепитие продолжалось долго. Спускаясь вниз, Илдирим довольно произнес:

— Живете вкусно, позавидуешь только. На столе — и долма, и пити, и плов, и ореховая халва, и сушеная дыня, и миндаль, и рахат-лукум... Не перечислишь все-

го. Это вам не рамштексы и антрекоты ресторанные, застревающие в зубах... Вкусно живете...

Илдирим прошелся несколько раз по магазину, наконец остановился за спинкой кресла.

— Ты догадываешься, зачем я пришел, — проговорил он тихо. Осман улыбнулся краем губ.

— Вот видишь, даже точно знаешь... Мне нужны деньги.

— У меня их нет. Я тебе уже говорил, если ты не запамятовал.

— У меня их нет, у меня их нет, — зло передразнил Илдирим. — У кого же они есть, если не у тебя. Каким образом ты приобретаешь все это? — Илдирим махнул рукой в сторону прилавков. — Или у тебя есть лампа Аладина? А может, товары поставляют воровские шайки, следует мне это проверить с помощью полиции, не то на старости лет родную сестру мою оставишь без франка... Не на что и похоронить будет.

Шантажист мерзкий, сказал про себя Осман, какую только подлость не придумает.

— Твое молчание — не знак согласия, — задумчиво проговорил Илдирим. — Твое молчание — знак презрения, я знаю. Но недолго придется меня презирать. Неужели ты оглох, ослеп, не слышишь и не видишь, что происходит в мире. Сильные берут власть, захватывают власть, сжимают в кулак неугодных. Какие фигуры появились на политической арене: Муссолини, Гитлер... это не слюнтяи, как Деникин или Колчак... Гитлер — это фигура, политическая фигура, монолит. Ты слышал, как он выступает? Огонь, порыв, взрыв чувств и эмоций. Народ бешенеет от его слов, призывов. Вот кто сокрушит Советы и вернет нам Дербент. Да, да, он сокрушит Советы и вернет нам Дербент, положение, власть. У него железная армия, под его пятой целый ряд стран... Польша, Чехословакия, Австрия, Дания, с ним Италия, Венгрия, Румыния... Нет, Осман, не выживут кроты, подобные тебе, их и под землей достанет штык, снаряд, газы...

Глаза Илдирима блестели, он побледнел, на губах выступила слюна.

— А ты деньги жалеешь. Деньги прячешь. Найдем, все до мелкой монеты найдем, дом перевернем, кирпичи разберем, за ноги повесим над огнем, а найдем, найдем...

Он резко повернулся и вышел из магазина. Осман медленно встал, подошел к окну и чуть отодвинул портьеру.

Илдирим стоял на улице. Запрокинув голову, он дышал как-то неестественно, судорожно задыхаясь. Внезапно схватился правой рукой за грудь и сполз на землю.

Выскочив из подъезда, к Илдириму подбежал немолодой мужчина. Осман признал в нем бывшего работника Вели. Тот опустился на колени, приложил ухо к груди, слушал долго, потом встал и резко побежал вдоль дороги, размахивая рукой, пытаясь остановить свободную машину.

— Сердце, — проговорил Осман. — Переполнилось от зла и ненависти...

— Много их у него накопилось, — проговорил стоявший за спиной Назым.

— Пойдем, занесем в дом? — произнес Осман, не двигаясь с места.

— Он нам хуже врага.

— Матери не говори, что у Илдирима сердечный приступ. Он ведь ей родной брат, ее боль и горе.

— Не скажу, отец.

Вечером, закрыв магазин, Осман посадил рядом с собой Назыма.

— Время сложное, сын. Я подумал и решил: нам надо сделать потайной шкаф. О нем будем знать только мы, я и ты. Ночью, когда все уснут, спустимся в подвал, в задней стене разберем кирпичную кладку. Слушай дальше, размалюем стену различными надписями на азербайджанском языке, намалюем и слово Осман, букву «О» наложим на кирпич, за которым будет тайник. Надо спрятать все: ценные бумаги, драгоценности, золотые динары, крупные купюры... Тебе и твоим детям жить...

Через несколько дней бульвар Османа огласился треском и гулом мотоциклетных моторов, потом раздался стук кованых сапог.

Осман и Назым подошли к окну. По бульвару шли немецкие колонны.

43

Война докатилась и до Дербента. По жарким и пыльным улицам с утра до вечера в сторону вокзала

шли колонны солдат, катили арбы и подводы с продовольствием и одеждой для фронта. Шумный восточный город, оглашавшийся прежде громкими голосами женщин, переговаривавшихся через дорогу, через забор и даже двор, гомоном детворы, свадебной музыкой, притих. На его улицах звучала уже другая мелодия: скребущий душу скрип колес и четкий стук солдатских сапог.

Несколько раз над городом появлялась немецкая «рама», опускалась низко, что-то высматривала, выискивала, но, завидев взлетающих истребителей, тут же удалялась.

Симон и Керим не раз заходили в военный комиссариат, требуя отправить их на фронт, но им неизменно отвечали одно и то же: ждите, настанет и ваш черед.

Как будто от их участия зависел ход войны.

Когда Симон и Керим в очередной раз пришли в военкомат, им вручили повестки.

Накануне отъезда сыновей Джамал пригласил своих старых друзей-музыкантов. Расположились на полу за суфре. Рядом с Симоном и Керимом сели их жены с красными от выплаканных слез глазами. Чуть поодаль на плоской подушке сидела мать, поминутно вытиравшая кончиком платка щеки.

В этот вечер Гюршюм, Вартан и Сеттер не исполняли веселых песен; музыка их была напевна, жалостлива, настраивала на раздумья.

— Я бы и сам пошел в армию, взгляните на мою руку, взгляните, дрожит она? — Джамал вытянул правую руку, крепко сжимая пальцами стакан с белым вином.

— Ничуть не дрожит.

— То-то же. Я бы не задумываясь пошел. Да годы не те, кто меня отправит...

— Со стаканом твоя рука не задрожит, а вот с винтовкой... удержит ли ее, — улыбнулся Гюршюм.

— Ты эти насмешки оставь в своем хурджине для кого-нибудь другого, — сказал Джамал. — Хочешь проверить — неси винтовку.

— Довольно вам, старым дурням, препираться, — вмешалась жена Джамала. — Дети на войну уходят, а вы шутите.

— Шутим, чтобы им в дороге, а потом в окопах было над чем смеяться, — сказал Гюршюм. — Верно я говорю, Джамал?

— Верно ты говоришь, когда выпиваешь бочонок вина, а пока и двух стаканов не осилил, — хмыкнул Джамал.

— Какая сорока тебе донесла, что я бочонок выпиваю? — поразился Гюршюм.

— Наклонись ко мне, шепну на ухо.

Как только Гюршюм наклонился, Джамал гаркнул во все горло, да так, что все вздрогнули:

— Твой раздувшийся бурдюк.

Все молча переглянулись между собой и вдруг громко расхохотались.

Потом музыканты снова заиграли, а устав и отложив инструменты, ели вкусные кушанья, приготовленные женами Симона и Керима, потом Керим попросил сыграть медленный танец и поднял на ноги Симона и Гаврила. Позднее братья танцевали с женами, даже подняли долго упиравшуюся мать, а Джамал смотрел на них и думал про себя: может, в последний раз танцуют сыновья мои, не должны в последний, они только начали жить, это было бы против всех законов природы...

На следующий день Симон и Керим уезжали. Они не позволили матери и женам идти на вокзал. Братья нежно обняли и поцеловали обмякшую и обессилевшую мать, Симон поднял на руки сына, расцеловал его, передал жене. Керим, приласкав жену, которая была в положении, проговорил: родится сын, назовешь Асланом, потом обратился к Джамалу:

— Отец, если у меня родится сын, назовите Асланом.

— Назовем, как желаешь. Аслан красивое имя.

Наконец Симон и Керим закинули за плечи вещевые мешки и пошли со двора. За ними последовали Джамал и Гаврил.

Над вокзалом стоял хаос звуков. Паровозы с шипеньем и свистом выпускали пары, тут и там раздавались команды, и солдаты, сбившись в колонны, торопливо шли к своим эшелонам, провожающие метались по путям в поисках своих родных и близких, громко и истошно звали женщины и жалобно плакали уставшие дети, издерганные люди на чем свет стоит проклинали Гитлера, не стесняясь своих выражений.

У водонапорной башни Джамал остановился:

— Дальше я не могу идти, простите меня, старика, выбился из сил. Затолкали меня здесь, оглушили кри-

ками, — а про себя подумал: умно поступили мои сыновья, не позволив женщинам идти на вокзал.

Джамал опустился на большой, пригретый солнцем камень, прислонился к стене башни и вытянул устало ноги.

— Вы там, дети мои, не бегите от пули, она трусов не любит... И верьте, что обязательно вернетесь живыми и здоровыми. Твердите это про себя месяц, год, сколько потребуется. Ни на минуту не теряйте веру. А теперь идите к своим, идите, я тут передохну.

Симон и Керим поочередно наклонились к Джамалу, крепко обняли, прижавшись к его плечу, которое пахло теплом и солнцем, и направились к эшелону.

44

Веселый, шумный, задорный Париж вдруг умолк, насторожился. Улицы обезлюдели, опустели.

Вольготно чувствовали себя лишь немецкие солдаты, да по ночам ярко расцвечивались казино, порномагазины, и публичные дома гостеприимно распахивали двери перед офицерами.

Парижане затаились в своих квартирах. Резко сократилась торговля.

Осман, сидя в кресле и перебирая четки, уже подумывал запереть магазин — в течение дня к нему заглянули всего несколько клиентов сделать мелкие покупки, да и на бульвар уже опускался вечер, — когда дверь открылась и сразу захлопнулась. Осман поднял взгляд: стояли мужчина и юная девушка, плотно прижимаясь к стене. Они озирались. Не увидя никого, мужчина негромко окликнул:

— Есть здесь кто-нибудь?

— Я вижу вас, — ответил Осман. — Что-нибудь случилось?

— Нас преследуют. Спасите хотя бы Жаклин.

— Пройдите в заднюю комнату, она за винтовой лестницей, поднимите люк, спуститесь в подвал, заройтесь в мануфактуру. Заройтесь так, чтобы и запаха вашего не было.—Назым,— окликнул он, — проводи их, быстро.

Назым помог незнакомцам спуститься вниз и захлопнул люк.

— Иди к прилавку и займись чем-нибудь, — посоветовал Осман. — Перебирай товар. А лучше — считай выручку, жалкую выручку...

Осман не успел закончить фразу, как дверь резко распахнулась от удара, задребезжало стекло, в магазин ввалились немецкие солдаты и, широко расставив ноги, замерли, держа руки на автоматах. Вслед за ними вбежал молодой, высокого роста светловолосый красивый офицер.

— Где хозяин? — громко и резко выкрикнул он по-французски.

Осман встал с кресла и подошел, перебирая четки:

— Я хозяин, господин обер-лейтенант. Что желаете приобрести? К вашим услугам.

— Что вы мелете?.. Где наши французишки?..

— Господин обер-лейтенант, я торгую мануфактурой, персидскими коврами, восточными сладостями и пряностями, о каких французишках вы говорите?

— Обыскать дом, — резко бросил офицер солдатам. Добрая половина их бросилась выполнять приказ. Кованые сапоги загремели по винтовой лестнице.

— Вам всем не сдобровать, если мы вытащим из вашего дома за длинные уши наших зайцев, — офицер рассмеялся, задрав голову.

— Аллах свидетель, — Осман уперся взглядом в потолок, воздев руки вверх. — Я человек верующий и никого и никогда не обманывал. Священная книга Коран нам запрещает обманывать под страхом смерти.

— Хм... Одна из девяти заповедей... — офицер уставился острыми глазами на Османа, задумался:—Куда же в таком случае они могли деться?

— Кто эти люди, которых вы ищите, господин обер-лейтенант?

— Бандиты. Мужчина и девушка с ним.

— Дом большой, господин обер-лейтенант, и бульвар велик. Мудрено ли скрыться...

— Что вы там копошитесь? — гаркнул офицер, глядя в сторону лестницы.

— Их нет, господин обер-лейтенант.

— Тогда вперед, в другой дом, живо, живо.

Солдаты устремились на улицу.

— Если вам потребуются восточные товары, запомните мой магазин, господин обер-лейтенант. Я к вашим услугам.

— Не премину воспользоваться, — ответил офицер и выскочил на улицу.

Осман только сейчас почувствовал, как у него подкашиваются ноги. Он дошел до кресла и упал в него.

— Запри дверь, — бросил он устало сыну.

Назым, стоявший за прилавком безмолвный, скованный предчувствием беды, вдруг пришел в себя, тряхнул головой, словно сбрасывая наваждение, и пошел к двери. Заперев ее на замок, он подошел к отцу и уставился на него:

— Ты... их совсем не боялся?

— Я боялся, что не ко времени придет мать, увидит немцев с автоматами в своем доме... У нее и без того сердце никуда не годится.

— Но они могли найти французов и тогда... расстреляли бы всех нас!..

— Но ведь не нашли... И знай, сын, если эти вооруженные собаки ловят безоружных, значит мы сделали богоугодное дело. До утра не выпускай их. Да, не забудь дать поесть. Завтра решим, как их вывести из города.

45

Я согласился посетить твой дом, Осман. Уступил твоим просьбам перед вылетом в Альби.

Думал ли я, ты, твой отец, чем обернется мое посещение?

Нарядный, людный и шумный бульвар Османа купался в золоте полуденного солнца. В походке людей, в облике бульвара читалась какая-то праздничность. Мой взгляд остановился на многоцветной, яркой, красочной рекламе. Над дверью крупной вязью было выведено «Осман». Ты поймал мой вопрошающий взгляд и с улыбкой пояснил:

— Наш магазин. Его так назвал мой дед, назвал своим именем, а не в честь бульвара. Надеюсь, вы знаете, почему бульвар назван именем Османа?

— Надейся, — коротко ответил я тебе.

Не хотелось эту искрящуюся солнечным светом праздничность портить пустой болтовней.

Мы вошли в магазин. Он мне показался роскошным. Пол и две круглые колонны были отделаны мрамором. Стены расписаны сюжетами из восточных сказок. Окна задернуты тяжелыми богатыми гардинами. Я бросил взгляд на прилавки: они ломились от товаров.

— Отец, я пригласил к нам гостя, — радостно произнес ты. — Знаешь, откуда он?

— Откуда бы ни был, гость всегда подарок для нашего дома, — интонации, степенность в голосе подсказывали мне, что он принадлежит человеку, уверенному в себе.

Из кресла, стоявшего спинкой к посетителям, поднялся мужчина и кивнул головой в знак приветствия. Это был твой отец. Виски его были кипельно белыми, но вьющиеся густые волосы еще не поседели. Большие карие глаза смотрели пристально, умно.

— Поднимитесь наверх, — произнес он. — Я скоро подойду.

Мы опустились в мягкие кресла. Вошла юная девушка, поздоровалась, поставила на столик кофейный фарфоровый кувшин с чашками и вышла. На мой немой вопрос ты тут же ответил:

— Наша экономка.

Чуть помолчав, добавил:

— Единственная женщина в доме.

И после долгой паузы:

— Мама умерла десять лет назад. Мама была красивая.

Ты показал взглядом на портрет, висевший на стене. С него глядела на самом деле красивая молодая женщина.

— Француженка? — спросил я.

— Ее звали Жаклин.

Потом ты включил магнитофон, по комнате разлилась музыка Поля Мориа.

Поднялся, наконец, твой отец. Садясь в кресло, он произнес с улыбкой:

— Назым, сын Османа, а этот молодой человек мой сын Осман.

— Аслан Османов, — я чуть привстал и снова сел.— Если представляться как наши деды, сказал бы: Аслан, сын Керима.

Взгляд твоего отца остановился на мне, насторожился. Он, казалось, изучал меня или хотел прочитать мои мысли... Мне стало не по себе.

— Вы так долго смотрите на меня...

— Я задумался, — он налил в чашечку кофе, отпил, поставил ее на блюдечко. — Что же вы скучаете? Осман, не позволяй гостю скучать, какое впечатле-

ние он вынесет из нашего дома. Я хотел спросить вас, откуда вы приехали?

Ты зарделся от смущения, усмехнулся:

— Я же тебе уши прожужжал, отец, что Аслан приехал из России, он журналист...

— Извини, — прервал тебя отец. — Я хотел спросить, из какого города. Россия большая...

— Если вам это интересно, то из Махачкалы, а родом из Дербента.

Твой взгляд замер на моем лице, а твой отец, отпивавший очередной глоток кофе, вдруг поперхнулся, закашлялся, из глаз выкатились слезы.

— Откуда, вы сказали? — откашливаясь, протяжно спросил он.

— Из Махачкалы, а родом из Дербента. Что вас удивляет? Или вам знакомо название города?

Твой отец вытаращил на меня глаза и откинулся на спинку кресла:

— Вы, случайно, не знаете в Дербенте некоего Керима?

— Керимов в Дербенте много, — теперь насторожился я.

— Ну, конечно, вы молоды, где вам его знать. Но вы должны знать Джамала, нет, нет, что я говорю, откуда вам знать его, он, наверно, давно умер. А может... вы все-таки слышали в Дербенте имя Джамала. Его должны там знать.

— Джамала, — повторил я вслед за твоим отцом.— Джамала... Джамал был моим дедом. Но откуда вы его знаете?

— Ваши вопросы потом, потом, не сбивайте меня,— лицо твоего отца побледнело, на нем читались растерянность, ожидание, надежда. — А не жил ли у него... Не воспитывался ли у него мальчик, которого звали Керимом?

Внезапно перед моим взором мысленно промелькнули вывеска над магазином «Осман», имя моего собеседника Назым и его отца Осман, мгновенно память выплеснула мне рассказы деда Джамала о своем соседе Османе, его бегстве и больном сыне, оставленном на попечение — о Кериме, моем отце, который стал ему сыном, вырос с Симоном и Гаврилом, окончил институт в Москве, женился, ушел на фронт и пропал без вести. Я не видел своего отца, я знал его только по фотографии, молодым. И таким молодым он останется навсег-

да со мной и с моими детьми... А дед Джамал, усадив меня на колени, часто вечерами рассказывал об отце, и от него, моего деда Джамала, я получал ласки, заменявшие мне отцовские...

— Мой дед Джамал воспитал и вырастил Керима,— сказал я, жестко глядя в лицо твоему отцу. — Сына Керима, которого родной отец Осман полуживого оставил у нищего сельчанина. Да, дед Джамал вырастил со своими сыновьями и сына Керима.

Твой отец долго смотрел на меня не отрываясь, словно онемев. Потом слабо, словно его избили, спросил:

— Где он, мой брат Керим...

— Пропал на войне, без вести.

Твой отец закрыл глаза и умолк. Ты продолжал немо глядеть на меня.

Из глаз твоего отца выползла слеза и, покатившись по щеке, растеклась у подбородка.

— Бедный Керим, — прошептал он. — Бедный Керим, так и прожил свою жизнь без семьи.

Он взглянул на меня.

— Так и прожил без семьи, — повторил он.

Я улыбнулся. Какое-то чувство раскованности овладело мной, может быть, оттого, что волею судьбы, по стечению обстоятельств, случайно была разгадана моя родословная? Нет, не разгадана, я ее знал по рассказам деда Джамала; волею случая и воочию увидел потерянную ветвь своего генеалогического дерева... И успокоился. Окончательно. Но вот что удивительно: я к вам не чувствовал ни родственного тепла, ни родственной близости. Ничто меня к вам не тянуло, абсолютно ничто... Мы задавали друг другу вопросы, отвечали, думали, перебирали в памяти. Но мы были как чужие люди, хотя в венах наших текла одна кровь...

Вдруг твой отец поднялся, подошел ко мне, склонился и обнял меня. Так неожиданно, что я не успел приподняться. Лоб его был холоден.

Потом твой отец прошел к своему креслу, опустился в него и проговорил:

— Что я могу сделать для тебя, дорогой? Этот магазин принадлежит и тебе. Он и твой. Мой отец завещал его мне и Кериму...

— А для чего он мне? — улыбнулся я. — Неужели вы думаете, что я останусь? У вас?

— Но ты наш, плоть от плоти, кровь от крови.

— Да, Аслан, ты наш, — изрек наконец и ты после столь долгого молчания.

Я засмеялся.

— Не смешите меня, пожалуйста. Вы взрослые люди и понимаете, что у нас все разное: и воспитание, и отношение к жизни...

— Ты говоришь глупости, — жестко прервал меня твой отец. — Воспитание, отношение... В этом мире бог — деньги. Живет тот, кто владеет. Чем ты владеешь?

— Могилами моих предков, давших начало сыновьям и внукам Османа.

Твой отец резко поднял голову и уперся в меня взглядом.

— А еще родным языком, женой — азербайджанкой, сыном, который знает свой язык... А что у вас осталось от своего народа и языка? Одни имена. И вы еще хвалитесь, что чем-то владеете!.. Может, вы имеете в виду магазин? Я считаю, что это вам судьба дала садага [1] за все потери.

— Ты рассуждаешь так, словно стал гяуром. Не хочешь ли добавить, что не веруешь в Аллаха?

— Ваш брат, а мой отец Керим Османов тоже не веровал в Аллаха, он был, не пугайтесь, коммунистом, как и его братья Симон и Гаврил. Коммунистами стали и дети Симона и Гаврила, и сын Керима, то есть я. Конечно, им станет и мой сын Керим. А ваш сын Осман верующий, значит, мечеть посещает. А ночью злачные места Парижа? На его лице за все дни нашего знакомства я не смог не то что прочитать, но найти тени покорности, отрешенности от всего земного, что так облагораживает истинно верующих детей Аллаха.

Твой отец прищурил глаза:

— А ты дерзок, племянник. Неужели такими дерзкими воспитывает ваша школа, ваша власть? А может, это уроки нищего Джамала, заставившего моего кровного брата забыть родных, женившего на обездоленной тетке и отправившего на войну, на верную гибель?..

Почему твой отец выплеснул, излил вдруг столько желчи? Ему не пришлись по духу мои взгляды?

— Мне жаль вас, — сказал я твоему отцу спокойным, ровным голосом. — Вы не пошли в своего отца

[1] Садага — пожертвование.

Османа. По рассказам деда Джамала я его знаю лучше, чем вы, да нет, вы хорошо его знаете, только вы лучше приспособились к вашему миру, офранцузились... Мне стыдно бывает слушать, когда взрослые люди, простите, говорят глупости собеседнику, чтобы досадить ему. Вы же не знаете о Кериме и обо мне ни-че-го. И говорите всякую чушь. А теперь послушайте, что я вам скажу. Керим Османов, сын вашего отца Османа, писался в документах азербайджанцем, но знал три языка: родной, татский и русский. Женился на красивой азербайджанке Наргис из Дербента, которая и сейчас живет и здравствует со мной, и свадьбу ему справили вместе с сыном Джамала Симоном, но вы уже давно забыли или просто не знаете, что танцы у нас и песни одни, и я, представьте себе, в документах азербайджанец, хотя, как и отец, владею тремя языками, нет, четырьмя, к вашему сведению — и французским, а на русском пишу и мыслю. И чтобы окончательно успокоить вас, заверю, что мой сын Керим знает три языка... А вы-то свой помните, или ваш сын Осман хоть слово может произнести? Вы — оторванная ветвь от нашего дерева, привитая к чужому. А привитая всегда остается привитой. Простите, брат отца, я надерзил вам.

Твой отец слушал меня, замерев, на его лице появились багровые пятна.

— Ты что, поучаешь меня, меня, своего дядю, шестидесятипятилетнего мужчину, Назыма Османова, уважаемого бизнесмена...

— Я вас не поучаю, я вам рассказал о вашем брате и его сыне, который живет на земле своих предков. Прощайте.

Я встал и вышел из гостиной, не оглядываясь.

Я покинул ваш дом без сожаления и, глубоко вдыхая свежий воздух, медленно пошел по вечернему бульвару.

46

— Без команды не стрелять!.. — вспорол тревожную тишину высокий, мальчишеский голос лейтенанта.

Впереди до самого горизонта скатерью лежала выжженная солнцем степь. По ней словно жуки ползли танки.

— Сержант Османов, сколько раз повторять — надеть каску... — опять подал голос лейтенант.

Симон усмехнулся: так его, так, чтоб не подставлял голову под шальную пулю. Раз его она уже зацепила, пошел в атаку, оставив каску на бруствере, зацепила у виска, оставив на нем горячий след и вспоров ухо. Это было под Киевом... А за бой получил орден Славы.

— Без команды не стрелять...

Несколько снарядов один за другим взорвались перед траншеей, подняли столбы земли.

— Засекли, сволочи, — выругался Симон, отряхнувшись, снова низко склонился над противотанковым ружьем, взял на прицел облюбованного жука. Танки приближались, снаряды падали все чаще и гуще, один угодил прямо в траншею, раздались стоны раненых...

Симон слился со своим ружьем. Он ясно различал бегущих немецких автоматчиков. Пора, произнес он про себя, пора начинать, что же ты медлишь, лейтенант...

— Взвод, огонь, — вскрикнул мальчишеский голос. Симон уловил в этом голосе боль, но грохот боя тут же отвлек его. Застучал пулемет, короткими очередями забили автоматы... Симон, наконец, нажал пальцем на курок: танк замер. Справа дымился еще один. «Керим подбил, — сказал про себя Симон, — молодец»...

Немецкие автоматчики упорно шли на траншею. «Почему нет команды?» — спросил про себя Симон, нажимая очередной раз на курок. Железное чудовище замерло совсем недалеко от траншеи, закрыв обзор. Симон перебежал на новую позицию.

— Где лейтенант? Почему нет команды? — спросил он автоматчика, расположившегося рядом.

— Тяжело ранен лейтенант...

На правом фланге танк полз к траншее, оставалось тридцать метров, двадцать... Расстояние сокращалось... «И что же медлит Керим, — нельзя так близко подпускать, нельзя...» В доли секунды Симон развернул свое ружье, навел прицел, затаил дыхание, выстрелил. Танк повис над траншеей.

Немецкие танки отходили, оставив в степи автоматчиков.

— Взвод, слушай мою команду... — поднялся Симон. — Беру команду на себя. Бугаев, что с Османовым?

— Ранен, товарищ сержант.

— Бери его «петеэр». Бей по линии среза между башней и туловищем... Пинчук...

— Я, товарищ сержант...

— Беги к ротному, пусть просит огня у артиллерии. Сейчас они снова пойдут. «Петеэры» вступают в бой по обстановке, остальные после моей команды. Бу-га-ев, ты понял, по обстановке...

Первый же выстрел Бугаева оказался удачным.

Вот тебе и автоматчик, подумал про себя Симон и тут же усмехнулся над собой: автоматчик... он же охотник, профессиональный охотник, не дрогнув, идет на медведя...

Столб земли обрушился на Симона. Он уперся локтями, скинул со спины тяжесть, отряхнулся, приподнял голову: немцы были на расстоянии ста метров.

— Взво-о-од, огонь... — заорал он, но не услышал своего голоса.

— Ого-о-нь!

Над бруствером появился ствол, затем гусеницы. Симон присел, острая мысль пронзила мозг: он не ревет, не лязгает, неужели я оглох, я оглох, я... Какая страшная тишина... И вдруг все грохоты войны обрушились на него, он зажал уши; над головой зависло туловище танка. И в тот момент, когда танк, переехав траншею, вполз на твердую землю, Симон метнул противотанковую гранату вдогонку и упал на дно траншеи. Ухнул взрыв.

Симон снова бросился к своему ружью, навел прицел на надвигавшийся танк, выстрелил...

И тут земля взорвалась черным столбом. Снаряды кучно ложились впереди траншеи. Успел Пинчук, подумал Симон, молодец Пинчук.

— Немцы откатываются, товарищ сержант...

Симон уже строчил из автомата по отступающим немцам, вложив в долгие горячие выстрелы всю свою боль и гнев.

— Товарищ сержант... товарищ сержант...

— Пинчук? Молодец, успел сообщить...

— Товарищ сержант, ротный приказал отходить во вторые траншеи.

— Как во вторые? — Симон уставился на бойца, потом махнул рукой. — Приказ не обсуждается. Ребята... отходим во вторые траншеи. Берите раненых, убитых...

И тут он вспомнил о Кериме.

Перекинув через плечо автомат, подхватив противотанковое ружье, Симон бросился бежать по траншее к правому флангу.

Керим лежал на земле, рядом сидел Бугаев с перевязанной головой.

— Как он, жив? — спросил Симон, опускаясь на колени.

— Жив, контужен сильно...

— А ты чего сидишь? Бери ружье и во вторую траншею.

— Его надо тащить, вот сейчас сил поднакоплю...

— Иди, я сам его потащу. Только прихвати вот и мое ружье, если тебе не трудно.

— Отчего ж трудно, на войне ничего не трудно...

Симон взвалил Керима на спину, вылез из траншеи и, пригнувшись, побежал по иссохшейся степи, то и дело поглядывая на семенившего рядом Бугаева.

47

Пришла повестка и Гаврилу. Проводив его на фронт, Джамал остался в доме со старухой, невестками и внуком. Несколько раз в неделю над городом появлялись немецкие самолеты, но, завидев наших истребителей, улетали, не вступая в бой. Правда, они пытались сбросить бомбы на железнодорожную станцию, но смертоносный груз упал на берег моря. Взрывы напугали дербентцев.

Джамал решил вырыть во дворе бомбоубежище. Мало ли что может случиться, говорил он себе, прилетит этот фашист, сбросит наскоро свою дурную бомбу. Ему безразлично, куда сбросить. А ей безразлично, куда упасть. А мне надо семьи сохранить для моих сыновей. Бомбоубежище Джамал рыл сам: его руки еще хорошо владели киркой, ломом, лопатой, старшая невестка — жена Симона помогала, второй невестке не позволял — она была беременна.

Бомбоубежище Джамал построил: сверху перекрыл досками, разобрав конюшню, высоко засыпал землей, пол настелил тоже досками, сколотил столик, вдоль стен поставил широкие скамейки-лежанки. И на сердце стало спокойней. Теперь как только к городу подкатывался гул самолетов, Джамал отправлял женщин и внука в бомбоубежище, а сам оставался на веранде,

садился на тахту и ждал, что произойдет. Но... ничего не происходило.

Как-то Джамал сообщил женщинам, что решил пойти в Табасаран: отнесет что-нибудь из лишней одежды, выменяет на муку, сыр... С ним вызвалась идти старшая невестка: не отправлять же семидесятилетнего старика одного. Ранним теплым утром она закинула на спину полный мешок одежды, Джамал взял в руки суковатую палку, и не спеша направились по пыльной дороге в сторону Табасарана.

Возвращались на арбе. Старый кунак Джамала ехал в Дербент на воскресный базар и подвез их к самому дому. Невестка занесла на веранду мешок муки, две головки сыра, мешок кураги. Джамал тащил на привязи упирающегося беленького козленка.

— Где ты раздобыл этого дьяволенка? — обрадованно воскликнула старуха, сидевшая на веранде с внуком на коленях. — У кого выкрал, а ну признайся?

Джамал довольный улыбнулся.

— Старые друзья еще живы... Этот козленок кстати моим внукам. Молочка попьют, силушки наберутся. А где моя невестка, почему она не встречает нас?..

— Две радости у тебя, старик!

— Какие, говори быстрей, не томи душу...

— А я и говорю. Невестка тебе внука подарила.

— Аслана... — произнес Джамал. — Ай да молодец, исполнила завет мужа... А другая какая радость?

— Письма пришли от твоих сыновей. В комнате, на столе лежат.

Джамал стряхнул с себя пыль, разулся, вошел в комнату, развернул письма, прочитал одно, потом другое, и довольная мягкая улыбка осветила его лицо:

— Молодцы, молодцы сыновья, не срамят отца... Герои уже, у Керима два ордена Славы, у Симона орден Славы и орден Красной Звезды... Не боятся, значит, пули. Видать, верно говорят в народе: героев не матери рожают, героями дело делает.

48

В Альби со мной вылетел и ты. Я долго размышлял над тем, что тебя побудило отправиться в поездку. Чувство привязанности? Или вдруг вспыхнувшие родственные чувства? Что бы там ни было, а ты летел со мной.

На встречу с рабочими стекольного завода имени Жана Жореса я тебя не пригласил, она была организована только для журналистов. Но на следующий день мы взяли тебя с собой в музей Тулуза Лотрека, а потом пошли в собор, примыкавший к музею. Вид его снаружи был внушителен, но он буквально потряс нас, когда мы вошли в него. Колоссальный и громоздкий, он оказался изящным и почти хрупким внутри. Невозможно передать словами крепость, мощь и красоту этого монолита.

Потом мы долго бродили по улицам Альби под впечатлением произведений Тулуза Лотрека и собора, прошли мимо вытянувшегося красивого здания лицея имени Лаперуза, остановились на перекрестке улиц, ожидая зеленого света светофора. Машины медленно объезжали темный гранитный памятник, стоявший на высоком постаменте, обрамленном цветочным газоном. Дождавшись зеленого света, мы подошли к памятнику.

Я принялся читать выбитые на граните слова: «Здесь похоронены участники французского Сопротивления»... Затем шел длинный перечень фамилий. Заканчивался он словами: «Благодарная Франция вечно будет помнить о вас». Фамилии... Фамилии. Десятки французских, две польские, грузинская... Я перечитал ее — Жорж Татарадзе, значит Георгий Татарадзе, адзе, радзе... И я вдруг вспомнил поляка Станислава Косовского из Тулузы, его рассказ о бойцах Сопротивления. Неужели об этом Татарадзе и говорил он. А где другой, темный, упомянутый им? Иван Петровичев, это русский... И тут я замер. Остолбенел. Потом почувствовал гулкие удары сердца. Я протянул руку и ухватился за тебя. Ты тревожно глянул мне в лицо:

— Что с тобой? Тебе плохо?

— Читай! — сказал я, указав взглядом.

— Керим Османов. Ну и что? — Потом ты еще раз повторил: — Керим Османов. Керим Османов?

Мои коллеги окружили нас и, спросив, в чем дело, тут же предложили навести справки в муниципалитете. Но там никто ничего не знал о захороненных. Сообщили только, что останки бойцов перевезли в город и погребли в Альби в сорок пятом году, чуть позже жители города на свои пожертвования поставили памятник.

Нам предложили разыскать в провинции и в городе участников Сопротивления, встретиться с ними. Но...

наше пребывание в Альби заканчивалось на следующий день, продлить его было не в наших силах.

Мысли путались в голове.

Ты глядел мне в глаза, мучительно долго читая что-то в моем взгляде, потом спокойно проговорил:

— Будь спокоен, я начну поиски.

49

— Занять оборону! — раздался голос лейтенанта.

Взвод вышел на новые позиции. Предстояли жестокие бои. Фронт, истекая кровью, теряя и людей, и технику, медленно, нехотя откатывался к Дону.

Новый командир взвода был в годах, угловатый, скупой на похвалу.

— Товарищи бойцы! — голос у него был сильный, но суховатый. — Нам предстоит отбить танковую атаку. Опыт в уничтожении фашистских танков у вас есть. За нами — Дон. Отступать не велено. А теперь — окапываться.

— Долго будем здесь прохлаждаться?—подал голос Пинчук.

— Пока не получим приказ.

Земля была жирная, лопата входила в нее как в масло.

Симон снял шинель, аккуратно сложил в сторону. Горка земли у его окопа заметно поднималась.

— Зря разделся, сержант, солнце холодное. — Над головой стоял лейтенант. — Ноябрь на дворе. — Он принялся подбивать горку сапогами, утрамбовывая ее. — Держись, сержант, бой будет жаркий.

— Не привыкать, товарищ лейтенант.

Симон подровнял стенки окопа, подтянулся на руках, сел на край окопа, потом поднялся.

— Ну, сержант, твой окоп всем окопам окоп. Вижу, чувствуешь землю.

— Я ведь агроном, товарищ лейтенант.

— Чувствуешь землю, — лейтенант поднял голову. По синему, холодному небу красивым клином вытянулись журавли. — На юг пошли. А я работал на конном заводе, под Орлом, — неожиданно переменил он тему разговора. — Коней, как говорится, выводил в свет, а тут заставили людьми командовать.

Он засмеялся, махнул рукой.

— Что только жизнь не преподносит. Ну, ты заканчивай свой окоп, надо траншеи рыть.

— Все сделаем, будьте спокойны. Только побегу, гляну, как там брат...

Керим сидел на краю окопа, накинув шинель на плечи.

— Как тут у тебя? — спросил Симон.

— Уставать стал быстро... — сказал Керим виновато.

— Надо было в госпитале полечиться, на худой конец в медсанбате, а ты дальше санчасти не был. Не слушаешься брата.

— Доживем до боя, а там видно будет, в медсанбат или госпиталь.

— Типун тебе на язык, — Симон помолчал. — Нам бы рядом воевать бок о бок, да не получается, брат.

— Слаще такой жизни, где еще может быть? — Керим улыбнулся. — В одной роте, в одном взводе, а ему и этого мало.

— Ты отдохни, я траншейку порою.

— Да ты что, ты за кого меня принимаешь... что скажут ребята...

— Ничего не скажут, сиди.

Симон вырыл траншею до соседнего окопа, вернулся, бросил лопату, хлопнул Керима по плечу:

— Не тушуй, брат, и пули не бойся, помнишь, что отец наказывал. Но и себя не подставляй. Побегу рыть свою траншею.

На закате дня бойцы расселись у своих окопов: кто насвистывал, кто зашивал гимнастерку, а кто начищал медали.

— Эй, вы, чудики, что ж вы делаете, вы ж наведете фашиста на себя, ну мать честная, чудики да и только. Вы и нас так погубите, — подал голос Пинчук.

— Не боись, не дрейфь, он, фашист-то твой, как глянет на блеск-то, и ослепнет. Вот и одного танка нет.

— Почему это фашист мой? Бери его себе на память.

— К слову пришлось. А вот как на память взять — ума не приложу.

— Сразу видать, в школе не учился. Гербарий сделай.

— Чего, чего?

— Гер-ба-рий, чудик.

Громкий смех раскатился над степью.

— Довольно балагурить, — раздался голос Бугаева. — Не уразумею, чего они тянут...

— Кто чего тянет? — опять вклинился Пинчук.

— Да перестань ты, чертов тетерев, — Бугаев замолчал, но снова заговорил: — Чего не начинают атаку...

— Ждут, пока нам кашу принесут, — пояснил Пинчук. — А вот и она, теперь, братцы, ждите атаки...

Спустя несколько минут бойцы молча скребли ложкой по котелку.

— Чайку бы еще и на боковую — сказал Симон.

— Да, чаю бы, — поддержал Бугаев, — эй, кашевар, что это ты сплоховал сегодня?

— Чай в бидоне, пейте, сколько влезет...

Ночь была безлунная. Со стороны Дона веяло холодом. Слышно было, как изредка переговаривались дозорные.

Симон, уютно расположившись в своем окопе, урывками засыпал и снился ему дом, отец Джамал, улыбающийся, в заломленной шапке, надвинутой на глаза, с внуком на коленях, жена с распущенными волосами, сморщенное задумчивое лицо матери, и еще какой-то малюсенький мальчик снился на коленях жены Керима. Кто он, спрашивал себя Симон, просыпаясь, я его никогда не видел... А может, уже родился... Завтра надо рассказать Кериму.

Утром его разбудила тишина. Небо начинало румяниться. Симон выглянул из окопа:

— Керим! — крикнул он громко.

— Что-о-о, Симо-он?

— Ты меня слышишь?

— Если откликнулся — слышу...

Внезапно в тишину стали вплетаться посторонние звуки, потом отчетливо послышался рокот. Симон вытянул голову, вгляделся. По степи ползли танки: один, два, четыре, шесть, семь, — стал считать он и вдруг, словно спохватившись, закричал:

— Керим!

— Слушаю.

— Я видел со-о-он.

— Не понял...

— Сон видел.

Снаряд упал недалеко от окопа Симона, засыпав его землей.

— Понял, ну и что?

— Будто родился мальчик..

— Будто что?

Рокот нарастал.

— Будто что? — прорвался сквозь гул голос Керима.

— Мальчик родился... мальчик...

Тут из окопа в окоп бойцы стали громко передавать друг другу:

— Мальчик родился.

Услышал ли Керим, подумал Симон, но тут все его внимание сосредоточилось на голосе лейтенанта:

— Слушай мою команду, по фашистам пока не стрелять, подпустить поближе, «петеэры», огонь.

Симон привычно и спокойно нажал на курок.

— Один есть, — сказал он вслух, наводя прицел на другой танк, но в тот момент, когда уже собирался спустить курок, танк стал разворачиваться, и все-таки Симон опередил его на долю секунды. Вокруг стоял гул, грохот, лязг, свист, земля дыбилась, но Симон не слышал ничего. Он слился со своим оружием и работал как четко налаженный механизм. Он даже не обратил внимания, что танки стали пятиться. Он продолжал стрелять и очнулся как от наваждения лишь тогда, когда увидел перепрыгивавших через окоп автоматчиков, догонявших фашистов.

Отбив атаку, бойцы принялись искать и раскапывать раненых и убитых. Симон перебегал от окопа к окопу, разыскивая Керима, заглядывал в воронки, но того нигде не было. Ни среди раненых, ни среди убитых. Но куда, куда он мог подеваться? — утомленный боем мозг не давал ему ответа. А может... фашистский танк успел его уничтожить? Бедный мой брат...

Симон сел на холмик земли и безмолвно уставился на поле боя. Сердце его ныло, но слез не было. Солдаты давно разучились плакать.

Если бы он прошел еще метров пятьдесят в сторону от окопа Керима... Если бы еще метров пятьдесят в сторону...

Но он продолжал сидеть и смотреть на поле боя.

После полудня был получен приказ: ночью уходить за Дон.

50

Назым все чаще стал вспоминать брата, перед взором вставал образ скандального племянника. Конечно, признавался себе Назым, этого молодого человека ничто не роднит с ними, да и я, откровенно говоря, не испытываю к нему родственных чувств, но ведь он — сын моего брата, кровь наша, и должен быть с нами, а не там, где у него нет никого и ничего. Ну и скандалист же, да и дерзок, ему не нужны, видите ли, ни магазин, ни деньги. А что тебе нужно? Остро подвешенный язык? Прокормит он тебя, если карманы пусты, хотел бы я знать? Какой бесшабашный, бестолковый сын у моего брата...

Он пытался вспомнить брата, но годы давно и прочно смыли его образ из памяти. Керим должен быть смуглым, убеждал себя Назым, у него должны быть темные глаза, темные волосы, красивое крупное лицо... Но все, что он пытался создать в своем воображении, получалось бледным, безликим, расплывчатым...

Назым вконец отчаялся. Если судить по племяннику, говорил он себе, Керим совершенно не похож на нас... Нет, быть не может того, племянник пошел, очевидно, в мать... Керим должен быть темноволосым, темноглазым, с красивым крупным лицом... Да, да, таким...

И однажды Назым вспомнил далекий сорок третий год, буйную весну, частые выстрелы на улицах Парижа. И того темноволосого, темноглазого мужчину, которого быстро ввела, втолкнула в магазин, заперев за собой дверь, Жаклин.

— Спрячьте его до утра, — сказала она, задыхаясь от быстрого бега.

— Заштрорь окна, — проговорил Осман. Он встал, медленно перебирая четки подошел к мужчине и, не отрывая взгляда от него, спросил Жаклин: — Кто он, откуда?

— Из плена бежал, русский...

— Ты... русский? — спросил протяжно Осман мужчину.

Тот встрепенулся как-то боязливо, бросил короткий, очень короткий взгляд на Османа и низко опустил голову.

Назым подошел к ним близко и стал разглядывать мужчину. Лицо его, крепкое, красивое, было исполосовано шрамами. Густую шевелюру прорезали седые пря-

ди. Ладони изрезаны, почти разбиты. Из-под разорванной рубахи виднелась крепкая грудь. Он стоял у стены в прохудившихся ботинках, в изношенных штанах, опустив голову, и Назым невольно поежился. Но поежился не от вида человека, а от силы духа, которая, казалось, исходила от него. Тот стоял как изваяние, как памятник непокорности, и Назым вдруг представил почему-то Стену коммунаров на Пер-Лашез. Вот так, именно так стояли они, непокорные, необоримые коммунары, подумал он про себя. Но этот русский ведь не был на Пер-Лашез, почему он стоит в их позе? Кем он себя мнит, по какому праву?

— Ты почему не хочешь говорить? — прервал мысли Назыма Осман. — Ты ведь русский? Я спрашиваю тебя по-русски: откуда ты, из какого города?

Назым отвернулся и отправился за прилавок. Он чувствовал, что отца что-то беспокоит, мучает, иначе он не покинул бы свое кресло и не глядел бы на незнакомца так внимательно, но тот продолжал молчать, опустив взгляд.

— Жаклин, отведи его, пусть умоется, оденется, поест, потом проводи в подвал... — сказал Осман и вздохнул, да так, что у Назыма защемило сердце.

Думы о брате не давали Назыму покоя. Ветвь моего дерева, говорил он про себя, куда ты делась, где тебя носят ветры, или ты уже высохла? А скандальный племянник в чем-то и прав: что останется со временем у нас, у сына моего, у его детей от Османовского дерева? Ничего не останется. Ничего не останется?

От этих мыслей он все чаще поеживался и хмурился.

51

В Сорбонне проходил антивоенный митинг. Наша группа журналистов сидела в первом ряду огромного переполненного зала. На сцену, взятую на прицел телекамерами, выходили молодые люди и говорили о чем им вздумается. В головах многих перепутались имена и деяния Гитлера и Муссолини, Тетэна и де Голля, Черчилля и Трумэна, из выступлений было очевидно, что они не знали, да и не хотели знать, кто и почему начал вторую мировую войну, кто внес исторический вклад в разгром фашизма, какие жертвы понес советский народ в этой страшной схватке. У большинства из них лица светились улыбками, глупыми улыбками, и говорили они о войне с какой-то легкостью, беспечностью, бравадой.

Мне стало не по себе. Слово «война», понятие «война» у нас — олицетворение самого страшного зла на земле, а здесь — клоунада. Я представил деревянного клоуна, висящего на ниточках, натянутых между палочками — стойками. Детская игрушка. Как пожелаешь, так и встанет клоун. Все зависит от манипуляций рук.

Ты смотрел на меня, понял мое состояние и попытался успокоить:

— Здесь молодежь более раскованна, свободна и откровенна в своих суждениях и оценках.

Нет, Осман, тут дело не в раскованности и откровенности. Тут речь идет о политической зрелости, о гражданской позиции каждого здравомыслящего человека, о ясном и четком понимании сути вопроса. Этим молодым людям кто-то что-то вразумительное объяснит, но объяснит потом, позже. А почему сейчас не повернуть разговор в русло, нужное нам всем... Я должен выступить... Я решился...

Дождавшись, когда очередной оратор закончил свою речь, я взбежал на сцену. Тысячи пар глаз уставились на меня. С чего начать, как их наэлектризовать?

Начну со слов:

— Я журналист из Советского Союза.

По залу прошел рокот, где-то раздались аплодисменты.

— Нашу группу любезно пригласили на антивоенный митинг, а до него мы успели посмотреть величественные памятники, воздвигнутые в память о павших и замученных во второй мировой войне на Мон-Валерьен у Нотр-Дам де Пари... Франция чтит и помнит своих сыновей и дочерей. Пожилые французы, участники Сопротивления, бойцы маки, узники концлагерей помнят и никогда не забудут, что такое фашизм. Может быть, уважаемые профессора не помнят, что говорил Гитлер о нас; я напомню: «Народ, который считает Льва Толстого великим писателем, не может претендовать на самостоятельное существование». А вот изречение Гаусгофера они должны знать: «Зараженная негритянской кровью Франция является чумным очагом в Европе».

Зал замер. Он ждал. В мертвой тишине слышался слабый рокот кинокамеры.

— Еще за два года до второй мировой войны Гитлер заявил: «Немецкий народ имеет право завоевать Европу и превратить ее в Германскую империю немецкого народа». Но чтобы выполнить программу биологического истребления народов, нужен был размах. И Европа покрылась сетью тюрем, гетто, лагерей принудительного труда и концентрационных, «фабрик уничтожения». Их общее число в Европе, включая саму Германию, составляло свыше четырнадцати тысяч.

Я вгляделся в зал. Он с нетерпением ждал моего слова.

— Освенцим и Бжезинка в Польше. Здесь было заключено более четырех миллионов ни в чем не повинных людей. Погибло более четырех миллионов. Майданек в Польше. Из миллиона пятисот тысяч погибло около миллиона пятисот тысяч. Дахау в Германии. В нем было двести пятьдесят тысяч заключенных, погибло семьдесят тысяч. Флоссенбюрг в Германии. Из ста одиннадцати тысяч четырехсот заключенных погибло семьдесят четыре тысячи. Натцвейлер во Франции. Из пятидесяти тысяч погибло двадцать пять тысяч. Заксенхаузен, Равенсбрюк, Маутхаузен, Берген-Бельзен, Плашув... Общее число людей, погибших в местах заключения, не на фронтах, не на поле боя, а в газовых камерах, от побоев, болезней, голода, под опытами гитлеровских врачей, составляет около одиннадцати миллионов человек. Это война, развязанная фашизмом. Ему нужно было подавить сознание человека, сломить волю. В Освенциме в стоячие камеры размером девяносто на девяносто сантиметров узники вползали, как в собачью конуру, через единственное маленькое отверстие над полом. Четыре человека могли стоять, только прижавшись друг к другу. Без воздуха, часто без еды, кто-то умирал, и живые стояли ночью вплотную с мертвыми. Это — тоже война.

Первый опыт массового убийства был произведен на советских военнопленных. Ядовитым газом «Циклон В» отравили сразу шестьсот человек, фамилии их остались неизвестны. Это — тоже война.

Смерть, поставленная на поток, приносила фашистам доходы. Для уничтожения тысячи пятисот человек требовалось шесть — семь килограммов «Циклона В». За 1941—1944 годы в Освенциме было израсходовано

двадцать тысяч килограммов «Циклона». За продажу газа фирма «Дегеш» выручила тридцать тысяч марок. Одежда, обувь, белье убитых продавались гражданскому населению или в магазинах по низким ценам. Драгоценности — кольца, серьги, меха продавались за границу, на вырученные деньги приобреталось сырье для экономики. Пеплом засыпали болота или удобряли поля лагерных хозяйств, на которых росла самая сочная капуста. Волосы убитых, которые сушились на чердаках, продавались десятками тонн текстильным фирмам по полмарки за килограмм. Это — тоже война.

Сегодня можно слышать о несоизмеримости военных потерь Германии — 7 000000 человек и СССР — 20 000 000 человек. При этом забывают главное — мы воевали против фашистской армии, фашисты истребляли народы. Никто не убивал немецких женщин, стариков и детей. Между тем из 20 000 000 погибших советских людей почти половина — мирные жители, военнопленные. Другая половина — те, кто пал на поле боя, из них миллион сто тысяч сложили голову, освобождая Европу от фашизма. Это — тоже война.

Вспомните слова президента Франции Шарля де Голля: «Освенцим. Какая это печаль... Какой ужас... А несмотря на это — какая надежда для человечества.»

Узников Освенцима освободил 460-й стрелковый полк сотой Львовской дивизии, которой командовал молодой командир Магомед Танкаев, горец из Дагестана.

Зал смотрел на меня.

Я не собирался рассказывать о тысячах наших городов, разрушенных до основания, о деревнях, сожженных вместе с населением, о памятниках старины, произведениях искусств, уничтоженных, осквернных фашизмом, но останки лежащих под намятниками на Пер-Лашез узников концлагерей молча взывают: мы — немые свидетели ужасов войны, поведайте о нас. Я выполняю их просьбу.

Я решительно подошел к микрофону. И обратился к залу.

Митинг продолжался.

— Задача всем ясна? Расходитесь.

Командир роты поднял красные от недосыпания глаза:

— Лейтенант Джамалов, задержись.

Сидевший на лавке у стены незаметный капитан поднял на Симона глаза и отодвинулся от света.

— Лейтенант, в твой взвод направлен капитан Кауров по особо важному делу. Кто он, откуда — ни один боец не должен знать. Ясно?

— Ясно, товарищ старший лейтенант.

— Если ясно, иди. Он тебя догонит.

Симон вышел из блиндажа и медленно пошел по траншее.

— Пинчук, — окликнул он.

Ответа не последовало.

Было темно, как в печной трубе.

По особо важному делу, вернулся к теме разговора Симон. А что особенного происходит во взводе? Не слыхал. Секретная персона. Кто он, откуда — никто не должен знать. Капитан Кауров... Кауров, дай-ка вспомнить... Кауров... Кажется, и в Дербенте был такой Кауров, следователь, к отцу приходил... Он ли? Откуда ему взяться здесь, именно здесь, и мало ли Кауровых по стране...

— А вот и я, — раздался за спиной глухой голос.— Пойдем, что ли?

— Бойца надо бы подождать, за санпакетами отправился.

— Дойдет сам.

— И то верно.

Пошли, но перебирая в памяти события, связанные с тем, дербентским Кауровым, Симон шел задумчиво, забыв ускорить шаг.

— Из каких мест, лейтенант? — раздался за спиной голос.

— Из Дербента. Есть такой город. Не слышали?

— Из истории помню. А так — не довелось бывать. Сам я с Севера. Семья большая?

— Как сказать... Старики, жена, сынишка.

— Это хорошо, что старики есть, я своих давно похоронил. Твой взвод на самом острие, что ли? — резко переменил капитан тему разговора.

— На самом острие.

— До фрицев далеко?

— Рукой подать. Метров сто пятьдесят.

— Близко. Не боишься, что могут получить подкрепление и хлопнуть вас, как клопов?

— В такую ночь? Не решатся. А на рассвете мы их раздавим.

Симон почувствовал на шее горячее, прерывистое дыхание, но тут раздался голос Пинчука:

— Товарищ лейтенант, а вот и я, маленько задержался, пока сосчитал, собрал...

Дыхание отдалилось. Кауров чертыхнулся, зло прохрипел:

— Чертов сын, какого хрена на пятки наступаешь...

— Товарищ лейтенант... Это не лейтенант... Кто вы?

— Здесь я, здесь, Пинчук, — быстро отозвался Симон, желая успокоить солдата. — То товарищ капитан, со мной идет, вернее, за мной следует.

— Так я не знал... Извините, товарищ капитан, ночь вон какая, носа своего не видать, не то что...

— Придержи язык и топай, — прервал его капитан. — Немцы в двух шагах, а ты как в своей деревне голосишь.

Несколько минут шли молча.

— Пришли, — Симон остановился. — Проходите, капитан, в землянку.

— Я тут постою, покурю.

— Курить здесь нельзя. В землянке и покурите.

— Вам сказано, здесь постою. Просто постою.

— Слушаюсь.

Симон вошел в землянку, вслед за ним скатился Пинчук.

— Что за тип? — спросил он шепотом у самого уха.

— Не наше дело. Раздай санпакеты и поставь чайник. Может, чаю захочет капитан, да и раненых надо напоить.

Минут десять спустя Симон вышел из землянки, капитана в траншее не было. Симон осторожно пошел в темноте, тихо окликнул капитана. Ответа не было.

— Пинчук!

— Я здесь.

— Быстро к дозору, но смотри у меня, чтобы ящерица не услышала тебя, спроси, не случилось ли что, да и проверишь, не спит ли он...

Пинчук вернулся скоро, запыхавшийся от быстрого бега.

— Все хорошо. Тихо, спокойно, без происшествий.

Уставившись в непроглядную тьму, Симон на минуту задумался, потом спустился в землянку, подошел к связисту.

— Набери командира роты... Товарищ старший лейтенант. Джамалов у телефона. Гость исчез.

В трубке затрещало, заскрипело, потом старший лейтенант тихим ровным голосом спросил:

— Какой гость?

— Капитан Кауров.

— Как исчез? — донеслось тихо, и вдруг крик оглушил Симона:

— Что ты мелешь, лейтенант, рассекречиваешь доверенное тебе лицо...

— Какие тут секреты, если он исчез...

— Пропал? Растяпа...

— Не пропал, а исчез, на нашем участке не было ни единого выстрела. Ни с нашей, ни с немецкой стороны.

— Лазутчики не могли увести?

— Нет, ребята бдительны, и дозор не спит...

— Не хватало еще, чтобы дозор уснул. Найти, отыскать, лейтенант, слышишь, о-тыс-кать!..

— Где искать, если темно, как в печной трубе.

Трубка заглохла. После минутного треска и пощелкивания донеслось:

— Что мне отвечать штабу полка?

— Я сам отвечу и комбату, и штабу полка, валите на меня...

— Что это ты так осмелел?

— Не в смелости дело, товарищ старший лейтенант, просто, мне кажется, я его знаю. С нелучшей стороны...

— Кажется... знаю! Что ты мелешь...

— Не кричите, товарищ старший лейтенант. Я думаю, что он перебежал к немцам.

Молчание в трубке длилось долго.

— Сам пойдешь в штаб полка. Или погоди. Вместе пойдем.

— Завтра после боя и пойдем.

Симон бросил трубку. Но не успел сделать и шагу, как покрылся испариной:

— Соедини с ротным, быстро. Товарищ старший

лейтенант, Джамалов говорит. Кауров слышал у вас в блиндаже о начале боя?

— Опять Кауров... Ну и что?

— И у меня выспрашивал. И все уточнял, в какой стороне немцы. Нельзя начинать операцию, провалим, и людей погубим зря.

— Ну, это ты хватил через край, — произнес, растягивая слова, старший лейтенант, но чувствовалось, что он задумался. — А если Кауров не перебежал, кому краснеть?

— А если перебежал?

— Свяжусь с комбатом. Жди взбучки.

Время тянулось мучительно долго. Симон нервно ходил по землянке и чертыхался в адрес Каурова. Надо же было явиться именно перед операцией.

Зазвонил телефон. Симон схватил трубку.

— Начинаем часом раньше намеченного.

— Все ясно. Ругали?

— Как ты думаешь? Будут разбираться. После боя вызывают нас вдвоем.

Трубка умолкла. Симон вышел из землянки. Часом раньше намеченного, повторил он про себя. Только успеет забрезжить рассвет.

И он быстро пошел по траншее отдавать новые распоряжения.

53

Керим лежал среди рулонов мануфактуры и ковров, вдыхая запах ситца, шелка, шерсти с пылью, и все думал, думал, не находя ответов на нахлынувшие вопросы.

Неужели этот человек — мой отец, размышлял он, не может быть, откуда ему здесь взяться, здесь, в Париже. Мой отец... и здесь, в Париже... Невероятно. Но ведь рассказывал отец Джамал, не раз рассказывал, как Илдирим сорвал их с родной земли, страхом, угрозами сорвал, и уехали они в Иран. Но как они оказались здесь, в Париже!.. И отец ли... уж очень он не похож на того, которого я знал. А как ему быть тем, которого я знал, когда прошло двадцать пять лет. Двадцать пять лет... Эта шапка, неизменная каракулевая шапка, и это удлиненное лицо, и взгляд. Но у отца не было ни усов, ни бородки. Ну и что ж, он мог их отра-

стить здесь. Как он смотрел на меня! Все пытался, чтоб я заговорил с ним... Но зачем, зачем обнадеживать старика, мне так или иначе уходить... Что я говорю, я рассуждаю, словно он мой отец, будто я уже установил наше родство. А ведь я установлю, если взгляну на мать, на его жену. Есть ли она у него, жива ли... Нет, нет, не надо, если она окажется матерью моей, не перенесет моего ухода... Мне надо уйти, необходимо уйти. Они рискуют жизнью, скрывая меня здесь, кто бы ни были: родные мне, чужие...

Мысли путались в голове, мучали, терзали его.

Как хотелось ему уйти отсюда, исчезнуть, только бы не быть здесь, не видеть еще раз лица старика.

И вдруг страшное наваждение, рожденное хаосом вопросов, сползло с него, как тяжелая, пропитанная ледяною речною водою шинель, и стало удивительно покойно, как бывало после артобстрела, когда осядет земля и впереди покажутся цели.

Он успокоился от внезапно пришедшей мысли: «Завтра спрошу у Жаклин... Она должна знать...»

Он вытянул ноги, закрыл глаза.

Как долог был его путь сюда, на бульвар Османа, в подвал, набитый мануфактурой, коврами, антиквариатом. А начался он с того броска, когда заклинило противотанковое ружье.

Керим не слышал рева танка, который стремительно мчался в его сторону, потому что вокруг стоял один сплошной рев, гул, свист. Он видел только танк, неумолимо, беспрепятственно приближавшийся к нему, наведя на него ствол. Он отбросил ружье, схватил две связки гранат и пополз в сторону, вправо, уходя из-под лобового удара. Его засыпало землей, над ним свистели пули, ему преграждали путь тела товарищей, глаза застилали песок, пороховой дым, пот, а он полз фанатично и упорно вперед. Инстинктивно подняв голову, он увидел танк в десяти метрах. Не упустить бы, не упустить, мелькнуло в голове и, приподнявшись, вобрав голову в плечи, он швырнул одну связку, потом перехватив правой рукой из левой — другую, увидел вспышки огня, потом что-то тяжелое со свистом ухнуло в землю, ослепив его, и он рухнул.

Он пришел в себя от треска автоматных очередей, тряхнул головой, протер глаза, тяжело поднял тело и сел. Немецкие солдаты пристреливали раненых. Как же так, ужаснулся он, мы же их били, вон сколько танков

искорежено, уперлись стволами в землю, как же так... Потом отрешенно, безучастно, как на что-то пустое, взглянул на подошедшего немецкого автоматчика и опустил голову.

Потом в колонне военнопленных он брел по пыльной дороге, тишина то и дело прерывалась короткими автоматными очередями. Он знал: убивали обессилевших.

Вечером остановились на покинутом хуторе. Он опустился на копну соломы, запахнул шинель, закрыл глаза. Проснулся внезапно, от острого ощущения голода, глянул в небо — оно было высвечено яркими звездами, потом перевернулся и лег на живот, вдыхая запах соломы. Запустив руки в копну, он принялся машинально перебирать сухие шершавые стебли, нащупал колосок, осторожно вытащил его, очистил зерна, выложил на ладонь, подул на них и высыпал в рот.

Кто-то рядом застонал. Во сне? Или от боли? Керим придвинулся к соседу, вгляделся в лицо. Лейтенант? Да, это был командир взвода. Керим окликнул его шепотом:

— Товарищ лейтенант.

Тот приподнялся, сел, озираясь.

— Это я вас разбудил, товарищ лейтенант... Османов.

— Я тебя давно приметил, — сказал лейтенант хрипло. — Будем держаться вместе. Своих отыскивай в колонне.

Керим снова запустил руки в копну, собрал пригоршню ржи и протянул лейтенанту:

— Ешьте.

— Что это?

Он подставил ладонь, через минуту живо спросил:

— Еще есть?

— Сейчас добудем.

— А знаешь... — лейтенант задумался, — если сумеешь, собери побольше, только осторожно, чтобы фрицы не заметили.

Утром колонна двинулась в путь. Опять была длинная степная дорога и короткие выстрелы... В полдень к ним присоединилась другая колонна. Вечером они, уже изможденные, вышли к железнодорожной станции, забитой военнопленными.

Ночь Керим и лейтенант провели сидя в полудреме, под звездным небом, прислонившись спиной к деревян-

ной стене здания железнодорожного вокзала. Было около полуночи, когда Керим тронул лейтенанта осторожно за руку и протянул пригоршню ржи.

— Приберег бы, — сказал тот, пересыпая себе в ладонь. — Кто знает, куда нас погонят...

— На завтра силы нужны, — заметил Керим.

И оба принялись медленно жевать.

Утром всех выстроили. Крепко державшихся на ногах согнали в один конец станции, слабых — в другой. Керим и лейтенант не отрывались друг от друга, если кто-то из солдат и пытался ненароком, случайно пройти между ними, они плотно прижимались плечами.

Наконец их загнали в вагон, закрыли двери, задвинули засовы, и поезд тронулся.

В вагоне, в котором оказались Керим и лейтенант, было грязно, странный, тяжелый запах вызывал тошноту. То был трупный запах. Лейтенант велел солдатам отойти от окошка, чтоб проветрился вагон, и прошел в угол, к Кериму.

— Что будем делать, лейтенант? — раздался вдруг довольно сильный голос.

Лейтенант молчал.

— Я к тебе обращаюсь, лейтенант, что будем делать? Да, да, к тебе...

— Не знаю. Я здесь не командир, — отрезал лейтенант.

— Как же так? Ты здесь старший по званию, ты и командуй. Так что будем делать?

— А что ты хочешь делать? Стены грызть? Приедем — подумаем.

— Приедем!.. — зло съехидничал тот же голос. — Куда приедем? В концлагерь? Или фрицам заводы строить?

— Вот там и подумаем, — повторил лейтенант и тихо, очень тихо, чтобы расслышал только Керим, проговорил: — Осторожность нужна: чтобы спасти свою шкуру, могут выдать.

Керим удивленно взглянул на него.

— Я не говорю, что именно он. Может, он и на самом деле парень смелый, рисковый, а в вагоне во-о-он сколько, кто-то слабый духом не выдержит, продаст и всем в награду за смелость — короткая автоматная очередь...

Некоторое время солдаты молчали, но естественное желание человеческого общения заставило их заговорить, они стали называть свою часть, свой город или деревню, откуда были призваны в армию, и пошли разговоры, шутки, прибаутки, а кто-то вполголоса запел, и многие, слушая его, притихли. А поезд громыхал по рельсам без остановок, и в окошко, оплетенное колючей проволокой, врывался ранний ноябрьский ветер, напоенный степными запахами. Поздно вечером поезд остановился на какой-то станции и простоял около двух часов и многим уже казалось, что эта станция для них — последняя, но завыл паровоз, вагоны дрогнули, и снова монотонный перестук колес на стыках рельсов отвлекал их от тяжелых мыслей и дум.

Ночью Керим и лейтенант пожевали по пригоршне ржи и уснули.

На следующий день, когда поезд остановился, загремели засовы, с грохотом открылась дверь и двое дюжих немецких солдат подняли на руках в вагон большой бидон, бросили дюжину ложек и, изображая на лице довольную улыбку, крикнули:

— Быстро.

Солдаты набросились было на бидон, но лейтенант властным окриком остановил их:

— Стыдно, вы же не животные... Дайте ложки слабым, остальные подождут. И не наедайтесь, не то изойдете поносом. Кто-то должен следить за порядком... Кто?

— Я, лейтенант... — отозвался голос, призывавший к действиям.

К бидону вышел крепко сбитый среднего роста парень. Ему можно было бы дать лет двадцать—двадцать два, если бы не седые пряди волос и не обгорелые подбородок и левая щека.

— Ну-ка, ребята, становитесь в круг, берите ложки и ешьте, пока я не остановлю. Быстрее, вон нас сколько еще, не нравится, а вы думали вам куриный бульон притащили фрицы или борщ московский?.. Ешьте, желудок погрейте...

Керим, лейтенант и обгорелый ели последними.

— Пойло, — коротко сказал обгорелый, — а есть надо.

В теплой воде, пропахшей гнилью, плавала квашеная капуста и брюква.

— Чтобы с голоду не подохли, — словно поясняя себе, проворчал обгорелый.

Немцы стащили бидон, забрали ложки, закрыли дверь, и вскоре состав тронулся.

На следующий день на железнодорожном узле, оказавшемся Оршей, один из военнопленных, глядевший в окошко, услышал из уст пробегавшего немецкого офицера слова: «Равенсбрюк», «Дахау». Значит, туда, решили все, в Равенсбрюк или Дахау. Далековато. И опять покатил состав, и в окошко врывались чужие ветры, чужие запахи.

Под утро Керим проснулся от тишины. Неестественной тишины. Он подошел к окошку. Брезжил рассвет. Снаружи переговаривались немцы, часто произнося «Маутхаузен». Тихо подошел лейтенант, прислушался, чуть слышно пробурчал:

— Теперь Маутхаузен. Так пол-Европы проедем, пока не сдохнем с голоду.

Керим протянул ему горстку ржи.

— Я не ради этого говорил, — произнес лейтенант, но зерна отправил в рот.

Принялся жевать и Керим.

— Так и будем сидеть, пока нас где-нибудь не ухлопают? — спросил он.

— Я вот и думаю, что делать, как выбраться отсюда.

Наконец состав вздрогнул, опять монотонно застучали колеса. Подошел и присел обгорелый:

— Лейтенант, пора, иначе подохнем.

— Танкист? — спросил лейтенант.

— Сам видишь.

— Вижу. И думаю. Что ты предлагаешь?

— И сам не знаю, ни ножа, ни финки...

— Будем думать, — сказал лейтенант.

— Пока не подохнем?

— Время есть, будем думать.

В конце дня на большой стоянке снова принесли бидон похлебки. Обгорелый, наблюдая за порядком, бросил хитроватый взгляд на охранников, кивнул в сторону путей:

— Маутхаузен?

Один из них растянул в улыбке рот до ушей.

— Я, я, Натцвейлер.

Когда немцы закрыли дверь, обгорелый подсел к лейтенанту.

— Слышал, куда нас гонят. В какой-то Натцвейлер.

— Мне это ни о чем не говорит. Только чувствую я, далековато едем.

Они не знали, да и откуда им было знать, что этот концлагерь находился во Франции.

— Ну, ты надумал что-нибудь? — спросил лейтенант.

— Ни черта не идет в голову... Может... в следующий обед выскочим из вагона и кто куда, — оживился обгорелый.

— И перебьют, как цыплят, — подытожил лейтенант. — Вот что сделаем... Ночью, если поезд остановится, устроим драку, драку среди своих, шумную возню. Наши фрицы подойдут обязательно. Как только откроется дверь... кто у нас здоровые, ты, подбери еще одного — ударами кулаков оглушаете фрицев, другие быстро затаскивают их в вагон и закрывают дверь. Нам должны помочь две случайности, чтобы остановился поезд, и чтобы к вагону кроме наших двоих фрицев никто другой не подходил.

— Голова, — протянул обгорелый. — А дальше?

— А что дальше — потом скажу.

С вечера ни один не сомкнул глаз. Все настороженно ждали. В полночь, когда остановился поезд, ребята начали потасовку. Звякнули засовы, отодвинулась дверь, и в проеме показалась голова фрица, обгорелый обрушил на нее свой тяжелый кулак, две пары крепких рук втащили его в вагон, а несколько пар быстро закрыли дверь. Некоторое время было тихо, потом второй фриц стал окликать напарника, но тут загудел паровоз и состав тронулся с места. Обгорелый протянул лейтенанту автомат немца:

— Держи, командир.

— Что еще?

— Несколько плиток шоколада, консервы, сало, галетное печенье... А самого ребята нечаянно придушили. Сейчас и не выяснишь, кто.

— Теперь слушайте меня, — повысил голос лейтенант. — Шоколад, печенье, консервы и сало самым слабым. Как только поезд замедлит ход, на подъеме или крутом повороте, только не у станции, выпрыгиваем, по одному, без крика и шума, уходим тоже по одному, места незнакомые, чужие. Чем нас встретит завтрашний день, не знаю, а уходить надо. Может, посчастливится пристать к вооруженным отрядам. Тоже неплохо. Пос-

ледним уйду я, — лейтенант взглянул на Керима. — Вместе уйдем.

Все притихли, ждали момента. Спустя час паровоз тяжело запыхтел: состав поднимался в гору.

Лейтенант подошел к дверям:

— Откройте, тихо, довольно. Пошли, ребята. По одному. Сразу с земли не подниматься, дайте составу уйти.

Было ли кому больно, удачно ли приземлялись — ни вскрика, ни вздоха.

Вагон опустел, когда Керим подошел к двери.

— Пошел, я за тобой, — сказал лейтенант.

Керим сильно и далеко отпрыгнул, сложился в падении и упал, шлепнувшись в какую-то жижу. Чуть не захлебнувшись водой и не задохнувшись от вони, он привстал, но ноги стали уходить вниз, утопать, их словно что-то засасывало. Вода была уже по пояс, а он все продолжал проваливаться. Тону, отрешенно, совершенно без страха подумал он. Надо же такому случиться: убежать из плена и утонуть в болоте. А ночь какая темная.

Он стал шарить глазами, вгляделся, приметил справа над головой разлапистые тени. Наконец, изловчившись, сделал попытку подпрыгнуть, резко выбросил руку. И ухватился за сук. Потом он попытался ухватиться и левой рукой. Это ему удалось. Наконец, вытащив ноги из трясины, он глубоко задышал и пошел, пригнувшись, к железнодорожному полотну.

Когда Керим опустился, обессилевший, на сухую землю, состав уже ушел. Вокруг была ночь, тишину нарушали неясные звуки, напоминавшие чавканье. Газы, подумал Керим, болотные газы... Еще немного, и я бы задохнулся...

И тут он вспомнил о лейтенанте. Где он, куда подевался? Мы должны были встретиться, он прыгнул, должен был прыгнуть вслед за мной... А что, если он искал меня, когда я торчал в трясине. Может случиться и так... И так? А иначе как? Упал в болото, захлебнулся или засосало?

По спине Керима впервые за долгие дни плена пробежали мурашки. Он чутко прислушался — ни шороха, ни движения, потом встал и пошел вдоль железнодорожного полотна вперед, вслед ушедшему поезду, по левую сторону было болото, о правой он почему-то и не вспомнил.

Уже на рассвете Керим машинально перешел железнодорожное полотно и пошел от него прочь, взбираясь в гору, покрытую густым лесом. Его лихорадило и тошнило. Болотный газ забился в горле, сдерживал дыхание. Он шел покачиваясь, как во сне, ноги еле держали его. Наконец его вырвало, и так сильно, что он дико закричал от боли, потом еще и еще, и наконец он упал. И потерял сознание.

Придя в себя, Керим не мог понять, где находится: взгляд его уперся в бревенчатую стену. Чуть приподнявшись и оглядевшись, он сообразил, что лежит в небольшой хижине, на подстилке из соломы. Тошнота не проходила. Его опять вырвало, но в голодном желудке было пусто, и только судорожная боль прошивала живот. Изможденный тошнотой и болью, он забылся сном.

Керим проснулся от неясного голоса. Перед ним сидела пожилая женщина с кринкой молока. Она что-то сказала ему, протянув кринку, но он не понял языка, потом заставил себя прислушаться и догадался, что она уже говорит на другом языке. А на каком мне с ней говорить, подумал Керим, принимая кринку. Он отпил молоко, сделал еще глоток, почувствовал облегчение, спросил коротко:

— Дойче?

— Найн, — быстро ответила она, — Аустрия.

Куда меня занесло, подумал Керим, отпивая из кринки.

Женщина снова принялась что-то выспрашивать у него, указывая в грудь пальцем.

— Русский, — как-то машинально сказал Керим.

— Русиши?! — она приложила руки к щекам и покачала головой.

Наверное, сокрушается, как далеко меня занесло, подумал про себя Керим и впервые за все эти дни улыбнулся.

Женщина опять что-то ему говорила, а он ее не понимал, наконец она открыла дверь и, показав на лес, пригрозила пальцем:

— Найн.

И он понял, что выходить нельзя.

Женщина несколько дней поила его молоком и кормила сырыми яйцами. На пятый день она принесла ему вареную баранину, овечьего сыра и бутылку вина, села в угол и долго глядела, как он ел. Потом стала говорить, показывая на живот и горло. Спрашивает, не бо-

лит ли, сообразил Керим и благодарно проговорил:

— Найн.

— Гут. — Женщина опять затараторила по-австрийски, затем отчаявшись, что он не понимает, махнула рукой и пошла из хижины.

Через два дня рано утром она привела двух молодых крепких парней, которые увели Керима с собой. Прощаясь с женщиной, Керим низко поклонился и поцеловал ей руки. До самого вечера карабкались они по зеленым кручам, пока не оказались в пещере, где была база небольшого отряда антифашистов. Отсюда советских и других военнопленных переправляли на юг Франции, к маки. Здесь Керим познакомился с летчиком Петровичевым и танкистом Татарадзе, которые бежали из концлагеря. Через неделю Петровичева и Татарадзе отправили к маки, а чуть позже и его...

...Люк открылся, в подвал спустилась Жаклин, вслед за ней двое парней.

— Как спалось? — спросила Жаклин, помогая себе жестикуляцией, чтобы Керим понял.

— Гут... — воскликнул Керим, подняв большой палец. — Хорошо.

— Ка-ра-шо, — повторила Жаклин, и все засмеялись.

Потом парни завернули его в мануфактуру, скатали в рулон, вынесли из магазина и положили в закрытый кузов машины. Было раннее утро. Осман глядел из-за портьеры, как парни грузят в машину товары, потом, не оборачиваясь к Назыму, сказал:

— Рискуете...

— Нам бы из Парижа выехать, а там уже не страшно.

— Ну что ж, сын, отправляйся, да смотри, чтоб компаньоны наши не обманули тебя, бери то, что имеет спрос в Париже. Ну ты в этом разбираешься не хуже меня. — Он замолчал, потом тихо произнес: — Берегите молчуна. Довезите, куда надо.

Он снова замолчал. И вдруг протяжный долгий вздох вырвался из его груди.

54

Тот день я не забуду никогда. Не должен его забыть и ты.

Было пасмурно и серо, когда наша группа журна-

листов подошла к небольшому старому дому, который стоял на узкой улочке Мари-Роз. На фасаде была установлена мемориальная доска с барельефом В. И. Ленина. По узкой лестнице мы поднялись в квартиру-музей. Небольшие, словно игрушечные, комнатки сверкали чистотой. На стеллажах и столах лежали подарки и сувениры от советских туристов.

Ты был с нами, Осман. Мне было как-то легко, радостно от чувства, что ты был с нами.

Нас тепло встретил хранитель квартиры-музея. Он с удовольствием повел нас по квартире, рассказывая о годах жизни В. И. Ленина в Париже, о большой любви к нему пролетариата Франции. Мы узнали, что мемориальная доска на фасаде дома установлена была еще в 1945 году. Музей открыт в 1967 году, а уже в 1972 году компартия Франции приобрела всю квартиру и сделала ее своей собственностью. Состояла она из рабочего кабинета Владимира Ильича, спальни, которую он занимал вместе с Надеждой Константиновной, комнаты матери Крупской и кухни. Кухня была любимым местом сбора их близких, знакомых и друзей: Орджоникидзе, Камо, Бонч-Бруевича и других.

Алексей Максимович Горький называл скромную квартиру из трех комнат «Студенческой». Одна из них— кабинет — выходила окнами на улицу, другая, которую занимала мать Надежды Константиновны — во двор. Средняя комната — без окон, отделенная от кабинета стеклянной дверью, служила спальней. С большим усердием Андре Лежандр постарался воссоздать обстановку, в которой жили Ульяновы.

В декабре 1972 года квартира, которую занимал в начале века В. И. Ленин, была объединена с соседней, где компартия Франции устроила экспозицию, посвященную жизни, революционной деятельности Ленина и его произведениям. Пребывание Владимира Ильича во Франции разделено на исторические периоды, наиболее значителен период пребывания в Париже, откуда он руководил революционным движением в России.

В. И. Ленин в Париж приехал из Женевы в декабре 1908 года. Сначала он остановился у своей сестры Марии, которая жила в доме №27 на бульваре Сен-Марсель, затем с января 1909 года на улице Бонье в доме №24. В июле переехал на улицу Мари-Роз, дом 4, в четырнадцатом округе Парижа. В этой квартире он прожил три года, вплоть до отъезда в Польшу.

Мы с огромным вниманием слушали хранителя дома-музея, с сердечной теплотой рассказывавшего о годах, проведенных Владимиром Ильичем в Париже, об организованной им в Лонжюмо школе Российской социал-демократической рабочей партии, о газетах «Пролетарий», «Социал-демократ», брошюрах и листовках, которые печатались в доме №110 на авеню д'Орлеан (сейчас авеню генерала Леклерка) и нелегально ввозились в Россию; о вкладе Ленина в развитие рабочего движения во Франции.

Потом мы осматривали подарки музею и сувениры, перелистывали книгу отзывов... Она была заполнена благодарственными записями советских туристов и членов различных делегаций из Москвы и Ленинграда, Киева и Баку, Белоруссии, Средней Азии, Крыма, Поволжья. Они сердечно благодарили французских коммунистов за бережное сохранение квартиры Владимира Ильича, выражали теплые чувства дружбы французскому пролетариату, компартии.

Я попросил хранителя музея рассказать о том, как он сумел сохранить эту квартиру для истории. Он мягко улыбнулся и рассказал, что создателем музея был коммунист Андре Лежандр.

Внук и сын столяра, он родился в деревне под Верденом. Рано потеряв родителей, в 1921 году приехал в Париж, вступил в профсоюз, а в 1928 стал членом французской коммунистической партии. Занимался комитетами помощи безработным, распространяя «Юманите» — газету компартии.

За политическую деятельность Андре Лежандра увольняли с работы, заносили даже в черный список, затем он с женой вынужден был перейти на нелегальное положение. Все годы войны супруги Лежандр активно участвовали в движении Сопротивления, а когда в августе сорок четвертого в Париже вспыхнуло восстание, он вместе с другими коммунистами сражался на его улицах.

После войны его направили работать библиотекарем в ЦК партии, потом он перешел в институт имени Мориса Тореза. В 1955 году партия поручила ему создать музей в квартире В. И. Ленина. Эта высочайшая миссия стала главным делом его жизни.

Когда мы выходили из подъезда дома, выглянуло солнце, и золотые снопы света упали на фасад здания,

на мемориальную доску с барельефом Владимира Ильича Ленина.

55

Проваливаясь в глубокий снег, Симон бежал со своим взводом вперед. С левого фланга, с правого и дальше, дальше бежали солдаты.

Оглушительное, раскатистое «ура», в котором слышались и пронзительная боль, и безмерная радость, и неистребимая воля к победе, гремело над морозной степью. Крик, вырывавшийся из тысяч глоток, скатывался в валы и устремлялся вперед, обрушиваясь на стылую землю, унося со страшной силой все дальше и дальше к горизонту. И не было в этой массе людей человека, который замедлил бы шаг, застегнул шинель, почувствовал боль под ложечкой... Встречный вихрь был бы бессилен остановить их.

— Ура-а... а-а-а.. а-а-а...

Степь дрожала от неистовой силы крика, плотные тяжелые тучи в испуге отрывались от неба, оставляя ему серо-белые лохмотья, и в зияющие прорехи устремились золотые снопы солнечного света, холодного и ослепительного.

— А-а-а... а-а-а...

Валы, рождаемые в охрипших глотках, наглотавшихся за долгие месяцы войны и порохового дыма, и речной воды на переправах, и упреков женщин, оставшихся с малыми детьми и стариками там, на оккупированной родной земле, грозно, яростно и неумолимо катили вперед... вперед...

— А-а-а... а-а-а...

Симон бежал, проваливаясь в глубокий снег. Иногда сапоги увязали по колено и приходилось чуть ли не ложиться, чтобы вытащить одну и другую ноги, сердце гулко стучало в груди, тело разогрелось, и пот выступал на лбу, казалось, нет, не должно быть больше сил, чтобы продолжить этот неистовый бег, ноги отваливаются от тела, и в грудь больно врезаются десятки ножей, а Симон бежал, как тысячи ему подобных, и не было силы, которая остановила бы их.

Впереди, на горизонте, наконец показались маленькие темные точки, они увеличивались с каждой минутой, становились все более различимы, четки, и оттуда,

уже от них покатился неукротимый шквал победного крика:

— А-а-а... а-а-а..

И вот он схлестнулся и взметнулся к небу, окатив рвущихся, устремленных друг к другу людей, тысячи людей, которые добежали друг до друга и бросились в объятья.

Кольцо вокруг армии Паулюса замкнулось.

Симон обнял солдата, от которого пахло крепким потом и махоркой, прижался губами к его соленым губам, выпустил, не успел сделать несколько шагов, как увидел бежавшего навстречу с распростертыми руками бойца: так безгранична и беспредельна была радость уставших от войны людей. Они крепко обнялись: не было уже сил разнять руки и бежать дальше. Наконец они оторвались друг от друга, подняли глаза и обомлели:

— Гаврил, брат?!.

— Симон?..

И не спрашивая ни о чем, не веря себе и боясь потерять друг друга, снова крепко обнялись.

А вокруг ликовали солдаты и разряжали автоматы в искрившееся небо, будто не было разрывов снарядов, не умирали товарищи на кровавом снегу.

56

Завтракали молча. Осман был задумчив.

На рассвете его дом покинули несколько мужчин, увела их Жаклин.

Осман хорошо запомнил их лица, потому что теперь он внимательно разглядывал каждого, искал только ему знакомые выражения и черты. Один из его последних постояльцев оказался русским, он не назвал ни имени своего, ни фамилии, ни города, просто угрюмо произнес: русский, как будто это слово объясняло все за себя. Но другой, черноглазый, с волнистыми волосами, оказался разговорчивым.

— Из Тушетии я, — удовлетворил он любопытство Османа. — Вы не знаете Тушетии, откуда вам ее знать... Если на земле кроме ада существует еще рай, это моя Тушетия...

И он принялся тихо петь протяжную грузинскую песню.

Слушая его, Осман вспоминал горы, исхоженные дороги и тропы, молчаливые леса, ютившие хаспушев, родники Кайтага и водопады Табасарана, и мягкое нежное тепло тихо, незаметно обволокло его. Османа вернула к действительности знакомая мелодия, до боли знакомая. Он закрыл глаза, чтобы не выдать своего состояния, и тихо спросил:

— Что ты поешь и о чем поешь?

Мелодия повисла в воздухе, исчезла.

— Это азербайджанская песня, — сказал грузин. — Ее поют все на Кавказе. Потому что это красивая и умная песня. И слова у нее душевные такие: «Улицы я полил водой, чтобы не было пыли, когда дорогая придет ко мне. Самовар наполнил водой, и в блюдечко наколол сахар. Душа моя устала от ожидания, глаза мои утомились глядеть на дорогу, где же ты, сердце мое...»

Глаза Османа увлажнились, он отвернулся...

... Завтрак подходил к концу, когда Осман бросил взгляд на Назыма:

— Тебе нравится Жаклин?

Назым опустил голову и уставился глазами в тарелку.

— Что ты зарделся, как девица? Это она должна краснеть, ты — мужчина... Жаклин хорошая девушка, и красивая, и смелая. Дай бог, останемся живы, справим свадьбу.

— Что ты говоришь, Осман, — безропотно и тихо произнесла жена. — Твои ли уста произносят такое!

— Мои уста, жена, мои... Где нам найти в этом бешеном городе свою, и есть ли она? А годы идут, еще свяжется с какой-нибудь потаскухой. Жаклин — девушка серьезная и честная. Ну чем не невестка нам, чем не пара Назыму! Будь я молодым — не упустил бы. Так и поступим, жена, останемся живы, справим свадьбу, не даст нам твой Всевышний здоровья — сами поженятся.

— Сеттерхан нам сможет помочь, — робко подсказала жена. — Он не откажется подыскать невестку.

Осман задумался, потом проговорил:

— Помочь-то поможет, да кто знает, что это за девица будет. Не дай бог, достанется такая, что и меня, и Назыма по миру пустит. Нет, жена. Вспомни, что наши отцы и матери говорили: бери в невестки дочку своего соседа. Мы такую нашли...

После завтрака Назым спустился открывать мага-

зин, Осман прошел в свою комнату. Здесь, между плюшевым диваном терракотового цвета и темным секретером ручной работы, на высоком столике с изогнутыми ножками стоял приемник. Осман сел в высокое деревянное резное кресло с полумягким сиденьем, включил приемник. Эфир был засорен шумами. Убавив звук, Осман принялся осторожно, даже с какой-то опаской крутить регулятор. Тоненькая палочка на волновой шкале ползла очень медленно. Наконец Осман уловил то, что искал. Он откинулся на спинку кресла и долго и терпеливо просидел в ожидании.

Послышались неясные музыкальные ноты, позывные радиостанций, голоса, перекрывающие друг друга, и вдруг спокойный, уверенный голос, заглушая все остальные, четко выделяя каждое слово, произнес:

— От Советского информбюро... Сегодня войска...

Свист и шум несколькими накатами заглушили голос, утопили в пучине эфира, но он снова выплыл из глубины.

— Под Сталинградом окружили трехсоттридцатитысячную армию фельдмаршала фон Паулюса...

И снова эфир ответил треском и свистом, но голос упорно выплывал из мрака, хаоса звуков, небытия:

— Враг капитулировал.

Внезапно все другие звуки, голоса, шорохи, наводняющие эфир, замерли. Замерли перед потрясающей новостью, которую ждал мир: Сталинград выстоял, Сталинград победил.

Волна неуемной радости, беспредельного счастья, ликованья зародилась в груди Османа, подкатила к горлу, вызвала слезы на глазах и неподдельную, ничем не объяснимую улыбку на старческом лице.

— Слава вам, люди, и низкий поклон, — прошептал он еле слышно.

Осман свесил голову на грудь, закрыл глаза. И умер. Вечером ему исполнилось бы семьдесят три года.

Твердый и уверенный голос продолжал возвещать миру о победе Советской Армии под Сталинградом.

57

Я вспоминаю Версальский дворец.

Был изумительный солнечный день. Мы ехали в Версаль, городок под Парижем. Ты неотступно следовал за нами на своей машине. Мы долго знакомились с мемориалом на Мон-Валерьен, воздвигнутым в память о четырех с половиной тысячах бойцов французского Сопротивления, расстрелянных гитлеровцами. Он был поистине грандиозен, впечатляющ и прекрасен. Огромное поле с высеченными именами на гранитных плитах и пантеон с опущенными национальными флагами над гробами участников Сопротивления произвели неизгладимое впечатление. Осматривая мемориал, я вспомнил другой памятник, поставленный благородной Францией своим сынам и дочерям, погибшим во второй мировой войне. Это была забетонированная, выложенная плитами яма, воссоздававшая земляную яму, в которой расстреливали людей: от нее в глубь земли уходил тоннель, обе стенки тоннеля были расцвечены огоньками. Их было ровно столько, сколько французов уничтожили гитлеровские фашисты в концлагерях. Двести тысяч огоньков!

Потом был Версаль, уютный городок с аккуратными длинными тенистыми улицами, небольшими живописными домами, дорогами, мощенными гранитом. Удивительное впечатление произвели широко и правильно раскинувшийся дворец, охваченный литой чугунной оградой, и огромная площадь перед ним, запруженная многотысячной толпой, сотнями торговцев, автобусами и легковыми машинами различных марок. Люди из десятков и десятков стран приезжали сюда, чтобы насладиться искусством, культурой, архитектурой Франции, отдать дань уважения ее сынам, обогатившим мировую культуру творениями своих рук. Версальский дворец не оставлял никого равнодушным, да и как может оставаться равнодушным человек к прекрасному, возвышенному, если у него есть душа, если его глаза видят и способны отличать красоту от пакости.

И как я был потрясен, когда спустя два месяца, дома, развернув газету, прочитал сообщение о том, что неизвестными людьми совершено гнусное злодеяние: в Версале произошел взрыв, разрушивший несколько великолепных залов с бесценными для народа и истории экспонатами.

Люди без души и сердца, Осман, параноики и тритоны, решились поднять руку на историю своей страны. А если завтра они подложат бомбу в пантеон на Мон-Валерьен и взорвут память о движении Сопротивления? А если послезавтра поднимут в воздух памятник и вме-

сте с ним память о сынах и дочерях Франции, погибших во второй мировой войне? Как это понимать? Страна свободной демократии... Я помню твои слова. Ну что общего с демократией имеют действия фашиствующих молодчиков, уничтожающих культурные ценности своего народа, его память.

Я долго не мог прийти в себя, прочитав об этом кощунственном акте. Я видел перед своими глазами Версаль, великолепный, искрящийся удивительной архитектурой Версаль, его парк, узоры оград и не мог, нет, не хотел представить над его крышей клубы дыма и огня, зияющие пустотой глазницы окон, разрушенные стены...

Вандализм исходит от фашизма, запомни, Осман. Вандализм — политика фашизма. Он набирает силу и приходит к власти, когда засыпает разум.

Уснувший разум рождает чудовище.

Я хочу, чтоб ты был с теми, кто будит разум.

58

Вот и государственная граница. До нее оставались считанные метры. Десять, шесть, четыре... — считал Симон.

Что-то тяжелое ухнуло рядом. Он упал.

Когда Симон открыл глаза, мимо него вперед бежали солдаты, но не было их яростного «ура-а-а», не было выстрелов автоматов, воя снарядов, оглушительных взрывов. Была удручающая тишина.

Что со мной, подумал Симон, и почему бой идет без стрельбы? Он попытался подняться, но свинцовая тяжесть в теле не дала ему оторваться от земли. Он заставил себя повернуться на бок, подтянулся на локте, поднял голову. Слева, справа, впереди лежали солдаты, кто-то пытался встать, кто-то тяжело поднимался и шел вперед вслед за бежавшими.

К нему подошла молоденькая медсестра, что-то спрашивая, но он ничего не слышал и ничего не мог ей ответить. Наверное, меня контузило, подумал он, провел ладонью по ушам, потом поднес ее к глазам: крови не было. Уши целы, обрадованно подумал он, точно, контузило.

По губам медсестры Симон видел, что она много и быстро говорит, только он не мог, не умел читать по движению губ. Наконец медсестра нагнулась, обхватила его обеими руками подмышки и попыталась поднять, он отстранил ее, решив сам встать, оперся на одно колено, но острая боль пронзила тело и повалила его на землю. Медсестра нагнулась снова, и тогда Симон оперся на другое колено, оно оказалось здоровым. Он стоял на колене и никак не мог подыскать опору, чтобы подтянуть раненую ногу, но тут медсестра подставила плечо. Симон оперся на него, поднялся, тяжело вздохнул и тут только почувствовал, как по хребту стекает ручейками пот, и волосы под шапкой намокли, и лоб покрылся испариной. Он виновато улыбнулся медсестре, а та, осторожно обняв его, повела, что-то без умолку говоря и изредка заглядывая в глаза, и взгляд у нее был ласковый, успокаивающий.

Они шли медленно, очень медленно, обходя лежавших солдат.

Где-то недалеко шлепнулась мина. За ней вторая, уже ближе. Симон почувствовал, как что-то ускользает из-под его руки и он теряет опору. Он не мог поначалу сообразить, куда девалась медсестра, и, балансируя руками, чтобы не грохнуться на землю, присел на здоровое колено, успев упереть в землю кулаки. Потом оглядел и оторопел.

Медсестра лежала навзничь.

Такая молоденькая, ей бы жить и жить, сказал Симон про себя, убило ее или ранило, прислушаться бы к сердечку, да упаду, если нагнусь, причиню ей боль... Как же тебе помочь, родненькая, и раны не видать... Да разве можно таких убивать...

И вдруг заорал во все горло:

— Санитар, санитар, сюда, помоги...

Он услышал голос, сильный, чистый, но не придал значения тому, что слышит свой голос, перед ним лежала молоденькая девушка, выносившая на хрупких плечах с поля боя солдат, успокаивавшая их боль ласковыми словами и взглядом, и снова, но уже требовательно, властно закричал:

— Санитар, сюда, помоги...

А в нескольких шагах была государственная граница.

59

В большом каменном доме, казавшемся холодным и неуютным, Керим остался один. В хлеву еще не вы-

ветрился дух скотины, двор тут и там чернел катышками высохшего бараньего помета, но хозяева ушли.

Уж на очень неудобном месте оказался дом: между двух огней. На этом участке схлестывались интересы отрядов карателей и маки. Высокие каменные стены ограды, да и самого дома были исцарапаны, пробиты, обожжены пулями и гранатами. Потому и оставили его старые Пьер и Мирей, опасаясь за жизнь трех маленьких внуков и невестки. Правда, каратели, охотившиеся за бойцами маки, не причиняли им зла, зная, что сын стариков погиб не в стычке с ними, а во время охоты, сорвавшись с кручи, но и не жалели: после каждого визита они опустошали и без того скудные запасы хозяев, гадили во дворе, а в комнаты после их ухода нельзя было войти: такой тошнотворный дух стоял в них...

Вот и решились хозяева оставить дом и уйти в деревню, пока каратели вконец не обнаглели и не причинили им зла. Уже в сумерках парни из отряда маки пошли провожать их: один, ухватившись за оглобли, тащил тележку, набитую скарбом, другие взвалили на спины мешки, не уместившиеся в тележку, а трое посадили на шеи малышей. Были с ними и Косовский, Петровичев, Татарадзе. Последний посадил маленькую голубоглазую девочку чуть ли не на голову и пел ей грузинскую песню.

— Пойдем, Керим, что ты вздумал оставаться один,— просили его, — ну, болит голова и перестанет... Нельзя здесь оставаться одному...

— Не беспокойтесь за меня, ребята, завтра буду на месте, переночую и приду...

После двух контузий Керима часто беспокоили головные боли в темени и затылке, звон в ушах.

— Не проспи, — крикнул на прощание Татарадзе,— завтра вечером операция... Будем ждать тебя у замка Монтан. — И он, не оборачиваясь, поднял правую руку, зажатую в кулак.

Керим вышел проводить парней за ворота. Они гуськом уходили по тропе вниз и вскоре скрылись за густой стеной деревьев. Вокруг, куда ни кинешь взгляд, горбились горы.

Керим вошел в дом, постоял в темноте у стола, задумался, потом поднялся на чердак, опустился на сено, проверил автомат и, положив рядом, лег навзничь.

Внезапно сильно закружилась голова, казалось, сам Керим кружится в какой-то неестественной пустоте, уши

заложило бешеным звоном... Керим схватился за голову, протяжно застонал от боли и впал в забытье.

Керим открыл глаза неожиданно. Перед ним, точнее над ним стоял немецкий офицер. Он ухмылялся, Керим бросил быстрый взгляд на автомат. Офицер сапогом наступил на него и покачал головой:

— Не балуйся, дом окружен. Я долго гнался за тобой.

Керим не понимал по-немецки и, не сводя глаз с ухмыляющегося лица, совершенно без страха думал о том, как неосторожно и глупо влип. Как слюнтяй, а не солдат, не сделав ни единого выстрела.

Рот офицера открывался и закрывался, губы его шевелились, он что-то говорил, даже, чувствовалось, говорил грозно, а Керим продолжал лежать: он принялся строить план, как выбраться из дома, отчетливо сознавая, что дом оцеплен, и внизу, в комнате, его поджидает не один десяток фашистов, потом вдруг почувствовал, что ему чего-то не хватает, недостает, что он лишен чего-то тяжелого... И внезапно понял, что голова перестала болеть, и она легка и ясна, как, может быть, у младенца.

— О-ля-ля, — произнес он тихо фразу, выученную от приятелей из маки.

Офицер удивленно взглянул на него, потом произнес:

— Говоришь по-французски?..

— Парле, парле, — сказал Керим, поднимаясь и отряхиваясь от сена, и добавил уже по-русски: — Пойдем, свинья, вниз...

Он не видел, как вытянулось лицо у офицера, как поднялись удивленно его брови. Керим спустился в комнату, окинув взглядом карателей, сел за стол. Они стояли вдоль стен, с автоматами на груди.

Подойдя к столу, офицер сел напротив, вперив в него взгляд. Наконец, растягивая слова, со страшным акцентом произнес:

— Ты... русский?

— А что, не видно? — теперь уже ухмыльнулся Керим.

— Не... видно, — признался офицер. — Ты темный... смуглый, русские... не такие.

— Ты тоже темный, а одет в немецкую форму.

Офицер изобразил на лице довольную улыбку.

— Я! Я — это я!

Сколько высокомерия было в его словах! Керим по-

смотрел ему в лицо, посмотрел пристально, и по каким-то чертам, неуловимым черточкам оно показалось ему знакомым. Не может быть, сказал он себе, где я мог видеть этого или такого человека? На передовой?.. Но там я их бил на расстоянии, не видя лиц... В газетах?.. Не припоминаю... А сколько в нем высокомерия, чванства. Сейчас рассмеюсь, честное слово, рассмеюсь...

— Если бы судьба... как говорят у вас, русских, была бы не индейка, я бы стал купцом, точнее — бизнесменом. Но... нет у меня такого счастья. Ничего, я его ухвачу... этими руками... — Он выбросил на стол руки с тонкими нервными пальцами. — Мое имя с тюркского... переводится знаешь как? Молния. Мол-ни-я... Я, как молния, уничтожу своих врагов...

— Жаль, ты мне не попался ни на восточном фронте, ни здесь, в бою, я бы тебе показал, как уничтожают врагов, — произнес Керим, глядя офицеру в глаза.

Тот ухмыльнулся.

— Я тебя не уничтожу. Тебя уничтожит гестапо.

Офицер поднялся.

— Вставай...

Керим не заставил его повторять, но он знал, был уверен, что в город не придет, и уверенность вселяла в него спокойствие. Он вышел во двор, окинул взглядом пустой дом, последнее свое пристанище, и пошел, засунув руки в карманы куртки. За ним шел офицер, дальше цепочкой вытянулись каратели.

— Ты из каких мест? — донесся до него голос офицера.

— Чего спрашиваешь, ахмах [1], из России, ведь знаешь.

— Ахмах твои родители и ты сам. Откуда знаешь слово?

— Я забыл, что ты турок, — усмехнулся Керим.

— Откуда знаешь, спрашиваю?

— Здесь научился, у маки, — засмеялся Керим.

— Смейся, в городе не до смеха будет, — зло проговорил офицер.

Тропа поднималась вверх, справа от нее зияла пропасть. Внизу извивалась голубая лента Гаронны [2]. Дальше идти не к чему, решил Керим и замедлил шаг.

— Мне надо по нужде, — сказал он громко.

[1] Ахмах — дурак (азербайджанский).

[2] Гаронна — река на юге Франции.

— Пошел, пошел, в городе успеешь...

— Не дойду, лопнет...

Офицер чуть поразмыслил:

— Иди... только быстро.

Керим прошел вперед, расстегнул брюки, нагнулся, незаметно вытащил из-за голенища сапога маленькую гранату. В их отряде многие носили за голенищами на всякий случай такие гранаты, похожие на сосновые шишки. Переложив ее в карман куртки, Керим застегнулся и пошел к офицеру, усмехаясь про себя: дурак ты и есть, не обыскал даже пленного, От большой радости, что поймал бойца маки? Или, может, не кадровый офицер, ума не достает?

— Ну что, «молнии подобный», кончился наш путь,— сказал он, подойдя вплотную к офицеру и глядя ему в глаза.

— Как кончился? Что ты болтаешь?.. — возмутился было тот.

— Кончился наш путь на земле, — прервал его жестко Керим, потом в одно мгновение вытащил из кармана гранату, выдернув чеку, подкинул под ноги офицеру и намертво схватил его за руки.

— Оставь, оставь меня, — лицо его объял ужас. — Помогите! — завопил он.

К нему устремились каратели.

— Аллах... Илдиримин джаны гедир [1], — истошный крик вырвался из горла офицера.

Взрыв потряс воздух, эхо от него раскатилось над горами и полноводной и молчаливой Гаронной.

60

Джамал поднялся на веранду, опустил на пол мешочек с кукурузной мукой, устало сел на тахту и только сейчас обратил внимание на тонкий жалобный плач, доносившийся из комнаты. Что могло стрястись, спросил он себя, во дворе ни души, и этот надрывающий душу голос?..

— Жена, куда ты подевалась? — окликнул он громко.

[1] Илдиримин джаны гедир — душа покидает Илдирима (азербайджанский яз.).

Из комнаты вышла старуха с опухшими от слез глазами, горестно причитая:

— Где тебя черти носят, старший внук твой заболел, простудил легкие. Врач сказал, чтобы достали пенициллин, иначе умрет.

Из глаз ее полились слезы.

— Как умрет? — удивленно произнес Джамал. — Мой внук умрет от какой-то простуды легких? А для чего тогда врач?

— Нету пенициллина, нету лекарств, война ведь идет...

Из комнаты вышла старшая невестка, вся заревaнная. Она посмотрела в настороженные глаза Джамала, проговорила:

— Уснул, наконец, весь горит, не дышит — задыхается, — не справившись с собой, заплакала, закрыв лицо руками, потом произнесла: — Отнеси мои ковры на базар, папа, воскресный день сегодня, ты их продашь, отнеси, папа, очень нужны деньги на лекарство, иначе мальчик умрет...

— Где ты купишь этот проклятый пенициллин? — проговорил Джамал, поднимаясь с тахты.

— Врач обещал помочь... Она знает, кто может достать...

— Ну что ж, выноси, дочка... Вот время-то злое какое: одни горе пьют с водой и кукурузной лепешкой, другим и горе нипочем, и боль людская заработок дает... Тьфу.

Невестка вынесла ковры, которые принесла из дома отца, бросила их на пол. Джамал сложил два, взвалил на плечи.

— А этот оставь, доченька. Красивый, да и тонкой работы, персидский. Пока продам два, а там видно будет.

И он пошел спешно, пока воскресный базар был в разгаре.

Ковры у него купили: уж очень они были искусно сотканы. Азизов понимал толк в коврах, приобретая их для дома и на приданое дочери.

Невестка тепло закутала сына в одеяло и помчалась к врачу вместе со свекровью; та еле поспевала, семеня шажками, широко размахивая руками. Вернулись они успокоенные.

— Ну что там? — спросил Джамал. — Как мой внук?

— Сделали укол, легче стало, — сказала невестка, на лице ее появилось подобие улыбки.

— Укол? Один укол? Всего один укол? — удивился Джамал.

— Второй сделаем вечером, сама придет к нам.

Джамал задумался, потом поправил шапку на голове и, нахмурив брови, бросил взгляд на жену:

— Ну вот что, старуха, я принес муку кукурузную, приготовь что-нибудь вкусное на вечер...

— Вкусное, — передразнила жена, прервав мужа,— себя, что ли, добавить вместо мяса... вкусное...

— Не ворчи, жена, как тебе не стыдно, праздник ведь, октябрьский праздник.

— Нет, старик, ты вовсе рехнулся, — всплеснула она руками, — не сегодня ведь он, праздник.

— Ну и что, а мы будем отмечать несколько дней и за Симона, и за Керима, и за Гаврила, у нас не праздник, а праздники... И ты не прекословь мне, устал я слушать твое ворчанье... Себя, что ли, добавить вместо мяса... Ишь как затараторила языком, красиво как. Кому нужно твое мясо? Вон я сколько принес: и легкие, и печень, и всякие там внутренности, на кухне оставил, это не мясо? Разленилась совсем. Еще раз услышу грубое слово — разведусь, женюсь на другой.

— Ты что так разошелся? — изумилась жена.

Джамал пригладил ладонью усы, бородку, заложил руки за спину и медленно и степенно пошел к воротам, бросив из-за плеча, не оборачиваясь:

— Чтобы вечером суфре было накрыто.

Джамал шел по улице задумчивый, глядел на редких прохожих с ласковой улыбкой, кивком головы отвечал на их приветствия, тихо, без слов напевал песню. Он был одет во все темное — телогрейка, брюки, заправленные в шерстяные носки, истоптанные ботинки, неизменная шапка — все это было одного цвета или почти одного. И на этом фоне выделялись белоснежная квадратная бородка и усы. Несмотря на преклонный возраст, а Джамал переступил порог седьмого десятка, он продолжал работать. Молодые мужчины города ушли на фронт, подростки и женщины заняли их места в колхозах и на заводах. Джамалу было совестно сидеть дома сложа руки, и он устроился в «Утильсырье». Оно работало для фронта, и это успокаивало Джамала.

Поравнявшись с кинотеатром «Родина», который

сейчас был переоборудован под госпиталь, Джамал остановился, сдул пыль со ступеньки, устало опустился, положил шапку на колени, вытащил из кармана фуфайки четки и стал медленно перебирать их. Здесь к концу дня на час-другой собирались его сверстники поделиться новостями, но пока никого не было. По тротуару лениво прохаживались раненые.

— Жернова этой войны все еще крутятся, — сказал про себя Джамал. — И время тает, и солнце стынет, и душа устает — всему бывает предел... Должны же остановиться жернова этой войны.

Откуда-то издалека донесся чеканный стук. Наконец из-за угла на центральную улицу вышла колонна военных. Она шла без песни, но бодро, и в четком шаге солдат чувствовалась сила, уверенность.

Колонна прошла, и снова на улице стало тихо, лишь изредка слышалось, как женщины бранили детей, да пугливо лаяли собаки.

К кинотеатру подошел высокий сухопарый Азизов. Присев на ступеньку рядом с Джамалом, он произнес:

— Добрый вечер.

— Вечер добрый, — Джамал бросил на него ленивый взгляд. — Не нравится мне твой цвет лица.

— Смерть увидел? Пора и мне на покой...

— Глупые слова говоришь. Тебе еще радовать наших детей...

— Нет, не глупые. Когда слышишь, что умирают молодые, хочется самому умереть. Уходят из жизни, не вкусив ее сладость и горечь, разве это справедливо?..

— Кто умер? — спросил Джамал.

— Сына Гюршюма убили.

— Сына Гюршюма убили, — повторил Джамал, аккуратно надел шапку, тяжело встал и, заложив руки за спину, поплелся по улице.

Двор Гюршюма был полон людей. Джамал присел на деревянную лавку, прищурившись, стал искать Гюршюма, но тот сам подошел, опустился рядом.

— Осиротел, некому будет меня и в могилу опустить.

Из глаз старика выкатились слезы и поползли по глубоким морщинам.

— Что сказать тебе? — произнес Джамал. — И успокоить нечем, слов нет никаких. Велико твое горе, оно будет с тобой до последнего вздоха твоего. Терпи и живи. Такова участь человека.

— Тяжело, сердце разрывается, — Гюршюм беззвучно заплакал. — Ничего не значит человек, ничего — беспомощен и слаб перед дикостью и злобой...

— Но в его руках мужество. Разве ты забыл, как мужество помогало нам вынести беды?

— Твои слова верны, Джамал, но горе мое так велико, что не хватит океана мужества, чтобы его затопить.

— Не падай духом, брат, надо жить, надо вырастить внуков, ради них надо стараться заглушить свою боль.

— Разве ее заглушишь? Она надрывает сердце.

— Спрячь боль в себе, не показывай внукам. Она не должна омрачать жизнь малых.

Утомленный, удрученный возвращался Джамал домой. Не желая омрачать настроения домочадцам, у ворот дома он остановился, присел на лавку и сидел некоторое время в одиночестве, пока другие думы и заботы не вытеснили из его сердца горе Гюршюма.

На дворе было уже темно, когда все сели за суфре: три женщины и Джамал. Внуки спали.

На самой середине суфре горела керосиновая лампа. Вкусно пахли мучери[1]. В большой тарелке лежали куски овечьего сыра, в плоской миске асидо[2].

— И это суфре ты считаешь вкусным? — снисходительно проговорил Джамал, усмехнулся и иронически промолвил: — Эх, женщина, женщина...

Потом отломил кусок мучери, взял сыр и принялся за еду. Женщины молча последовали его примеру.

Джамал налил себе в стакан белого вина, потом глянул на жену:

— Где еще стаканы?

— Какие стаканы? Пей и молчи.

Но младшая невестка уже вскочила, сбегала за стаканами. Джамал налил всем.

— В этот праздничный день в дом Гюршюма пришла беда. Сына убили, — он помолчал. — Пусть в доме Гюршюма с этого дня будут одни радости.

Джамал выпил, женщины пригубили, вино показалось вкусным, и они выпили до донышка. Вдруг жена Джамала спохватилась, встала из-за суфре и быстро засеменила во двор.

— Куда она? — удивился Джамал.

---

[1] Мучери — лепешки из кукурузной муки.

[2] Асидо — халва из муки.

Невестки переглянулись, загадочно улыбнулись, опустив головы, но тут на веранду поднялась старуха, неся увесистую большую сковороду, которая продолжала шипеть, распространяя ароматный запах жареного.

Лицо Джамала расплылось в улыбке, и он довольный проговорил:

— Ну вот и вкусное. А я собирался разводиться с тобой. Да где я еще найду такую искусную хозяйку? Дай-ка попробую, что ты там нажарила...

61

Жена Османа почувствовала себя плохо. Острой болью схватило сердце, потом оно долго щемило и ныло. Подступила тошнота.

Что-то случилось, наверное, с моим мальчиком, подумала она про себя.

В ней теплилась надежда, что Керим жив.

Она семенящим шагом вошла в ванную комнату, умылась, причесалась слабыми, дрожащими руками, потом прошла в спальню, надела чистое белье, легла в кровать. Накрывшись одеялом, она свернулась калачиком, представила Керима, маленького Керима, каким он остался в ее памяти, мягко, болезненно и виновато улыбнулась и уснула.

Это был ее последний сон. И вечный.

62

День стоял ясный. Над Парижем было синее небо.

Мы выехали в аэропорт Орли с запасом времени, зная о заторах и пробках на дорогах, когда автомобили движутся медленнее пони в зеленых парках. Но как ни парадоксально, приехали мы на приличной скорости и, чтобы убить время, отправились бродить по зданию аэропорта.

Когда мы вернулись к главному входу, я увидел вас: тебя, Осман, и твоего отца. Безупречно одетые, вы выделялись манерой держаться непринужденно, но с достоинством.

— Пришли тебя проводить, племянник, — сказал твой отец, делая упор в интонации на последнее слово. — Если молодые не считаются со стариками, приходится старикам идти на поклон...

— И преподать урок нравственности, — закончил я его фразу. — Простите, никак не мог выкроить время.

— Это все мелочи, — произнес твой отец. — Ты доволен своей поездкой?

— Доволен, — ответил я. — Даже если бы ничего интересного из нее не вынес, остался б доволен тем, что встретил Османа.

— Неужели? — лицо твоего отца выразило неподдельное удивление.

— Вполне серьезно. По крайней мере, оторванная от Османового дерева ветвь не высохла. И я знаю, что у меня есть двоюродный брат, и мне кажется, он честный парень...

Твой отец долго глядел на меня. Я видел, я понимал: что-то его мучило. Наконец он решился:

— Наш дом стоит еще? Его не сломали?

— С утра до вечера верещит детскими голосами.

— Что так? — не понял он.

— Детский сад в нем.

— Детский сад... А дом Джамала стоит?

— Куда ему деться, стоит, конечно.

— И живут в нем?

— Гаврил живет, младший сын Джамала.

— Это, я думаю, тот, с которым я дрался. Мы дрались попарно, Керим со старшим, я с младшим. — Твой отец улыбнулся. — И всегда они нас лупили. Мы старались изорвать на них одежду, и без того худую, а они нас кулаками лупили. Помню я эти кулачные бои, помню... — Он задумался, ушел в воспоминания, потом спросил: — Их отец давно умер?

— Лет двадцать назад.

— Долго жил...

— Девяносто с лишним... Живучий был.

— Наш семьдесят три протянул, но не болел ни разу. Ты приезжай, Аслан, нам надо часто видеться, не терять из вида друг друга.

— Вы бы сами приехали, поглядели, какой стала земля отцов и дедов...

— Какой стала?

— Вся утопает в садах и виноградниках.

— Рад был бы... — твой отец неопределенно пожал плечами.

— Вон сколько туристов едут в нашу страну, а в Дербент... кого только вы там не увидите... Решитесь — и приезжайте. Родню повидаете.

— Приезжай, Аслан, я буду тебя ждать, — подал и ты голос.

— В следующем году я, очевидно, полечу в Копенгаген, а оттуда в Осло.

— Я примчусь на машине. Только сообщи заранее о дне поездки.

— Куда он тебе напишет? На имя президента? Ты ему адрес свой дал? — засуетился твой отец.

— Адресами мы давно обменялись, — засмеялся ты. Объявили посадку на наш рейс.

— Ну, до свидания, Османовы, приезжайте на свою родину, поглядите на улицы и магалы, по которым ходили деды, на кладбище, где покоится их прах. Приезжай, Осман, тебе это обязательно нужно, человек должен знать свои истоки.

Мы с тобой крепко пожали друг другу руки. Потом я повернулся к твоему отцу. Глаза его были влажны. Он крепко обнял меня за плечи, прижался лицом к моему лицу, отстранился и прошептал:

— Иди. Аллах тебе поможет.

Пройдя таможню, я оглянулся.

Твой отец и ты смотрели в мою сторону.

Спустя некоторое время самолет Ил-62 оторвался от взлетной полосы и взмыл в густое синее небо.

Я был уверен, что твой отец и ты стояли на площади у аэропорта, рядом со своей машиной, и провожали взглядом наш Ил.

63

Выйдя из Юхары Гапы[1], мальчишки побрели по пыльной дороге. Они были разных возрастов: от пяти до тринадцати—четырнадцати лет. Старшие шагали впереди, младшие замыкали шествие. День был весенний, теплый. Пыль, поднятая первыми, длинным широким шлейфом тянулась назад.

— Сколько же можно идти? — раздался звонкий голосок. — Идем, идем, а куда идем? Он все знает. А что он знает? Он воровать нас ведет — вот что он знает.

— Как воровать? — замедлили шаг последние.

— А вот так — воровать...

— Что ты слюни распустил, сопляк? — один из тринадцатилетних подошел к мальчишке со звонким голосом. — О чем пищишь?

— Сам пискун. Я говорю.

— Ха-ха, глядите на него. Не задирай носа, а не то придавлю, как таракана.

— Уйди, а то стукну...

— Сам уйди...

Мальчишки принялись толкать друг друга, потом сцепились и покатились по дороге. Началась потасовка, больше походившая на кучу малу. Старшие, не сумев совладать с младшими, а последних было вдвое больше, поднялись, отбежали подальше и, отряхнувшись от пыли, пошли, бросив на прощанье:

— Ну и сидите, сосите палец.

Малыши так и поступили: сели на обочину и стали глядеть на проезжавших.

— А как они будут воровать? — заинтересовался один из них.

— Как всегда, — отвечал мальчик со звонким голосом. — Сядут у мельницы и будут жалко глядеть на дядек. Там много подвод заезжает и выезжает, и дядьки сидят на подводах. Они часто кнутами щелкают, да страшно так, со свистом. И никто не подаст макухи. Тогда мальчики подходят к воротам и начинают хныкать, чтобы сторож сжалился. Сжалится, бросит несколько кусков...

— Бросает?..

— Бывает, и бросит.

— А ты-то откуда знаешь?

— Ходил я с ними как-то, да стыдно потом стало.

— Это не воровство, — протянул один из малышей.

— И не лучше воровства, — подытожил мальчик со звонким голосом. — Стыдно бывает очень.

Издавая протяжный скрип, на дороге остановилась ветхая подвода. На облучке сидел дед в папахе, на его лице выделялись маленькие глазки и большие пышные усы, которые тянулись к ушам.

— Что, дети, устали? Садитесь, подвезу до города.

— А ругать нас, дедушка, не будете? — спросил мальчик со звонким голосом.

— За что ругать? — удивился дед.

— Ваша кляча нас не сдвинет с места.

— Кляча?! Хе-хе-хе... — дед забился смехом, постукивая себя ладонями по коленям. Наконец, успокоившись, он спросил:

[1] Юхары Гапы — Верхние ворота.

— Ты чей такой заковыристый? Как звать-то?

— Джамал я, сын Симона.

— А ну, сын Симона, и вы все — садитесь быстро, я на базар спешу.

Ребята, как воробьи, сорвались с места и расселись на мешках. Дед помахал в воздухе кнутом, несколько раз небольно ударил лошадь, и телега заскрипела.

— А какого Симона ты сын? — спросил дед у мальчика.

— Симона сына Джамала, — ответил тот.

— Так ты внук Джамала? Джамала из Дербента? Пути господни ведут нас по кругу. Знаю я Джамала, хорошо знаю Симона, а теперь вот с постреленком его познакомился. А что вы тут делали, как здесь оказались?

Джамал опустил голову.

— Ну-ну, рассказывай, не стесняйся.

— На мельницу шли. Макуху хотели выпросить.

— Что это еще такое — макуха?

— Макуху не знаете? Ее еще называют жмых.

— Тьфу, — дед сокрушенно покачал головой. — Из-за нее вы на мельницу шли?.. И устали... Эх, война проклятая, чем ты детей наших кормишь...

— Она вкусная, — сказал Джамал. — Ее Аслан любит.

— А это кто еще?

— Мой брат. Дяди Керима сын.

Керима, сына Османа, догадался дед.

— Как он там, Керим, воюет, письма пишет?

— Воюет, дедушка, но писем давно нет.

— Это нехорошо, что давно нет.

— Да, дедушка все тревожится... А от папы пришло. Ранен был, долго лежал в госпитале.

— Война, будь она проклята, — произнес дед. — От нее горе и страдание людям.

Подвода въехала в Юхары Гапы и покатилась по булыжной мостовой.

— Дедушка, мы приехали, — загомонили мальчики.

Дед остановил лошадь, слез с облучка:

— Подождите, дети, я вам что-то дам.

Он развязал один мешок, засунул в него обе ладони и вытащил пригоршню кукурузных зерен.

— Ну-ка, расстегивайте ворот рубахи, насыплю вам за пазуху. Принесете домой, пожарите на сковороде,— вкуснее и красивее не придумаешь. Как бутоны цветов

раскрываются от тепла солнца, так и они лопаются и пушатся от огня на сковороде, а вкус... Вы что, не ели жареной кукурузы?

— Ели, дедушка, спасибо, — и мальчики разбежались, поддерживая животы снизу двумя руками, чтобы из рубах не высыпались зерна.

— А ты сиди, — обратился дед к Джамалу. — Мне все равно мимо твоего дома ехать.

У площади дед остановил лошадь.

— Скажи-ка, постреленок, поясок твой хорошо держит брюки?

— Хорошо, — удивился Джамал. — А что, падают разве?

— Расстегивай рубашку, насыплю тебе и брату кукурузы.

За пазуху посыпались золотистые зерна.

— Хватит, дедушка, у меня уже не живот, а коровье вымя...

— Хе-хе-хе, вымя, говоришь? Тогда хватит. Возьмика еще эти вкусные лепешки. — Он хитро улыбнулся и, вытащив из-под мешков, протянул мальчику несколько кусков макухи. — Раз уж любите, ешьте на здоровье. Да передай деду привет. Так и скажи: просил передать привет Хидир из Магарамкента, у которого купец Осман больного сына Керима оставлял. Не забудешь, постреленок?

— Не забуду, дедушка. Спасибо.

— Ну, я тебя подвез, а теперь поеду на базар.

— Зашли бы к деду Джамалу, дедушка, — раздался вслед звонкий голос мальчика.

Дед обернулся, теплая улыбка осветила его лицо:

— Привет передай, внучек, смотри, не забудь, обяза-тель-но...

И щелкнул в воздухе кнутом...

64

Зазвонил телефон.

Назым поднял трубку.

— Мсье Назым Османов? — Голос был уверенный, бодрый.

— Слушаю, мсье.

— Говорит Жирардо, комиссар полиции.

— Очень приятно, мсье Жирардо, давно не видел вас в своем магазине.

— Не премину воспользоваться приглашением, — в трубке послышался довольный смех. — А сегодня я прошу вас зайти ко мне, да чем раньше, тем лучше.

— Что-нибудь серьезное? — Назым за какие-то доли секунды перебрал с десяток причин, по которым комиссар мог его пригласить.

— Как сказать... — голос некоторое время молчал.— Ваш сын находится у нас. Забирайте его, драчуна своего...

— Что мог натворить Осман? — мучительно думал Назым. Навряд ли он связался с дурной компанией, приятели его из состоятельных семей, да и привычек у него таких, ну как сейчас называют, — экстремистских не наблюдал. Надо женить его, перезрел он у меня. Промашку дал я тогда, не обвенчал его с внучкой Сеттерхана. Красивая девушка, из состоятельной семьи. Подумаешь, отец ее помогал какой-то террористической организации, ну и черт с ее отцом, не на нем же ты женишься, дурень эдакий. Какой принципиальный вырос...

Машина летела на бешеной скорости. Только подъезжая к городской полиции, Назым сбавил скорость.

Жирардо встретил его приветливо, даже дружелюбно. Теплые отношения, сложившиеся между Османом и прежним комиссаром по совету дальновидного Сеттерхана, продолжались и между Жирардо и Назымом. Конечно, каждый имел от этих отношений свою выгоду.

Пока они прикуривали сигары, любезно предложенные Назымом, в кабинет комиссара привели Османа. Назым поднялся из кресла:

— Жду у себя, мсье, и безотлагательно.

Жирардо, легко подняв свое тучное тело, проводил их до дверей.

— Не премину, мон шер, не премину...

Выйдя на улицу, Назым зло взглянул на Османа.

— Ты что меня позоришь, щенок? До тебя нога Османовых не ступала в полицейский участок. Садись...

Он нервно завел машину, вырулил на дорогу.

— Что ты натворил?

— Ничего особенного. С правыми пришлось драться.

— С ке-е-ем? — лицо Назыма исказилось. — Ты куда суешься, ты понимаешь, в какое дело суешься?

— Никуда я не суюсь... и не совался. Шла колонна рабочих, на них бросились молодые фашисты.

— А тебе-то какое до них дело?

— Я не мальчишка и перестань меня поучать. Я должен защищать родину. И ее народ.

— Родину? — Назым усмехнулся. — Твоя родина не здесь, сопляк, она там, далеко на востоке...

— Перестань оскорблять, отец, — вскипел Осман, но сумел взять себя в руки. — Почему дед и ты защищали эту родину?

— Родины этой и той не бывает, она у человека одна. Эта земля дала нам пристанище, а помогали мы честным людям потому, что они боролись с фашизмом.

— Вот, вот, с фашизмом, — перебил Осман, — а эти, по-твоему, не фашисты?

— Они воевали с фашизмом, — продолжал Назым, словно не слушая его, — который угрожал всей Европе, и, в первую очередь, земле, на которой родились наши предки и мы. Твоя родина там, запомни навсегда, там. Как бы я хотел, чтобы ты съездил туда... — проговорил он вдруг задумчиво.

— Поедем вместе, отец. Что нам мешает поехать?

— Может, вместе, а может, сам поедешь, один. Я почти забыл ее, она выветрилась из моей памяти. Бывает, временами хочется плюнуть на все дела и поехать, взглянуть. Но тут же сковывает страх: что осталось от старого, что принесло новое...

— Ты не знал ни старого, ни тем более нового, — засмеялся Осман. — Тебе это не угрожает спазмами и сердечными болями.

— Не шути зло. Поедешь сам, у тебя там родственники живут. Но прежде я тебя женю.

— На прелестной дочке мерзавца? — улыбнулся ехидно Осман.

— Если согласишься, женю на мерзавке прелестного отца.

Они взглянули друг на друга и расхохотались, но сквозь смех Осман прокричал:

— И на такой не согласен.

65

Я вспоминаю плас Конкорд, куда мы вышли, прогуливаясь, накануне моего отъезда. Огромную, просторную чашу площади Согласия. Искрящийся великолеп-

ный фонтан, каменные статуи, олицетворяющие города Франции. И тебя. Тебя, внука моего деда Османа.

Красивый, черноволосый мужчина, ты сидел у подножия статуи. И смотрел на меня. В твоем взгляде не было ни тоски, ни вопроса. Но я знал: для тебя все узнанное, выслушанное от меня было серьезно, слишком серьезно...

Вспоминаю тебя, а перед глазами лицо Симона, Гаврила, их детей... Я твой брат, двоюродный брат, в наших венах течет одна кровь, а я не мыслю себя без этих людей, без их голосов, без их забот обо мне, без их мыслей и дум. Судьбе было заманчиво—заманчиво или потребно? — оторвать семя от Османова дерева и бросить его — почему бросить? — оставить на почве родной земли, и оно, семя, не пропало и дало жизнь молодому дереву, от которого пошли побеги, ветви... А Османово дерево стало чахнуть.

Что тебя ожидает? Дед Осман все лучшее — любовь к своему отечеству, тоску по родному дому и языку, чистую совесть — унес с собой. Все лучшее, доброе, честное, что он заронил в сердце сына Назыма, тот унесет тоже с собой. Твой отец пытается воспитать тебя в духе Османовых, но сумеешь ли ты сохранить их нравственные ценности и передать детям своим?

Что бы тебя ни ожидало впереди, я хочу, чтобы ты был искреннен в чувствах, человечен в поступках, решителен в действиях. Чтобы ты оставался честным и совестливым человеком. Я говорю с тобой, Осман, надеюсь, ты слышишь меня.

Я рад, что встретил и узнал тебя. Но еще больше рад тому случаю, когда больного маленького Керима вынуждены были оставить в семье бедняка. Я рад тому, что моего отца воспитал дед Джамал, как и своих сыновей, и вырастил честным и мужественным человеком. У тебя есть возможность узнать о его последних месяцах жизни, последнем дне, и ты найдешь в себе силы склонить голову перед его мужеством. Моя вера в отца беспредельна.

Ты слышишь меня, Осман? Я заклинаю тебя именем деда Османа: узнай о судьбе своего дяди Керима на земле Франции, о его последнем дне. Это нужно мне, тебе, нашим детям.

Посети землю своего деда, посмотри на бывший его дом, походи по старым мазалам, поднимись на крепостные стены Нарын-Калы, откуда открывается величественная панорама, на крепостные стены Нарын-Калы, от которых откатывались полчища иноземных завоевателей, и, может быть, в твоей душе, в сердце проснется хотя бы маленькое чувство любви к родине... Если не твоей, то хотя бы родине деда... Если проснется — я буду безмерно счастлив.

Махачкала—Балатон—Сеплак—Дубулты.
1984—1986 гг.

ПОВЕСТИ

ЗАПИСКИ МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА

Слышать голос твой

Счастье надо искать на путях обыкновенных.

Восточная мудрость

1

Я стою в коридоре и бессмысленно смотрю посетительнице в рот. Битый час она доказывала мне несостоятельность моих выводов, неведомо от кого узнав, что я готовлю статью, разоблачающую группу спекулянтов. Выгнать ее я не имею права. Слушая мои объяснения и доводы, она ехидно ухмыляется. Я чувствую, что тупею, и, если минут через десять она не замолчит, я сойду с ума, я закричу что есть мочи.

Низкая, толстая, воинственно воткнув кулаки в широкие бедра, она смотрит мне прямо в глаза и без умолку говорит... А ведь в молодости она, вероятно, была хороша собой. Лицо ее сохранило следы былой красоты. Толстая тугая коса, обвитая вокруг головы, черна, без единой сединки. Глаза прекрасны. Может, когда-то они и умели ласкать, но сейчас буквально сверлят душу. Я уже изнемогаю.

— Камиль, к телефону!

Оглядываюсь. В дверях кабинета стоит Слава.

— Третий раз окликаю. Что с тобой? — и обращаясь к посетительнице: — Простите, его просят к телефону.

Я вхожу в кабинет и облегченно вздыхаю. Потом вопросительно смотрю на лежащую на столе трубку.

— С телестудии, — коротко поясняет Слава.

Поднимаю трубку. Меня просят выступить, рассказать о строителях гидростанции, которым я посвятил

серию очерков. Отказываюсь. Откровенно говоря, выступать по телевидению я никогда не любил, месяц назад случайно, по глупости, дал согласие. Мне объясняют, что эта передача уже в программе, мне ломать ее нельзя, что... Я насчитываю этих «что» около десяти и сдаюсь.

Опускаюсь на стул, но Слава кивает головой в сторону коридора:

— Тебя ждут.

— Ждут?

Я хватаю с вешалки плащ и нарочито громко с порога кричу ему:

— Передай редактору: меня срочно вызвали на студию.

В коридоре дорогу мне преграждает посетительница. Однако я умудряюсь протиснуться между нею и стеной и, извинившись, выбегаю на улицу.

На студию я приезжаю в назначенное время. Меня просят написать текст, но я, сославшись на занятость, обещаю сдать его завтра, и режиссер проводит со мной репетицию. Он сидит, закрыв глаза, поглаживая длинными костлявыми пальцами подбородок. На его полные губы ложится улыбка. Чувствую — нравится.

Дверь с шумом открывается. На пороге останавливается девушка, потом осторожно и тихо садится на краешек стула. Прищурив миндалевидные голубые глаза, она всматривается в меня. Мне не по себе от ее взгляда, напоминающего взгляд подслеповатого котенка, ищущего помощи. Я ненавижу такой взгляд.

— Вы плохо видите?

Она ничуть не смущается и, вздохнув, произносит:

— Я забыла очки, простите, пожалуйста.

Сколько ей лет? Девятнадцать? Судя по внешности — да. Но голос, какой у нее красивый голос! Красивый? Нет, изумительный. Я ухожу со студии под впечатлением ее голоса.

Спустя два дня я стою в коридоре телестудии. Совершенно не волнуюсь. После рабочего дня во всем теле, да и в голове чувствуется усталость. Может быть, она и притупляет волнение.

В конце коридора слышится смех. Ко мне подбегает девушка. Я вижу ее лицо перед собой, прищуренные глаза за стеклами очков в тонкой позолоченной оправе.

— У вас нет шоколадной конфетки случайно?

Опять этот красивый голос! Наваждение какое-то. Может же природа подарить человеку такое чудо!

— Случайно нет. Зачем вдруг она вам понадобилась?

— Проспорила я.

— И о чем спор?

— Разве вы свои тайны раскрываете?

— Сдаюсь.

Она смеется. В воздухе звенят колокольчики.

— Сейчас подойдет ваша очередь. Не волнуетесь?

В ответ я улыбаюсь. Она снова смеется.

— Простите, как вас зовут?

Поймав мой удивленный взгляд, улыбается.

— Это не тайна, надеюсь?

— Надеюсь. Камиль.

— А меня зовут Наташа... Натали... Я узнала, где вы работаете и еще кое-что о вас.

Я стараюсь казаться равнодушным, но мне неприятно, что она вошла, вступила в мою жизнь и осматривает ее, и уже что-то рассмотрела.

— Скажите, Камиль, писать стихи — ваше хобби или призвание?

Я облегченно вздыхаю: только это ей известно? Или это только начало?..

— Ни то, ни другое. Да я и сам не задумывался над этим. Пишу потому, что не могу не писать. Но такое состояние бывает не всегда, конечно.

— А что вы сейчас пишете?

— Ничего.

— Но где вы находите темы? Мне все это очень интересно...

— Интересно или просто любопытно? — Я улыбаюсь. — Темы, безусловно, жизнь подсказывает. Чистая фантазия дает суррогат, не наполненные жизнью стихи. А впрочем, вы у меня берете интервью как настоящий журналист.

— Я интервьюирую вас. — Она смеется, щуря голубые глаза. — Вы, наверное, очень часто бываете в командировках?

— Исходил, изъездил, облетел все, все, все...

— Так-таки и все?

— Ну, не все, так пытаюсь.

— И ничего не привозите из путешествия?

— Почему же? Привожу. Сокровища.

— И вы не подарите мне ничего из своих сокровищ?

— Я вам привезу из новой командировки.

Меня приглашают. Я вхожу в студию, осторожно обхожу софиты, перешагивая через шнуры, сажусь за столик. На меня наводят свои объективы одноглазые телекамеры.

Ухожу со студии незаметно, уже никому не нужный.

2

Я тороплюсь на работу, перебегаю дорогу на шумном перекрестке, когда меня окликает знакомый голос:

— Молодой человек, не нарушайте правила уличного движения!

Это Гамид, оператор телестудии. Он подходит ко мне.

— Как живешь, друг?

— Задрав штаны, бегу за комсомолом...

— Остроумно... Ты знаешь, твоя передача понравилась. На летучке хвалили. И откликов поступило много. Есть опасность, что пригласят еще.

— Пардоньте, пожалуйста, как выражался великий актер Миша Пуговкин, но с меня хватит.

— Знаю, что ты не любитель нашего проката. Просто решил передать тебе, что слышал. Да, о тебе спрашивала Наташа. Где ты пропадал?

Натали! Какой он, голос Натали? Не могу припомнить.

— Девчонка она чудная, — Гамид заговорщически улыбается. — Одним словом, дай ей о себе знать.

Уже у себя в кабинете я несколько раз поднимаю трубку телефона, но так и не решаюсь позвонить.

День проходит в подготовке писем, поступивших в отдел, в телефонных разговорах. Последний телефонный звонок раздается, когда я уже надеваю пальто.

— Редакция слушает.

— Камиль, это ты? Здравствуй, Камиль!

Натали! Голос Натали.

— Почему тебя так долго не было? Я запрещаю ездить в долгосрочные командировки. — Она смеется.

— Так и передай своему редактору: мне запрещают...

Я слушаю голос Натали. Он и по телефону такой же дивный.

— Что ты мне привез из командировки? Уже и забыл!..

Я гляжу в окно. На улице снег. Как красивы и легки в полете его хлопья!

— Я привез тебе снег, Натали, почти с Главного Кавказского хребта. Хочешь принять этот подарок — бери.

— Вот он, за моим окном. Как прекрасен твой подарок, Камиль. Такого мне еще никто не дарил.

Она умолкает. Я слышу в трубке ее ровное дыхание.

— Ты никуда не уезжаешь в субботу?

— Нет, никуда. Решила меня пригласить на свадьбу?

Я смеюсь, потом обрываю смех: обидится. Но она сама весело смеется.

— Хорошо, Натали, я тебя буду ждать.

В субботу она заканчивает работу ровно в семь часов, и я ее буду ждать у телестудии.

Но мне не удается с ней встретиться ни в субботу, ни в воскресенье, ни в понедельник. Я еду со срочным заданием на неделю на строительство гидроэлектростанции. В горы. Не позвонив Натали. Возвращаюсь только в субботу. На улице из будки автомата звоню на студию. Длинные гудки. Звоню через полчаса. Гудки. Через час. Гудки. Натали нет на месте. Но я верю, хочу верить, что она на работе, и вечером, к семи часам, еду на студию.

На улице сугробы снега. В синее небо вмерзла луна, как кусок круглого отполированного льда, разбросав вокруг мерцающие осколки.

В семь часов на улицу гурьбой вываливают работники телестудии. Летят снежки, тишину разрезают визг, крики, смех. Я стою в тени, за полосой света, исходящего от длинного фонаря. И вдруг слышу голос Натали.

Я не двигаюсь и не окликаю ее. Даже тогда, когда с шипеньем и скрипом подходит к остановке автобус и веселая компания устремляется к нему. Только выхожу чуть вперед. Натали отстает от подруг, оглядывается, медленно идет, потом бежит в мою сторону.

— Здравствуй, Камиль! Ты ждешь меня, правда? Я догадывалась, почему ты в прошлую субботу не при-

шел, и для надежности позвонила тебе на работу... А что ты мне привез? — Она говорит без умолку, схватив холодными руками мои руки. — Ну, что ты мне привез?

— Сугробы снега.

— Все эти сугробы? Оттуда?

— Да.

— Спасибо!

Она берет пригоршню снега, подносит к лицу и смеется.

Я приглашаю Натали в кино. Она отказывается, ссылаясь на поздний час, но потом соглашается, уступая моей просьбе.

Мы успеваем на восьмичасовой сеанс. Идет «Дом с мезонином». Я гляжу не столько на экран — я уже видел этот фильм, — сколько на Натали, тайком любуясь ею.

Потом провожаю домой.

У большого кирпичного дома она останавливается, подает мне руку:

— Звони мне, Камиль!

— Хорошо.

Я замечаю у подъезда низкую, толстую женщину. Пытаюсь разглядеть ее, но она уходит в глубь двора, удаляясь от света.

Натали бежит к дому, останавливается перед ней. Та вполголоса ругает ее. И я отчетливо слышу голос этой женщины. Он мне кажется знакомым. Но где я слышал его? И неужели эта толстая женщина — мать Натали? Тонкой, красивой Натали...

Не хочу верить.

На следующий день я слушаю в телефонной трубке голос Натали. Слушаю всю неделю, а в субботу мы опять идем в кино, и опять я не столько смотрю фильм, сколько любуюсь ею. Потом я, снова забыв позвонить Натали, уезжаю в командировку.

...Жду Натали у студии. Она выходит одна, без подруг, оборачивается в сторону столба и бежит. Схватив мои руки, она смеется, захлебываясь от смеха, прыгает и кружится вокруг меня.

— Ну, что ты мне привез сегодня, Камиль? Говори скорей!

— Слышишь, чувствуешь, чем пахнет в воздухе?

— Пока нет, а чем?

— Видишь, снег тает.

— Вижу, снег тает.

— А воздух какой! Вдохни его! Ну?

— Весною пахнет. Ты мне весну привез, Камиль, правда?

— Да.

В этот вечер мы гуляем по улицам города, по его бульварам и набережной, по площадям. В сквере у будок телефонов-автоматов, стоящих как часовые в ночи, Натали останавливается. В одной из будок я замечаю юную пару. Целуются, скрываясь от постороннего глаза. Мне становится не по себе.

Я хочу пройти мимо, но в это время Натали забегает в свободную будку. Я жду. Разговор ее затягивается. Я меряю шагами сквер, гляжу в спину Натали, потом открываю дверь... Она резко поворачивается, обнимает меня за шею, привлекает к себе. Ее губы касаются моих, я целую Натали. Она не выпускает меня, но я уже отрезвел. Неприятное чувство охватывает меня, я разнимаю ее руки и выхожу из будки.

Я намного старше Натали и знаю жизнь больше нее. А вдруг я обидел ее, оскорбил? Но могла ли она проявить свое чувство в этом поцелуе? Даже если могла, то не так, как эти двое.

Я беру Натали за руку, вывожу из будки и молча провожаю домой. И только у дверей подъезда нарушаю молчание:

— Прости меня, Натали, я обидел тебя.

Она не отвечает.

Я поворачиваюсь и ухожу.

На следующий день я не звоню. Слава настороженно наблюдает за мной. Он видит происшедшую во мне перемену, но не спрашивает ни о чем. Я не звоню неделю, две... Но какое-то неосознанное, сильное чувство влечет меня к ней. Я хочу слышать, должен слышать голос Натали. И я звоню. На другом конце провода раздается дивный голос.

— Да, слушаю...

Натали! Успокоенный, я опускаю трубку. Так продолжается месяц.

В первый день апреля трубка не отвечает. На следующий — слышится резкий мужской голос. Этот голос отвечает каждый раз, как только я набираю номер телефона Натали.

Почему ее нет? Что с ней могло случиться? Меня

тревожит, мучит эта мысль, и я решаюсь пойти к ней домой.

Медленно и тяжело поднимаюсь на пятый этаж. Нажимаю кнопку звонка. В коридоре — ворчанье:

— Кого это несет в такой час?..

Медленно, нехотя отпирают дверь. Низкая, толстая женщина, всадив кулаки в бедра, выжидающе смотрит на меня. Я на минуту цепенею, узнав ее, потом с трудом выдавливаю из себя:

— Мне Натали, Наташу, на минуту, пожалуйста...

— Наташи нет и не будет. Она вышла замуж.

Дверь закрывается с треском, но я еще слышу ее голос:

— Тоже, ухажер проклятый! Натали ему, пожалуйста... Тьфу!

Я выхожу во двор, в темную, безлунную ночь.

3

Дребезжит звонок. Не отрывая ручки от бумаги, поднимаю трубку, потом бросаю на рычаг. Опять отрывают от работы! Нехотя иду к редактору.

В клубах папиросного дыма, справа от двери, в углу, за большим столом сидит ответственный секретарь. Это молодой мужчина с выразительной лысиной в форме подковы на крупной голове. Выталкивая сизый дым из большого рта, он отрывисто смеется: ха-ха, ха-ха, ха-ха... Слева, в проеме между окнами, расположился редактор, невысокий, худой человек. Постриженный неудачно под бокс, он похож на ежа. Похож и пятачком коротко остриженных волос, и всей своей натурой. Он умеет вовремя уколоть и вовремя укрыться... Одним словом, это человек, который по ошибке сел не за свой стол, а встать ему неудобно, дабы не уронить свой престиж.

— Так, значит, начудил, говоришь...

Голос у него крикливый, лающий. Он наваливается грудью на стол и сверлит меня зелеными глазами, улыбаясь.

— Не думаю.

— А надо думать, особенно когда пишешь критический материал.

Боже мой, кто бы об этом говорил! Меня разбирает смех, но я сдерживаю себя.

— Вы объясните толком, Салман Магомедович, что произошло...

— Ему еще объяснение требуется! — он разводит руками и обращается к ответсекретарю: — Слышал, Гриша?.. Нет, брат, это ты уж объясни толком, как умудрился необоснованно обвинить, опозорить бывшего ответственного работника, приписав ему кражу мяса. Мы слушаем.

Теперь я что-то начинаю понимать.

— Здесь была Магдиева?

— Да, была.

— И плакала, безусловно?

— Да, плакала, то есть жаловалась.

— И требовала дать опровержение?

— Да, требовала. А вообще ты почему ко мне обращаешься как к подсудимому? — вдруг вскипает Салман Магомедович. — Вопросы задаю я, а не ты.

— Извините, я просто хотел выяснить, что произошло.

У сейфа раздается отрывистый смех.

— Сейчас подойдет жалобщица, разберись с ней и напиши объяснительную. Виновен — накажем. Так, Гриша? — редактор пронзает меня острым взглядом и поворачивается к ответсекретарю.

— Там... видно будет... Посмотрим... — неопределенно отвечает он.

Мне становится на самом деле смешно, и я хохочу, хохочу до слез. Вытираю слезы платком и обращаюсь к Салману Магомедовичу.

— Я и не думаю с ней «разбираться», на то вы и редактор, чтобы уметь, когда надо, защитить, а когда нужно, наказать своих сотрудников. А по поводу жалобщицы внесу ясность: она на самом деле работала лет десять назад уборщицей в одном из министерств, откуда ее выгнали за мелкое воровство. Что касается последнего факта, то у нее обнаружили десять килограммов мяса. Подробней о ней и о других «героях» статьи можно узнать из материалов, имеющихся в милиции. На днях их будут судить. Думаю, объяснительная при таком стечении обстоятельств не нужна.

Я бросаю взгляд на Салмана Магомедовича и выхожу из кабинета.

Почему такие люди, как Салман Магомедович, оказываются не на своем месте, мешая нам работать? Я не раз ставлю перед собой этот вопрос, но каждый

раз боюсь его решить. Боюсь, что во мне что-то оборвется. И это сознание недовольства самим собой, боязнь пустого мыльного пузыря рождает тоску.

День мой потерян. Я закрываю ящики стола, выхожу из редакции в шум и суету улицы, но ничто не успокаивает меня и не рассеивает мрачных дум.

Дома я долго стою у окна, подперев подбородок кулаком. На душе так тоскливо, что хочется выть волком, кричать на весь дом... Но разум сдерживает, собирая все нервы в один комок, и я чувствую этот комок где-то в глубине груди. Я чувствую, как мною овладевает хандра.

На улице дождь. Он штопает окна, дома, асфальт, улицы. Штопает землю.

Напротив моего окна — тополя. Дождь моет их ярко-зеленые маленькие листочки. Дождь несет обновление. Дождь... Нет, сегодня меня не увлекает философия. Сегодня меня что-то мучит.

За стеной вдруг всхлипывает скрипка. Я не люблю скрипку, ненавижу скрип и визг инструмента сентиментальных девиц и мягкотелых, рыхлых человечков мужского пола. Я подхожу к стене, барабаню по ней кулаками. Кирпич глух к моим просьбам, а руки мои пронзает боль. Я бросаюсь на диван и закрываюсь подушкой. Но мятущийся, неистовый, страждущий музыкант уже остервенело вызывает из струн стоны и вопли, рыданья и всхлипы и все это бросает мне в лицо. Я не могу вытерпеть, вынести, выстрадать все это, так оно огромно и человечно.

Кажется, музыкант меня понимает. Удивительно ласковые и мягкие звуки наполняют комнату и обнимают меня. Они овладевают всем моим существом. Старый, умный чародей. Я знаю этого музыканта. Каждое утро сталкиваюсь с ним в подъезде, вижу его грустные бездонные глаза и живу немым страхом перед буйной и неповторимой силой его скрипки. Каждый вечер он оплакивает свою жену, сожженную в крематории концлагеря, и детей, навсегда потерянных в войне. Каждый вечер он в одиночестве мысленно собирает вокруг себя свою семью и плачет над ними горькими звуками скрипки.

И сейчас плачет его скрипка, и слезы, мои и его слезы, капают на подушку. Кто смеет говорить, что мужчины не плачут? Мне хочется бесконечно слушать эту невыразимо прекрасную музыку. Но она вдруг об-

рывается, и в комнате повисает пустая тишина. Становится неуютно, страшно от сознания своего одиночества. Мне не хватает чего-то. Я стучу кулаком в стену и кричу: играй, умоляю, играй, не молчи!

Но в ответ — молчание. Сердце разрывается от тоски. В голове роем проносятся мысли. Мысли, которых я ждал. Я хватаю со стола бумагу и пишу. Пишу поэму.

Вот чего жаждала моя душа, вот почему меня грызла тоска! Я пишу и чувствую, как легко становится на сердце, как медленно сползает тяжесть тоски. И все-таки мне чего-то не хватает. Что-то ушло от меня. Но что, что?

4

Море лениво подкатывает к моим ногам волны, словно перелистывает свои страницы, но я ничего не могу в них прочесть. Ничего, кроме дикой и непокорной красоты, буйной любви к свободе и нежной чуткости... А может, именно это и написано на его страницах?

Я ложусь и закрываю глаза. Блаженство!.. Чувствую, как отдыхает каждый мускул тела, каждая мышца. Тело дышит свежестью и покоем моря.

— Ты что, храпеть пришел на пляж?

Надо мной стоит Фахри и широко улыбается. Мы бежим в воду. Фахри ныряет, потом сильными гребками уплывает все дальше и дальше. Я ложусь на спину и гляжу в голубое, ясное небо. Море покачивает меня, как колыбель. Спустя полчаса я на спине подплываю к берегу и снова ложусь на прежнее место. Не хочется ни о чем думать. Голова отдыхает от мыслей.

— Приветик! Места не нумерованы?

Нина, стройная, загорелая, в зеленом купальнике, стоит передо мной.

— Прошу! Я занял вам одно место.

— Премного вам благодарна, — она ложится рядом со мной, чуть ли не касаясь меня.

— Почему ты скучаешь один?

— Извините, сударыня, мои друзья берут уроки плавания у дельфинов.

Она смеется заразительно весело, как ребенок.

— А ты почему не берешь?

— Я научился плавать, как топор, так что имею все

шансы познакомиться с дочерью грозного царя подводного царства.

Она снова смеется, почти касаясь белокурыми волосами моего лица.

— Прошу убрать вашу милую мочалку! — я фыркаю и подтягиваюсь чуть выше.

— А я не уберу.

— Ну тогда я позову на помощь Славу.

Нина — невеста Славы. И, чтобы осадить ее, я всегда пугаю ее Славой: авось, умерит пыл.

— Что ты пугаешь меня Славой? Слава, Слава...

Она еще что-то говорит, но я уже не слышу, потому что не хочу слушать.

Из воды выходит Фахри. Он стоит передо мной, весь переливаясь перламутром морских капель. Вдруг дерзкая мысль приходит мне в голову, и я поворачиваюсь к Нине.

— Хочешь, познакомлю с прекрасным юношей, благородным и храбрым, как рыцарь?

— Где он? — Нина поднимает голову.

— Фахри! Прошу к нашему шалашу.

Фахри добродушно улыбается и садится рядом:

— Привет милому обществу!

— Так вот, прекрасный юноша и благородный рыцарь, эту фею зовут Ниной, и надобно ее научить плавать по-дельфиньи. А впрочем, как сам сможешь. Но вернуть ее земле в целости и сохранности, то есть не дать уйти к царю подводному. Задача, как видишь, серьезная и ответственная. Иди, выполняй.

Нина подает ему руку, встает, и они убегают в воду.

Нина сама плавает, как рыба, но надо же что-то сказать!

Я только успеваю закрыть глаза, как рядом раздается баритон:

— Привет, Камиль! Нинку не видел?

Это Слава. Он верит каждому ее слову, поклоняется ей, как идолу. Боже упаси, если кто заикнется, что она не пара ему, — уничтожит взглядом, сразит словом, стер бы в порошок, да природа не наградила мужеством и силой.

— Нинку, говоришь? Ушла поплавать...

— Одна?

— А тут не разберешь, кто с кем.

Слава уходит. И надо же мне было знакомить Нинку с Фахри! Черт дернул за язык.

Я долго лежу, блаженствуя под горячим солнцем у самой воды. Потом сажусь, опустив ноги в набегающие волны. Мое внимание привлекает девушка и юноша. Она идет далеко впереди него, у кромки воды. На песке остаются следы. Шелковистая волна лениво перекатывается в лунку, просачивается глубоко в песок. Вторая волна слизывает след. Вот она, философия жизни. Живешь, мечтаешь, любишь, творишь, созидаешь, но время слижет и твои следы. Слижет? И ничего не останется? А это море и небо, высокое и величественное? А белые облака, которые сгрудились у горизонта, как снежная лавина, которая, так и кажется, вот-вот обрушится на землю?

— А-а-а! — резкий крик прерывает мои мысли. Девушка подпрыгивает на одной ноге, смешно балансируя. Потом вдруг садится, будто ее кто-то сажает силой, снимает с ноги туфельку и размахивает ею.

Юноша быстро подходит к ней. Сейчас наклонится и скажет:

— Вам помочь?

Мне кажется, что он именно это и хочет сказать. Но произносит совсем другие слова:

— Эти волосы Вы взяли у солнца? Не правда ли?

Он смотрит на нее завороженным взглядом.

— Да, у солнца, — отвечает она.

— А глаза у моря?

— Угадали.

— И зовут вас...

— Да, и имя у меня чудесное — Веснянка, — она звонко смеется. Смех у нее заразительный и передается ему. Они смеются чистым, веселым, радостным смехом. И слышат их песчаный золотой берег, синее море и высокое небо. И я. Потом она встает, надевает туфельку. Обернувшись к нему, чуть прищурив глаза, спрашивает:

— А Вас как зовут?

— Человек!

И опять дружно смеются. Потом они уходят по берегу. Он берет ее за руку. Сияет солнце, ухает и шипит море.

На песке остаются следы, но волны лениво накатываются на лунки следов и слизывают их. Они идут по берегу. Им нет дела до того, что их следы умирают тут же, за их спиной. Может быть, потому нет дела, что они вдвоем?

— Ты еще здесь, старик?

Я вздрагиваю. Передо мной стоит Фахри, загадочно улыбаясь.

— Удружил ты мне... Ну и бедовая!

— Кто бедовая, где? — я ничего не могу понять.

— Да Нинка! Ты заболел, что ли, перегрелся?

Я вопросительно смотрю на Фахри. Он не заставляет себя ждать.

— Свидание назначил, старик. Бегу.

Я долго гляжу ему вслед, понимая, что произошло что-то нехорошее, скверное, и огромная доля вины за это скверное ложится на меня, но... отмахиваюсь от мыслей и прыгаю в воду. Освежившись, я надеваю на мокрое тело рубашку, натягиваю брюки, опускаю ноги в сандалеты и иду к автобусной остановке. Я думаю о Славе... Что уготовила ему совместная жизнь с Нинкой?

5

Председательствующий встает, большой и рыхлый, над столом:

— Садитесь, садитесь, товарищи. Слово предоставляется председателю комиссии Колесному.

Начальник ремонтного цеха, высокий, худой мужчина, с чувством, подробно излагает ход проверки, глядя то в потолок, то в подсиненные вечером окна.

— Покороче и по существу, — прерывает его председательствующий.

— Можно и покороче, — говорит Колесный. — Факты, указанные в статье, действительно имеют место и являются одной из причин текучести кадров на комбинате.

— А вы огласите заявление, подписанное рабочими цеха, — слышится из зала женский голос.

— Можно огласить, — соглашается Колесный и зачитывает заявление, в котором говорится, что мастер и начальник цеха — чуткие, внимательные товарищи, и запятнали их из корыстных побуждений, статья в корне неверна, корреспондент пошел по ложному пути...

— Прочтите фамилии авторов, — вскакивает с места секретарь комитета комсомола. — Присутствуют они здесь?

— Прошу не прерывать, — поднимается над столом председательствующий. — Есть здесь кто из авторов? Никого? А из потерпевших?

Поднимаются десятки рук.

— Может, мы выслушаем их?

С первого ряда поднимается низкий, толстый, бритоголовый мужчина.

— А зачем их выслушивать? Здесь не суд... — говорит он хриплым голосом.

— Слово имеет директор комбината товарищ Кубатов.

— Я говорю, что здесь не суд, а Магомедов возомнил из себя общественного обвинителя. Кто дал вам право, Магомедов, порочить тысячный коллектив на страницах газеты? Кто позволил подрывать авторитет руководителей? Вы секретарь комитета комсомола и не понимаете элементарных вещей. Если у Староверовой и Калюжной и были ошибки, перегибы, вывихи, можно было бы выправить нам совместными усилиями, не трезвоня на всю республику. Да, я вижу, вы хотите сказать, что заходили ко мне не раз, ставили в известность. Но руки не доходили — план отвлекал. А теперь вся республика читает вот это! — он потрясает в воздухе газетной вырезкой. — Какое мнение создается о нас в ведомстве? На других предприятиях? Сегодня мне уже звонил директор текстильного комбината, по-приятельски, правда, но я понял. Смеется. Теперь посыпятся звонки с других предприятий, сверху... Что им сказать, я вас спрашиваю, Магомедов? Считаю, что статья дезорганизующая, подрывает авторитет руководителя. Такой ответ и надо дать в редакцию.

К столу подходит работник городского комитета партии. Немолодое лицо его утомлено.

— Я считаю, товарищ Кубатов, что ваше последнее высказывание неверно. Наша печать партийная, и любая статья или корреспонденция, публикуемая на страницах газеты, имеет организующий характер. Почему-то сегодня речь идет не столько о жестких и недозволенных методах работы начальника и мастера цеха, усугубляющих текучесть, сколько о подрыве авторитета руководителя и о самом Магомедове. Иными словами, защищается честь мундира. Почти все здесь сидящие—коммунисты и комсомольцы. Скажите, почему мы не можем одернуть зарвавшегося руководителя, а если нужно, и снять его с должности? Будет вам известно, товарищи, что начальник цеха Староверова еще четыре года назад была снята с руководящей должности на маринадном комбинате за грубость, злоупотребление служебным положением, — он проводит ладонью по лицу, протирает пальцами веки и продолжает: — Газета оказала вам добрую услугу, более того, подняла важную проблему. Ведь не секрет, что текучесть кадров на комбинате — страшный бич. Откровенно говоря, будь я на месте корреспондента, обязательно бы выступил повторно и рассказал именно о сегодняшнем собрании...

...Что-то яркое ослепляет глаза. Я вскрикиваю и просыпаюсь.

В окно бьет утреннее солнце, его невидимые щупальца обжигают меня.

Я лежу на кровати. Неужели это был сон? Да, мне все приснилось до мельчайших деталей. А ведь собрание состоялось неделю назад. Неужели события превращались в моем мозгу все семь дней и ночей в единый сгусток, как в большую опухоль, разорвавшуюся этой ночью?

Ужасно болит голова. Хочется долго, весь день лежать под лучами солнца.

Нежиться на солнце и губить день? Я не могу себе позволить этого.

6

На работе меня ожидает «сюрприз».

На столе поверх кипы корреспонденции лежит ответ дирекции комбината на мою статью. В левом уголке рукою редактора выведено: «Прошу разобраться и доложить». Я догадываюсь о его содержании. И все-таки читаю: «...Факты, указанные в статье, подтвердились. Однако руководство комбината считает, что она носит дезорганизующий характер, подрывая авторитет руководителей цеха, дискредитируя их перед всем коллективом...».

Все-таки решились...

К ответу прикреплено скрепкой письмо рабочих комбината, выражающих свое возмущение опубликованной статьей и выступающих в защиту Староверовой и Калюжной.

Я отправляюсь на комбинат. Колесного застаю в кабинете, склонившимся над чертежами. Цель моего визита его несколько удивляет.

— Из-за петиции беспокоитесь? Да плюньте на всю эту историю! Вы сделали свое дело и спасибо. Не реагируйте.

— Вы-то прекрасно понимаете, что петиция сфабрикована. Вы согласны со мной?

Колесный садится на край стола и задумчиво произносит:

— Времени не хватило поговорить с авторами письма. Согласен ли с вами? Почему же нет, согласен.

— Ну и прекрасно! Тогда я попрошу вас вместе со мной расколоть и этот орешек, как председателя комиссии, конечно...

— Можно, почему же нет. Значит, к авторам...

Мы входим в консервный цех, накинув на плечи белые халаты. У конвейера стоят девушки, перебирая кильку и укладывая ее в банки.

— Девушки, кто из вас Крутова?

Синеглазая курносая девушка смотрит на нас с удивлением.

— Вы Крутова?

— Я.

— Та самая, что подписалась под письмом?

— Та самая.

— Которая возмущалась статьей?

— Та самая.

— А вы читали статью?

— Как же! В ней так расписали Староверову и Калюжную! — она прыскает со смеху.

— Смешно?

— Да.

— Значит, за дело расписали?

Крутова молчит. Сосредоточенно перебирает рыбу.

— Вы читали статью, скажите честно?

— Так это все Ольга. Подходит, протягивает лист — распишись, говорит. Я работала. Для чего, говорю. Нужно, говорит. А в чем другом нет нужды, говорю, только, что ли, подписать? Да, говорит, подписать, потому что начальника и мастера нашего цеха расписали в газете. Ну и правильно сделали, говорю, давно пора. А если на их место придут другие, говорит, и будут намного хуже? Посмотрела я на Ольгу — она была какая-то жалкая, уставшая, да и подписала.

— А кто она, Ольга?

— Ольга-то? Бригадир наш.

— Медвежью услугу оказали вы цеху.

— Так я не одна, — Крутова вздыхает, потом внезапно в глазах ее зажигаются искорки смеха.—Что тут было! — снова прыскает со смеху. — Больше ничего не расскажу. Отвлекаете от работы.

— Может, вы нам скажете, где найти Марьям?

— А во-о-он она, в углу...

Марьям оказалась милой старушкой. На морщинистом, с кулачок, лице и в зеленых глазах — выжидание. Она очень плохо понимает меня.

— Не знай, не знай, — качает она головой.

— Но это вы писали? Подпись, подпись. Ну, вот это, — показываю пальцем на старательно выведенные буквы.

— А-а-а... — кивает старушка.

Девушки вокруг смеются.

— Где ей писать и читать, когда она говорить-то не может!! Вот Патя, она может все.

Патя стоит рядом со старушкой, высокая, красивая.

— Все могу, — лукаво улыбается она. — И читать, и писать. Но газету...—с лица ее сходит улыбка. — Газету не читала.

— Как же вы могли опровергнуть статью?

— Да так, подписала и все. Галдели тут все, что оскорбили Староверову и Калюжную. За что оскорбили? Ко мне относились они всегда хорошо. Вот и решила сказать, что я не согласна со статьей, — переждав, подчеркивает: — Я за себя подписалась — не за всех.

Колесный берет меня за локоть.

— Думаю, нам нужно с Ольгой поговорить.

Ольгу мы находим в кабинете председателя местного комитета.

Маленькая девушка, похожая на подростка, с двумя торчащими в стороны косичками, выслушивает нас внимательно, опускает голову и вдруг всхлипывает. Худенькие ее плечи вздрагивают.

— Я во всем виновата, я. Принесла Калюжная письмо и говорит: «В газете всех нас расписали, мы должны постоять за себя, дай подписать всем работницам». Ну, я и пошла по цеху.

— Так и пошла, не прочитав ни письма, ни статьи?

— Не прочитав. Многие отказывались подписывать-

ся. И не подписались. А я только вчера нашла газету.

Ольга перестает всхлипывать, вытирает мокрые щеки ладонью.

— А ты знаешь, о чем говорится в петиции, которую ты разносила? Вот послушай: «...Товарищи Староверова и Калюжная очень любимы нами, рабочими консервного цеха, за чуткость, душевность, теплоту души. Никогда никого из нас не дадут в обиду. А если кому нужна помощь, они всегда рядом. Статья на Староверову и Калюжную — клевета, злопыхательство, и мы знаем, кому она была нужна. Мы, рабочие консервного цеха, требуем от газеты опровержения...» и так далее.

— О-о-о-ой, — плачет опять Ольга. — Что теперь со мной будет, что будет?

— А ничего не будет, просто не надо быть дурой, — говорит Колесный и опускает руку Ольге на плечо. —Ну, перестань, ты же взрослый человек, перестань.

— Как ничего? Они же врут, все врут, а я-то думала...

— Следовало раньше подумать. — Колесный идет к двери, потом останавливается и тихо повторяет: — Ну, перестань, Ольга, перестань.

Я возвращаюсь в редакцию к концу дня. В клубах сизого сигаретного дыма, навалившись на стол, Салман Магомедович читает рабочие полосы. Оторвавшись от них, он внимательно выслушивает меня до конца, уставившись на мой блокнот и попыхивая сигаретой, затем с убийственным спокойствием, тоном, не допускающим возражения, произносит:

— Никаких статей. Довольно неприятностей и нервотрепок.

— Мы не имеем морального права молчать, Салман Магомедович. Тем более, как вы знаете, что не только не приняты меры по статье, но даже взяты под защиту...

— А мне не хочется выслушивать назидания из различных инстанций. Понимаешь, дорогой... — он вздыхает, гасит окурок о пепельницу, потирает пальцы. — Я прекрасно сознаю создавшуюся ситуацию и не хочу наживать неприятности.

Он сознает... Еще бы ему не сознавать! Ведь неприятности для него — как черепахе пожар. Но мне надо расколоть его, и я предлагаю ему ход.

— А если нас поддержит, скажем, горком партии?

Салман Магомедович бросает на меня взгляд, откидывается на спинку стула:

— Ты уверен? — он выдавливает на лице подобие улыбки.

— Ну все-таки, если поддержит?

— Поддержит — выступай, — и он опять углубляется в чтение рабочих полос, навалившись на массивный стол своим маленьким телом.

7

Сердце — атомный реактор. Оно вырабатывает миллиарды киловатт энергии. Миллиарды? Нет, больше, больше... Оно превосходит по мощности все атомные реакторы моей планеты. И те, что еще в перспективе.

Одно человеческое сердце!

Оно часто, очень часто задает мне вопрос: что ты делаешь для людей? И я отвечаю уверенно: борюсь с хапжеством и бюрократизмом, защищаю честного человека и честь его. Пока я буду дышать и пока будет вырабатывать энергию мой небольшой, с кулак, атомный реактор, я буду беречь и воспевать человека, укреплять в нем веру в правду и разум.

Я учу этому и Славу.

Он сидит напротив меня, за своим столом и, я чувствую, следит за движением моей руки, в которой держу ручку, за выражением моего лица. Не терплю, когда так ревниво и болезненно воспринимают правку материала. Скомкав все четыре листа, я бросаю их в корзину.

— Забудь о том, что здесь написано.

— Так я же убил целую неделю! — по-мальчишески повышает голос Слава. — Понимаешь, неделю, а все насмарку... Может, как-нибудь переделали бы?

— Понимаешь, Слава, мы задумали решить большую и важную, государственной важности, проблему. Текучесть кадров на этом заводе — страшный бич. А ты не разобрался в ее причинах.

— Но ведь целую неделю потерял...

— Ты не разобрался в причинах, порождающих текучесть, не сделал своих выводов. Чем же ты можешь помочь предприятию?

— Теперь неудобно на глаза рабочим показываться.

Я улыбаюсь. Все мы начинаем с этого.

— Тебе сейчас легко говорить. Мне каково! Весь труд насмарку, — не сдается Слава.

— Работай неделю, две... Поживи в общежитии, сдружись с коллективом... И принеси хорошую статью.

— Грехи мои тяжкие!.. — вздыхает Слава, достает из ящика блокноты, рассовывает их по карманам, затем вразвалку выходит из кабинета.

Я верю, что Слава напишет статью. Через неделю, две или три, неважно — рано или поздно, но обязательно напишет. И наживет неприятности. В этом никаких сомнений быть не может. Там, где подкопнешь рутину, бюрократизм или невежество, обязательно просыпается болезненное самолюбие, неверное понимание чести мундира. Начинается паломничество в редакцию. Звонки в вышестоящие организации... Нет, наша номенклатурная единица никогда не берет под защиту своего работника и не отстаивает честь газеты и ее правоту. Она сталкивает лбами обвинителя с обвиняемым.

Потому я и требую от Славы серьезной, вдумчивой, кропотливой работы, чтобы торжествовала правда. Всегда и при любых обстоятельствах. Этого от меня требует атомный реактор, вырабатывающий миллиарды киловатт энергии, нет, больше, намного больше, чем все атомные реакторы моей планеты и намеченные в перспективе.

Этого требует одно человеческое сердце.

Одно сердце величиной с кулак.

8

Осень дарит нам целый вечер веселья.

Мы сидим за длинным, составленным из доброй дюжины, столом, установленным в середине двора и заваленным яствами.

Свадьба. Слава и Нина решили наконец создать свою семью. Они сидят во главе стола. Он в белой нейлоновой рубашке и галстуке красного цвета, торжественный и гордый, свежевыбритый, красиво причесанный. Нина, с распущенными золотистыми волосами, в белом платье, без фаты, смотрит в мою сторону.

Смотрит на Фахри. Он сидит рядом со мной, уставившись на бутылки, и лишь изредка поглядывает на нас.

— Вот дура, — шепчет он тихо. — Неприлично ведь, сидит с мужем, а глаза пялит... Вот дура...

— А на свидание идти было прилично? — шепчу ему.

— Так все она же! Не смог устоять перед соблазном. Нет, ты посмотри только, как она глядит!..

— Смущает? Хо-хо-хо...

На мой хохот оглядываются. Я прикрываю рот ладонью и опускаю голову.

Сосед мой ерзает на стуле, не выдерживает:

— Кого мы ждем, хотел бы я узнать? Это на торжественных церемониях так ждали высокопоставленных... Времена меняются, а привычки живут...

— Редактора ждем. Он должен разбить бутылку шампанского о нос корабля перед спуском его на воду.

— Здвасте! А без него этот корабль не могут спустить?

— Без него никак нет.

Наконец появляется редактор со свертком. Он проходит на отведенное для него почетное место рядом с женихом и невестой под гул оживления заждавшихся гостей.

— Я приношу тысячи извинений хозяевам дома и гостям, — говорит редактор, разворачивая сверток. — Газета, сами понимаете, не считается ни со временем, ни с такими важными событиями, как наше торжество. Итак, дорогие мои молодожены, дорогие родители молодоженов, уважаемые гости, позвольте от всей души, от всего сердца поздравить вас с рождением еще одной новой семьи на нашей планете, пожелать молодоженам, нашему прекрасному Славе и юной Нине, счастливой долгой жизни и кучу детей, их родителям — крепкого здоровья, а этому дому — частых празднеств. Пусть этот кувшин и бокалы, преподносимые коллективом нашей редакции, всегда стоят на столе у молодоженов с животворным напитком.

Он расставляет на столе серебряный кувшин и бокалы. Гости хлопают. Кто-то кричит: «Горько!».

— Минуточку, друзья, я еще не закончил. Вы все, очевидно, помните, как в ауле Шубурум Хева полюбила горбатого парикмахера Адама. Безусловно, не за

горб его, а за добрую, широкую душу, человечность и теплоту... Пусть любовь Славы и Нины будет такой же сильной, и даже сильнее. Выпьем, друзья, за это!

Гости снова хлопают, смеются, тянутся к бутылкам. Пробки летят вверх и плюхаются в тарелки. Редактор никак не может открыть шампанское. Внезапно пробка вылетает, и пенистая струя заливает его лицо, стекая по белой нейлоновой рубашке. Он растерянно смотрит на хохочущих гостей, хмурит брови, потом, натянуто улыбнувшись, садится.

— Самая лучшая выба — это колбаса, самое лучшее пиво — это водка, — говорит сосед, переправляя в свою тарелку огромный кусок холодца. — А ты что не пьешь? Пей и ешь, нечего стесняться — за все это уплачено.

— Эх, понеслась душа в рай!

— Говько! — вдруг взрывается сосед.

Гости недоуменно смотрят на него, не разобрав слова. Минуту они словно размышляют, потом, как по команде, дружно кричат:

— Горько, горько!..

Слава и Нина целуются.

Я встаю из-за стола, поднимаюсь по ступенькам и выхожу на улицу. Какая здесь удивительная тишина и покой! И бархатная темень. И голубые и зеленые звезды в небе, словно мириады бакенов в океане галактики.

Внизу ухает и стонет море. Его сейчас не видно, лишь рубиновые да сапфировые сигнальные огни то и дело вспыхивает во тьме. Я думаю о Славе. Будет ли он счастлив в этом большом доме, укрытом густым фруктовым садом и буйно разросшимися кустами винограда?..

На улицу выходит Фахри. Увидев меня, он подходит с блаженной улыбкой на лице. Она всегда появляется у него после нескольких выпитых рюмок.

— Ты что... один звезды считаешь?

— Тебя дожидаюсь.

— Я не звездочет, предпочитаю делом заниматься.

— Товарищи, друзья, прошу слова, так, значит, слова прошу, — доносится снизу из-за стола.

— Опять номенклатурная единица, — говорит Фахри. — И кто только покровительствует им? Я бы его за станок поставил, пусть вкалывает... Да и там эта единица начальству в рот будет глядеть. Такова ее природа. Нет, ты скажи, кто его нам подсунул, ведь он ни черта в газетном деле не смыслит!

Фахри исчезает в темноте, потом подходит к калитке:

— Пойдем, Камиль, нас ждут за столом.

Он уходит. Я остаюсь один. Продолжаю думать о Славе. Мне от всей души хочется, чтобы он был счастлив с Ниной. Будет ли он счастлив? По крайней мере, фундамент для этого есть: большой пятикомнатный дом, выходящий окнами на море, двор с фруктовым садом и виноградником и чересчур добрая и благодушная теща.

9

В осенний туманный день меня приглашают на телестудию.

И снова репетиция, в том же кабинете, с тем же режиссером. Я читаю поэму, написанную в незабываемый весенний дождливый вечер, в часы смятения, вызванного неистребимой силой скрипки одинокого старого еврея. Написанную в один присест, залпом, как пьют бокал кисло-сладкого вина, который глушит боль и помогает забыть ее.

Через три дня за круглым столом, глядя прямо в глаз телекамеры, я читаю поэму. После окончания передачи ухожу, не дождавшись именитых и успевших уже стать именитыми молодых поэтов.

На улице холодно. Я поднимаю воротник плаща и бегу к подошедшему автобусу. Какая-то сила заставляет меня обернуться к заветному фонарному столбу. Из тени выходит девушка. Очень знакомая фигурка. Неужели Натали? Я разузнал, что ее нет в городе. Наше заветное место... Кто мог его знать, кроме меня и Натали? Никто. А почему никто? Мало ли в городе молодых... Я не хочу верить миражам. Но как мне недостает Натали, как я соскучился по ее дивному голосу!

Две недели я в командировке. Дышу удивительно чистым и прозрачным воздухом гор, взбираюсь по узким, мощенным булыжником улочкам аулов, подолгу стою над крышами саклей, зачарованный раскрывающейся передо мною неповторимой красотой суро-

вой природы. Внизу, над мрачным ущельем, над застрявшей в теснине извилистой лентой горной реки, огромными снежными сугробами лежит туман. А над ним — ослепительное солнце и излучающая удивительное сияние белоснежная гряда гор. И тишина. И мне некому дарить эту дикую, неповторимую красоту.

10

В дверь кабинета раздается осторожный стук. Не отрываясь от работы, приглашаю войти. Слышу скрип медленно отворяемой двери.

— Камиль, можно тебя на минуточку?

В коридоре Натали.

Несколько секунд я стою не шелохнувшись и, кажется, не дышу. Потом подхожу к ней и, не говоря ни слова, за руку веду в кабинет, усаживаю за стол Славы — он в командировке.

Я не могу ничего произнести. Словно лишился дара речи. Натали смотрит мне в глаза и говорит:

— Я пришла к тебе с просьбой... устроить меня на работу.

— Устроить на работу? Ты же работала на телестудии...

Она молчит.

— Не хочу оставаться в городе.

— Почему? Что произошло, Натали? Ты можешь мне объяснить?

Я прячу стопки бумаг в ящик стола, надеваю плащ, и мы выходим.

Холодно. Моросит дождь.

— Я искал тебя, Натали...

Я не спрашиваю, где она была, куда внезапно уезжала.

— Я искал тебя... Мать твоя мне все объяснила...

Я не говорю о том, что знал ее мать задолго до нашего знакомства.

— Тетя... У меня нет мамы.

— Так что же все-таки произошло, Натали?

— Меня хотели выдать замуж... Я убежала, уехала...

— Как — выдать? Насильно, без любви? Я не понимаю тебя, Натали!

— Тете он нравился: денежный, пробивной. Да

и мне понравился, к чему скрывать... Позже я узнала, что он занимался спекуляцией... Он был опытным в этом деле и умело вертел теткой. Потом я познакомилась с тобой...

Натали дрожит, ей холодно. Справа от меня — будки телефонов-автоматов. Та самая будка, та самая... Я увлекаю в нее Натали и обнимаю за плечи, чувствуя, как дрожь бьет все ее тело. Она всхлипывает и склоняет голову мне на плечо.

— Тебе стало теплее, Натали?

— Да, спасибо... Ты помнишь, Камиль, тот вечер? Я помню. Я думала, ты меня презираешь после того поцелуя. А что я сделала плохого? Неужели стыдно выражать свои чувства... — она плачет, тихо, сдержанно, глотая слезы. — Мне потом было очень стыдно...

— Почему же ты не пришла ко мне, Натали? Где ты жила все это время?

— Это уже неважно. Ты устроишь меня на работу, правда?

Я глажу ее волосы, холодные шелковистые волосы.

— Спасибо тебе за поэму, Камиль! Ты пишешь в ней обо мне. Я слушала ее и плакала.

Я гляжу на нее. В каком-то костре сгорели веселые искорки ее глаз, но голос остался тот же, дивный, изумительный...

Я устрою тебя на работу, Натали, в газете гидростроя. Устрою в горах, где строится уникальная ГЭС. И приеду к тебе, обязательно приеду, потому что не могу жить без твоего дивного голоса, Натали. Мне кажется, я не могу жить без тебя.

Все-таки лед тронулся.

...— Ну как же так, ребята, совсем недавно гуляли на вашей свадьбе, а теперь... Один из вас заявляет — тяжело даже произносить, — заявляет, что не терпит другого. Как же так? — Салман Магомедович переводит утомленный взгляд с Нины на Славу и, беззаботно вздохнув, повторяет: — Как же так?

— Я уже объяснил, Салман Магомедович, так жить вместе больше нельзя. Нина совсем не ухаживает за мной, не стирает, не гладит, не готовит поесть, комнату не убирает. Часть обязанностей домашней хозяйки возложена на меня, часть на мою... ну, на тещу.

— Вот-вот, видите, как он небрежен! — Нина подпрыгивает с места, рассыпав по плечам волосы. — Он даже не хочет назвать мою маму по имени и отчеству,

нет, не может. А что она плохого ему сделала? Ухаживает за ним, любит, как... — Она подносит платок ко рту и плачет.

— Ну-ка, друзья, давайте без воды. Мы тут полчаса слушаем, а в толк не возьмем: из-за чего вы взбеленились? — Фахри говорит, не глядя ни на кого, опустив голову. — И, вообще, я думаю, что нет причины, то есть серьезной причины, для разбирательства ваших отношений с целью сохранения вашей семейной целостности, как выразился наш председатель месткома.

Он едва успевает закончить свою мысль, как Слава вскакивает, словно ужаленный:

— Нет серьезной причины? А брошенные так мило мне в лицо обвинения? Вот сейчас, при вас, относительно имени и отчества моей тещи? Это, значит, несерьезно? Так знайте, что весь сыр-бор из-за тещи и разгорается!

— Замолчи, не смей так говорить о маме! — взрывается Нина.

— Сколько раз я предлагал перейти на частную квартиру. Никто не станет вмешиваться в нашу семейную жизнь, не станет поучать и подучивать. А ей так, видите ли, тяжело будет. С хозяйством надо соприкоснуться. Конечно, легче лежать на диване и разглядывать свои ноготочки...

— Как ты можешь, как ты можешь такую грязь бросать в лицо своей жене... в присутствии... Как же... — Нина закрывает лицо руками и судорожно плачет.

Наступает неловкое молчание. Редактор сидит, плотно зажав уши ладонями. Фахри глядит на меня, потом переводит взгляд на Нину, морщится, словно от неприятной боли. Председатель месткома кряхтит, покашливает, потом неуверенно говорит:

— Вся эта история, друзья, выеденного яйца не стоит. У вас же нет совершенно причин на подобные... сцены. Что-то выдумываете, высасываете из пальца, озлобляете себя, а оба такие красивые, молодые.

Да, Нина и в самом деле красива. Год замужества сделал ее очень интересной молодой женщиной. Я гляжу в ее лицо, и вдруг перед глазами всплывает образ Натали. Натали? Каждая строчка ее письма — это тончайший нерв, каждое слово — голос сердца и сердца доброго, чувствительного, впечатлительного и щедрого. Натали! Пусть она не такая красивая,

изящная, броская... Но разве ее можно сравнить с Ниной? Она не сравнима ни с кем, она просто Натали, прелестная Натали, чарующий голос которой мне приятен и дорог.

Собрание заканчивается. Ребята высказывают Славе и Нине пожелание жить в мире и дружбе, не обращать внимания на мелочи жизни и со вздохом облегчения выходят в коридор.

Я подхожу к редактору.

— Салман Магомедович, разрешите мне выехать в командировку, на строительство ГЭС?

— В командировку? Пожалуйста. Куда? — он поднимает голову и глядит на меня, не мигая. — Ты же на прошлой неделе ездил на ГЭС?

— На позапрошлой...

— Неважно. Мы не можем каждую неделю посылать своих работников на ГЭС. На другой объект — пожалуйста. Куда угодно, только не на ГЭС.

— Салман Магомедович, мне нужно ехать на стройку... Заодно подготовлю разворот, если нужно — номер...

— Используешь служебное положение? Нечестно, ты же принципиальный журналист.

— Салман Магомедович, мне нужно ехать, понимаете, нужно...

Я смотрю в его зеленые непроницаемые глаза.

Неужели я должен поведать ему о цели своей поездки? Поймет ли? Нет, этого он от меня не узнает никогда.

— Салман Магомедович, я прошу вас...

— До-ро-гой мой, — устало расчленяет он слова.— Если уж очень нужно...

Я с надеждой смотрю на него.

— Если очень нужно, посылай Славу.

— Салман Магомедович, я еще раз убедительно прошу вас...

— Нет, нет и нет, — резко повышает он голос.

— Тогда мне придется уйти из редакции.

— Уходи. Подожди-ка... Как уйти, куда? — удивляется он, и впервые за долгие годы нашей совместной работы я слышу в его голосе нотки растерянности. — Что с тобой происходит? Ты в здравом уме? Как уйти?

— Написать заявление по собственному желанию.

— Как хочешь, — он снова спокойно и безучастно

глядит на меня. — Как хочешь. Решай сам.

Он не удерживает меня. Может, даже и рад в душе, избавляясь от неуемного журналиста.

Вслед за мной в коридор выходит ответственный секретарь.

— Камиль, подожди... — он нервно курит, опустив голову. — Я тебя не спрашиваю, почему ты уходишь из редакции. Очевидно, тебе надо быть там, и ты иначе не можешь поступить. Поверь мне, Камиль, я ничего не хочу знать о том, что тебя связывает со стройкой, хотя, признаюсь, что-то и предполагаю... Я тебе желаю только добра и удачи. Но если решишь возвратиться — не навечно же едешь, — то только в свою газету. Слышишь? Она будет ждать тебя.

— И опять работать на ежа, Гриша? Он же не смыслит в нашем деле ни черта!

Гриша поднимает на меня большие карие глаза.

— На какого ежа?

И вдруг заразительно смеется.

— Камиль, ты же прекрасно понимаешь, что никто из нас не работает ни на ежа, ни для ежа... Ну, счастливого тебе пути! И удачи. И помни: мы будем тебя ждать.

Он протягивает мне руку. Я крепко пожимаю ее.

— Спасибо, Гриша!

Одна только любовь

Ведь если я гореть не буду,
И если ты гореть не будешь,
И если мы гореть не будем,
Так кто же здесь рассеет тьму?

Назым Хикмет

1

На автобусной остановке суета, галдеж, гортанные возгласы.

Площадь завалена мешками, чемоданами, бидонами, сумками, на которых сидят черноусые и седоусые мужчины в мохнатых шапках и женщины в накинутых на голову белоснежных бязевых платках, свисающих за спиной до земли.

Из узкой улочки осторожно выкатывается автобус, и вокруг него сразу же смыкается плотная толпа пассажиров. Шофер спрыгивает на землю и отталкивает напирающих:

— Что тычетесь лбами, как бараны? Эй, папаха, отойди от автобуса, испачкаешь машину! Куда лезешь в окно? Сейчас милиционера позову! Ну что за народ! Шайтаны, а не люди...

Я протискиваюсь сквозь толпу к автобусу, подаю шоферу билет, прохожу к своему месту. Пассажиры все уже в сборе.

Шофер, насвистывая, захлопывает дверь, опускается на сиденье, и машина, мерно урча, проползает сквозь толпу, выкатывается на каменный мост и, переваливаясь с боку на бок, тяжело идет по узкой дороге на подъем, выезжая из аула. Слева внизу ревет река.

Пассажиры молчат и, словно соблюдая какой-то таинственный ритуал, не отрываясь глядят в окна.

Шофер оборачивается, окидывает цепким взглядом пассажиров и громко спрашивает:

— Вы мне скажите: что такое женщина? Дикая козочка, которую Аллахом велено приручать мужчине.

Автобус стремится распутать клубок дороги, который, извиваясь, убегает за скалы. Под ними стынут густые белые облака, словно снежные сугробы.

Привстав с сиденья, пожилой мужчина склоняется к шоферу:

— Друг, зачем ты оборачиваешься? Смотри на дорогу, пожалуйста. Только на дорогу.

Шофер окидывает его внимательным взглядом:

— Ну так как же? Прав я?

— Прав, — раздается голос с заднего сиденья, — женщину следует держать под палкой. Тогда она станет покорной и послушной.

По автобусу перекатывается ропот. Потом сразу зашумели женщины:

— Наглец! Кто тебя выкормил, вынянчил, вырастил? Не женщина ли? Кто над колыбелью ночами не спал? А ты о палке заговорил? Ты ее и своей матери приготовил?

— Вы мою мать не трогайте.

— Твоя мать — женщина. Все женщины — матери. У всех у них — дети. Если бы мой сын такое сказал, своими руками задушила бы.

— Так, по-вашему, я не должен иметь своего мнения?..

Мнение... Безусловно, каждый должен иметь свое мнение, но они часто бывают разные — и верные, и ошибочные. И тем не менее, каждый считает, что именно его мнение безошибочное и единственно верное.

Я вспоминаю недавнего собеседника на автобусной остановке, его злой взгляд и жесткие слова. В осуществлении своей цели этот человек не остановится ни перед чем. Способен ли он бороться за правду, творить добро на земле — не знаю, меня волнует и беспокоит уже не этот вопрос, а то, что он может причинить горе другому человеку, оскорбить его лучшие, светлые чувства, развеять мечты в пыль и прах.

Резкий толчок прерывает мои мысли.

Автобус сворачивает за скалу, в полосу тени, и внезапно перед моим взором возникают глаза, дерзкие и злые.

— Слышал, наших невест приехал отбивать? Не боишься, осилишь?

Я читаю это в его глазах.

— Думаю, осилю.

— Осилишь... Через месяц приглашу тебя на свадьбу...

Я прошу водителя остановить автобус и спрыгиваю на дорогу. Он вопросительно смотрит на меня:

— Долго?

— Езжай дальше.

— А ты?

Пассажиры, прильнув к окнам, глядят на меня с удивлением.

— Езжай, я не закончил дела.

Да, дело не доведено до конца! Я должен вернуться.

Автобус, недовольно урча, уходит по каменистой дороге, поднимая белую пыль. Далеко внизу, рассеченный рекой, лежит аул.

2

Поднимаемся по крутой и узкой каменистой улочке. Пахнет дымом и хлевом. Ничто не нарушает полуденной тишины: ни кудахтанье кур, ни блеянье овец, ни

голоса детей. Только псы, большие и злые, некоторое время сопровождают нас яростным лаем, затем отстают, ложатся на прогретые камни, продолжая зорко глядеть нам вслед.

Впереди ссутулившись идет директор школы, замыкает шествие Наби, секретарь райкома комсомола. После четырехчасового жаркого разговора о причинах ухода девочек из школы, состоявшегося в присутствии учителей, мы решили посетить одну из учениц.

Директор останавливается у низких, старых, выцветших ворот, тяжело дыша, вытирает пот с лица большим розовым платком:

— Астапируллах! Пришли наконец... Куда их шайтан загнал...

Маленький дворик чисто выметен, на открытой веранде второго этажа дома, плотно закутавшись в тулуп, сидит старец. Закрыв глаза, он нежится на солнце, покачивая головой.

— Ассалам алейкум, Ибрагим-уста,— приветствует его директор школы. — Как ты себя чувствуешь?

Тот открывает один глаз, жмурится.

— А-а-а, это ты! Ваалейкум салам. Веди гостей в дом, дочь сейчас придет. Идите в комнату, мое дело старческое — греть кости.

Мы поднимаемся по шатким деревянным ступенькам на веранду, проходим в комнату. Здесь полутемно и прохладно.

— Ну что вы за гости, — ворчит завуч. — Пообедали бы, чаем согрелись бы. Что вас так гнало сюда — не пойму. Обидели вы меня, сильно обидели...

— В следующий раз мы и на ночь останемся у вас, не только на обед, — говорит Наби, посмеиваясь.

— Следующего раза не будет. Поверьте мне, не будет... Думаете, гостеприимство хозяина наложит обязанности на гостя? Чудаки! Допустим, виноват я, проглядел. Точно, проглядел. Что я могу предпринять, если сватовство стало дурацкой традицией?

Удивительно приятный человек этот горец, директор школы. Он расположил к себе с первой минуты встречи, с первой фразы:

— Гости пожаловали! Хороший гость — подарок Аллаха, — он шел навстречу, улыбаясь серыми глазами и протянув обе руки.

— Не из верующих ли вы? — обратился я к нему шутливым тоном.

— Убежденный безбожник! — он решительно покачал головой. — Аллах у многих на устах, как... Ну, одним словом, стал предметом обихода, что ли...

Потом мы сидели в учительской, из окон которой была видна спокойная река.

— Вы завтракали? — неожиданно резко спросил директор.

— Спасибо, сыты.

— В такую рань где вы могли поесть? Сейчас же пойдем ко мне домой.

— Мы и вправду сыты.

— Но так нельзя! Вы мои гости! — удрученно произнес директор.

— В гости мы к вам специально придем, даже если не пригласите. А сейчас у нас серьезное дело.

— Какое?

— Женское.

— Женское? — он удивленно вскинул густые брови и настороженно глянул на меня, но, узнав о цели приезда, громко расхохотался: — Откуда у вас такие мифические сведения? Это плод вашей богатой фантазии.

— Я буду рад, если сигналы не подтвердятся.

— Конечно, не должны подтвердиться... А вообще, дорогие товарищи, в ауле мало, очень мало девушек. Не ездить же за ними в другую республику?!

Я расхохотался.

— Поистине великая трагедия. Сватайте, но дайте им возможность окончить среднюю школу, техникум, институт.

Директор с отчаянием махнул одной рукой, затем другой, словно отгоняя назойливую муху.

— Апшинские женихи боятся, как бы не получить потом от ворот поворот. Окончит девочка десятилетку — поумнеет, институт окончит — вдвое умна да самостоятельна...

— Щекотливая ситуация создалась у вас!

— Еще какая! — директор с надеждой смотрит на меня. — Я бы сказал, анекдотичная. Если узнают в других районах, на смех поднимут нас, честное слово.

Наби хохочет:

— На самом деле — анекдотичная ситуация.

— Ты бы уж не смеялся, — обращается к нему директор. — Чем ты помог мне?

Наби вытирает ладонью выступившие от смеха слезы и сочувственно вздыхает:

— Ничем...

В комнату, тяжело дыша, входит хозяйка. Поздоровавшись со всеми, она садится на стул, положив руки на колени, и что-то долго говорит на родном языке, изредка поглядывая в мою сторону. Наби что-то объясняет ей, жестикулирует, затем обращается ко мне:

— Говорит, что она не против учебы дочери, сама мечтала дать ей образование.

— Почему же Сакинат не ходит в школу, ведь сватовство не мешает учебе?

— Она и это объяснила. Сакинат наотрез отказалась...

Наби и директор шумно спорят, затем хозяйка громко и протяжно зовет:

— Саакиииинаат... Сааакиинаат...

Порог комнаты осторожно переступает девочка лет пятнадцати-шестнадцати и подходит к матери. Она удивительно красива — и лицом, и походкой, и фигурой. Опустив голову, Сакинат перебирает пальцами кисти цветастого платка, слушает Наби и директора школы, потом, глянув на меня, говорит на чистом русском языке:

— Я не пойду в школу.

— Ты же отличница, Сакинат. Неужели у тебя нет цели в жизни, кроме как ухаживать за мужем и растить детей?

— Они преследуют меня... — Сакинат плачет, отвернувшись в сторону. — Каждый день он ждал меня на улице, после уроков... брат учителя физкультуры... я отказывала. Потом они стали вместе ходить к маме. И мама отказывала... Потом стали ставить мне двойки, сначала учитель физкультуры, потом математики...

Директор опускает голову.

— Как ни отвечу — двойка... — продолжает Сакинат. — Потом принесли кольцо. Мама уступила...

— Но ты хочешь учиться?

— Я мечтала стать врачом... — Сакинат всхлипывает.

— Ты будешь учиться, Сакинат. И подруги твои будут учиться. Мы вам поможем.

Я выхожу на веранду.

Старец, закрыв глаза, греется в лучах солнца. Он похож на орла, сложившего крылья и думающего мудрую думу.

3

Мы выезжаем из аула на исходе дня.

Мотоцикл, управляемый Наби, с бешеной скоростью и с упрямством разгоряченного быка мчится по каменистой дороге. На девятом километре машина резко сворачивает на еле приметную тропу, извивающуюся вдоль мелководной бурной реки.

— Решил сократить путь?

Я сегодня порядком устал от проверок и разговоров, от рева мотора, голова из мыслительного центра превратилась в чугунную бабу, и безумно хочется отдыха и покоя.

— Завернем в заповедник? — до меня не сразу доходят слова Наби. — Покажу тебе природу в ее первозданном виде, гордость и богатство наше.

— Мне кажется, Наби, что в первозданном виде сейчас ничто не сохранилось... Где-нибудь, на чем-нибудь да заметна рука человека. Человек по своей натуре добр и щедр, понимает и тонко чувствует красоту, но вот беда: пытаясь приспособить ее для себя, он, не желая этого, нарушает равновесие сил в природе.

— Разве этого до нас с тобой не было?

— Не знаю. По-моему, не в такой степени. Я прихожу к мысли, что цивилизация требует больших жертв от природы.

— Тебе надо меньше думать. С утра ты выясняешь проблему взаимоотношения отцов и детей, к концу дня озадачен деградацией природы, как говорят ученые, — так и до полного облысения дойти нетрудно.

Я собираюсь возразить ему и не успеваю. С пригорка перед нами открывается изумительная картина природы. Огромное озеро сверкает своим холодным оком, окруженное темным сосновым лесом, уходящим в горы.

Мы вырываемся из каменного мешка в царство величественного леса. Новый мир, новые краски и звуки, новый воздух, под крепкими деревьями удивительно свежо и покойно, и уже кажется, что я давно в этом лесу, давно вдыхаю ароматный хвойный воздух, присущий только сосновому лесу, и не было пять минут назад каменных гор, раскаленных беспощадным солнцем.

— Нравится наш заповедник? — В голосе Наби звучит нескрываемая гордость.

— Сказка!

Наби, виртуозно лавируя, ведет машину меж могучих стволов сосен и останавливает у пологого берега озера. Я быстро сбрасываю с себя запыленную одежду, с разбегу ныряю в воду и, чуть не захлебнувшись, выплываю на поверхность, неистово двигаю руками и ногами. Студеная вода прошивает меня иглой от пяток до головы. Согревшись в движении, я переворачиваюсь на спину и, положив под голову руки, гляжу в чистое небо. Неописуемое блаженство охватывает меня. Устоявшуюся тишину разрезает тревожный крик: «Мурад! Мурад!» Я осматриваюсь вокруг: ни тонущих, ни балующихся. Ни души. Внезапно где-то слева раздается глухой взрыв, и снова крик, уже гневный и требовательный: «Мурад!» Кролем плыву к берегу, выскакиваю, ориентируясь на взрыв, и только отрываю ногу от земли, как из зарослей сбоку с хрустом и тяжелым дыханием на меня налетает что-то большое и темное и сбивает с ног...

Я открываю глаза.

Надо мной, зацепившись за игольчатые ветви сосен, висит небо, словно купол парашюта. И стройные высокие стволы вокруг словно мачты. И причудливые тени.

— Проснулся! — радостно, с виноватой улыбкой говорит Наби, сидящий на траве у моего изголовья. Ну и напугал ты нас!

— А меня кто напугал, хотел бы я знать? — меня слегка мутит, и в теле какая-то слабость.

— Не хватит ли любопытства, парень? — Наби тяжело поднимается, выпрямляя затекшие ноги. — Вставай, довольно отлеживаться.

— Нечестивец, сын шайтана! Опозорил меня и человека чуть калекой не сделал, ах, сволочь...

Этот хриплый, тихий голос доносится откуда-то сбоку, из-за деревьев. Вопросительно гляжу на Наби.

— Наш лесничий. Ты, наверное, слышал крик «Мурад!» Должен был слышать. Это он и кричал своему сыну, который с испугу, удирая от отца, сбил тебя.

— Ничего не пойму. Кто этот мужчина и кто лесничий? И вообще объясни толком.

— Яснее и Аллах не объяснит. Повторяю, а ты слушай внимательно. Лесничий гонялся за сыном-браконьером, тот, удирая от отца, напоролся на тебя и сбил с ног. А теперь иди искупайся и одевайся, свежо становится.

Только теперь я понимаю, какая «драма», а вернее, трагикомедия произошла на живописном озере. Следуя совету Наби, я окунаюсь несколько раз в воду, одеваюсь и присаживаюсь к костру, который развел лесничий. Он никак не успокоится. Собирая дрова для костра, все бормочет:

— Ах, нечестивец, ах, сын шайтана, опозорил мою седую голову, ах, нечестивец!

Наконец он присаживается рядом, засовывает в рот массивную трубку, не мигая смотрит в костер, потом тихо произносит:

— Ты прости, сынок, что так нехорошо получилось... Самый младший он у меня, шестой, непутевый вышел, но я его проучу. Под суд отдам подлеца.

— Стоит ли, отец! Случилось и прошло, не преднамеренно ведь.

Не вынимая трубки изо рта, он выпускает несколько синеватых колец дыма и, продолжая глядеть в огонь, произносит:

— Не из-за тебя... Браконьерничает нечестивец, не слушается ни меня, ни братьев. То джейрана бьет, то рыбу глушит, честь семьи и рода позорит. Обязательно отдам под суд подлеца.

Он сидит скрестив ноги, суровый и мрачный. Лицо его обрамлено серебристой бородою, в больших глазах пляшут рыжие блики костра, тяжелые руки, напоминающие кору многовековых стволов, лежат на коленях.

Не хочется ни говорить, ни думать. Только слушать. Слушать шепот леса, плеск воды и хриплый голос старика.

Далеко, на щеке горы, замечаю гнездо. Неужели это сакля? Одинокая, заброшенная... Или в ней еще живут?

Старик тепло улыбается, и с его лица мгновенно исчезает суровость.

— Острый глаз у тебя, точно подметил — сакля. Жили в ней люди, когда-то жили, теперь забросили,

забыли, — он попыхивает трубкой, потом спрашивает — Ты бывал в сакле, в самой сакле жил?

— Бывать приходилось, но не жил.

— Да, конечно, сейчас почти все строят дома — времена другие, лучшие наступили. У меня тоже свой дом. А у отца моего была сакля. Я помню ее, хорошо помню. Сакля — это как отцы, которые уходят навечно... — старик подбрасывает в костер дрова, и в воздух с треском взлетают искры. — Сакли — это как отцы... Послушай, я тебе поведаю одну историю. Ты не устал еще от моей болтовни?

— Нет, отец.

Он вынимает изо рта трубку и рассказывает удивительную историю. Потом ложится набок и снова попыхивает трубкой. Вскоре слышится ровный мягкий храп: спит Наби. А я не могу уснуть. Рассказ старика взволновал меня, и я снова вспоминаю его до мельчайших подробностей. Я снова вспоминаю его...

4

— Стало быть, ты мой сын? — спросил он с иронией.

— Да, отец, я сын твой Аслан.

— Да сохранит Аллах моего единственного наследника! Стало быть, ты знаешь, что я выгнал твою мать, когда тебя еще не было на свете?

— Да, отец, я знаю, что ты выгнал мою мать.

— Стало быть, ты знаешь и о том, что я выгонял своих жен, узнав, что они задумали иметь ребенка?

— Да, отец, и о том я знаю.

— О великий Аллах, воистину твои пути неисповедимы! — проговорил он, подняв к небу глаза, и умолк.

Далеко внизу ревела река. Они сидели на ветхом бревенчатом балконе сакли, прилепившейся к высокой отвесной скале. Алибек, осторожно прислонившись к перилам, смотрел выгоревшими, некогда красивыми, большими глазами на плотного, крепкого мужчину, сидевшего напротив, и узнавал в нем свои черты, самого себя. И в карих глазах, и в крупном, с горбинкой, носе, и в крепком квадратном подбородке, и в статной фигуре, и в огромных ручищах... Ему стало холодно. Он плотнее запахнулся в белый тулуп с длинными рукавами и сомкнул веки. Сорок лет про-

шло с того дня, когда он выгнал мать сидевшего напротив него мужчины. Обливаясь слезами, без единого слова она ушла из сакли по узкой каменистой тропе. И больше он о ней ничего не знал, да и не пытался узнать. Через месяц в саклю пришла другая. Потом ушла и она, и ее сменила следующая. Сколько их было? Он не помнил, и имена их не остались в памяти.

— Но как ты нашел меня?

— Мать, умирая, поведала, где ты живешь. Просила не оставлять одного.

— Мир праху ее, — Алибек открыл глаза, окинул взглядом мужчину, и что-то далекое, юное напомнило ему лицо его. Но тут же в выгоревших глазах вдруг встревоженно и испуганно блеснули рыжие искорки.

— А зачем я тебе нужен?

Мужчина улыбнулся полными женскими губами — опять припомнилось Алибеку что-то далекое — и тихо сказал:

— Дети рождаются, чтобы стать опорой отцу и матери в старости...

— И проводить их на тот свет? — перебил его Алибек.

— Да, и для того, чтобы проводить на тот свет с почестями и уважением.

— Ты для того и пришел ко мне?

— Не к тебе, отец, а за тобой.

Осеннее солнце ушло куда-то за саклю, и горы отбрасывали резкие холодные тени.

Воздух свежел. Мужчина неотрывно смотрел на могучего старика.

— Отец, неужели тебя не тянет к людям?

— К людям? Сейчас? — Алибек горько улыбнулся. — Я и в молодости чуждался их.

— Но почему, отец?

Глаза Алибека вспыхнули рыжим огнем и погасли. Мужчине показалось, что они стали пепельного цвета.

— Слушай, я уже и так потерял счет годам, может, проживу еще не более десятка, а кто я, чей я, никто не знает, да, да, даже жены не знали.

— Может, ты и прав, отец, отчасти, но я знаю.

— Стало быть, знаешь? — метнул острый взгляд Алибек, затем на его губы легла усмешка.

Он замолчал. С закрытыми глазами он был похож на каменное изваяние, высеченное искусной рукой. От него веяло холодом. Мужчина поежился.

— Знаю, что твой отец был жестоким беком и ты ушел от него, отрекся...

— Так слушай... Мой отец был бек, жестокий и богатый бек, ты прав. Я был его единственным сыном и должен был унаследовать власть и богатство. Но помешал ваш большой бунт. Все перемешалось, нельзя было понять ни друзей, ни врагов. Мой отец — мир его праху — не одну жизнь загубил. А я не мог, меня мутило от одного вида крови. Да и чувствовал, что кончилось время беков. И однажды, украв коня и маленький фамильный хурджин, я ушел. Заявил, что отрекся от отца. Мне предстояло жить, и я забрался сюда, в этот богом забытый угол. К людям старался не ходить, между нами была пропасть. Я не хотел продолжать свой род от простолюдинов, а знатных найти не мог. Бунт ваш все выровнял... Так ты говоришь, что пришел за мной? — Алибек разомкнул веки и медленно глянул в сторону холодных теней. — Пришел за мной... за мной... Я бы хотел лежать в могиле рядом со своими предками. Очень хотел бы. Но думать о смерти еще рано. Надо жить...

— Вот я потому и пришел, отец... — мужчина запнулся, поймав насмешливый, уничтожающий взгляд старца.

— Эта сакля — мой мир, эти горы — мое богатство, эта река — мой вечный собеседник, и Аллах надо мной и в моих мыслях, а ты пришел за мной. Может, ты хочешь смерти моей?

В пепельных глазах Алибека снова внезапно блеснул и тут же погас огонек.

Мужчина встал.

— Как ты можешь произносить такое, отец, ведь я же твой сын, в моих жилах течет твоя кровь...

— Да, я вижу, что ты мое семя, я вижу, — проговорил тихо и задумчиво Алибек. — Но ты так же далек от меня своими мыслями и взглядами на жизнь, как я — от простолюдинов. Не спорь, сын, я-то в этом больше разбираюсь. Человеком руководит не голос крови, а среда, в которой он воспитывался. Вот ты, разве ты можешь постоять за идеи деда и отца? Тебе ближе твое окружение, вырастившее тебя по подобию своему. Так что тебя связывает со мной, что привело тебя ко мне — уразуметь не могу.

— Мне от тебя ничего не надо, отец, и я к тебе, скажу честно, не явился бы. Я выполняю последний на-

каз матери, любившей тебя до последнего дня своего, до последнего часа. Прости меня, если я причинил тебе боль. Близка ночь, ты не позволишь мне лечь спать в каком-нибудь углу своей сакли?

Мужчине больше не хотелось говорить. Тяжелый, мрачный характер старика наводил тоску.

— Моя сакля... Разве я сумел бы построить такую саклю! — вздохнул Алибек, покачивая головой. — Ее хозяином был бек... Бросился вниз, спасаясь от простолюдинов. Удалось ли ему выплыть, не знаю, река уступает в единоборстве только смелым и молодым мужчинам, а он был стар и хрупок, как соломинка. Стало быть, так, сын мой. А ты иди спать на веранду, что выходит во двор. Там безопасно. Постель возьми в комнате.

Алибек остался один. Он долго смотрел на серые остывающие горы, на кусок испепелившегося неба, потом внезапно, словно сбросив с себя какое-то наваждение, встал и быстро пошел в боковую, маленькую и темную, комнату. Пройдя в угол, к большому сундуку, он зазвенел ключами, отомкнув замок, поднял тяжелую крышку, вытащил хурджин и, взвалив на плечо, вышел на балкон. Усевшись на свое прежнее место, он бросил быстрый и внимательный взгляд в сторону дверей, затем запустил широкую, тяжелую руку в хурджин, порывшись где-то на дне, вытащил ее и разжал кулак. На ладони засверкали, заискрились, заполыхали холодными огоньками драгоценные камни. Синие, голубые, зеленые, красные осколки вспыхивали, переливались, мигали и леденили душу, как далекие, неизвестные, загадочные звезды. Острые, как лезвие, лучики врезались в глаза, остужали сердце и леденили мозг.

Вдруг Алибек вздрогнул, сжал ладонь в кулак и поднял недовольные, настороженные глаза. Из комнаты выходил сын. Мужчина сел на дощатый пол балкона и тихо сказал:

— Не спится, отец...

— Не спится, говоришь... — Алибек снисходительно улыбнулся. — Сижу я здесь и думаю, сын мой: что побудило тебя прийти ко мне? Да, ты, кажется, сказал, что такова была последняя воля матери твоей. Может быть и так. А может, ты польстился на эти камешки?— Алибек разжал кулак, и на его ладони снова вспыхнули сотни осколков звезд.

Мужчина долго, не отрываясь, глядел на волшебное свечение с ладони старика, потом произнес:

— Эти камешки для меня ничего не значат, отец.

Зачем богатство нам, когда оно
Ценой насилья приобретено?

Алибек поднял на него глаза, в них было изумление и вопрос.

— Много столетий назад, сын мой, мудрец высказал замечательную мысль:

И злейший враг к тебе придет, как брат,
Приняв в расчет, что ты теперь богат.

— Эти слова тоже принадлежат мудрецу, отец, — спокойно ответил мужчина, задумался, словно что-то припоминая, и прочитал:

Гарун погиб, хоть золотой дворец
Воздвиг при жизни, чем себя прославил.
Навечно жив Ануширван-мудрец,
Он миру память добрую оставил.

Алибек пристально посмотрел на мужчину, потом тихо сказал:

Напрасно волк со львом тягаться тщится,
Глуп воробей, летящий вслед орлице.

Успокоенный, он закрыл глаза, не надеясь услышать ответ, но ответ последовал, тихий и убеждающий:

Всю реку унести ты не надейся, —
Хотя бы всласть ее воды напейся.

— Тебя не прельщают ни богатства, ни знатность... — Алибек горько улыбнулся уголками рта. — Так в чем же ты видишь вкус и смысл жизни?

— Об этом мы поговорим завтра, — сказал мужчина, тяжело вставая.

— Не подходи ко мне! — вдруг встрепенулся Алибек, подняв на него настороженные глаза, и, хотя тот испуганно опустился на прежнее место, он еще громче повторил: — Не смей приближаться!..

Схватив одной рукой хурджин, Алибек перекинул его ближе к перилам. Брошенный с силой тяжелый хурджин перевалился через балкон. Алибек попытался удержать его, но, увлекаемый тяжестью, упал на перила, они хрустнули под его телом, как хрупкие кости. Из горла Алибека вырвался вопль. В доли секунды мужчина, сидевший, как пригвожденный, вскочил, метнулся к старику, схватил его за руку, но, увлекаемый страшной силой, сорвался вслед за Алибеком в пропасть.

Далеко внизу, под холодной и одинокой саклей, прилепившейся к вершине горы, как гнездо орла, ревела река. Разбухшая от непрерывных дождей и от стекавших в нее студеных вод речек и родников, она тяжело и величаво несла свое тугое тело между отполированными стенами скалистых гор, сметая на пути все слабое и хрупкое. Она уступала в единоборстве только смелым и молодым мужчинам.

5

На плоских крышах каменных домов, рядом с цветастыми, яркими паласами и коврами, на которых нежатся дети, сушатся курага, кукурузные початки и чуть поодаль кизяк. В маленьких, чисто выметенных дворах копошатся куры и цыплята. За каменным мостом, где течение слабое и вода заливает пологие берега, лежат ленивые буйволы. Бурная река рассекает аул на две равные доли, на два амфитеатра. Кривые улочки сбегают вниз к площади, через которую проезжают машины.

Вокруг селения молчаливо и сурово сомкнулись холодные горы.

Я сижу в кабинете секретаря райкома партии.

Она часто записывает в тетрадь, очевидно, кое-какие данные из моего сообщения, затем с акцентом, нараспев произносит:

— Не может этого быть, товарищ Гайдаров. Как же получается: мы живём здесь, в районе, и не знаем о том, что происходит у нас под боком, а вы приезжаете из Махачкалы и раскрываете нам глаза...

Я вспоминаю, как Наби, секретарь райкома комсомола, на обратном пути из аула Апши уверял меня, что Аминат Гасановна не захочет поверить ни единому

моему слову. Не любит, когда обнаруживают недостатки в районе, сказал он. Наби оказался прав.

— Что значит — сватать школьниц? Нет, сынок, тут что-то не так...

— Конечно, ситуация щекотливая, Аминат Гасановна, но факты налицо.

— Какая еще ситуация? Любите вы иногда, журналисты, цыпленка представить буйволом.

Целых полчаса я подробно рассказывал ей о причинах и результатах моей поездки в аул Апши. Она внимательно, не перебивая, слушала... Выслушала — и не соглашается.

В просторном кабинете свежо. В окна скребутся ветви высоких деревьев, еще не успевших уронить листву.

Бесшумно отворив обитую кожей дверь, входит с трубкой в руках заведующий отделом пропаганды, сизый дымок поднимается над густой смоляной шевелюрой.

— Сколько вас можно искать, Хасбулат, где вы бываете в рабочее время? Не надо возражений, не надо, мы не для того собрались, чтобы выслушивать ваши возражения, — Аминат Гасановна поднимает предупреждающе руку, строго и хмуро глядит на него, темный цветастый платок спадает ей на плечи, обнажая седые волосы, собранные узлом на затылке. — Что же это получается, Хасбулат, мы живем, ничего не знаем, не видим, а из Махачкалы приезжают и раскрывают нам глаза!

— А что случилось, Аминат Гасановна? — недоуменно спрашивает Хасбулат.

— У нас в Апши сватают школьниц.

— Сватают. Мы занимались этим вопросом, но ничего конкретного предпринять не могли: в ауле девушек не хватает, по пальцам можно пересчитать.

— Как вам не совестно, Хасбулат, в наше время допускать подобные явления, да еще оправдание им находить! Почему не поставили в известность меня?

— Это же старая исто...

— Искоренить, немедленно искоренить! — перебивает Аминат Гасановна. — Как вы могли допустить, Хасбулат! — она устало и безнадежно машет рукой. — Расскажи корреспонденту, какие мероприятия вы проводили в Апши...

Заведующий отделом, словно схватившись за со-

ломинку, быстро и путанно перечисляет лекции, вечера отдыха, концерты агитколлектива...

Я осторожно перебиваю его, желая сократить этот бесконечный перечень:

— А в школе?

— И в школе бываем часто, результаты есть кое-какие... Например... Сейчас трудно вспомнить, но есть.

— Да нет их. О каких результатах может идти речь, когда в десятом классе учатся всего три девочки.

— Не может этого быть! — заявляет Хасбулат тоном, не терпящим возражения. — Совсем недавно совместно с работниками районо мы проверяли учебно-воспитательную работу в Апшинской школе и никакого отсева не выявили.

— Оччень хорошо проверяли! — иронизирует Аминат Гасановна.

Тот, не поняв иронии, подхватывает:

— Да, хорошо проверяли. Может, корреспондента ввели в заблуждение?

— Вы, товарищ Гайдаров, правильно поступили, что зашли ко мне. Может быть, мы что-то и упустили из виду, ведь сколько дел надо решить. Примем все меры. Девочки будут учиться. Только, сынок, в газету писать не надо.

Но разве я могу умолчать об апшинской истории? Разве я могу заглушить голос сердца?

Я выхожу на улицу и спускаюсь вниз, к площади.

Пахнет дымом и хлевом. Ничто не нарушает полуденной тишины: ни кудахтанье кур, ни блеяние овец, ни голоса детей. Только псы, большие и злые, некоторое время сопровождают меня, яростно лая, затем отстают, ложатся на пригретые камни, продолжая зорко глядеть мне в след.

6

Меня окликают.

— Товарищ корреспондент? Здравствуй!

Я оборачиваюсь на голос. Передо мной стоит стройный молодой мужчина.

— Слышал, наших невест приехал отбивать? Не боишься, осилишь? — в глазах его вызов и злость, такая злость, какую мне еще не довелось видеть.

— Думаю, осилю.

— Осилишь... — он ехидно ухмыляется. — Через месяц я приглашу тебя на свадьбу, познакомлю с моей Сакинат.

Мне кажется, этот человек из того племени, представитель которого осторожно наступил на сердце Данко.

— Лично приеду в редакцию. Так-то, товарищ корреспондент, — он уходит вниз, к мосту.

Я долго смотрю ему вслед и вдруг вспоминаю Сакинат и ее признание:

— Я мечтала стать врачом... А они ни мне, ни маме не дают покоя...

Чей-то взгляд, яростный и злой, вытесняет из моей памяти образ Сакинат. Яростный и злой. Так это его взгляд. Мой недавний собеседник пересекает каменный мост и сворачивает на дорогу.

7

Автобус, недовольно урча, уходит по каменистой дороге, поднимая белую пыль. Далеко внизу, рассеченный рекой, лежит районный центр. А еще за сотнями поворотов, за десятками километров, в тисках суровых и хмурых гор — Апши.

Я должен вернуться в аул и увезти из него Сакинат, чего бы мне это ни стоило. Ибо мной руководит не жалость и сострадание к ней, а долг и еще больше — любовь к человеку. Да, одна только любовь.

Друг мой, Симон

... И вечный бой.
Покой нам только снится.
А. Блок

1

Второй месяц осени. Море спокойно и прозрачно. Вдоль берега бегают и разминаются «моржи».

На песке лежат, словно утомившись от непосильной работы, лодки. Многие из них опрокинуты вверх дном и кажутся выброшенными на берег большими черными рыбинами.

Вокруг тишина. Ничто не напоминает ту суету, которая царит здесь в купальный сезон.

У дощатого, потрескавшегося забора, на солнечной стороне, в плавках и накинутой на бронзовое тело рубашке лежит Симон. Читает. Его большое, массивное тело пышет здоровьем.

Я раздеваюсь, сажусь на борт лодки.

— Привет морскому волку!

Он отводит от лица книгу, толстые губы расплываются в улыбке.

— А-а-а, пресса, привет! Долго не виделись. Где бывал, чем торговал?

— Ездил в тридевятое царство, в тридесятое государство, видел много красавиц, да ни одной не пришелся по душе...

— Ха, ха, самокритика? Не буди во мне зверя, иначе я не ручаюсь за себя... — умолкает, но через минуту снова гудит его бас: — У меня тут с планом худо. Лодки почти все дырявые, и каждая дыра с мое ухо. По инструкции их следует списать, а мне дано указание: выдавать все имеющиеся в наличии... А если утонут? Кто в ответе? Симон в ответе. Ну, как и всякий здравомыслящий человек, кому своя шкура дорога, я не выдавал. Посчитай-ка, за три месяца во что это обходится? Горит план, пресса, голубым пламенем...

— Что же ты собираешься делать?

— Гасить его звонкой монетой из собственного кармана.

— Отличный метод! — я не могу удержаться от смеха. — Метод, препятствующий излишнему обогащению.

Симон невозмутимо продолжает:

— А потом разбудить в себе зверя и хлестнуть по ним фельетоном. Как?

Он вопросительно смотрит на меня большими темно-карими глазами и, как кот, поводит густыми черными усами.

— Это... будет здорово, — я вытираю слезы со щек и облегченно вздыхаю. — Чуть не уморил... Нет, право, Симон, здорово. Тебе все карты в руки. Но ведь не сдобровать потом, вынудят уйти.

— А я уже подал рапо́рт, — он ставит ударение на последний слог. — То есть, заявление. Где Беня Крик? — он бросает на песок книгу Бабеля, которую не выпускал из рук все лето. — Нет у нас своего Бени Крика. План гони, тьфу! А людям, значит, к рыбкам идти?.. — он заклыдывает руки под голову и долго смотрит в яс-

ное небо. — На сейнере плавал, тюльку ловил, думал деньжат накопить — не получилось. Хотел в редакцию устроиться — не вышло. На лодочную станцию устроился, пролез, можно сказать, — и тут прогорел... А ты чем можешь похвастаться? Как дела на журналистском фронте?

— Не позавидуешь.

— Не скромничай. Читал твое очередное произведение «Сватовство по-апшински». Просто не верится. В наше время — сватовство школьниц, словно я окунулся в древность, — Симон разговаривает сам с собой. — Сватают, потому что в ауле не хватает девушек, и это аргумент некоторых руководителей района. Какая нелепость, какой парадокс, какой позор! Ха! И сколько ты получаешь за свои труды, если не секрет? — он с любопытством глядит на меня.

— Получил уже, десятку.

— Ха-ха-ха-ха! — грудь его пляшет. — Твои дела на грош лучше моих.

— Денежные? Да, — я улыбаюсь. Симон прав.—Но ведь не все измеряется деньгами... Если бы для всех рубль стал мерилом жизни, боюсь, что воцарился бы хаос...

— О, идеи пошли! — Симон ухмыляется. — Не беспокойся, не перегрызлись бы.

Симон вообще оригинальная личность. Зовут его Семеном, однако, знакомясь, он произносит свое имя на французский манер.

Знакомство с Симоном состоялось у нас несколько лет назад, при довольно ярких и впечатляющих обстоятельствах.

Симон рвался в журналисты.

Как-то в кабинет, с треском распахнув дверь, так, что загудела некапитальная стена, вошел тучный мужчина.

Он был среднего роста, широк в плечах, на полном лице выделялись большие темные глаза, толстые губы и густые усы. Окинув взглядом комнату, он грозно уставился на меня, открыл рот, блеснув белым рядом крепких зубов, и вдруг ошарашил меня тонким сиплым голосом:

— Где помещается ваш редактор?

Да, я был ошарашен. Как могла природа такому внушительному телу подарить столь не соответствующий ему голос!

— Могу я видеть вашего редактора?

Тут я заметил в дверном проеме копию посетителя. Не тень ли? Не мерещится ли мне? Я тряхнул головой и еще раз пристально вгляделся. Да, там стояла копия моего посетителя, с той лишь разницей, что намного моложе.

— Пройдите по коридору прямо, потом налево, сверните направо и прямо, не сворачивая никуда.

— Благодарю, — раздался сиплый голос, и дверь глухо хлопнула.

Спустя минуту зазвонил телефон. Меня приглашал редактор.

Когда я вошел к нему, посетители стояли у редакторского стола, как сиамские близнецы. Редактор, зажав голову ладонями, устало говорил:

— Сколько раз вам объяснять? Пусть пишет ваш сын, пусть пишет. В штате у нас места нет, примем его внештатным корреспондентом. Пусть пишет, понимаете?

— А как насчет зарплаты? — вкрадчиво прозвучал сиплый голос.

— Какая зарплата? Он будет получать гонорар за свой труд.

— А гонорар большой?

— Когда как, гонорар как гонорар. Особо опасаться вашему сыну нечего: богатства не наживет.

— А все-таки ощутимый?

— Не взвешивал, я не получаю гонорара, понимаете, не получаю.

— Почему? Почему вы себя обделяете?

— О-о-о-о! Я не пишу, не пишу, потому и не получаю...

— А зря, зря себя лишаете денег, они никогда не мешают...

В это время в углу кабинета раздался отрывистый захлебывающийся смех.

— Ха-ха, ха-ха, ха-ха, ха-ха, — ответственный секретарь, довольный, потирал ладони. — Молодец, отличный фельетон! Правда, надо подчистить, кое-где изменить, но хорошо, хорошо... Значит, продавал «виники» вместо фиников, да еще завысив цену на целых тридцать копеек?

— Правда, отличный? Вот потому я и приволок его с собой. Не хотел идти. А чего зря губить талант? Пусть послужит и людям, и нам. Правда, отличный?

— Ха-ха, ха-ха, ха-ха, да, конечно, неплохой.

— Вот если бы в штат его...

— Сейчас свободного места нет, да и сразу в штат не зачисляют, пусть пока походит во внештатных. Ха-ха, недурно, ха-ха... Камиль, возьми шефство над новым фельетонистом, заодно и фельетон отредактируй.

Через неделю фельетон увидел свет. Он вызвал у читателей острый интерес: в киосках газеты разошлись моментально, у газетной витрины выстраивались очереди. В редакцию зачастили работники торговли: сначала предприимчивый продавец фиников, затем зав. магазином, то есть непосредственное начальство, потом товарищи из торготдела. Новоиспеченного фельетониста взял под защиту ответственный секретарь.

Эта поддержка окрылила Симона и вдохнула в него уверенность. Он целую неделю отсутствовал. Мы стали подумывать, что он распрощался с мыслью о журналистской карьере, но однажды он вошел с торжествующей и щедрой улыбкой на полном розовом лице, положил на стол исписанные тетрадные листы и довольным голосом произнес:

— Вот, читайте.

...В очередном номере газеты вышел фельетон «Чародеи из худфото». И снова одним был уготован смех, другим — паломничество в редакцию. Симон на самом деле отыскал чародеев-фотографов: штатский человек мог перевоплотиться в летчика или моряка, кавалериста или танкиста, получить любое звание от рядового до генерала. Симон сам фотографировался в разных званиях и отвесил чародеям немало денег.

И каково же было его удивление, когда спустя месяц получил за оба фельетона всего пятнадцать рублей. Первые минуты он сидел, низко опустив голову, словно под непосильной тяжестью вины. Затем поднял глаза и робко спросил меня:

— Может быть, в бухгалтерии ошиблись?

Разочарованный моим ответом, он долго молчал, потом, вздохнув, произнес:

— Столько неприятностей, нервотрепки, расходов — и на тебе... Ротшильдова зарплата. Нет, это не по мне. Уж лучше ходить с дыркой в кармане, чем с пятнадцатью рублями. И все мой любезный папа... Прощайте, мечты мои, здравствуйте, грезы!

Но Симон не ушел.

Он неделями не появлялся, потом приносил фельетон. Радовался своему успеху, а получая гонорар, приговаривал:

— Уж лучше ходить с дыркой в кармане, чем с такими деньгами!

Затем неожиданно исчез.

Сначала его исчезновения никто не заметил, потому что мы привыкли к его долгим отлучкам. Потом газета стала ощущать голод на фельетоны. Куда мог деваться Симон, что могло случиться с ним? Адреса его никто не знал, отец не появлялся. Мы успокоились и потихоньку стали забывать Симона, как вдруг пришло письмо и очередной фельетон. Симон служил рыбаком на сейнере, ловил тюльку — так называют рыбаки кильку — и изредка, сходя на берег, навещал нас.

Спустя год Симон бросил работу на сейнере, признавшись мне, что на мелкой скрипучей посудине капитала не накопишь, а за просто так не стоит копошиться в вонючей тюльке и отрекаться от земных благ.

Он теперь чувствовал себя в редакции как в родном доме, и уже шел разговор о его зачислении в штат. Но однажды Симон опять внезапно исчез. Однако на этот раз его вскоре разыскали. На лодочной станции.

— Эх, если сейчас с неба посыпятся деньги... — мечтательно произносит Симон, глядя в небо.

— Что ты натворишь?

— Построю дом, куплю пароход, одену себя с ног до головы, как франт, одену ребятишек...

— А что, синоптики обещают сгущение денежных туч?

— Да вот одного боюсь, — Симон приподнимается и глядит в сторону лодок. — Боюсь, утекут мои денежки в эти дыры чертовы... — и весело смеется.

— Где у тебя приличная лодка, Симон?

— У воды, вон та, голубая. Возьми на всякий случай пояс.

Пояс не беру. Если Симон сказал, значит, она вполне надежна...

Я толкаю лодку в воду, подтягиваюсь на корму, удобней устраиваюсь на скамье и гребу в открытое море.

2

Протарахтев по длинному мосту, автобус выезжает на площадь и, устало чихнув, останавливается у небольшого сквера. Я выпрыгиваю на землю и разминаю затекшие ноги.

— Подожди-ка, подожди-ка, это ты или не ты? — торопливо проходивший мимо молодой человек останавливается и пристально глядит мне в лицо. — Конечно, ты.

Я тоже внимательно вглядываюсь в него, правда, больше из любопытства, и узнаю секретаря райкома комсомола.

— Здравствуй, Иса. Куда ты разогнался?

— Конечно, ты! Здорово, Камиль! На свадьбу, на свадьбу... Где твои вещи? — он оглядывается.

— Какие у меня могут быть вещи, Иса?

— Тем лучше. Пошли!

— Куда на ночь глядя? Дай немного передохнуть и в гостинице устроиться.

— Эх, что ты на самом деле... Пошли на свадьбу.

— На свадьбу? С пустыми руками?

— О каких пустых руках ты говоришь? Самый дорогой подарок для всех — гость. Пошли! — он бесцеремонно хватает меня за руку и увлекает за собой. — Молодые женятся. Он недавно демобилизовался из армии, танкистом был, сейчас на тракторе работает. Она садовод, девушка... как яблоко розмарин. Да что тебе расписывать — сам увидишь, красавица. О таких стихи пишут, песни поют...

Он ведет меня вдоль глухих стен, по узким улочкам-лабиринтам, знакомым только ему.

— Прекрасная пара. Какой мы им подарок сделали, о-о-о... А ты о каких-то пустых руках... Осторожно, здесь яма.

Впереди тьма. Прыгаю далеко, наугад, и удачно. И опять идем по лабиринтам.

— Дом построили молодым, — в голосе Исы чувствую гордость. — У его родителей девять детей, у ее — не меньше. Ты же знаешь, у нас любят детей... А молодым надо строить свою жизнь, свою семью. Вот и построили комсомольцы, за две недели... После работы, конечно. В городе позавидуют. А ты о каком-то подарке говоришь...

Слышатся звуки тары, гармони и барабана. Свернув за угол, мы входим в большой, ярко освещенный двор. В углу на сложенных из больших камней печах, в которых полыхает огонь, стоят огромные котлы.

— Это дом жениха, — трогает меня за руку Иса. — Дом молодых на краю села, над самой рекой.

Мы поднимаемся на веранду, набитую нарядно одетыми детьми, проходим в комнату. Навстречу тянутся десятки рук:

— Хош гельды!

— Ахшам хеир!

— Ассалам алейкум!

— Издрасти!

— Здравствуйте, проходите, пожалуйста.

— Добрый вечер!

За длинными столами, заваленными национальными блюдами, бутылками коньяка и трехлитровыми бутылями с сухим вином, холодными закусками, яблоками разных сортов, персиками, виноградом, сливами, сидят мужчины, женщины, молодежь.

Иса усаживает меня недалеко от жениха, садится рядом.

— Штрафной! — слышится с дальнего конца стола. — Тамада, штрафной!

Иса бросает гневный взгляд:

— Ты, Сулейман, обязательно должен свою отсталость и дикость показать. Оштрафовать бы тебя за это слово да за расхлябанность на работе — потерял бы вкус к слову «штраф».

Над столами перекатывается смех.

— Эх, машалла!

— В точку попал!

— От такого штрафа я бы не отказался, — слышится голос Сулеймана, и над столами взрывается смех.— О нем мечтать надо...

— Музыканты, танцевать хочу!

Под нежную мелодию Иса плавно идет по расстеленному на полу ковру, широко разведя руки, приглашает невесту. И вот они уже вместе словно плывут по кругу. Натанцевавшись, он подводит к невесте жениха, и мы выходим на веранду.

— Какая красота! Зимой пахнет, снегом. Чувствуешь?

— Почему так поздно свадьбу справляете?

— Недавно ведь демобилизовался! Ждать до лета не хочется: давно любят друг друга. В сентябре стали готовиться к строительству: камень возили с гор, саман делали, в октябре начали строить... Вот о чем тебе писать надо. Похвали молодежь!

Иса, расплывшись в улыбке, смотрит в звездное небо.

— А ты и не спросишь о цели моей командировки?

— Цель у вас одна — писать. Или хвалить, или ругать, но одно точно — писать.

— Ругать я буду, Иса. И знаешь кого? Тебя.

Он оборачивается ко мне, на его лице удивление.

— За что? Меня? Я ничего аморального не совершил, детей не бью, жену люблю, комсомольская организация на хорошем счету... Интересно, — он поглаживает мочку уха. — За что?

— Специалисты у тебя не трудоустроены.

— Ах, так и скажи сразу. За это ругай, и крепко. Скажу тебе честно: ничем не могу помочь ребятам, хотя и умницы. А у руководителей колхозов и совхозов на все есть свои доводы. Послушать их — будто бы верные, пораскинешь мозгами — нет, все-таки не верные. Золотой парень вернулся недавно в район, Раджаб, а сколько месяцев пороги обивает...

— По его письму я и приехал.

Иса тянет мочку уха и задумчиво говорит:

— Раджаб здесь не один. Завтра я тебя с ним познакомлю. А там — хочешь ругай, хочешь помилуй, как сам посчитаешь нужным. Жаловаться не буду, — Иса разводит руками. — Помочь бессилен. Пойдем в комнату, холодно мне стало что-то...

Свадьба в полном разгаре. Вкусный, дурманящий запах национальных блюд стоит над столами. Смех, вздохи, шепот, говор, звон тарелок, ложек, вилок, бокалов, звуки тары, гармони, барабана, хлопки — все перемешалось и скаталось в один большой ком шума, но шума веселого, радостного, от которого хочется смеяться и шуметь.

3

Иса включает приемник, настраивает на Баку и опускается рядом со мной, тоже скрестив ноги.

— Не болят? — он хитро и сочувственно поглядывает на меня. — Можно сесть за стол.

— Почему ты думаешь, что мне непривычно? Забыл, что мы с тобой почти из одного рода-племени?

Мы сидим на большом ярком ковре и слушаем мерную, мелодичную песню, льющуюся из приемника. Иса, закрыв от удовольствия глаза, покачивается в такт ей. Блаженствует. Потом открывает один глаз и, потянув за мочку уха, спрашивает:

— Не проголодался еще?

— Пока нет... А где твои гости?

— А-а-а-а, раз спросил, значит проголодался. Марьям, накрывай! — он кричит громко, но с мягкими, веселыми интонациями в голосе.

— Надо дождаться, Иса.

— Не волнуйся, мимо не пройдут.

Иса встает, бесшумно выходит из комнаты, потом появляется с Марьям. Длинноногая, стройная, с глазами, как черешни на белом лице, и небольшой головкой, увенчанной кольцом тугой косы, она без суеты и шума расстилает на ковре скатерь, вносит тарелки и казанки, из которых исходит пряный запах.

— Ну как моя жена, хороша? — Иса подмигивает и обнимает за плечи смутившуюся Марьям.

— Вечно при людях в краску вгоняет, бесстыжий! — она отстраняется. — Ты бы занес кое-что...

— А дочки мои на что? Дай тебе Аллах сто лет жизни и сто дочерей, если ты меня не жалеешь. Аллах, услышь мои заклинания и дай ей сто дочерей! — воздев руки к потолку, он идет к дверям и, не выдержав, прыснув со смеху, выбегает. Возвращается он с тремя девочками. — Вот таких дочерей. А ну, дочки, помогайте. Раджаб показался! — кричит Иса, неся баллон сухого вина. — Мы сейчас ему устроим допрос.

В дверях появляется Раджаб. Он смущенно переминается с ноги на ногу, здоровается и уже собирается сесть, как на него обрушивается Иса:

— Где ты до сих пор шатался? Заставляешь нас ждать, затянув пояса.

— На свадьбу заглянул, неудобно ведь... — тихо произносит Раджаб.

— Свадьба-то вчера была.

— И сегодня — у Гаврила и Маши.

— Что? У Гаврила? — брови Исы приподнимаются, он хватается за голову и, раскачиваясь, причитает: — Какой стыд! Как это я забыл? У Гаврила свадьба, а я забыл. Срам!

— Из-за меня, — бросаю я ему.

— Причем ты тут? «Из-за меня», — передразнивает он. Внезапно Иса ударяет себя по колену: — Как я не догадался сразу? Закончим наш пир — и все до одного пойдем на свадьбу Гаврила, слышишь, Марьям, ты тоже.

В дверях появляется невысокого роста, плотный молодой человек.

— Второе явление, — приветствует Иса.

Я пристально смотрю на гостя.

— Сабир? Улдузов? Ты?

— Здравствуй, Камиль! Кто же может быть, кроме меня. Как доехал, как семья?

— Без вопросов и ответов! — перебивает Иса, усаживаясь за скатерть на ковер. — Успеете. Тоже со свадьбы?

— Какая там свадьба!.. — отмахивается Сабир.— Заглянул и выбежал. К вам спешил.

— Остальные где?

— Идут. Слышите, топают ногами.

В комнату один за другим входят еще четверо молодых людей, здороваются, рассаживаются вокруг скатерти.

Иса обводит всех внимательным и веселым взглядом.

— Все, кажется. Можно было бы еще, но и их хватит. Итак, собрание считаю открытым.

— Какое еще собрание? — Сабир недоуменно смотрит на него, потом переводит взгляд на меня.

— Самое серьезное, а не какое еще, — Иса вытягивает руку, показывая пальцем: — Вот здесь шашлык из курицы, здесь — жаркое из баранины, здесь — бульон, сухое вино, водка, зелень, овощи, виноград, яблоки, груши... Не перепутайте. Пейте и ешьте, кто что желает. После собрания — все на свадьбу Гаврила.

— Да будет стол твой всегда щедрым, а дом богатым, душа твоя всегда чиста, а мысль ясна! — Сабир поднимает бокал с сухим вином. — Выпьем за это!

— Хороший тост. Не знаю, на дороге ли подобрал

или из чужого хурджина вытащил, но выпить за него приятно.

— Иса, где ты достал такое вино? — произносит один из ребят, с удовольствием осушая второй бокал. — Не вино — шербет...

— Полчаса назад надоил от буйволицы.

Все смеются.

Иса поднимает руку.

— Товарищи, меньше смеха — больше дела!

Снова хохот. Марьям вытирает слезы и сквозь всхлипы смеха спрашивает:

— Какое... может быть... дело за обедом...

— Это ходячая фраза, Марьям, меньше смеха — больше дела. Итак, Раджаб, начинай свою сказку.

— Мою сказку все знают, — потупив взор, произносит Раджаб. — Рассказывать-то нечего.

— Повторение — мать учения, — вздыхает Сабир. — А я скажу так: от второго бокала душа согревается, от третьего — аппетит разгорается, от четвертого — руки чешутся...

— Ты пока почеши свои руки, а Раджаб пусть начинает... И пришла очередь рассказывать удивительную сказку прекраснейшему из прекраснейших юношей Раджабу... — Иса простирает руки к Раджабу и умолкает.

— В первый же день приезда зашел я к Мовлюду Тагировичу...

— Председатель колхоза «Вперед» соседнего селения, — шепчет мне на ухо Иса.

— Здравствуйте, говорю, Мовлюд Тагирович. Приехал к вам на работу. Вот мой диплом. Поднял он на меня утомленные глаза, прочитал бегло диплом и говорит: — А, это ты, Раджаб, сын Мусаиба. Хорошим колхозником был твой отец, его руками подняты все наши сады. Как он отдыхает? Передай поклон от меня. С какой радостью ушел бы и я сейчас на пенсию! Не отпускают. Вот так, Раджаб, работаем, пока не высосет земля нас. Ну, передай поклон отцу. — А как с работой? — спрашиваю. — С работой? Зачем же ему работать, да и какой из него... Ах, да, с твоей работой, вот видишь, склероз сосет, сынок, а работы тебе у нас нету. — Как нет? — спрашиваю. — А вот так, нету. Инженер-ирригатор ты? Нам такой инженер не нужен. —Как же так, спрашиваю, государство на меня столько средств потратило, кормило, учило, да вы же сами меня направляли, характеристику давали...—Тогда думали, нужен будет ирригатор, — отвечает. — А сейчас нет в нем надобности. — Ну, назначьте тогда, говорю, бригадиром, хоть какую работу дайте в колхозе.— Рад помочь тебе, говорит, да нету мест. Ты пойди в производственное управление, пойди, сынок, там подыщут что-нибудь. Я бы рад помочь сыну почтенного Мусаиба, но не могу, — и закрыл утомленные глаза, давая знать мне, что разговор окончен.

На следующий день приехал я в производственное управление. Два часа дожидался приема к начальнику. Наконец секретарша сжалилась и разрешила войти. За большим столом Абас Исмаилович играл в нарды с главным инженером. Выслушав меня и не прекращая игру, он резко спросил: — Выходит, Мовлюд Тагирович отказал? — Отказал, выходит. — А я причем? — Так он прислал к вам, говорю. — С больной головы на здоровую. Где я вам найду должность инженера-ирригатора? Не могу же выдумать или посадить за свой стол... — Я согласен на любую работу, — говорю. — Нету у меня любой работы, нету. Мовлюд не сумел устроить, а я где смогу? В соседние колхозы послать? Там свои люди нужны, да и подобные тебе скоро понаедут... Покоя от вас нет. Рад бы устроить, дорогой, да нет, как говорится, вакансий.

Пошел я в райком комсомола. Выслушал меня Иса, возмутился, поднял на ноги весь аппарат райкома... Но куда ни тыкались — всюду ватная стена. Посоветовал тогда мне Иса ехать в Махачкалу, в Министерство сельского хозяйства. Поехал. Принял меня заместитель министра, выслушал, ударил кулаком по столу и вскочил с места: «Как не нужен ирригатор? Да ваш колхоз без воды гибнет, а председателю не нужен ирригатор! Да у нас инженеров-ирригаторов в республике раз, два и обчелся. Вы поезжайте домой, не волнуйтесь, позвоним и в колхоз, и в производственное управление».

Приехал я и тут же отправился к Мовлюду Тагировичу. Он сидел за столом, опустив голову, в обычной позе, думая думу. Выслушав меня, открыл утомленные глаза и удивленно спросил: — Звонок должен быть? Какой звонок? Это тебе не школа, а правление колхоза. Если тебе нужен зинг-зинг — не в те ворота

вошел. — Я, конечно, понял, что звонка из министерства еще не было, и жду...

Иса проворно разливает в бокалы вино:

— Друзья, этот тост поднимем за Раджаба. Да улыбнется наконец ему счастье и потонет несправедливость в Дарвагчае! В самом деле, не вино — шербет.

— Хвались, хвались... — бурчит Сабир, вытирая губы.

— Что делать, если ты не хвалишь.

— Хвались, пока есть чем хвалиться, — повторяет Сабир, не слушая его. — Не видать тебе больше своего вина. Был такой скупец, как ты, лет сто назад. Пригласил к себе гостей, налил в пиалу мед на угощение. Отведали гости скромно и поблагодарили, а Насреддин все ест и ест. Не выдержал скупец и с кислой улыбкой произнес: — Не заболит ли у тебя живот, Насреддин? — У меня-то не заболит, — ответил Насреддин, опустошая пиалу, — вот как бы у тебя не заболел от скупости...

— Из какого дырявого хурджина ты вытащил этот изжеванный хабар? Лучше о себе расскажи, мы собрались тут ради тебя, а не ради Насреддина. Итак, наступила очередь рассказать сладкую сказку умнейшему из умнейших Сабиру Улдузову...

— Насчет умнейшего ты загнул, а остальное все верно, — Сабир проводит ладонью по высокому лбу. — Рассказ мой короткий, как хвост козленка. Работаю начальником дорожного строительно-ремонтного управления. Был инструктором райкома комсомола, секретарем, инструктором обкома комсомола, учился в высшей партийной школе и вот, наконец, ремонтирую и строю дороги.

— Может, в том есть резон? — спрашиваю я.

Иса захлебывается, кашляет, на глазах выступают слезы.

— О чем ты говоришь? В философию ударился...

— Этот товарищ, — подхватывает Сабир, указывая на сидящего рядом с ним молодого человека, — агроном, окончил сельскохозяйственный институт. А работает... Угадаешь — забирай ковер... — и он хлопает по ковру.

— Не слишком ли щедр на чужое добро? — Иса с прищуром смотрит на него.

— Не можешь? — продолжает Сабир. — Счетовод. А те двое после сельхозтехникума устроились в школе, преподают уроки труда... Да довольно об этом. Не время ли отправиться нам на свадьбу?

— Вы же разорили меня, безбожники, к водке совершенно не притронулись, а оглядываетесь на свадьбу. Доедим, а там и пойдем.

— Напои водкой свою буйволицу, чтобы надоить от нее сухого вина, — смеется Сабир. — А за угощение спасибо. Вставай, Камиль. Вчера ты был на лезгинской свадьбе, сегодня будешь на татской. Какой у них бывает богатый и вкусный стол, сколько у них бывает гостей!

— Одним словом, Сабир хочет сказать, что татская свадьба ни в чем не уступает лезгинской, — кряхтя говорит Иса, тяжело поднимаясь с ковра, — а может, даже и превосходит. Марьям, собирайся, пойдем с нами.

Мы выходим на веранду, по крутой деревянной лестнице осторожно спускаемся во двор. Темно. Далеко в небе мерцают мелкие звезды. Издалека доносятся звуки гармони, тары, барабана.

— Какой мрак у тебя во дворе, Иса, — бурчит Сабир, споткнувшись о камень.—Уже на лампочках экономишь. Думается мне, что копишь на машину. Признайся!

— Как же! Если не я, кто еще согласится по твоим дорогам ездить...

4

В распахнутое окно струится солнечный свет, пахнет морем. Небо покрыто дымкой тумана. Деревья на приморском бульваре, еще не сбросившие окончательно свой зеленый наряд, стоят, как свечи, не шелохнувшись. Море вязкое и отливает серебром, как ртуть. Безветренно. Словно что-то оборвалось в тугом теле неистового ветра, господствовавшего все лето в городе, и он бессильно где-то свалился, бездыханный.

Прошло две недели, как я вернулся из командировки и опубликовал статью. А сейчас сижу в кабинете первого секретаря обкома комсомола. Готовя статью, я понимал, что на некоторых руководящих работников района она произведет впечатление разорвавшейся

бомбы. И мнимое благополучие, вернее, оболочка благополучия, как кожица румяного яблока, будет сорвана, и обнаружится червь.

Я отворачиваюсь от окна и перевожу свой взгляд на секретаря. Он что-то сосредоточенно и быстро пишет. Внезапно поднимает глаза, глядит в окно, бросает ручку и, опираясь на мускулистые руки, выходит из-за массивного стола.

— Заждался? Извини, — голос у него низкий и густой. — Как твои дела на журналистском фронте, не надоело еще в молодежной газете работать?

— Журналисту, мне кажется, не столь важно, в какой газете работать. Важно — писать и приносить пользу обществу.

— С партийных позиций судишь? Верно, совершенно верно. Помню твои критические выступления. Откровенно говоря, больше критические. Помню, как ты разнес секретаря комитета комсомола завода, а мы думали его в аппарат обкома взять... Спутал ты нам карты, — он расхаживает по кабинету, заложив руки за спину, не глядя на меня, а я уже знаю, о чем сейчас будет разговор. — Было, конечно, за что покритиковать: ослабил работу, примирился с недостатками... Но ведь именно он, а не кто другой вытащил организацию из числа отстающих. Правда, ты об этом упомянул, только упомянул... Сколько хлопот и неприятностей доставляешь газете и редактору, а? — он резко поворачивается ко мне и смотрит прямо в глаза. — Буйствуешь?

— Боремся.

— Не всякая критика — борьба. Можно удариться и в критиканство. Мне звонили по поводу твоей последней статьи. Сделано серьезное замечание: не могут иметь место подобные факты в одном из лучших наших районов. Что получается: никто не замечал этих больших упущений в работе, а ты приезжаешь на несколько дней в район, выявляешь их и даже осмеливаешься обвинять, к счастью, мягко и тактично, партийных работников.

Я не слушаю его, вернее, не могу слушать, потому что перед моим взором возникает другая картина.

...Председатель колхоза, начальник производственного управления, работники райкома партии устали от споров и доказательств. Мовлюд Тагирович вытирает платком влажный лоб, шею, ладони, потом проводит

по волосам, окружающим блестящую лысину, напоминающую озеро, обрамленное камышами, устало вздыхает:

— Нету, нету и еще раз нету. Нету места. Сюда его посадишь? — он звонко хлопает ладонью по лысине. — Не могу же я убрать людей, которые десятки лет отдали колхозу, горели на работе. Конечно, молодой специалист принес новые знания и новые силы, а у старого — практика.

— Не убирайте, да никто на этом и не настаивает. Но ирригатор вам нужен. И очень нужен. Я вчера копался весь день с Абасом Исмаиловичем в цифрах, и мы наконец пришли к выводу, что ирригационная система позволит увеличить доход колхоза более чем в два раза. Сразу два выигрыша: и трудоустройство специалиста, и рост урожайности.

Мовлюд Тагирович буравит меня глазами, потом бьет ладонью по колену и звонко, с иронией восклицает:

— Ва, яда, цыпленок петуха учит, как клевать зерно!

— Он прав, Мовлюд, — Абас Исмаилович ерзает на диване. — Прав, ничего не скажешь.

— Ва, Абас, ты тоже потерял голову от разговоров?

— Я же тебе не говорю — снимай людей, — мирно продолжает Абас Исмаилович. — Практики нам нужны и принесут еще много пользы. А вот об ирригации подумать надо.

— Ирригация, ирригация... Что вы все заладили одно и то же! Ирригация... Откуда у меня средства, рабочие руки, о чем ты говоришь! — он проводит снова платком по лбу и шее и бурчит: — Цыпленок петуха учит... Ирригация...

Секретарь райкома партии что-то записывает в блокнот, чертит и перечеркивает, наконец бросает карандаш на стол.

— Я думаю, мы пришли к единому мнению. И трудоустройство людей, и ирригация хозяйства — дело государственной важности, и решать его нам с вами. Верно я говорю, Абас Исмаилович?

— Совершенно верно. Совершенно верно.

— Не буду сегодня вас задерживать. Завтра соберемся к концу дня для конкретного решения этих вопросов. Я попрошу вас, Абас Исмаилович, пригласить

всех председателей колхозов. До свиданья, товарищи. Вас, товарищ Гайдаров, прошу остаться.

Мовлюд Тагирович выходит, опустив голову, бормоча под нос:

— Откуда у меня деньги, люди?.. Ирригация...

Когда мы остаемся одни, секретарь райкома со вздохом произносит:

— Видали, какой тяжелый народ у нас? Деловой, трудолюбивый, но тяжелый. Сколько раз в этом кабинете говорили о трудоустройстве специалистов — языки намозолили себе. Пока не объявим кое-кому выговор или не поругаем в газете, вопрос не решается положительно. Вы слышали, как они выискивают причины? Иногда кажется, что довольно объективные. Тяжелый народ у нас. Я бы попросил вас написать статью, если даже вы и раздумали. Печать нам окажет огромную услугу: огласка, общественное мнение. Вы удивлены, что я за публикацию? Приходится.

Меня возвращает к действительности громкий резкий голос:

— Сколько раз я говорил с тобой на эту тему! Меньше критики. В крайнем случае — мягче. Разве мало хлопот доставила нам апшинская история: ходоки, ходатаи, звонки, замечания. Добро, что все подтвердилось. И снова ты продолжаешь буйствовать. Не подтвердится — партийный билет положишь, — и он сильно бьет ладонью по столу.

— Видишь ли, если люди, которых я обличаю, находят по каким-либо причинам поддержку у некоторых влиятельных лиц, это еще не значит, что газета ошиблась. И, позволь мне заметить, страшно не это, а твое недоверие к работникам молодежной печати. Что касается партбилета, то не ты мне его давал, не тебе и брать. Я могу идти, очевидно?

Высокий, сухощавый, одного роста со мной, он стоит, заложив руки за спину, и пристально смотрит на меня. О чем он думает в эту минуту? А не все ли мне равно! И, вообще, надоело угадывать, кто о чем думает, надоело обличать, надоело ругаться, трепать себе нервы, работать до полуночи при свете настольной лампы, наживать себе неприятелей и вызывать сочувствие друзей... Если бы он знал, как чертовски надоело... Но надо. И это «надо» властвует мной.

Я выхожу на улицу и сталкиваюсь с Симоном.

— Ба, на ловца и зверь бежит! — его полные губы

растягиваются в улыбке.—Не желаешь ли пищу богов? — протягивает маслянистые чебуреки.

— Меня уже угостили такой пищей, которую богам никогда не изведать.

Симон, пристально глядя на меня, аппетитно ест, потом коротко выдавливает:

— Кто?

Нехотя указываю глазами на окно кабинета.

Симон давится, громко кашляет, но продолжает есть:

— За что такое угощение? Погоди-ка, начинаю понимать, — он сочувственно качает большой головой, вытирает губы платком, бурчит: — Фанатик ты, Камиль, настоящий фанатик, каких я мало видывал. Зачем ты суешь свою голову — и неглупую голову — под камень — не пойму.

— Но ты-то сам — фельетонист невезучий...

— Что я-то? Я-то за деньги-то. Кое-какое мелочишко получу в вашей газете — и то мне подспорье... А тебе не везет, жестоко не везет, — в его глазах вдруг вспыхивают огоньки. — Как бы поступил на твоем месте Беня Крик, скажи мне, пожалуйста? Чихнул бы на всю эту историю... — он хлопает меня по плечу и хитро подмигивает: — У меня в кармане лежит такой фельетон — пальчики оближешь!

— К чему тебе эти хлопоты, Симон? Чихай с высоты своего роста и жуй чебуреки...

Мы смотрим друг на друга, смеемся.

— Все-таки фанатик ты, Камиль, — сквозь смех говорит Симон. — Я что, я мелкая сошка, пальну — затихну, укушу — замолчу, облаю — выжду. Фанатикам трудно жить. Послушай, Камиль, возьму-ка я чебурек еще, мигом, — он бежит к лоточнице, легко неся свое тучное тело, и уже оттуда ко мне перекатывается густой бас: — Беру и тебе, горячие, как с тандыра моей бабушки. Грех не попробовать эту пищу богов.

Симон, друг мой! Он хочет отвлечь меня от тяжелых мыслей. Но разве мысли когда-нибудь покидают человека? Без них он пуст, как барабан.

Симон подходит, доедая чебурек, подает мне другой:

— Слушай, пойдем к морю, послушаем, о чем шепчет прибой, и вообще разбудим в себе немного зверя.

5

Море лениво лижет языком берег, словно понуждаемое неведомой силой, укрывшейся в глубине его громадного тела. Оно еле протягивает язык, лениво кладет его на песок, убирает и снова протягивает... Без всякого желания. Вся его безграничная гладь дышит покоем.

Симон лежит на песке, подстелив под себя куртку и заложив под голову руки, закрыв в приятной истоме глаза.

Солнце светит все ярче, рассеивая туман. Я сижу на днище опрокинутой лодки и бесцельно гляжу в морскую даль. В такие минуты меня всегда охватывает покой, на душе становится удивительно легко, будто в груди не беспокойное гулкое сердце, а невесомое облако.

— Скажи мне, что такое счастье? — тихо, почти шепотом спрашивает Симон.

— Счастье? — я задумываюсь. — Счастье — не знаю. Может, счастье — это когда ты кому-то помог в чем-то, кого-то победил... Я никогда не задумывался над понятием «счастье». Счастье... И не желаю, чтоб ко мне пришло счастье, хотя и не знаю точно, какое оно. Ведь потом станет скучно, когда ты его все выпьешь, как бокал вина; пройдет хмель — и останется одно только воспоминание... Надолго ли бокал вина? Выпил — потом ждешь другого, третьего, а вкус разный... Мне кажется, счастье должно идти впереди и манить, звать... Иду я за ним, вот, кажется, взял, схватил, а оно опять впереди и зовет. И я снова иду, всю жизнь иду за ним, может, схвачу, а может, упущу свое счастье, но иду. Понимаешь, все время иду, вижу это море, вдыхаю чистый воздух, сталкиваюсь с людьми, а сколько их разных, падаю, спотыкаюсь, хмурюсь, смеюсь... И все время, всю жизнь иду за счастьем...

— Какое-то абстрактное оно у тебя, — шепчет Симон. — Для меня счастье — это достаток. Живи я в достатке — разве бегал бы в поисках высокооплачиваемой работы? Мне было бы все равно, где и кем работать. Достаток... Богатый гардероб, отличное, калорийное питание, уютно обставленная квартира, а работать просто так, чтобы не скучать...

— Вот ты и противоречишь себе. Раз скучаешь в

достатке, значит это еще не полное счастье. Ведь и труд должен приносить счастье.

— Оно объясняется материальной стороной.

— Твои дырявые лодки тебе не принесли ни гроша, а ты работал.

— Потому и ушел.

— На сейнере тюльку ловил, в газете сотрудничал, писал фельетоны...

— Опять-таки ради денег.

— Много ли накопил? Нет, Симон, это все разговоры: деньги, достаток и тому подобное. Мне кажется, просто ты идешь за счастьем, оно зовет тебя, увлекает куда-то, и ты сломя голову бросаешься вперед, за ним.

— Чудно ты объясняешь, сама мысль чудная, абстрактная какая-то. Не пойму я ее.

Туман рассеялся. Небо над нами яркое, синее, солнце как желток. Море сняло с себя ртутную тяжесть. Оно также лениво выкатывает к нам свой язык, лижет берег и что-то таинственное и сокровенное передает ему шепотом.

— Ты не уснул, Симон?

— Удивительный вопрос. Ты разбудил во мне спавшего зверя, а теперь спрашиваешь, не уснул ли я, — он говорит тихо, не открывая глаз. — Сейчас все мои шарики в черепной коробке работают над расшифровкой понятия «счастье».

— Это было в июле, когда я отдыхал в Подмосковье. В доме отдыха было скучно, и каждый день утром я садился в электричку и уезжал просто так, ради новых впечатлений...

Я люблю сутолоку, колесный перестук, люблю глядеть в лица людей и читать, угадывать их мысли. Все спешили на работу, досыпая на жестких сиденьях электрички, а я убегал от скуки, нет, от покоя, тишины. Среди этих людей я и дышал по-иному, и сердце билось по-иному, и мысли рождались иные.

Однажды за окном электрички я увидел коня. Какой это был конь! Белый и легкий, как облако. Гордый красавец стоял на противоположном берегу реки, как удивительное творение природы. И смотрел на меня, на нас, сидящих в вагоне. И тогда я задумался над смыслом счастья. Вот оно, подумал я, счастье. Благородный белоснежный красавец на тонких длинных ногах. Сойти сейчас с поезда, переплыть реку, подой-

ти, взобраться на него и... поскакать. Чтоб ветер свистел в ушах. Белый красавец... Но не испачкать бы его белоснежную спину. Да и будет ли мне он казаться таким красавцем сверху, с седла? Я познаю величие высоты, и он больше не будет для меня величественным красавцем!?

Я заглядывал в лица пассажиров, желая прочесть их мысли, но многие дремали, и весь их вид навевал необъяснимую тоску. Нет, не вправе я оседлать это белое легкое облако. И вдруг, словно в подтверждение моей мысли, конь сорвался с места и поскакал вдоль реки, вытянувшись в струнку. Это было неописуемое по красоте состязание. Он ушел далеко вперед поезда и растаял белой нитью. Глядя в окно, я интуитивно чувствовал, что туда кто-то смотрит, еще кто-то кроме меня. Это было девушка. Она стояла далеко от меня, вполоборота. Лицо ее, тонкое, гладкое, было словно высечено из мрамора. На кого она похожа, думал я, глядя на нее. И вдруг шальная мысль пронзила мозг: Нефертити, русская Нефертити! Но она была тоньше, изящнее Нефертити. Видимо, почувствовав взгляд, она обернулась, и на меня опрокинулась голубизна ее глаз.

Она вышла на платформе заводского района.

На следующее утро я ехал тем же электропоездом, с теми же пассажирами. За окном, на противоположном берегу реки, снова стоял белый конь. Он долго и гордо смотрел на меня, так, по крайней мере, мне казалось, потом, вытянувшись, понесся по зеленой земле, обгоняя поезд, и исчез. Но со мной оставалась Нефертити. Она смотрела в окно вплоть до самой остановки, затем бросила на меня быстрый взгляд и выскочила на перрон. Может быть, она думала о коне и о счастье так же, как я? Разве люди не могут думать одинаково?

Так продолжалось восемнадцать дней. На девятнадцатый коня не было. Не было и на двадцатый... Он растаял белой нитью и больше не появлялся. Но была она, Нефертити. Мне хотелось подойти к ней, заговорить о белом и легком, как облако, коне, о счастье и еще о многом... Мне хотелось услышать ее голос. Но какая-то внутренняя сила удерживала меня, а голос, чужой, но властный голос говорил: а не боишься ли ты развеять в пыль свой мираж, разувериться в мечте? На чем основано твое убеждение, что она

мыслит твоими мыслями? И сумеешь ли ты потом сохранить в памяти ее образ как олицетворение счастья?

На двадцать четвертый день я уезжал из дома отдыха. Уезжал рано утром. У своей остановки моя Нефертити опрокинула на меня голубизну своих глаз и выскочила на перрон. Она стояла стройная, гордая, излучающая свет и смотрела в мое окно.

В моей памяти до сих пор и белый конь, скачущий вперед, и юная Нефертити на перроне заводского района. И будут еще долго жить.

— Бог ты мой, как прекрасно ты рассказываешь! — произносит Симон. — Я все представил. Мне кажется, я видел белоснежного коня и юную красавицу. — Он умолкает, потом тихо вздыхает. — Но какое отношение все это имеет к счастью?

Я смотрю на море и слышу его тяжелый, человеческий вздох. Море дышит, любит, неистовствует, ласкает — живет, как человек.

— Я хотел как-то образно, ну, кусочком жизни, что ли, объяснить тебе, что впереди тебя что-то должно идти, звать, заставлять мыслить, будить чувства, волноваться, дышать, наконец, и думать о чистом... Получилось ли, не знаю, как получилось...

— Получилось-то прекрасно. И вообще мне кажется, что ты временами бываешь прав, и я начинаю соглашаться с тобой...

— Ну так ты подумай, согласиться сейчас или нет, а я поплаваю.

— В холодной-то воде? — Симон садится.— В студеной?

Я раздеваюсь, бросаюсь в воду. Холод, словно бритва, пронзает меня. Я чувствую, как начинают коченеть икры ног и, фыркая и охая, прыгаю в воде, как тюлень. За моей спиной в воду плюхается что-то тяжелое. Догадываюсь — Симон.

6

На работе меня ожидает сюрприз.

Редактор вызывает к себе, торжествующе улыбается, пожимает мне руку, крепко, чего я от него никак не ожидал, и подает лист бумаги.

Что такое? Еще раз перечитываю. Ответ райкома партии: «...Факты, указанные в статье, полностью под-

твердились... Начальнику производственного управления объявлен выговор с занесением... Акимов Раджаб трудоустроен...»

Из окна мне видно синее море, длинный, словно ящерица, причал, заросший кранами, белые суда, прикорнувшие в ожидании пассажиров. Все застыло и замерло в покое. Вот оно, удивительное состояние покоя. Но я не хочу покоя, мне по душе штормы и крутые виражи, борьба, умножающая друзей и врагов, окрыляющая радостью победы и гнетущая горечью поражения. Борьба всю жизнь, пока в груди бьется сердце, пока рядом уживаются зло и добро, черствость и чуткость, грубость и нежность, тень и свет. С портрета, написанного тушью художником редакции, на меня смотрит Симон. Я долго гляжу на него и вдруг вспоминаю слова, сказанные им накануне поездки в Мурманск:

— Ты фанатик, Камиль. Так фанатично любить свою профессию и страшно, и больно. Страшно потому, что она приносит, кроме радости, и много неприятностей и неприятелей, а больно потому, что зачастую не ценят тяжкий труд. Я завидую тебе, Камиль, доброй завистью.

Полнолицый, толстогубый, с черными густыми усами и добрым взглядом больших темно-карих глаз, Симон щедро улыбается, и кажется, вот-вот произнесет густым басом:

— Не буди во мне зверя.

Я завидую тебе, Симон. И тому, что ты без разбору и без лишних раздумий бросаешься в водоворот жизни, и тому, что на твоем попечении полдюжины братишек и сестренок и ты ищешь доходные места только ради того, чтобы их накормить и вырастить, и тому, что ты мечтаешь о длинном рубле, не имея в кармане просто рубля, а если заработаешь, тратишь на своих сорванцов, потому что тебе самому он совсем не нужен... Я завидую, Симон, твоему благородству и твоему будущему доброй завистью.

Мальчик из детства

Они потеряли двадцать миллионов, — сказал японец. — Даже дети в их стране знают о войне больше, чем многие взрослые в Америке.

Е. Евтушенко. «Пирл-Харбор»

1

Широким, торопливым шагом я иду сквозь сутолоку, шум, многоязычный говор по длинному, душному туннелю Курского вокзала, выхожу на последнюю платформу. Здесь нет той нервной суеты, и вагоны, глядящие тускло освещенными окнами, кажутся родными и близкими.

Я поднимаюсь в вагон, отыскиваю свое место в четвертом купе, бросаю баул на верхнюю полку и выхожу на перрон.

Поздний вечер. Москва не спит. Она встречает и провожает гостей, вспыхивает искрами электродуг монтажников.

Я люблю этот город. Каждый год, навещая его, делюсь с ним своими мыслями и радостями, успехами и неудачами. И в каждый свой приезд начинаю и завершаю день прогулкой по Красной площади.

Полчаса назад я стоял на Красной площади. Для меня не существовало ни иностранцев, ни туристов, ни самих москвичей. Словно здесь не было никого, кроме меня и хранящих торжественное молчание голубых елей у Кремлевской стены, величественных куполов соборов, брусчатки, вобравшей в себя гул времени.

Я ушел с площади поздно вечером, в последний раз переглянувшись с рубинами кремлевских башен, ушел с какою-то щемящей тоской и болью в сердце.

Мимо меня по перрону проходят знакомые, где-то виданные мною люди, поглядывая в мою сторону, спеша с чемоданами и свертками, но я стараюсь их не замечать. Мне хочется побыть одному со своими мыслями и думами. Мне хочется уехать из Москвы, сохранив в сердце ее образ, не расслюнявив анекдотами и побасенками выпившего или неестественным провинциальным восторгом сентиментальных знакомых.

Сегодня мне до слез больно уезжать из Москвы.

Я поднимаюсь в вагон, когда поезд неслышно трогается. Потом долго стою в коридоре, дожидаясь, пока мои соседи по купе, шумные и веселые девушки, переоденутся, затем они предоставляют купе мне, и я, облачившись в спортивный костюм, взбираюсь на свою полку.

Поезд мчится. Кажется, он хочет бежать от тьмы, от рельсов, от земли, от меня. Я смотрю в сгусток ночи, прилепившийся к окну, смотрю пристально, пытаясь что-нибудь разглядеть. Изредка кое-где покажутся одинокие огни или проскочит крохотный вокзал...

Я опять остаюсь наедине с собой, со своими мыслями, со своим сердцем...

2

Наступил последний день моего двухмесячного пребывания в санатории. В полдень я направился к главному врачу.

Он сидел в кресле в белом халате, тучный, седой, как лунь, невнимательно и без интереса просматривая журнал. У ног его лежала черная породистая гончая собака, положив голову на вытянутые лапы.

— Это ты, земляк? Проходи! — он указал рукой на кресло. — Если б ты знал, как мне редко приходится видеть земляков и как порой тяжко бывает на сердце... Как ты себя чувствуешь? Сердце не беспокоит?

— Оно меня никогда не беспокоило, Саид Мусаевич. А чувствую себя скверно, изрядно наскучили эти леса.

— Наскучили, говоришь! — он встал и, тяжело переваливаясь на протезах, со скрипом направился к окну и отворил его. — Ты неправ, земляк, красота какая, гляди, неописуемая. Я часами могу восхищаться, не отрывать глаз от нее. Каждый миг она предстает новой гранью. Как драгоценный камень. Красота этих лесов имеет тысячи и тысячи оттенков... И все-таки...— он повернул ко мне седую голову, и в его больших карих глазах промелькнула грусть. — И все-таки жив и силен зов земли, на которой ты родился. После войны я бывал в своем ауле всего несколько раз, за двадцать с лишним лет-то. А он каждую минуту передо

мной... Сакли, прилепившиеся к горе, одинокие редкие деревья, холодная прозрачная речка.

Я помню, как в первый день моего появления в санатории он был несказанно рад мне. Все расспрашивал о республике, о родном ауле, в котором я, к счастью, бывал несколько раз и знал многих аульчан, слушал, затаив дыхание, как ребенок, не отрывая влажных глаз от меня. А потом так повелось, что каждый день после обхода он звал меня в свой кабинет, и мы беседовали долгими часами, уютно расположившись в креслах.

— Нет, земляк, красота не может наскучить человеку. Вот если только он болен или мечется в жизни, не найдя себя... Да и в этом случае... — Саид Мусаевич подошел к шкафу, достал из него две рюмки и бутылку коньяку, поставил на журнальный столик. — Война покалечила много людей... Раны ее до сих пор не зажили... — он наполнил рюмки. — Наш коньяк, «Дагестанский». На прощанье мы позволим себе это баловство, — он взял рюмку двумя тонкими, длинными пальцами, долго молча глядел на нее, затем медленно, задумчиво произнес: — Тебе, земляк, надо жить в покое, только в покое. Нервное возбуждение может... вывести из строя. А впрочем, разве сейчас найдешь спокойную работу... Тебе необходим только покой, ты понял меня? Береги себя. Ты видел когда-нибудь... гирю, висящую на волоске? Такое и при богатом воображении не придумаешь... Так вот, представь, что твое сердце — гиря, висящая на волоске. Будь мужественным и береги себя. Проклятая война, она не пощадила и детей...

На следующее утро я уезжал из санатория. Меня провожали Саид Мусаевич и гончая собака; она забегала вперед, кружила вокруг нас, исчезала в кустах и снова появлялась на аллее. Вокруг был лес, зеленый, величественный, мудрый.

— Каково? — лицо Саида Мусаевича засветилось улыбкой, он махнул рукой в сторону леса. — Зеленое чудо! Неповторимое искусство природы! Красотища-то какая!

Мы молча дошли до ворот санатория, молча простились, и, уже когда я садился в автобус, он тихо произнес:

— Если будешь в моем ауле, поклонись за меня ему и горам поклонись. И береги себя.

Автобус окунулся в таинственный полумрак леса.

По обе стороны проносились могучие деревья, и на фоне чугунных узорчатых ворот санатория долго стоял тучный и седой доктор с черной собакой.

3

За окном беспросветная мгла. Я гляжу в темное стекло, и вдруг на память приходят стихи Назыма Хикмета:

Я в последнее время стал фасолью засохшей.
Стал засохшей фасолью.

Представляю человека с маленьким, продолговатым, сморщенным и высохшим лицом.

Можно плов приготовить
Из фасоли засохшей.
Из меня даже плова не сделать.
Даже плова не сделать.

Тонкая боль пронзает сердце. Откуда она, эта боль, которую я не ощущал долгие месяцы, что родило ее? Но стихи Хикмета заглушают ее. Нет, не заглушают, а отстраняют. Я хочу сравнить себя с фасолью и не могу... Разве мы чем-нибудь схожи: я—крепкий, жизнерадостный человек, без единой морщинки на лице, и сморщенная, высохшая, окаменевшая фасоль. Боль снова настойчиво напоминает о себе. Плотно сжимаю веки, затаив дыхание, прислушиваюсь к перестуку колес, пытаясь отогнать от себя мысли. Но разве живой человек может хоть на миг отвлечься от них? Я открываю увлажнившиеся глаза, гляжу в беспросветную мглу ночи и повторяю про себя в такт перестуку колес:

Можно плов приготовить
Из фасоли засохшей,
Из меня даже плова не сделать,
Даже плова не сделать.

Не сделать... Потому что не знаешь, не ведаешь, когда оборвется та тончайшая нить, на которой висит моя гиря, приводящая в движение тысячи деталей организма...

Я провожу ладонью по лицу, ото лба к подбородку, желая снять с себя тяжесть мыслей, и снова гляжу в квадрат окна. Внезапно во мгле возникает маленький мальчик. Он стоит на почтительном расстоянии от меня, смуглый, с грустными бархатными глазами, с ямочкой на худеньком подбородке, с морщинками на лице, и что-то шепчет мне красивыми губами. До боли жмурюсь, потом медленно, боязливо открываю глаза.

4

— Здравствуй, мальчик!

У меня замирает сердце, и я еще не хочу верить, что передо мной стоит живой человек и видимое мною—явь, а не сон.

— Здравствуй!

Дрожь охватывает меня.

— Почему ты не подходишь ближе?

— Не могу. Я возникаю во мгле и на расстоянии.

— Но кто ты?

— Я — это ты!

— Мальчик, не надо шутить со старшими!

— Я — это ты в детстве, ну, когда ты был маленьким...

— Значит, ты — мое детство? Но я не звал тебя, мальчик, кто тебя прислал ко мне?

— Неправда, звал. Твои мысли ворошили в памяти детство, и зов был так требователен и настойчив, что я вынужден, нет, должен был прийти.

— Боже мой, мальчик, как много боли ты мне причинишь! Я не хочу, не должен вспоминать больше того, что минуло много лет назад, я не выдержу всю тяжесть воспоминаний. Ты ведь знаешь это. Пощади меня...

— Знаю, потому и пришел... Воспоминания исцеляют больную душу.

5

— Ты помнишь тот шумный вечер на перроне вокзала?

— Помню, мальчик, конечно, помню, он и сейчас стоит перед моими глазами.

— Не перебивай меня, пожалуйста, слушай, но не задавай никаких вопросов, иначе я уйду, исчезну. И тогда тебе на самом деле будет тяжело и больно...

— Но ведь ты спрашиваешь меня?

— Нет, вовсе даже не спрашиваю. Я обращаюсь с вопросом, чтобы помочь тебе вспомнить детство.

— Что поделаешь с тобой, договорились.

— Ты помнишь тот шумный вечер на перроне вокзала? Невероятно шумный. Я стоял с сестренкой, крепко схватившись за подол материнской юбки, и удивленно озирался вокруг. Папа в военной форме что-то говорил маме, показывая глазами на нас, но я ничего не слышал... Рядом голосила худая женщина, присевшая на вещевой мешок. А прямо передо мной, обняв высокого военного, смеялась другая женщина, но смех у нее был непонятный, щеки заливали слезы, и военный вытирал их ладонями.

Потом протяжно застонал паровоз. Папа поочередно поднял меня и сестренку, прижал к себе, крепко поцеловал, потом обнял маму. Лязгнули вагоны, затопали сотни сапог и ботинок, и из общего крика и стона до меня донесся сильный папин голос:

— Береги детей, слышишь! Мы вернемся, обязательно вернемся...

Плач людей провожал вагоны. Тысячи глаз искали в дверях теплушек родных. И женщина, недавно смеявшаяся, плакала навзрыд, обхватив голову руками и вскрикивая:

— Я никому тебя не отдам, слышишь, никому... Я не пущу тебя... — Потом вдруг затихла и свалилась на перрон.

Ты помнишь?

...Помню ли? Милый мой мальчик, разве возможно забыть страшную и исхлестанную стонами и проклятиями, залитую слезами ночь?

В городе говорили, что вечером в небе появился вражеский самолет-разведчик, и эту ночь мы провели в землянке, вырытой во дворе. Мама набросала на пол солому, потом натаскала матрацы и одеяла и уложила нас. В уголке, слева от входа, слабо мерцала керосиновая лампа, рядом сидели мама и восьмилетний брат ее, Карапуз. В землянке было сыро и холодно. Я глубоко зарылся под одеяло и уснул.

Проснулся я от холода и, сжавшись в комочек, выглянул из-под одеяла. Мама и Карапуз сидели в той же позе, накинув на спины одеяла.

Я бесшумно поднялся и вышел во двор. Светало. Где-то в небе гудело. Я поднял голову и стал всматриваться. Звук усилился, потом появился самолет. Он пролетел над двором, скрылся за крышей соседнего дома и снова появился. И тут я понял, что это немецкий самолет, тот самый, о котором говорили вчера. Бросившись в землянку, я залез под одеяло, затаился, прислушиваясь. Внезапно вздрогнула земля, что-то приглушенно охнуло, еще раз, еще. Мама вскочила, будто вовсе не спала, бросилась к нам, обхватила руками, за ней метнулся Карапуз, прижался ко мне боком. Но земля больше не вздрагивала.

6

— Потом я очень тяжело заболел, двусторонним воспалением легких. Врачи предрекали маме мою смерть, если в ближайшие часы она не достанет лекарства.

Мальчик смотрит на меня тоскливыми глазами, и подбородок его вздрагивает.

— Мама принесла это лекарство, всего две ампулы, отдав за них два красивых ковра — все, что осталось у нас из ценных вещей.

Я ясно помню, как впервые встал с постели и сделал шаг... Ноги не держали меня, они качались и подгибались, как у новорожденного жеребенка. Я скатился на бок и больше не хотел вставать. Карапуз осторожно взял меня под мышки, поставил на ноги и отошел... Я пошел, ускоряя шаги, перешагнул через порог, вышел во двор и тут упал лицом вперед на что-то белое, теплое, живое. Это живое оказалось козой.

Я помню, мальчик, эту козу.

Мама собрала в доме все, что могла, чтобы купить ее и поить меня по утрам молоком. И, может, благодаря чудодейственному молоку мои ноги стали крепнуть.

Вскоре я уже ходил самостоятельно, удивляясь и радуясь, что ходить-то вообще намного интереснее, чем лежать в постели.

А вскоре появился на свет козленок, маленький,

худенький, как выжатое облачко. Он постоянно жалобно блеял и прижимался ко мне.

Я помню и тихий совет, на котором решалась судьба моей спасительницы — козы...

На открытой веранде, скрестив ноги на большом ветхом паласе, сидела большая дедушкина семья. На постланной скатерти лежали два чурека, в казанке — вареная картошка, в блюдечке — соль, рядом стоял кувшин с холодной водой.

— Плохо сейчас с кормом, — проговорил дедушка, проведя рукой по длинному лицу сверху вниз, остановив ее на клинообразной бородке.

— Дети-то целы, слава Всевышнему! — бабушка, мелколицая, светлая, спокойно глянула на сыновей. — Пусть они проживут сто лет, дети целы, раздобудут...

— О чем ты говоришь? — перебил ее дедушка. — Все сейчас продается и покупается на базаре — от травинки до арбы.

Он вытащил из казанка картофелину, подбросил на пальцах, очистил от шкурки и посыпал солью. Все шумно последовали его примеру.

— Отец, я знаю, где можно набрать корм, мы пойдем на кладбище, — прервал молчание старший сын дедушки, обжигаясь картофелиной.

— Там уже до тебя все очистили, — дедушка выпил несколько глотков холодной воды и крякнул от удовольствия.

— Что же ты нам посоветуешь делать? — спросила кротко мама, все еще продолжая перекатывать на ладони картофелину.

— Да, что посоветуешь? — поддержала ее бабушка.

— Дети у тебя вон какие худенькие, а мальчишка отощал совсем, еле ноги держит... Не сегодня-завтра — зима. Надо кое-какие продукты заготовить для них. А козу... — дедушка внезапно замолчал, вытирая пальцы о полотенце, глянул виновато на всех, задвигав пиками тонких усов, и закончил: — Мы вырастим козленка, а козу придется продать.

Воцарилось молчание. Послышались всхлипывания, я не удержался и заревел.

Дедушка взял меня к себе на колени и стал раскачивать, как в колыбели.

Мне казалось, весь мир исчезнет с исчезновением козы. Я плакал долго и уснул на коленях у дедушки.

7

Двор, который дедушка получил в наследство от своего отца, напоминал колбасу. Он был длинный и узкий. В конце его стоял старый дом из трех небольших комнат и открытой, незастекленной веранды. Потолки в комнатах и на веранде были бревенчатые, потемневшие от времени, а полы земляные, и женщины регулярно мазали их глиной, перемешанной с конским навозом.

Начинался двор с калитки и узкого прохода — коридора, который соседствовал с крохотным домиком, в нем мы и жили. Справа двор заканчивался высокой глухой стеной, слева — невысоким забором, отделявшим нас от соседей. Мама рассказывала, что соседний двор принадлежал когда-то дедушке, но нужда заставила продать. Вдоль глухой стены от нашего домика к дедушкиному тянулась узкая полоска фруктового сада, в котором росли яблоневые, грушевые, сливовые, вишневые деревья да еще гранатовое и миндаль. Обрывался сад у печей. Одна из них—тону—была высокая, широкая, с большим отверстием, напоминавшим разинутый рот. Другая — куруг — вырыта прямо в земле. Огонь в куруге разжигался на дне, а чуреки пеклись на его раскаленных стенках.

Я любил сидеть долгими часами у куруга, когда бабушка месила тесто из темной муки, невесть откуда добытой дедушкой, ловко набрасывала на стенки и подхватывала уже румяные чуреки.

Дедушка умудрялся прокормить не только свою большую семью — с ним жили пятеро детей, — но и нашу.

Как-то утром меня разбудило тревожное блеяние. Я неслышно соскользнул с кровати, боясь потревожить маму и сестренку, наскоро оделся впотьмах и выскочил во двор. Под деревом на привязи стоял баран. Вокруг него сновало несколько мужчин в больших черных папахах. Дедушка, присев на корточки, точил нож, а рядом подпрыгивал Карапуз, хлопал ладонями по животу и приговаривал:

— Мяса наедимся... Мяса наедимся...

— Исчезни, постреленок! — беззлобно крикнул дедушка и легонько хлопнул его по затылку ладонью. — Нечего тебе тут вертеться, ишь, мяса захотел!

Карапуз отбежал, присел на камень и, подперев подбородок кулаком, тоскливо уставился на барана.

— Дедушка, что ты собираешься делать с бараном? — спросил я тихо, опасаясь, что он прогонит и меня.

Дедушка поднял на меня внимательные карие глаза, потом снова принялся точить нож.

— А что делают со скотиной, мальчик?

— Но ты уже убил козу. И потом послушай, как он плачет.

— Я не могу отказать людям в помощи, мальчик. Посмотри-ка вон на того высокого, усатого в папахе... Сын его уходит на фронт, фашистов будет бить. Может, уходит навсегда, а может, вернется. Никто этого не знает,—дедушка перестал точить нож и задумчиво посмотрел на меня. — Вот и решили мы проводить его как следует...

Он поднялся и подошел к мужчинам. Они стали о чем-то говорить на непонятном языке, потом подошли к барану и повалили на землю. Я отвернулся... Баран блеял тревожно, надрывно, потом захрипел и умолк. Я долго стоял, зажмурив глаза, а когда обернулся, дедушка, осторожно водя лезвием ножа, снимал с него шкуру.

В этот день наш обед состоял наконец из мяса. Конечно, не из такого, о котором мечтал Карапуз. И все-таки мы с большим аппетитом ели поджаренные кусочки бараньих кишок и долго обсасывали пальцы.

8

Сонный жаркий полдень был разбужен громом духового оркестра.

По улице, сверху, со стороны базара, маршем шла длинная колонна солдат.

Возглавлявшие колонну музыканты, сопровождаемые ватагой полуголых ребят, шли торжественно и чинно. Мостовая гулко ухала под ударами сотен пар сапог.

Хлопали и визжали калитки, тротуары заполнялись людьми, разбуженными звуками походного марша. Большей частью это были худые и бледные от недоедания и непосильной работы женщины, старухи и старики, опиравшиеся на суковатые палки.

Я стоял на завалинке, вытянув шею. Тут же сидели бабушка и Карапуз. Я был горд за солдат, мне самому в эту минуту очень хотелось стать рядом с ними. Я уже представил, как шел бы в строю, одетый в строгую, красивую форму, и вдруг почувствовал, что ноги мои отрываются от земли. С ужасом глянул вниз. Меня поднимали крепкие мужские руки. Мужчина был мне незнаком, но его широкая теплая улыбка сразу расположила к себе.

— Тетушка, не внук ли он твой? — громовым басом спросил он у бабушки.

— Да, сынок, внук...

— То-то я сразу узнал. Очень похож на отца. Подбородок его, глаза... Только слаб что-то и легок, как лебяжий пух.

— Переболел, сынок, еле от смерти уберегли.

Бабушка отвечала тихо, степенно, будто вокруг не было ни шума, ни страшного топота.

— Будет сильным мужчиной. Свижусь с отцом — обязательно расскажу о тебе. Скажу: растет твой сын крепкий, как кремень, и красивый, как месяц...

— Дядя, а ты к нему едешь? — наконец задал я ему свой первый вопрос.

— На фронт, сынок, фрицев бить и, может быть, свижусь с отцом твоим, мы с ним большие друзья.

— А когда вы побьете всех фрицев? — спросил я его снова.

— Скоро побьем и вернемся домой с победой. Ну, будь здоров, расти большим. Мне пора... До свидания, тетушка.

— Счастливого пути, сынок, да поможет тебе Всевышний!

— В нашем деле он не помощник, — мужчина осторожно поставил меня на завалинку, провел ладонью по голове. — Пули для всех отлиты одинаковые. Главное — верить в победу, а мы обязательно вернемся домой с победой.

Он снова широко и тепло улыбнулся и побежал догонять свою колонну. А бабушка, не переставая, шептала ему вслед:

— Счастливого пути, сынок, да поможет тебе Всевышний, да станет земля для погибших твоих братьев мягкой постелью.

Музыка растаяла в знойном воздухе.

Колонна ушла вниз, к вокзалу, люди разошлись по домам, улица опустела.

Вдруг мое внимание привлекли двое мужчин. В жаркий сентябрьский день они шли в валенках... Я долго смотрел на них, пытаясь найти на лице признаки болезни, потом обернулся к бабушке.

— А почему они в валенках, не с солдатами?

Она не слышала.

Я повторил свой вопрос громко.

Бабушка встала и взяла меня за руку:

— Идем-ка домой, много насмотрелся сегодня.

— Почему ты мне не отвечаешь, бабушка?

— Идем-ка, идем... У меня нет времени заниматься глупостями...

Во дворе я вырвался из бабушкиных рук и побежал к маме. Усталая, распаренная, она стирала белье в большом медном тазу.

— Мама, скажи, пожалуйста, почему летом ходят в валенках?

— Летом? В валенках? — мама удивленно посмотрела на меня. — Сейчас не лето. Может быть, ноги болят или болезнь костей какая-нибудь...

— Нет, они совсем не были больными.

— Иди-ка поиграй, не мешай маме работать! — перебила меня бабушка. — У нее своих забот хватает.

Вечером, забравшись к дедушке на колени, я задал ему тот же вопрос. Он провел ладонью по пикам усов, клинообразной бородке, крякнул:

— Вырастешь — узнаешь. От земли на вершок еще не поднялся, а над чем задумываешься... Твое дело сейчас — играть в детские игры.

— Но почему мне никто не хочет объяснить, дедушка?

Глаза улыбнулись тепло и лукаво.

— От земли на вершок, говорю, еще не поднялся... Пойдем-ка ужинать, созывай всех. Сегодня я раздобыл кислого молока.

И только после ужина Карапуз с заговорщическим видом позвал меня в сад, к глухой стене, и по секрету поведал:

— Я слышал, почему они в валенках ходят. На фронт не хотят идти — симу... симулянты!.. Ревматизм, говорят, ломит, вот как. Только смотри, никому ни слова, не то мне всыпят.

9

— Ты уходишь? Прошу тебя, останься, мы вспомнили только малую толику... Мальчик, прошу тебя...

— Я никуда не ухожу, просто устал стоять.

Он переминается в черном квадрате окна с ноги на ногу, потом садится, скрестив под собой ноги.

— Я сейчас вспоминаю, с какой радостью и гордостью пошел в школу, — мальчик умолкает, пристально смотрит в мою сторону, подперев кулачком подбородок. — Мама умудрялась оставлять мне на завтрак кусочек лепешки из кукурузной муки величиной с ладошку. Но я не притрагивался к нему. Смотрел, глотая слюнки, и не ел. Выпив стакан молока, подходил к маме, утомленной и уставшей от забот, и ласково просил:

— Можно, я его оставлю? Ведь я сейчас не голоден. А после школы поедим, мама?

Она не возражала, с какой-то болью, жалостью и любовью глядела на меня, а у меня так остро сосало в желудке, и так страшно хотелось есть...

Но зато обед казался праздничным. На белой скатерти лежали аккуратно разломанные на мелкие кусочки кукурузные лепешки, несколько кусочков рыбы и несколько картофелин, соль и луковица. А на печке шипел чайник.

В школе, правда, мальчишки предлагали мне поделиться своим завтраком, но мне было совестно, потому что мой кусочек лепешки оставался дома, и я объяснял всем, что сыт, а сам отворачивался и глотал слюнки. Особенно настойчиво предлагал смуглый мальчишка, прозванный Моргуном.

Как-то в один из зимних дней, когда в классе было очень холодно, а дрова кончились, из добрых побуждений он решился на озорство.

Окинув одноклассников плутоватым взглядом, выскочил из класса. Вернулся через несколько минут с кучей хлама, напихал его в железную печку, поджег, закрыл дверку на задвижку и сел на свое место. Вскоре из печки стал валить дым. Когда прозвенел звонок и в дверях показался учитель, класс распирало от дыма и мы все кашляли и протирали слезившиеся глаза.

— Кто это сделал? — раздался у двери хриплый голос учителя.

Класс молчал.

— Кто сделал, я спрашиваю?

— Холодно ведь... — ответил Моргун, неистово кашляя.

— Вот что, друзья, во-первых, откройте окна, во-вторых, выносите парты во двор.

Спустя двадцать минут все парты стояли во дворе на снегу, а мы, подняв воротники пальто, нахлобучив шапки, съежившись и прижавшись друг к другу, слушали учителя. Он расхаживал по снегу, длинный, тощий, будто не ощущая холода, а я все смотрел на окна нашего класса: из них вырывались тугие клубы дыма. И все-таки там было намного теплее.

Вечером у меня сильно разболелись голова и горло, поднялась температура. Я слег в постель.

Спустя два дня пришел навестить меня Моргун. Он долго молча топтался у моей постели, потом присел на кровать.

— Это я во всем виноват. Ты прости...

— Почему ты? — хрипло проговорил я, еле слыша свой голос. — Просто я очень слаб здоровьем.

— Нет, не спорь, я виноват. Знаешь, что у меня есть? — он порылся в портфеле и вытащил две конфеты в красных обертках. — Возьми, ты больной, а больным нужно есть сладости.

— Не надо, что ты, у меня тоже есть, — сказал я, тщетно стараясь вспомнить, когда последний раз ел конфету.

— И хорошо, что есть. Тебе нужно много сладкого... Я тебе, может, еще раздобуду.

Моргун ушел, оставив на столе конфеты.

Я отдал одну сестренке, другую разделил пополам: маме, не слушая ее возражений, и себе.

Вечером чай был очень вкусным, как никогда.

10

Милый мой мальчик! Я помню старого учителя, нет, прости, образ его совершенно стерся в моей памяти. Я помню высокую, худую фигуру в старой ушанке и изъеденном мышами полушубке.

Он не желал мне зла. Он никому не желал зла. Просто у него был своеобразный метод воспитания. В один из студеных февральских дней учитель при-

шел в класс с непокрытой головой, белой, словно припорошенной снегом.

Он вел уроки, а по щекам его текли слезы, и он поминутно вытирал их. Голос его не дрожал, руки не тряслись, казалось бы, не должно было быть у него горя, а слезы текли.

После уроков меня догнал Моргун и прошептал на ухо:

— Сына его убили фашисты.

— Обманываешь! — острая жалость к старику сжала мне сердце, я не хотел верить сообщению Моргуна.

— Какая мне польза обманывать? В учительской подслушал.

...Прошло несколько дней. Однажды меня подняли с постели чьи-то крики. Я испуганно вскочил и принялся тормошить маму, но она не спала. Расширенными от страха глазами она глядела на меня. Не сговариваясь, мы быстро оделись и вышли во двор.

Было слякотное мартовское утро.

В соседнем дворе рыдали и кричали женщины. Я полез на забор и похолодел от ужаса. Сидя на грязной земле, седая женщина била себя руками по голове, каждый раз вырывая клок волос. У ее ног безжизненно лежала другая, уткнувшись лицом в землю. Во двор заходили женщины в черных платьях и платках, мужчины задерживались у ворот.

Я уже и сам думал слезть с забора, чувствуя слабость в руках, как вдруг кто-то схватил меня за шкирку и опустил на землю.

— Негодник, разве можно глазеть на горе людей? Это был дедушка.

— Я хотел узнать...

— Марш домой, — перебил он меня, — и не смей выходить во двор.

Сидеть дома было скучно, потом стало совершенно невыносимо. Плач женщин терзал сердце. Сначала плакала одна, потом ее поддерживали десятки голосов... Через полчаса в ушах у меня гудело и голова была как в тумане. Я открыл дверь, решив выйти во двор, но в комнату вместе с сырым воздухом ворвались стоны и плач людей. Захлопнув дверь, я бросился на кровать, закрыл голову подушкой и вскоре уснул.

11

Я сидел на веранде, пригреваемый весенним солнцем, и зачарованно смотрел, как бабушка, засучив рукава платья и откинув за плечо длинный конец платка, красиво месила тесто из темной муки. Теста было мало, но все-таки это было тесто и от него исходил аппетитный запах.

— Бабушка, у нас праздник какой-нибудь сегодня?

Не переставая месить, она подняла голову и глянула на меня с укором:

— А ты разве ничего не знаешь?

— Как я могу знать все ваши праздники? Я же еще не старый.

Она засветилась улыбкой.

— Мама тебе ни о чем не говорила?

— Не-е-ет!

— В таком случае сиди и грейся на солнышке и гляди, как я буду печь чуреки.

Бабушка кончила месить тесто, разделила его на отдельные куски, потом, взяв длинную палку, раскатала их на посыпанной мукой доске, поцарапала сверху лучинкой и уложила на скатерть.

— Ну-ка, помоги мне вынести...

Мы взяли скатерть за концы и осторожно вышли во двор. В куруге полыхала жара, дно его было багровое, как закат дня. Бабушка обмотала руку тряпками, закутала голову платком и стала лепить раскатанное тесто на стенки куруга.

— Что расселся и смотришь, как голодный волчонок? Не идешь с нами?

За спиной стоял Карапуз.

— Куда? — спросил я, с наслаждением вдыхая вкусный запах чуреков.

— Ты совсем того, наверное? — он повертел пальцем у виска. — Брат мой приезжает с войны.

— С войны? Почему?

— Как почему? Отвоевался, значит.

— А почему папа не возвращается?

—Ну, ты, знаешь, совсем уже... — он замолчал. — Пойдем. А хлеба потом наедимся. Вставай.

На вокзал мы спускались с большой толпой родственников. Выйдя на перрон, мы уселись в тени водокачки и стали ждать поезда. Ожидание было утомительно. Поезд опаздывал.

— У меня уже вся душа болит от ожидания, — сказал кто-то из родственников.

— Чтобы все кишки повылазили у Гитлера, собачий сын, навлек такое горе на нашу голову! — проговорил другой.

— Правильно ты говоришь! С каким удовольствием я проехался бы по нему несколько раз на своей скрипучей арбе, — добавил кто-то.

— А, что твоя арба! Она споткнется об Гитлера и рассыплется... Я бы его, кафтара, поставил бы на колхозном поле вместо чучела, пусть бы глядел, как мы трудимся и не боимся лишений, пусть бы глядел и от злости сох.

— И не убил бы?

— Зачем убивать? Я цыпленка не зарезал за все свои семьдесят лет. Сам испустил бы дух... У подлых людей от злобы желчь разливается.

— Ты, дед, настоящий доктор...

— Проживи семьдесят лет — и доктором станешь, и возчиком, и нянькой, и воином. Всякое придется на твою долю...

— У моей соседки вчера корову увели... На сносях была... Убивается женщина: трое малых детей на руках, один — пятнадцати лет — за хозяина. А муж на фронте, — с тоской и жалостью проговорил женский голос...

— Пепел на голову нечестивцу!

— Провалиться ему сквозь землю, вражине, мародеру...

— Как теперь малым детям без молока?

— Делюсь с ними, — сказала первая женщина.—Не бросать же их на милость судьбы...

Где-то далеко протяжно загудел паровоз. Все зашевелились, встали с земли, отряхнулись.

Эшелон подошел медленно, замер. С грохотом открылись двери вагонов, на перроне появились первые солдаты: одни на костылях, другие — обмотанные бинтами. Стали выносить на носилках тяжелораненых.

— Идет, идет! — заорал Карапуз и побежал в конец эшелона.

Под руку с медсестрой, в пилотке и длинной шинели, он ступал осторожно и, не мигая, смотрел куда-то вдаль, поверх голов. Родственники обступили его, и он потерялся из виду. Послышались тихий плач,

всхлипывания, приглушенные рыдания. Потом все тронулись в путь, домой.

Бабушка, сидевшая в дверях веранды, на подушке, встала, заспешила к сыну, припала к его груди, не промолвив ни слова, и снова послышались всхлипывания и плач. Он гладил ее седые волосы и как-то странно смотрел поверх головы вдаль. Потом она стерла пальцами слезы с лица и пригласила всех на веранду, где был накрыт праздничный стол. Румяные чуреки лежали рядом с сыром, в чашки было разлито кислое молоко, а в центре — большой таз с холодцом.

Разломили чуреки, сыр, зачмокали ртами. Мне подали кусок румяного, пышного чурека, но есть почему-то не хотелось, и куски застревали в горле. Я налил в стакан кислого молока и стал запивать им свой чурек.

— Теперь расскажи, как там, на войне... — первым нарушил молчание дедушка, вытирая ладонью усы и бороду.

— Дай людям поесть, а сыну отдохнуть с дороги! — укоризненно сказала бабушка, махнув на него рукой.

— Людям тоже это интересно. Расскажи, сынок, как там, на войне...

— На войне как на войне, — вздохнул дядя, глядя куда-то в сторону от нас немигающими глазами, и я вдруг с ужасом понял, что он слеп. — Бьют фашистов, погибают, получают награды... На то и война...

12

Я еще ни разу не выходил за город, да и город не знал толком. Между тем взрослые, а в особенности дедушка, гордились своим городом. Когда я, бывало, спрашивал с недоверием, чем он может быть знаменит, дедушка, довольный, поглаживал бородку и внушительно, с любовью говорил:

— Это один из древних городов, мальчик. Кто только не побывал у его стен, а вот открыть ворота удалось немногим.

— Но удалось все-таки?

— Очень немногим, и все равно их изгоняли. Наш город не терпит чужестранцев.

— Ты, дедушка, прямо-таки фантазер.

— Вот погоди, поведу тебя на днях по городу, покажу его крепостные стены, крепость Нарын-калу, мечети... Вот тогда ты и скажешь, фантазер ли я.

Но я опередил дедушку.

В школе на большой перемене Моргун с таинственным видом прошептал мне:

— После занятий подожди меня.

— А что?

— А то, что ты сразу убегаешь домой.

Я промолчал. Не мог же я ему сказать, что меня гнал домой голод.

Мы вышли из школы вместе.

— Ну, что случилось? — меня сейчас не интересовали никакие тайны. В моем воображении рисовалась скатерть, на которой аккуратно лежали кусочки кукурузной лепешки, картофелины, соль...

— Никому ни слова... Ты знаешь, что такое жмых?

— Нет. Да зачем он мне нужен, твой жмых, меня ждут дома.

— Ты ел когда-нибудь жмых? Нет? Тогда пойдем.

— Куда?

Мысль о том, что жмых — это что-то съедобное, насторожила меня.

— За город. Прогуляемся...

Мы обогнули верхний базар и пошли по пыльной дороге. Спустя некоторое время я обернулся назад и замер.

Передо мной лежал город. Длинные, прямые улицы сбегали с подножья горы к зеленому и спокойному, как зеркало, морю. Из-за плоских крыш каменных домов поднимался голубой купол мечети. А на самой горе стояла крепость, и от нее двумя рядами уходили к морю высокие, почерневшие стены. Передо мной словно ожила сказка.

— Ты что застыл? Стихи, что ли, сочиняешь?

Моргун был далеко впереди и махал затасканным портфелем.

— Стихи сочиняешь? Как Пушкин? Мне сестра рассказывала, как он писал стихи. «Кавказ подо мною, один в вышине...»

Он стал в позу, потом махнул рукой и пошел дальше. Я догнал его.

— Куда же мы так далеко идем?

— Видишь скотный двор? Во-о-он туда, — он махнул портфелем в сторону длинных низких строений.

Желудок мой был пуст и легок, как воздушный шар, и я чувствовал, что могу взлететь в воздух. Но взлететь мне не пришлось, потому что вскоре мы подошли к ограде из колючего кустарника.

За широкими воротами неистово залаяли собаки, потом над оградой показались мохнатая черная папаха, лоб, глаза, и наконец высунулось лицо старика.

— Чиво нада? — спросил он. Потом вгляделся в Моргуна и сморщился, словно съел алычу.

— Апат ти? Сколько можно, скажи, пожалыста, сколько можно? Если всим дават, коровы ишто будут кушат, а, скажи, пожалыста? Ни будит сигодни, ни будет.

Моргун растерянно смотрел на него, беспрерывно моргая глазами.

— Сказал — сигодня ни будит, — и лицо исчезло.

— Дедушка, не мне, моему другу надо, у него сестренка заболела, а есть нечего. Сестренка заболела, маленькая она.

— Малинким жмых савсим вридна... — донеслось из-за ограды.

Сзади послышался скрип колес.

Позади нас стояла арба, запряженная двумя буйволами. Пожилая женщина, повязанная платком, спрыгнула на землю.

— Эй, бала, что вы здесь делаете, кто вас завез сюда?

— Никто, тетя, мы сами пришли, — устало проговорил Моргун. — Знали бы — не приходили...

Женщина улыбнулась, потом тяжело вздохнула:

— Эй, бала, идите сюда, идите, дети. Откройте портфель.

Она разгребла солому, лежавшую на арбе, и бросила в наши портфели с дюжину бурых кусков.

— Спасибо, тетя! — повеселел Моргун.

Женщина взмахнула кнутом, и буйволы лениво поплелись к распахнутым воротам.

— Ну, чего ты, попробуй! — Моргун удивленно смотрит на меня. — Попробуй, это жмых.

Я взял один кусок и, как ни пытался, не мог откусить. Он был тверд, как камень.

— Ты пососи, размочи его.

Во рту стало сладковато.

— Сразу много ни кушайти, — старик стоял у ворот и, покачивая головой в мохнатой папахе, глядел

на нас. — Малинким жмых са-а-авсим вридна. Убей, Аллах, душмана Гитлера!

13

— Ты помнишь нашу войну? В ореховой роще?..

Милый мальчик, мне ли не помнить!..

Ее предложил Моргун, который вечно что-то выдумывал, фантазировал, сочинял... Собрав ребят со своей и с нашей улиц, он повел их за город, в ореховую рощу, соседствующую с кладбищем. Надев по самые уши невесть откуда раздобытую вылинявшую пилотку, он размашистым шагом шел впереди шумной ватаги, вооруженной самодельными деревянными револьверами и винтовками.

У ореховой рощи Моргун остановился.

— Надо разделиться на два отряда — красных и белых. Ребята с нашей улицы — красные, с вашей — белые, — обратился он не столько ко мне, сколько к Карапузу.

— Нет, не хотим быть белыми! — зашумело полватаги.

— Надо же кому-то быть белыми? — от удивления глаза Моргуна стали вдвое больше.

— Пусть будут ребята с вашей улицы! — предложил кто-то из другой половины.

— Не будем!

— Так мы ни до чего не договоримся, — вздохнул Моргун.

Воцарилась тишина. Ребята напряженно смотрели на своих предводителей, будто от их слова сейчас решалась их судьба.

— В таком случае давайте разделимся... — Моргун задумался и вдруг радостно выпалил: — На синих и зеленых! — и с надеждой посмотрел на ребят.

— Пойдет на синих и зеленых, — выкрикнул кто-то, и вся ватага заорала: — Пойдет!

Мы вошли в рощу и отделились от зеленых.

В роще было прохладно. В небе висело солнце, и сквозь деревья на нас падали апрельские теплые лучи. Остановились мы у канавы, берега которой заросли густым кустарником. Карапуз разместил свой отряд, выставил дозорных, отозвал в сторону меня и еще одного мальчишку из отряда:

— Вы пойдете в разведку, за языком. Мы должны знать, где находятся зеленые. А потом — бац! — внезапно по ним...

Мне не очень хотелось идти в эту разведку. Куда приятнее было сейчас лежать на травке и греться на солнышке. А эта война — мальчишеская забава. Там, на настоящей войне, наверное, очень страшно: бомбы, пули, огонь, смерть подстерегает солдат. А смерть... Интересно, болючая она или приходит внезапно, осторожно закрывая веки? Наверное, болючая. Ноют ноги, горит лоб, неистово колотится сердце, режет грудь, и разламывается голова... Я все это чувствовал. Но ведь не умер?! Значит, смерть не болючая, навевает дрему и усыпляет.

— Ты чего замечтался? — мой напарник толкнул меня в бок. — Разгоняйся и прыгай через канаву.

— Надо же незаметно!

— Охота тебе в воду лезть... Давай!

Я отошел в сторону и уже приготовился к разбегу, как меня пригвоздил к месту приглушенный крик:

— Стой! Стой, не шевелись! Замри!

Я не понимал, в чем дело, но стоял, не шелохнувшись, как изваяние. Неужели нас заметил противник?

У ног что-то зашуршало, сзади послышался облегченный вздох.

— Подожди еще немного... Ну, теперь давай, прыгай.

Я разбежался, оттолкнулся от берега и плюхнулся ногами в воду. Мой напарник прыгнул вслед за мной так, словно кто-то вытолкнул его с того берега.

— Вот, из-за тебя намочил ноги, — буркнул я, выливая из ботинок воду.

— А причем я? — удивился тот.

— Причем! Ты же не дал мне разбежаться.

— А если бы тебя змея укусила?

— Какая змея?

— А у твоих ног змея лежала, грелась на солнце, свернувшись в клубок.

Я вспомнил шорох у моих ног, и ледяная дрожь прошла по спине.

Быстро зашнуровав ботинки, я хотел вскочить на ноги, но напарник пригнул меня к земле.

К канаве, боязливо оглядываясь, подходил противник. Когда он почти поравнялся с нами, мы, не сговариваясь, вскочили, бросились на него, сбили с ног, свалили на землю и зажали рот ладонями.

«Язык» оказался ценным. Зная, что Моргун способен на всякие выдумки, Карапуз решил перехитрить его и направил меня во главе десяти мальчишек в обход противника, через кладбище.

Первые минуты нас разбирало любопытство, но оно быстро прошло, и стало жутко. Вокруг нас стояли холодные, почерневшие от времени надмогильные плиты и памятники. Мы ускорили шаги и уже выходили с кладбища, как что-то остановило нас. Перед нами были холмики свежевырытых могил, у их изголовья стояли небольшие каменные плиты с выбитыми на них фамилиями.

— Воинское кладбище, — прошептал я.

— Солдаты... — сказал кто-то с тоской в голосе.

Тишину разорвало дружное, громкое «ура!». Это Карапуз вел ребят в атаку. Мы переглянулись, но никто не сдвинулся с места.

Перед нами лежали холмики свежевырытых могил...

14

— Ты уходишь? Мальчик, побудь со мной еще немножечко. Я прошу, умоляю тебя!

Мальчик растворяется во мгле. Потом на мой крик он выплывает из ночи и, глядя грустными глазами, шепчет:

— Ну что же ты кричишь? Мне пора уходить.

— Но разве ты больше ничего не помнишь? Разве не было в моем детстве...

— Все остальное не так важно. Я исчезаю.

— Послушай, мальчик, мне будет тяжело одному. Ты раскрыл мою рану и уходишь. Это нечестно, мальчик.

— Прости, если не вовремя явился... Прощай.

Он уходит куда-то вглубь и исчезает.

— Маальчиик!.. — отчаянный крик вырывается из моей груди.

...Я открываю тяжелые веки. Окно искрится от солнечного света. Слышен стук колес. Сердце... Как сильно болит сердце! Боже, зачем надо было ворошить воспоминания, зачем?.. Вдруг я умру, сейчас, на этой

полке? Умру? Нет, не может этого случиться, не может... Нельзя. Я должен и буду жить.

А умирать гораздо проще, чем принято думать и особенно говорить о смерти. Я помню, как засыпал мой дед, спокойно, торжественно, прервав свою сказку.

Он лежал белый и худой. Но глаза... глаза глядели живо и умно. Он подозвал меня с сестрой и попросил сесть рядом.

— Я мечтал о том дне, когда ты станешь врачом и будешь лечить меня, — сказал он тихо, обращаясь к сестре. — И я бы жил долго, очень долго, а может, и вечно... — мягкая улыбка осветила его лицо. — Но— простите меня — решил не ждать... Есть такая мудрая сказка о жизни и вечности... Было это давно...

Затаив дыхание, мы слушали деда.

На самом интересном месте он прервал свою сказку.

— Идите, дети, в другую комнату... Я отдохну немного...

Сестра ушла, а я отошел в угол и не отрывал глаз от деда. Я слышал рассказы о разных смертях и ждал чего-то страшного. Дед несколько раз глубоко вздохнул, поперхнулся и успокоился. Заголосили женщины, сидевшие в другой комнате. И я понял, что деда уже нет, он умер. Потом его положили на пол, накрыв белой простыней, а в изголовье поставили слабо мерцавшую лампаду.

Я смотрел на вздрагивавшее пламя и думал о жизни и вечности... Кто доскажет нам прерванную сказку, кроме деда? И знает ли ее кто-нибудь, кроме него?

Я обязательно должен узнать конец мудрой сказки.

...Поезд идет на юг.

В окно тычется, как слепая сова, солнце.

За окном — голубая река и бескрайняя золотая степь. Миром и покоем дышит земля. Моя земля. Но какой ценой добыты мир и покой!..

ПРОИСШЕСТВИЕ В АУЛЕ МУНО

1

— Вас обвиняют в преднамеренном убийстве.

— Я не убивал его.

Молодой мужчина поднял большие серые глаза, в которых застыли тоска и усталость, и снова повторил:

— Я не убивал его.

— Вот беда-то, — вздохнул Камиль, откинувшись на спинку стула. — Но платок и нож ваши?

— Мои.

— Бывали между вами и Батыровым столкновения?

— У кого их не бывает?

— Угрожали вы ему убийством?

— Пристал он как-то ко мне без причины, я и сказал, что нарвется когда-нибудь он на меня...

— Будьте точнее. Вы ему сказали: «Убью я тебя когда-нибудь, Батыров, чтобы раз и навсегда перестал ты меня преследовать».

— Да.

— И убили.

— Не я убивал его.

— А кто, кто? Кто убил Батырова? Убил же его кто-то, в конце концов?

Камиль вытянул ноги и зло глянул на мужчину. С таким трудом он добился короткого свидания с сидевшим против него заключенным, и вот драгоценное время истекало, уходило как вода в решете.

— Все очень тонко и умно подстроено. Кому-то, наверное, надо было меня убрать.

— И убить милиционера? Или, наоборот, убить милиционера и свалить убийство на вас?—спросил Камиль.

— Зачем надо было убивать Батырова?

— Почему в это грязное дело ввязали вас? У вас были недоброжелатели, враги?

— Нет.

— Но кого-нибудь вы можете подозревать в убийстве?

— Нет, не могу.

— Подумайте серьезно. Мать и сестра ваши ночами глаз не смыкают, а вы тут героя из себя строите.

— Но кого мне подозревать? Османа? Он никак не ладил с Батыровым, даже за столом они грозились устроить друг другу злую шутку.

— Кто такой Осман?

— Егерь заповедника. Он иногда позволял мне бить маралов, а то и сам приносил тушу. Батыров знал, что Осман совершает противозаконные действия, но задержать на месте преступления не удавалось. Да и преступление ли...

— Это другая тема, еще кого можно подозревать?

— Нуцалхан не ладил с Батыровым. С легкой руки Батырова сельчане за глаза называли Нуцалхана спекулянтом, а при встречах с Батыровым Нуцалхан просил Аллаха убрать «злопыхателя и клеветника с его пути».

— А Наби?

— Наби... нет.

— Я слышал, что он любил вашу невесту и сватался к ней.

— Так можно подозревать все селение, и даже старого Ханипашу.

— А это что за личность?

— Человек.

— Все-таки?!

— Появился года два назад в селении и пригрелся у моей шашлычной.

— Подаяние, что ли, просит?

— Питается у меня, и денег, видно, ему не занимать. Накопил на старость. Все свободное время проводит у шашлычной. Безобидный старик.

— И откуда приехал этот Ханипаша?

— Так можно и мою кошку подозревать, которую я приютил год назад. Чья она и откуда пришла — не выяснял.

— Тут дело проще: ее привлек запах шашлыка. Друзей хоть много у вас в селении? Без сомнительных репутаций.

Мужчина улыбнулся, легкий румянец лег на его щеки.

— Долго будет перечислять.

Камиль взглянул в удивительно белое и нежное лицо мужчины, больше походившее на девичье, улыбнулся, подался вперед.

— Легче отыскать иголку в стоге сена, чем малую жемчужину в потоке твоих слов.

2

— И все-таки я убежден в невиновности Арацхана, — сказал Камиль, перевернувшись на спину.

— Более того, в непричастности его к убийству, — в том же тоне продолжил редактор и осторожно прикрыл лицо соломенной шляпой.

...Воскресный полдень дышал зноем. Камиль и редактор газеты загорали на пляже.

— Мне непонятны мотивы, заставившие тебя с таким рвением взяться защищать этого, как его, Арацхана. Верховный суд республики разберется, он и не такие ларчики открывал. Может статься, что ты расклеился от горячих просьб и слез сестры его?

— Причем тут его сестра? В беде люди всегда обращаются за помощью к друзьям. Ну просила, что из того? Я же не следователем еду, а изучить микроклимат, в котором жил Арацхан, людей, окружавших его. Расклеился... Отчего я мог расклеиться?

— Невыносимый ты человек, братец,—раздалось из-под шляпы.

— Мой дед часто наставлял меня: «Не наседай в споре на собеседника, дай ему время взвесить свои суждения, и он поймет их ошибочность». Пойду, утолю свою жажду.

Камиль встал, стряхнул с себя песок и побежал по раскаленному песку к кафе. Взбежав по высокой бетонной лестнице на открытую веранду, он пристроился к длинной очереди, стоявшей за пивом, и облокотился на перила.

Песчаный берег, изогнувшийся на несколько километров золотым серпом, был забит тысячами отдыхающих. Окрашенные в яркие цвета навесы и зонты, детские игровые площадки и шезлонги, разноцветные купальные костюмы, тела — от снежно-белых до шоколадно-бархатных — вся эта гамма красок под полуденным солнцем слепила глаза. Когда Камиль вернулся, ре-

дактор лежал в прежней позе, с большого тучного тела стекали капли воды.

Камиль присел рядом на корточки и шепотом спросил: — Как решили, Петрович?

— Надоел ты мне с этим своим Арацханом. Без тебя будто не управятся. Бери неделю и уезжай ко всем лешим, ради бога, и оставь меня в покое.

— Семь дней! — изумленно протянул Камиль. — За семь дней я не успею обойти и семь дворов.

— Ты что, на хинкал едешь или форелей ловить в озере? Выпиши командировку на неделю. Потом продлим.

— Это уже деловой разговор.

Камиль поднялся, окинул взглядом пляж и побежал к воде.

3

Его оглушил рев моторов, прижало к креслу, за бортом закачалась земля.

Справа лежало море, отороченное у желтого песчаного берега кружевом волн, слева громоздились горы.

— Первый раз в горы? — раздалось за спиной.

Камиль обернулся.

За ним сидел красивый чернобровый молодой мужчина и снисходительно улыбался.

— Сто первый, — крикнул Камиль.

— Чего уши зажал?

— Сквозняка боюсь.

Тот громко расхохотался.

— Куда едешь, друг?

— В Муно.

— Вап-па-пай, значит, ко мне. Было время, мунинцы гостей искали за аулом. Гость — это подарок Аллаха, говорили они, без подарка жизнь серая и скучная. Теперь гостей находим в небе.

— Век технического прогресса. Как звать тебя?

— Наби. Наби Хижалов.

Камиль задумался, затем проговорил:

— Слышал, у вас милиционера убили.

— Не убили, а убил один человек. Арацхан, говорят.

— Как это, говорят? Раз арестовали, значит убийца уличен.

— Вап-па-пай, разве в таких делах ошибки быть не может?

— Ты хочешь сказать, что Арацхан не...

— Ничего я не хочу сказать, — прервал Наби.—Ты кто, следователь?

— Нет. Просто любопытно.

— Любопытно, — неожиданно зло передразнил Наби. — Не маленький, сам знаешь, к чему приводит любопытство. И дикий зверь попадает в земляную яму.

— Я слышал, что к его невесте сватался другой, как звали забыл... — проговорил Камиль.

— Ну и что с того? — после минутного молчания спросил Наби. — Ты не знаешь наших обычаев? К одной девушке сватаются десятки парней. Слушай, от кого ты все это узнал, интересно мне, очень интересно. Нет, по-моему, ты следователь.

— Разве я похож на него?

— Кто тебя знает. Легче раздеть черепаху, чем разгадать человека.

— Слушай, Наби... — Камиль задумался: стоит ли бить последней картой. — Слушай, а мог ли жених убить милиционера и свалить убийство на Арацхана?

— Для чего? — крикнул Наби.

— Как для чего? Чтобы жениться...

— Дурак, — взорвался Наби. — Прости меня, но ты рассуждаешь как сумасшедший... Как можно из-за женщины убивать мужчину, вап-па-пай. И потом, зачем убивать милиционера, если мешает Арацхан? Ты, друг, наверное, начитался всяких книг, где убивают, расследуют, путаются в догадках... Или на самом деле следователь.

— Не следователь я, — сказал Камиль и устало откинулся в кресле.

Под крылом самолета тянулись горные цепи, на плоскогорье и в ложбинах виднелись коробки домов, в долине узкой реки теснились аулы. Вдали в лучах холодного солнца на фоне синего хрустального неба сверкала длинная белоснежная гряда. Главный Кавказский хребет.

— Какая красота, — прервал молчание Наби. — Сколько ни летаю, не перестаю удивляться: кто мог создать такое?

— Аллах.

— Несерьезный ты человек, друг. Я тебе такую кра-

соту покажу — рот разинешь. К Осману поведу, в заповедник. Посмотрю, там какого создателя вспомнишь.

Самолет накренился, делая круг над поляной. Накренились земля, горы, небо, потом самолет опустился, еще раз вздрогнул корпусом и, пробежав с десяток метров, замер, умолк, и наступили тишина и покой. Свинцовая тяжесть и гул, начинившие голову и тело, медленно отходили.

Камиль спрыгнул на землю, сощурился от солнца; свежий воздух ударил в ноздри, заставив запрокинуть голову и глубоко, до боли в груди, вдохнуть.

— Акклиматизируешься? — улыбнулся Наби.—Пойдем, ты мой гость. Никаких возражений быть не может.

— Мой дед учил: не отказывай никогда в гостеприимстве, иначе наживешь неприятеля.

— Твой дед был мудрым человеком. Правильно учил.

Они шли по траве. Солнце садилось. Внизу виднелся аул Муно, вытянувшийся вдоль мелководной речки. Добрая половина его домов расположилась на плоскости и утопала в зелени фруктовых деревьев, другая половина взбегала на гору, так и не дотянув до гребня. На гребне в гордом одиночестве возвышался телеретранслятор.

4

Мустафа спешил, стараясь успеть в аул к полудню. Природа не трогала его. В ауле, как ему сообщили чабаны, с утра идет какое-то совещание, и ему хотелось застать председателей колхоза и сельсовета, чтобы выпросить у них лес для строительства дома. Ветхий дом, в котором жили отец и дед его, еле противостоял ураганным ветрам, а в дождливые дни крыша напоминала хорошее сито. Он долго не слушался настояний жены строить новый дом, но однажды ночью, когда на плоской крыше хрустнули бревна и посыпалась глинистая земля, понял, что быть беде, если не уйти из этого дома.

Издалека послышался рокот и появился самолет.

— Двенадцать часов, — сказал себе Мустафа, — к двум я буду в ауле. Самое время. Только бы они не ушли...

Спустившись в аул, он направился прямо в правление колхоза. В кабинете председателя было накурено,

у дверей сидел зав. магазином Нуцалхан. Председатель, устало откинувшись на спинку стула, размеренно качал головой, приговаривая:

— Зачем тебе еще дом, ну, зачем тебе еще дом... А, Мустафа, заходи. Присаживайся. Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось. По делу пришел.

— Присаживайся. Что за человек твой сосед, рассудительного слова не понимает, дисциплины не знает, закону не подчиняется...

— Как тебе не совестно, председатель, пожилого человека так честить, и за что? Два-три бревна прошу, а ты меня на суд выставил...

— Ты уже седым стал, а жадность свою так и не переборол.

— Астапируллах, какие издевательства я переношу из-за пяти-шести бревен, астапируллах, — Нуцалхан воздел глаза к потолку и провел ладонью по лицу. — Не дашь?

— Нет, беззаконие я не могу допустить, — твердо сказал Муртуз.

— Хо-ро-шо... Тогда я буду жаловаться.

Нуцалхан вышел, сильно хлопнув дверью.

— Видал, какой фрукт? — председатель указал головой в сторону двери и вдруг грохнул кулаком по столу. — У-у-у, стяжатель, управы нет на него. Ну, а ты зачем пришел, тоже за бревнами, говори?

Мустафа безнадежно махнул рукой:

— Не стоит, ничего мне не надо.

— Ты не сердись на меня, устал сегодня от таких, как Нуцалхан. Выкладывай, в чем нужда...

— Боюсь даже произнести.

— Духу не хватает? У тебя-то? Ха-ха-ха, ну выкладывай, времени нет.

— Бревна нужны. Дом надо бы построить...

— Бревна... Опять бревна... Дом тебе нужен, знаю. Нужен... День-два придется подождать.

— Мое дело не горит, подожду сколько надо.

— Именно горит твое дело. За лето надо дом построить, а рук не хватает... Поможем, Мустафа, не беспокойся, надо будет — весь аул подниму. У тебя все? А то меня Биби-ханум ждет уже больше часа, с глазу на глаз хочет говорить, — председатель засмеялся, потом ласково обратился к незаметно сидевшей в углу старушке:

— Присаживайся поближе, Биби-ханум. Что же ты мне хотела сообщить? Выкладывай.

Мустафа притворил за собой дверь и облегченно подумал: «У меня будет новый дом». Он постоял еще минуту и, сам того не желая, невольно прислушался к разговору, происходившему в кабинете.

— Биби-ханум, из каких источников ты получаешь эти сведения? Сколько раз я тебя просил: брось гадание, настроишь весь аул против себя. Ну, к чему тебе людям голову морочить, а, скажи?..

— Сынок, кошки покидают дом, коровы тревожатся, предчувствуют; людям беда грозит, поверь, сынок, старухе...

— Биби-ханум, не говори никому, ради бога, осмеют тебя, старую женщину.

Вот чудачка, опять принялась за свое, подумал Мустафа, и в этот миг будто кто-то сильно тряхнул дом. Мустафа выглянул в окно, на улице было пустынно и тихо; он открыл дверь кабинета и встретился со спокойным взглядом председателя колхоза.

— Наверное, трактором задело нас.

Председатель распахнул окно.

Улица была пустынна.

Он обменялся с Мустафой взглядом, медленно повернул голову в сторону Биби-ханум, раскрыл было рот, но в это время пошатнулся пол: словно под досками была вода, а не твердая земля.

— Интересно, очень интересно, — протянул задумчиво он и сел за стол.

Все трое молча выжидали. Шло время: на стене уверенно и мерно тикали часы.

Выйдя на улицу, Мустафа остановился в задумчивости, пытаясь разобраться в происшедшем непонятном явлении, но тут увидел Камиля и Наби, выходивших из проулка.

— Камиль? С приездом, какими судьбами?

— Мустафа! Сколько лет, сколько зим!

— Что для нас время? Щелкаем дни, как орешки. Откуда ты явился, не с неба ли?

— Угадал, — засмеялся Наби.

— Чудеса, — сокрушенно покачал головой Мустафа. — Этот является с неба, под ногами дрожит земля. А ты тут глупо хихикаешь.

— Что с землей-то случилось? — улыбнулся Камиль.

— Вы ничего не заметили? — удивился Мустафа.—

Земля под ногами ходила, дом трясло, а они ничего не заметили!

— Мы ничего не ощутили, — сказал Камиль.

— А, шайтан с вами, — махнул рукой Мустафа. — Пойдем домой, Камиль.

— Как домой? — удивился Наби. — Он мой гость.

— Вах, подумаешь, был твой — теперь мой.

— Слушай, Мустафа, я его, можно сказать, в небе нашел, намного раньше тебя...

— А хоть у Аллаха нашел бы, подумаешь. В самолете сидели сорок минут. А я с ним знаешь сколько лет знаком, не знаешь. Пойдемте ко мне, я еще и дома-то не был.

5

— Послушай, Наби, ты обещал познакомить меня с Османом, — вдруг вспомнил Камиль, замедлив шаг. Они поднимались по улочке, ведущей к дому Мустафы.

— Не много ли на сегодня знакомств? — спросил Мустафа. — А, шайтан с вами, поступайте, как хотите. Зачем тебе понадобился Осман, не пойму.

Дом Османа, большой, крепкий, бревенчатый, стоял почти под ретранслятором.

Наби громко постучал в дверь:

— Осман, ты дома?

Молчание длилось недолго, вышла женщина в накинутом на голову цветастом платке.

— Заходите, я его позову.

В доме пахло мясом, дымом.

— Печь не может наладить, мужчина, — произнес Мустафа. Он не успел договорить, как в комнату вошел невысокий, крепко сбитый, крутоплечий человек. На полном лице его выделялись острые глаза и черные усы.

— Наконец-то мой дом посетила радость, сразу столько гостей. Жена, готовь на стол.

Они обменялись крепким рукопожатием.

— Как поживает твое стадо, Осман? — спросил Мустафа, протянув руку за курагой, сушившейся на подоконнике.

— Разве это работа, брат? — Осман сокрушенно вздохнул, затем принялся пощипывать усы. — Буйволиные нервы надо иметь. Сам рассуди — пешком за турами бегать не будешь. Вертолет выпросить надо? Раз.

Гнаться за ними и считать поголовье по всему заповеднику надо? Два. А ты знаешь, как они бегают — со скалы на скалу — и нет их. Браконьеров ловить надо, да чтобы шальная пуля в тебе не застряла? Три. Отстрел туров запрещен, а некоторым товарищам приходится угождать. Четыре.

— Осман, — позвал женский голос из кухни.

— Эти женщины всегда не вовремя появляются, — сказал он, но встал и вышел. Вернулся он скоро.

— О чем вы тут без меня шептались?

Глаза его хитро пробежали по лицам сидящих.

— Камиль интересуется делом Арацхана, — сказал Наби.

— А, следователь.

— Журналист.

— Понятно, писать будет, защищать,—сказал задумчиво Осман. — Хороший парень Арацхан, попал в грязную историю, непонятную. Чтобы он человека убил? Не поверю. Он не мог даже скотину зарезать.

— Я слышал, что ты разрешал Арацхану бить туров? — спросил Камиль.

— Кто сказал? — резко спросил Осман.

— Арацхан.

Осман бросил взгляд на Мустафу и Наби и опустил голову.

— И сам иногда приносил тушу в шашлычную, — продолжал Камиль.

— Друзьями мы были, — проговорил Осман. — Он готовился к женитьбе, хотел накопить немного денег... Ты наши свадьбы знаешь.

— А Батыров о твоих проделках знал?

— Ну, знал, а что из того? — насторожился Осман.

— Могу подсказать. Чтобы он не смог поймать егеря как браконьера на месте преступления, надо было от него избавиться...

— Молчи, как у тебя язык поворачивается,—взорвало Османа,—из-за паршивого тура убить человека. Над тобой есть Всевышний, намус, что ты треплешь языком! Молчи, иначе я подожгу дом, убью себя...

— Успокойся, Осман, — вскочил с места Мустафа,— это ведь только предположение. Он хочет помочь Арацхану.

Осман забегал по комнате, потом остановился и повернул к Камилю багровое, налитое кровью лицо.

— Кунак, теперь послушай меня. Ради чего я должен был желать ареста Арацхана, моего друга? Ты же не младенец, понимаешь, если Батыров убит ножом Арацхана, значит, кому-то угодно убрать Арацхана.

— И Батырова.

— Да, и Батырова, Но такой противник Батырова, как я, никогда не пойдет на убийство, он на виду у всего джамаата. Враг Батырова — враг скрытный, умный, хитрый, коварный...

— Доводы его убедительны, — подумал Камиль и задумчиво спросил:

— Но кому было угодно убрать Арацхана? На чьем пути он стоял?

— Вот на чьем пути, — протянул Осман руку в сторону Наби и зло улыбнулся. — Может, ему было угодно, чтобы жениться на Гюли?

— Зажми свой скверный рот,—крикнул Наби,—и пошевели своими турьими мозгами. Вап-па-пай, чтобы самому спастись, он любого толкнет в водоворот.

— Вы что столкнулись, как бараны, мы сюда не ругаться пришли, — стукнул Мустафа кулаком по столу.— Взрослое дурачье...

В комнату вошла хозяйка и, окинув всех удивленным взглядом, спросила:

— Подавать на стол, Осман?

— Подавай, — ответил он устало, — мои кунаки от голода бесятся уже.

6

Наби, изрядно захмелевший, ушел домой, напевая песню. Камиль и Мустафа спускались по темной каменистой улочке. Ночь была безлунная. За глухой саманной стеной вдруг кто-то завопил: «Нет, нет, я поступлю по-своему, чего бы мне ни стоило».

— Что такое? — удивился Камиль, взяв за локоть Мустафу.

— Нуцалхан, завмаг.

— Он мне нужен.

— И этот тебе нужен, — устало вздохнул Мустафа. — Что ж, послушай его. Лучше — погляди.

Камиль нащупал ногой выступ, подтянулся на стену

и, перевесившись, лег грудью. По ярко освещенной веранде, как затравленный зверь, бегал мужчина.

— Что ты понимаешь в жизни, пятьдесят лет прожила, что поняла, как сахар ломать или хлеб печь? И все? А как деньги добывать, добро копить? Кто за тебя должен?

— Совсем сдурел, старик, — сокрушенно затараторила женщина в углу веранды. — Другие на старости лет покоя ищут, детей собирают вокруг себя, а этот взбесился от богатства, сыновей разогнал, прах мне на голову, до каких дней дожила.

— Не причитай, старуха, дети на нашей могиле надгробный памятник не поставят, я сам должен об этом позаботиться. О том все мои думы. И на час смерти сейчас деньги нужны, чтобы голодранцы не зубоскалили.

— Нуцалхан, уймись, пойдем в дом, соседи услышат,—взмолилась женщина. — Какой срам на мою голову!

— Нет, ты посмотри, один, два, три, четыре, пять, шесть метров, — Нуцалхан обмерил веранду из конца в конец. — Шесть метров. Шесть метров всего-навсего длина моего дома, а я хочу довести его до десяти.

— К чему нам двоим такой дом?

— Эх, дура, да простит меня Аллах. А зачем Муртузу такой дом или Магоме, я не хочу ни в чем им уступать.

— Побойся Аллаха, старик, у них дома полны детей. Возьми нашего соседа Мустафу, в каком доме он живет...

— Возьми Мустафу! — передразнил Нуцалхан.—Нашла мужчину, в такой дом гяура я не поселил бы. Нет, старуха, мой дом должен быть самым большим в ауле, самым красивым. Как я решил — так и будет.

Мустафа стащил Камиля за ногу со стены и увлек за собой.

— Хватит слушать бредни спекулянта. Спать пора, поздно.

— А ты уже и обиделся на него? — засмеялся Камиль. — Не знал я тебя таким.

— Что на него обижаться, спекулянта... Магазин месяцами держит на замке, а сам где-то торгует фруктами из собственного сада. У-ух, кулацкий сын...

— Неужели кулацкий?

— А то нет. Одно правда: отец его не имел того, что имеет сын. Ну, вот мы и пришли.

Отворив калитку, Мустафа пропустил Камиля вперед. На звук шагов из темноты выскочил щенок, затявкал и, узнав хозяина, затих. Скрипнула дверь, выпустив во двор сноп света, на пороге застыли два мальчика, потом бросились навстречу Мустафе. Он обнял обоих, поднял, крепко прижав к себе, и закружился с ними.

— Ты что, так и не зайдешь сегодня в дом?—донесся до них женский голос. — Все знают, что Мустафа в ауле, только дети его не видят.

— Не мешай, жена, дай подышать ночным воздухом.

— Мало ты дышишь на своих пастбищах. Чем ты там занимаешься, хотела бы я знать, если и дышать времени нет, — она подошла, поздоровалась с Камилем и тяжело вздохнула:

— Беспечный человек, совершенно не думает о семье. Есть будете дома или во дворе?

— Есть мы не хотим, чаю бы выпили, — опередил Мустафу Камиль.

Через пару часов, лежа в постели, Камиль услышал приглушенные голоса.

— Мустафа, сегодня наш дом так закачало, так закачало, я уж думала, что стены разойдутся.

— А ну его к шайтану, — проговорил Мустафа.

— Кого?

— Дом, кого...

— Я не о доме, я о том, что его закачало...

— Шайтан с ним, спи.

Голоса смолкли. Камилю не спалось. Он достал из кармана куртки записную книжку, ручку и стал подводить итоги дня.

7

Простые, добросердечные, щедрые люди живут в Муно. Неужели в перламутровой искрящейся раковине может сидеть гнилая личинка?

Кто убийца? Вопрос остается открытым. Кого назвал Арацхан? Османа, Нуцалхана, Наби, Ханипашу. И только. А впрочем, я ищу не убийцу. Я хочу узнать характеры, качества людей, которые окружали Арацхана, жили с ним рядом.

Может ли Осман убить человека, если хладнокровно убивает туров, кабанов, медведя? Смелости и бесстрашия ему не занимать, меткости тоже. Другой вопрос — способен ли? Судя по его человеческим качествам —

нет. Такие люди, по-моему, пойдут на самопожертвование ради спасения другого... Осман не убивал Батырова, хотя и грозился...

Мог ли этой угрозой воспользоваться другой, чтобы отвести от себя подозрения? Например, Наби! Но почему Наби должен убить Батырова, а не самого Арацхана?! Совершенно верно он мне отпарировал. Но убить Арацхана — значит навлечь подозрение непосредственно на себя. А если Батырова?.. Тем более, что Арацхан с Батыровым жили как кошка с собакой. Кто-то именно этим и воспользовался. Именно этим...

Если я временно вычеркну из списка Османа, Наби, остаются Нуцалхан, Ханипаша, мулла и весь аул. Поистине мудр был дед, когда говорил: не берись за сложное дело один, начнешь его ты, завершит другой.

Удивителен быт мунойцев. Патриархальное сосуществует с современностью, минувшие века с двадцатым. Дома обставлены полированной мебелью, проведены электроэнергия и газ, а воду женщины носят из родника в больших медных кувшинах, закинув за плечо; зерно мелют в каменных жерновах, часами просиживая, подогнув под себя ноги и вращая рукой верхний каменный круг—жернов. В ауле работает небольшая пекарня, которая обеспечивает хлебом и соседние хутора, но многие мунойцы предпочитают печь свой хлеб; на чугунных жаровнях они пекут тонкие, плоские лаваши, которые некогда их предки пекли на раскаленных камнях... В домах рядом с эмалированной и оцинкованной современной посудой полно старинной, на стенах веранд и кухонь, на полках висят и лежат почерневшие от времени изготовленные из серебра и меди казанки и котелки, миски и тазы, блюда и кувшины, которые переходят из поколения в поколение. В торжественных случаях мунойцы готовят национальные кушанья в старинной посуде. Уверяют, что в них вкуснее и ароматнее.

Рассказывают, что много веков назад в эти места забрел молодой горец. У него не было ни скарба, ни богатства, лишь белый конь под ним да два кинжала за поясом. Уж очень понравилась ему долина, в восхищении стоял он несколько минут над рекой, потом ускакал... Появился он здесь спустя неделю, с братом, а когда однажды старший брат, умываясь в речке, глянул снизу на хмурые и молчаливые лесистые горы, сакли, улыбнулся и промолвил: пусть здравствуют и существуют. Говорят, отсюда и пошло название аула — Муно.

8

Утром Камиль и Мустафа вышли из дома вместе.

— Ты не пойдешь со мной? — спросил Мустафа, придержав шаг.

— Нет, с Нуцалханом надо поговорить.

— Ты же о нем знаешь больше, чем он о себе? — удивился Мустафа. — Неужели думаешь спасти Арацхана? Если убийца и был другой, он давно исчез из аула.

— Мне нужно выяснить, Мустафа, как люди относятся к Арацхану.

— Ты хочешь доказать себе, что не Арацхан убийца. Не твое это дело.

Камиль ничего не ответил, направился к дому Нуцалхана.

Постучав в калитку и не дожидаясь ответа, Камиль вошел во двор и, окинув взглядом ломившиеся от фруктов деревья, поднялся на веранду. На цветастом ярком паласе, поджав под себя ноги, Нуцалхан пил чай; полные щеки его разрумянились, на лбу выступил бисером пот.

— С добрым утром, хозяин.

— С добрым, с добрым, заходи, гостем будешь, — он осторожно поставил стакан на блюдце и указал место рядом с собой. — Садись, чую сердцем — из города, меня проверять приехал. Дело нас подождет, пока выпей стакан крепкого чаю.

— Спасибо, хозяин...

— За что спасибо, — перебил его Нуцалхан, — боишься быть обязан? Хитер, молод, а хитер... Тогда дыши нашим свежим воздухом, за него надо благодарить только Аллаха.

— Ну и тип, — подумал Камиль, — прав был Мустафа, говоря о нем...

И опять Нуцалхан перебил его мысли:

— Значит, проверять приехал? Пишут на меня, все грамотными стали, от мала до велика, писать все могут, а завмаг я один. Стар уже, хворь подстерегает на каждом шагу... — Нуцалхан перелил чай из стакана в блюдце, поднял его на пальцах и степенно несколько раз подул. — Неделями болею, лежу дома, а они пишут, что я уехал своими фруктами торговать. Избаловался народ, отбился от рук, потерял намус, не слышно имя Аллаха на устах... Зря не пьешь чай, крепкий, ароматный, сам завариваю...

Камилю изрядно надоел монолог Нуцалхана, и он хотел было прервать хозяина дома, но взял себя в руки и дождался, когда тот умолкнет.

— Я по другому делу, — сказал Камиль.

— Астапируллах, еще второе дело есть? — Нуцалхан поперхнулся горячим чаем, на глазах выступили слезы. — Душманы, когда они меня оставят в покое?

— Это дело Арацхана.

— Что-о-о? — глаза Нуцалхана округлились от удивления.

— Хочу узнать у вас, что он за человек?

— Какое мне дело до Арацхана? Сам тонет, сам и пусть карабкается, — и он с шумом отхлебнул из блюдца.

— Он о вас хорошо отзывался,—решил соврать Камиль. — Говорил, что добрыми друзьями были, в гости друг к другу ходили.

— Да? Так и сказал? — Нуцалхан насторожился, призадумался. — В тюрьме поумнел, наверное. Бывало, часто скандалил, а теперь хорошо отзывался, говоришь? А ты кто, следователь?

— В каком-то роде.

— Значит, видел его? Нет, неплохой парень Арацхан, правда, бывает излишне горяч, скандалит, — он отхлебнул из блюдца, задумался и медленно произнес:— Неплохой, скажу тебе.

— Неплохой, а убийство совершил,— осторожно заметил Камиль.

Нуцалхан состроил на лице невообразимую гримасу:

— Убил! Арацхан! Хе-хе-хе. Арацхан скотину режет с дрожью в теле... хе-хе-хе. Ну и следователь, не той ногой шагнул.

«Не той ногой, значит, — сказал себе Камиль,— ну, тогда я шагну другой».

— Кто же мог быть убийцей? — задумчиво произнес он, искоса глянув на Нуцалхана.

— Кто знает, одному Аллаху ведомо,— сказал Нуцалхан, наливая чай из фарфорового чайника в стакан.

«Удивительно спокоен он для убийцы», — подумал Камиль и как бы между прочим сказал:

— Мне Арацхан еще и другое сообщил.

— Что же? — на лице Нуцалхана появилась довольная улыбка.

— Что вы угрожали Батырову убийством.

— Я? Угрожал убийством? — Нуцалхан поперхнулся

и вдруг заорал: — Собачий сын и сын собачьего сына, змееныш, нечестивец и грязный клеветник... Угрожал, я? Аллах, покарай его за оскорбление моего имени и рода. Пусть отсохнет язык у лжеца, оглохнут уши лгуна... — он внезапно замолчал и вытер лицо ладонью.

— Что же вы себя ругаете? — спросил с деланной простотой Камиль, отведя взгляд от Нуцалхана.

— Почему ты так думаешь? — Нуцалхан вздохнул и отодвинул от себя блюдце.

— Не вы ли взывали к Аллаху при встрече с Батыровым убрать «злопыхателя и клеветника с вашего пути», то есть Батырова?

— Взывал. Может, Аллах и убил его?

— Вы на самом деле верите в Аллаха? — с иронией спросил Камиль.

Нуцалхан не ответил. Он долго молчал, глядя поверх забора на улицу, потом внезапно быстро вскочил, схватил Камиля за руку и увлек за собой в конец веранды, откуда хорошо была видна вся улица.

— Видишь девушку, из-за нее все и произошло, — прошипел он. — Бесстыжая, до сих пор ходит в платке невесты, ждет, когда выпустят жениха из тюрьмы. Дура, зачем ждать, когда готов другой. Наби убил Батырова ножом Арацхана, чтобы овладеть ею. Понял? Я тебе ничего не говорил, ты ничего не слышал.

— А зачем Наби надо было убивать Батырова?

— А я откуда знаю?—заорал вдруг в бешенстве Нуцалхан. — Я откуда знаю? Да, я торговец, но не убийца, нет, нет, и оставь меня в покое наконец, оставь...

Он бессильно опустился на палас, откинулся спиной к стене и проговорил, закрыв глаза и качая головой:

— Как я устал, Аллах, как я устал...

9

Выходя на площадь, Камиль заметил, что за ним следует, прихрамывая, коренастый мужчина. Он показался Камилю подозрительным: шел настороженно, часто озираясь, но впереди с распахнутыми настежь дверями показалась шашлычная, и Камиль забыл о мужчине. Над ней не вился дымок, не парил ароматный запах, лишь недалеко, на деревянной скамейке, опершись руками и подбородком на толстый посох, сидел седобородый старец, одетый в белый длинный тулуп, на голове его была высокая каракулевая папаха.

В шашлычной, как и предполагал Камиль, никого не было. Он осмотрелся и хотел было присесть, но тут из кухни вышла пожилая женщина, держа в одной руке ведро, наполовину наполненное водой, а в другой тряпку; она мягко волочилась по полу, оставляя за собой струйку воды. Лицо женщины показалось ему знакомым, он напряг память, однако никак не мог вспомнить, где и когда видел ее; и только когда женщина подняла голову и взглянула на него, он понял, что она как две капли воды похожа на Арацхана. «Мать», — решил Камиль и тихо произнес:

— Добрый день, хозяйка.

— День добрый, какая я хозяйка...

— Кто же здесь хозяин?

— Перерыв сейчас, сынок, дома он у себя. Наверное, есть хочешь? Придется подождать.

Она поставила стулья сиденьями на столы, намочила тряпку и, нагнувшись, принялась мыть пол.

— Вы и при Арацхане здесь работали? — осторожно спросил Камиль.

— Да, сынок, а ты знал его? — она выпрямилась и с надеждой посмотрела ему в лицо.

— Знал, — после минутного молчания вымолвил Камиль.

— Разве для таких, как Арацхан, построены тюрьмы?—запричитала женщина, и по морщинистой щеке ее заструились слезы. — Мой Арацхан не обидит ни злую собаку, ни глупую курицу. Спроси любого из аульчан об Арацхане — никто плохого не скажет о моем сыне. Добрый, уважительный, почитал старших, любил детей...

— Хороший у вас сын, — Камиль вздохнул. — Но вот не пойму я одного: как платок и нож Арацхана оказались на месте преступления?

— У убийцы, хочешь сказать? Не знаю, сынок. Мой Арацхан всегда держал их на прилавке. Как придет на работу, тут же положит на прилавок, они должны были быть под рукой.

— А вы не помните, кто-нибудь брал их у него? — оживился Камиль.

— У кого из мужчин нет платка и ножа? Нет, никто не брал.

— Может быть, когда Арацхана в шашлычной не было, платок и нож все-таки кто-то брал? Вспомните...

— Нет, не помню. Не было такого...

Она опять стала мыть полы. «От нее мне помощи

не ждать никакой», — подумал Камиль. В этот момент женщина выпрямилась и прошептала:

— Да, вспомнила, сынок, никто их не брал, но они исчезли.

— Когда это было, в какое время?

— Дай бог памяти, около полудня, ну конечно, около полудня, когда Арацхан закрывал шашлычную на перерыв и уходил к невесте. Я ему еще сказала: «Сынок, ты оставил свои вещи, а он говорит: — Ты же здесь, мама...»

«Именно в это время и было совершено убийство», — сказал про себя Камиль.

— А потом, о Аллах, не дай мне сойти с ума,—женщина всхлипнула, затем взяла себя в руки и прошептала: — Потом исчезли и нож, и платок. Вышла из кухни, глянула случайно на прилавок — нету. Ослепла старая, думаю, провела руками — нету. Неужто шайтан взял? Испугалась, решила не говорить Арацхану ничего. Пропажу он сразу заметил, стал кричать, шуметь, потом успокоился, он у меня горячий, но отходчивый. Если бы я знала, что так обернется дело...

— Нож и платок исчезли, когда вы находились на кухне?

— Когда я вышла из кухни, их не было.

— Значит, кто-то вошел, взял и исчез?

— Значит, кто-то входил... Судьба, почему ты так жестоко наказала меня...

— А вы не заметили, чтоб кто-нибудь... как вам объяснить... чтоб кто-нибудь исчез вместе с исчезновением вещей Арацхана? Вспомните, пожалуйста! — Камиль с надеждой посмотрел на женщину.

— Я же сказала, сынок, был перерыв, и Арацхан тоже ушел.

— Кто-нибудь, может, на улице стоял или сидел, вон, как старик этот...

— Подожди-ка, сынок, дай бог памяти... Ханипаши не было, пришел чуть-чуть раньше Арацхана... Да, да, кажется, так было.

— Ханипаша? — Камиль насторожился.

— Ну да, ты же сам сказал — как этот старик. Его зовут Ханипаша.

— Что он за человек? — вымолвил Камиль, сердце его учащенно забилось.

— Тихий, спокойный и уважительный старик. Много лет он сидит у нашей шашлычной, приходит с восхо-

дом солнца, уходит ночью. Одинокий человек, к людям тянется. В одиночестве и смерть страшна, и жизнь горька.

— Значит, в тот момент, когда исчезли вещи Арацхана, Ханипаши не было на скамейке? — задумчиво произнес Камиль.

— Не было, — подтвердила женщина.—Точно помню. Еще воду из ведра выплеснула на улицу. При нем я себе не позволила бы этого сделать.

10

«С ним надо быть предельно осторожным, — подумал Камиль, присаживаясь на скамейку рядом с Ханипашой, — чем черт не шутит, может, он и имеет какое-то отношение к делу Арацхана».

— Салам алейкум, — произнес Камиль вслух и с деланным возмущением добавил: — Не шашлычные созданы для нас, а мы для них...

— Ваалейкум салам, — проговорил старик, не меняя позы, лишь заметно задвигался подбородок, покоившийся на руках. — Ты еще молод возмущаться. И поучать.

— Для чего нам даны разум и язык?

— Разум дан нам природой, чтобы не делать глупостей, а язык для напоминания, что все мы балагуры и глупцы.

— Непонятная философия.

— Не все в жизни ясно, как день и ночь. На то тебе и разум дан, чтоб разобраться. Вода и хлеб тоже простые вещи, но надо знать, как и сколько есть и пить.

«Совершенно к Аллаху не прибегает,—подумал Камиль, — хитер или умен? О чем он сейчас думает? Не шевельнется, глазом не скосит, сидит как изваяние. Чем-то схож с матерым волком, нет, больше с мудрым шакалом».

— Красивый посох, — сказал Камиль, стараясь снова завязать разговор. — Видна рука мастера. Тяжелый, наверное?

Наступило долгое неловкое молчание, затем старик медленно повернул к нему голову и усмехнулся.

— Ты, кажется, спросил, для чего нам даны разум и язык. Я ответил... К Арацхану приходил? — спросил

после минутного молчания старик, глядя прямо перед собой.

— Почему так решили?

— Одного поля зеленые ягоды. Лучше будет, если ты уйдешь, да поскорей. Следить станут за тобой.

«У-у-у-ух, хитрюга,— подумал Камиль, — ты что-то знаешь, да крепок, не по моим зубам. Подождем, время покажет. — Мой дед любил поучать меня: не смей верить голосу разума и сердца своего, ибо они вечно в ссоре, а поверь совету старца. — Камиль поднялся со скамьи и медленно пошел через площадь. Поравнявшись с сельсоветом, он остановился и прислушался. За каменным забором спорили, женский голос перекрывал мужские. Внезапно калитка отворилась, и на улицу вырвалась растрепанная женщина с криком:

— Не верят, никто не верит, аждаха грызет землю, никто не верит...

Камиль подошел к ней, спросил:

— Что случилось?

Женщина расплакалась, потом успокоилась и, вытерев лицо концом черного платка, проговорила слабым, дрожащим голосом.

— Звери и скот мечутся, убегают из дому, чуют беду, а Биби-ханум никто не верит. Как же так можно, сынок, когда не надо—мне верят, но ведь сейчас беда идет... как сказать людям...

— Но что случилось?

— Не верит никто, сынок... Случится, сынок... Кошки из дому ушли, коровы мычат, мечутся, змеи и те покидают гнезда, сама видела, как они переползали дорогу, а ты что, ничего не слышишь? Оглох? Прислушайся.

— Что должно произойти? — удивленно произнес Камиль.

— Откуда мне знать. Народные поверья мне знакомы, и только...

Внезапно закачалась, поплыла земля под ногами.

«Землетрясение!», — мелькнула мысль. Камиль схватил потрясенную женщину за руку и перебежал на дорогу.

— Вай Аллах, что делается?! — в ужасе прошептала женщина. — Посмотри на мечеть.

Камиль успел бросить взгляд: верхняя половина изящного минарета накренилась и рухнула, купол мечети со скрежетом и хрустом сполз набок и застыл.

Исступленные крики, визг женщин, плач детей, вой животных стояли над аулом.

Из ворот сельсовета вырвался открытый газик и помчался через площадь по главной улице аула.

— Люди, не бойтесь, без паники, выводите из домов детей, выходите на улицу. Без паники,—гремел из машины голос, но его еле было слышно в хаосе.

Камиль некоторое время стоял в оцепенении, оглушенный происходящим, потом кольнула мысль: «Дети, Мустафы нет дома, дети одни». И он пустился бежать. Он тяжело дышал. За чьей-то глухой стеной кто-то захихикал, и это злое хихиканье полоснуло Камиля по сердцу. Он остановился, оглянулся и только тут понял, что добежал уже до Нуцалхана. Хихиканье повторилось, затем мужской голос зло, с ехидством произнес:

— Вот что значит строить добротно, никакой аждаха не стряхнет. У других дома раскололись как орехи, а у меня трещинки появились, трещинки...

— У-у-ух, сволочь,—в сердцах произнес Камиль и побежал дальше. Обогнув угол, он остановился.

На трех потрескавшихся стенах, скосившись, лежала полуразвалившаяся крыша. Четвертая стена, превращенная в груду самана и глины, дыбилась, завалив часть огорода. Камиль перевел тревожный взгляд на двор, огляделся; свинцовая тяжесть свалилась с плеч. В саду, под деревьями, на куче паласов и одеял, сидел Мустафа с семьей.

— Где тебя шайтан носит!—заорал Мустафа при виде Камиля. — Сколько можно о тебе беспокоиться, будто у меня других забот нет.

— На улице безопасней, чем в твоем доме.

— На улице безопасней, — передразнил Мустафа.— Иди, отдохни, переждем.

— Все прошло, — сказал Камиль, усаживаясь на палас и чувствуя слабость в ногах.

— Ты-то откуда знаешь? — усмехнулся Мустафа.— Сообщил, может, кто из-под земли? Или россказней Биби-ханум наслушался?

— Ну тебя. Устал я очень, дай отдохнуть.

Камиль закрыл глаза и почувствовал сладостную истому в теле. Медленно спадало нервное напряжение.

11

Как всегда, Камиль записал главные события дня.

«Встретил случайно на улочке начальника районного отдела внутренних дел, вернее, столкнулся с ним. «На ловца и зверь бежит», — сказал он, широко улыбнувшись, пригласил к себе в кабинет. Мне он понравился с первого взгляда: среднего роста, атлетически сложен, голубые глаза смотрят прямо и ясно, ходит уверенно. Беседа наша вначале проходила дружески, но начальник районного ОВД, чувствовалось, оскорблен, во-первых, тем, что я не зашел к нему в первый день приезда, во-вторых, тем, что я усомнился в действиях и методах работы раймилиции, в-третьих, тем, что я хожу по дворам один... Я объяснил, что меня интересуют некоторые мунойцы с нравственной, психологической точки зрения и я не доставлю ему буквально никаких хлопот.

В этот день меня удивил Нуцалхан. Экземпляр. Человек, способный на всякую гадость. На убийство? Нет, слишком большой трус. А вот направить чужую руку на убийство способен. Хитер и коварен. Есть ли резон Нуцалхану убрать с пути Батырова? И нет, и да. Нет— потому что между ним и милиционером не было острых конфликтов. Все по пустякам и мелочам. Да — потому что мелочь могла его напугать, показавшись великой опасностью. К тому же он часто бранился с Арацханом и мог рассчитывать на то, что сумеет свалить ответственность на Арацхана. Чью руку он поднял на убийство? Ханипаши? Можно предположить. Старик не имеет средств к существованию. Раз. Не имеет? А пенсия! Отпадает. Может быть, Ханипаша поддерживал его бюджет? Предположим. Далее, завсегдатаем шашлычной был только Ханипаша, вернее, ее стражем. Он знал точный распорядок дня Арацхана, отсутствовал в момент исчезновения платка и ножа... Верно, но, может, Ханипаша отлучился в час убийства по надобностям. Как и заявил. Вопрос, требующий дальнейшего решения. И тут же у меня появляются сомнения: мог ли немощный старец одним ударом ножа убить громадного, здорового мужчину? Может быть, убийцу следует искать среди других аульчан? И что за личность этот прихрамывающий, никто из ребят его не знает. Не в нем ли кроется вся загадка, точнее, разгадка? Голова раскалывается!»

12

Вторая половина дня прошла без происшествий.

Если бы не мелкие разрушения, можно было подумать, что аул Муно живет своей обычной жизнью. Но в каждом доме, в каждой семье жили в тревоге и беспокойстве: что-то еще будет?!

Однако сидеть сложа руки и ждать, когда еще что-нибудь случится, было не в характере мунойцев. Необходимо было подсчитать ущерб, нанесенный землетрясением, и оказать помощь пострадавшим. С этой целью была создана комиссия, члены которой разошлись по аулу и принялись за работу.

К концу дня мужское население было приглашено в сельсовет. Разместились во дворе.

Мустафа, отыскав глазами Наби, подсел к нему и тихо спросил:

— Как у тебя?

— Все окна вдребезги. Теперь и стекла не найдешь,—сокрушенно произнес Наби. — У тебя как, Мустафа?

— В трехстенном доме живу, да с крышей набекрень.

— А где Камиль? — перебил его Наби.

— На улице, зайти отказался.

— Ты бы лучше Камиля позвал, — заметил Наби.

— Сам чего не идешь?

— Ты ближе к выходу. Да вот и он, в воротах стоит.

В это время поднялся председатель сельсовета, собрал в стопку ворох бумаг и принялся рассказывать о результатах работы комиссии. Слушая его, мужчины издавали возгласы удивления и сокрушенно покачивали головами.

— Теперь надо решить, кому в первую очередь следует оказать помощь. Мы тут, правда, уже наметили, но не мешает обсудить вместе, чтобы не осталось между нами недовольства и не родились завтра кривотолки. Верно я говорю?

— Верно, — поддержали его с мест.

— Значит так, у Биби-ханум развалился дом, пропало все добро, жить с дочкой негде...

С именем Биби-ханум по рядам прошел смешок, потом кто-то выкрикнул:

— Пусть дочь свою поселит у матери Арацхана.

— А еще лучше — отдаст Наби,— съязвил другой.

Наби метнул взгляд по рядам, глаза его налились кровью.

— Сейчас не время для шуток,—прикрикнул председатель сельсовета. — Дальше. У Османа дом раскололся на две половины... Дальше идет Мустафа, одна стена его дома совсем развалилась, и крыша вот-вот сорвется...

— Мустафу вторым, — раздалось из передних рядов. — У него сквозняк в доме, а Осман еще продержится.

— И верно говорит, без одной стены дом — не дом, — поддержали другие.

— Переносим? — спросил председатель сельсовета.

— Да, да.

— Возражения есть?

— Нету.

— Слушай, я плохо понимаю тебя, — раздалось с заднего ряда. — Какую помощь оказывает власть?

— Я же вам все сказал! — возмутился председатель сельсовета.

— Ничего не говорил, неправда.

По рядам прошел ропот: — Не говорил.

— Меньше надо балагурить,—повысил голос председатель сельсовета. — Говорил. И еще раз повторяю. Завтра раздадим палатки, обеспечим мукой, маслом, сахаром, а в самом скором времени построим новые дома.

Гул одобрения вызвал довольную улыбку на лице председателя сельсовета.

— Продолжим нашу работу, а то уже начинает темнеть...

Мужчины расходились медленно. Мустафа, поискав взглядом Камиля и не найдя его, отправился домой один.

А Камиль все это время не спускал глаз с Ханипаши. Он и у ворот встал для того, чтобы не упустить старика из виду. Его интересовали друзья или знакомые Ханипаши. «Должны же быть у живого человека приятели, — думал он. — Старик неразговорчив, скрытен, хитер, а приятели что-нибудь да расскажут о нем». Но в течение всего собрания Ханипаша просидел молча, не заговорив даже с соседями, да и к нему никто не обратился. Камиль пошел было следом за ним, да раздумал и повернул обратно.

Выходя на улицу, ведущую к дому Мустафы, Камиль случайно оглянулся и увидел человека, кравшегося за ним. Что-то в его походке показалось знакомым. Камиль пошел быстрее, потом внезапно остановился и обернулся. Человек успел отпрянуть к стене дома и от резкого движения выронил палку. «Кто бы это мог быть? У меня и врагов-то здесь нет, — подумал Камиль. — А может, не за мной следит, кто их знает, мунойцев.»

В это время из проулка на улицу вышел прихрамывая коренастый мужчина, остановился, зажег спичку, прикурил сигарету, оглядел улицу и свернул в узкую улочку, поднимавшуюся круто вверх. «Ничего не пойму, что происходит», — сказал про себя Камиль и ускорил шаг.

У дома Нуцалхана его остановил глухой стук.

— Нуцалхан, что ты делаешь? — послышался женский голос, полный ужаса. — Побойся бога, что ты делаешь?

— Не мешай, старуха, уйди прочь...

— Побойся бога, как можно ломать свой дом, ума лишился.

— Эх, женщина, чему ты научилась за свою жизнь... Копну три-четыре раза ломом, сделаю трещину, а завтра потребую включить в список, пусть новый дом построят. Власть богатая. Я не хуже других.

— Ах ты сволочь, — прошептал Камиль,— ах ты...

Он не успел договорить, как почувствовал сильный удар по голове.

13

Красивая девушка Гюли! Выразительные губы, вопрошающий взгляд больших глаз, матовый цвет лица, гладкие, иссиня-черные волосы... Изящна, стройна, как газель... Такая может лишить сна мужчин не только одного аула... Любит Арацхана. Оказывается, росли вместе, жили по соседству, учились в одном классе. И отцы дружили. Как-то отец Арацхана заикнулся отцу Гюли: «Брат, не засватать ли наших детей, спокойны будем за них.»—«Нет,— отверг тот,— пусть вырастут, сами ищут свое счастье.» — «Прости, брат, — сказал виновато отец Арацхана, — шайтан попутал, глупость сказал. Прав ты, стократ прав, пусть сами

ищут свое счастье. Эти дурные старые обычаи иногда и нам голову забивают.»

А обычаи не только дурные, но и довольно смешные. Чтобы засватать девушку, жених должен преподнести невесте цветастый платок, что носят в Закарпатье. Когда и от кого пошел этот обычай — никто не помнит, но и нарушить не осмелится. Пытался было Арацхан отказаться от обычая, но воспротивилась Биби-ханум: «Не позорь, сынок, мою седую голову, не дай джамаату косо глядеть на меня и Гюли, не хочешь ехать в Закарпатье — купи старый платок у кого-нибудь...»

Дело в том, что невеста, выйдя замуж, платок продает за ненадобностью. Точнее, перепродает.

— Но кому-то надо ломать этот обычай, — сказал Арацхан. — Пусть первыми и будем мы. Поначалу посплетничают, а пройдет время — благодарить будут.

— Пусть ломает кто хочет, мы не будем, — твердо заявила Биби-ханум. И пришлось Арацхану ехать в Закарпатье, поскольку продавались платки очень уж поношенные, а деньги просили немалые—триста, четыреста рублей. Сошел Арацхан на одной из станций, глядит, идет женщина в таком платке. Он к ней:—Продайте, пожалуйста.—Она удивилась:—Зачем, я не торгую.— Он опять:—Я вас очень прошу, продайте, нужен он мне, понимаете... — Она не соглашается. Он дошел с ней до ее дома. Одним словом, познакомился Арацхан с мужем женщины, гостеприимные хозяева накрыли стол, и рассказал гость, что его привело в Закарпатье. — Сколько нужно берите, сто, двести рублей, но продайте платок, — стал просить опять Арацхан. — Зачем же так много, — удивилась хозяйка, — стоит-то он пятьдесят пять рублей. — Вах, — поперхнулся Арацхан, — у нас их перепродают в шесть раз дороже.

Зато в ауле совершенно не знают, что такое калым, на свадьбу ходят как на праздник. Не бытует у мунойцев и обычай денежных приношений, молодоженам преподносят недорогие, скромные подарки. Говорят, что это повелось от двух братьев-первопоселенцев. Когда женился старший брат, младший застрелил тура и преподнес брату рога, а когда женился младший, старший заколол огромного медведя и бросил под ноги молодым шкуру.

Слышал из уст самого председателя сельсовета, что решено избавиться от «дурацкого обычая».

— Молодой учитель Мирзахан женится без платка... Пора кончать, — заявил он решительно.— Побываешь обязательно на свадьбе и расскажешь о ней через газету. Чтобы народ знал, что мунойцы не какие-то там... как говорится... консерваторы, рутинеры, темные, отсталые люди. Что такое калым — мы не знаем. Раз, — он загнул один палец. — Мечети у нас нет. Два. Хозяйство — передовое в районе. Три. Аул дал республике шесть докторов и девятнадцать кандидатов наук. Четыре. Наши танцоры завоевали первую премию на международном фестивале фольклора горских земель. Пять...

Когда уже были загнуты все пальцы, он подошел вплотную и серьезно сказал:

— А ты, дорогой кунак, один по аулу ночью не ходи. Нет, не бойся, у нас до сих пор ничего плохого не случалось. Начальник милиции просил передать тебе это.

Неясная ситуация.

14

Биби-ханум выпростала руку из-под одеяла, осторожно высунула голову.

Небо было синее. Высокие горы, окружавшие аул, стояли хмурые и холодные, преграждая острыми хребтами путь солнцу.

— Доченька, спишь? — спросила Биби-ханум, пряча руку обратно в тепло.

Рядом задвигался ворох одеял, затем послышался недовольный, сонный, глухой голос:

— Ну что ты, мама... спать не даешь...

— Тебе бы только спать!

— Встаешь чуть свет и других неволишь.

— Невезучие мы с тобой, девочка, — запричитала Биби-ханум, — о-о-ой, невезучие. Разве может долго существовать очаг без мужчины... Ни крика его не знаем, ни шагов не слышим... Наказание одно. Уснула, гляди, опять...

— Нет, не уснула.

— Так что же ты молчишь, не отвечаешь,—рассердилась Биби-ханум.

— Что ты хочешь услышать от меня?

— Что ты хочешь... — передразнила Биби-ханум.— Не маленькая, понимаешь.

— Есть у нас мужчина, мама...

— Жди, когда он переступит порог твоего дома. Камни зацветут раньше, чем он вернется.

— Не смей так говорить!—девушка стянула с головы одеяло. — Не смей так говорить!— большие карие глаза ее горели гневом.

— Гюли, цветочек мой, я не со зла. Я мать, и сердце мое исстрадалось. Сколько будешь сидеть в невестах... Перед джамаатом стыдно, что скажут, что подумают...

— А ты не подумала о том, что они скажут, если изменю Арацхану? — она всхлипнула и, уткнувшись в подушку, заплакала.

— Нельзя долго без мужчины жить, цветочек мой, завянешь без времени, кому тогда нужна будешь? А сейчас от женихов отбоя нет. Чем не мужчина Наби, и красив, и силен, и хозяйство крепкое...

— Замолчи сейчас же! — закричала Гюли. — Замолчи!..

— Молчу, молчу, доченька, — испуганно прошептала Биби-ханум. — Молчу, чтоб навечно закрылся мой рот.

Биби-ханум тяжело, со стоном вздохнула и печально проговорила:

— Почему нас в ауле не уважают? Живем тише всех и скромнее всех, баловства себе не позволяем, ты на ферме одна из лучших работниц, на всех торжествах с гордостью произносят твое имя: «наша Гюли», «наша Гюли». Если бы твой отец дожил до этого дня, какой гордостью сияли бы его глаза, у него они были большие, карие, ими меня и очаровал... Хороший человек был твой отец, добрый, сердечный, если бы не пули войны в его теле, жил бы сейчас... Отдаем себя людям, почему же такое отношение?..

— Из-за твоей ворожбы и гаданий, — глухо проговорила Гюли.

— Вай, доченька, я разве дурное желаю людям, что-нибудь плохое им говорила? Никогда. Только доброе предсказывала. Для меня нет большего счастья, если увижу улыбающееся, радостное лицо. Не обижай меня, доченька... разве я в колхозе не работала! Редко кто за мной угнаться мог — ты в меня пошла трудолюбием. Стара стала, колесо крутится, не спрашивая нас.

Над хребтом прорезались лучи солнца. Биби-ханум встала, надела платье, лежавшее рядом, накинула на голову платок, обула чувяки и зашаркала по двору.

Набрав охапку дров, она аккуратно разложила их между двух больших закопченных камней и осторожно, бережно подожгла одной спичкой. Потом из лежащего чуть поодаль нехитрого скарба вытащила небольшой мешочек муки, отсыпала немного в плоский медный таз, налила из глиняного кувшина воду и принялась месить тесто.

Огонь разгорался. Биби-ханум поставила на камни большую черную сковороду и снова зашаркала по двору.

Со вчерашнего дня у Биби-ханум и Гюли своего дома не было. Среди десятка фруктовых деревьев уродливо стояли две стены и печка. Крыша лежала на земле, аккуратно прикрыв обвалившиеся в одну сторону стены. Бедный нехитрый скарб — это было все, что Биби-ханум успела вынести до землетрясения и откопать после.

— Вай, вай, словно изжевали и выплюнули,—сказала она сокрушенно, устанавливая измятый, побитый самовар на землю. — Стоять не хочешь? Столько лет послужил, еще немного потерпи, выручи. Ты ведь один мужчина в нашем доме, кто может напоить нас и согреть. Без тебя мы холодны и немощны, жалки и ненужны, выручи, дорогой...

Самовар приятно загудел, выпуская из зева огонь. А вскоре на весь двор запахло свежим теплым лавашем.

— Вставай, доченька, на работу пора, вставай, завтракать будем, — ласково позвала Биби-ханум, расстилая на небольшом паласе скатерть.

Гюли высунулась из-под одеяла, с удовольствием вдохнула запах теплого лаваша.

— Какая ты у меня молодчина, мама.

— Мука кончается, на три-четыре лаваша осталось, — сказала Биби-ханум за завтраком, отхлебывая из блюдечка горячий чай.

— Помогут нам, в беде не оставят. Молодчина, мама, очень вкусный лаваш, с сыром еще вкуснее.

— Ешь, ешь, доченька. Надо будет к Нуцалхану пойти, попросить немного муки.

— Не смей ходить к нему. Я же сказала, в беде никогда не оставят.

— Это верно, не оставят. Слышала, и дом нам будут строить. Но от своего никто еще не отказывался.

— А что свое ты нашла у Нуцалхана? — удивилась Гюли.

— Он в руке у меня. Захочу — придавлю, захочу— выпущу.

— Опять ворожба... — устало произнесла Гюли.

— Тут уже не ворожба, тут пахнет огнем...—она наклонилась к Гюли и тихо прошептала:— Видела вечером, как он дом ломал. Зверь кровожадный.

— Как это ломал? — изумилась Гюли. — Свой дом?

— Наверное, новый хочет строить. У других урвать. Зверь — он и останется зверем.

— Мама, не ходи к нему, умоляю, он прибьет тебя.

— Прибьет, этот трус?—Биби-ханум засмеялась. — Он нас одарит мукой, сыром, всем, что я захочу, только бы джамаат не узнал.

— Но ты поступаешь нечестно, мама...

— Замолчи, доченька, нечестивцы заслуживают того, чтобы с ними поступали нечестно. А потом, я не думаю, что только одна слышала стук лома.

И Биби-ханум хитро глянула на дочь.

15

Камиль открыл глаза.

Он долго, не шелохнувшись, смотрел на сплетение ветвей над головой, потом попытался приподняться, но острая боль пронзила темя, и он с глухим стоном упал на подушку. Ему слышался шум моря, неумолчный, беспрерывный.

«Неужели я у моря, — подумал Камиль,—но на пляже нет деревьев, а надо мной покачиваются ветви... И эта боль, адская боль, откуда она взялась? Что со мной происходит?»

Он открыл глаза, но шум моря стал так силен, отвратительно оглушающ, что заставил его раскрыть глаза и напрячь память: «Где я был? На собрании, потом пошел домой, заметил кравшегося за мной человека, а потом? Потом стук, что это было... Вспоминаю, дом, да, Нуцалхан ломал стену. Потом... ничего не было. Удар. И вот я лежу. Что произошло?»

Он выпростал из-под одеяла руки и сказал про себя: «Что же произошло?»

— Проснулся, герой?

Сквозь шум моря до слуха Камиля дошел далекий голос Мустафы.

— Тише, не ори, — сказал другой голос, и Камиль узнал голос жены Мустафы. — Человек только в себя пришел.

— Да будет тебе, разве я со зла! Сколько раз твержу ему: брось, не твое это дело, клубок запутан.

— Всякий клубок имеет свой конец, а ты, Мустафа, сколько я тебя знаю, всегда был грубияном.

Камиль тяжело поднялся и сел, спустив ноги с раскладушки.

— Как себя чувствуешь? — спросил Мустафа.

— По-моему, намного лучше, чем вчера. Только голова кружится и боль в темени.

— Ничего, пройдет. С мужчинами и не то бывает.

— Долго я спал? — удивился Камиль.

— Ночь и полдня. Немного. Мы боялись, что ты дольше проспишь. Пойду помогу жене приготовить поесть.

— Наш пехлеван проснулся, — раздался от калитки голос Наби.

— Перестаньте.

— Кто стукнул? Не заметил? — серьезно спросил Наби.

— У меня на спине глаз нет.

— Сзади бьют, сволочи,—Наби заскрипел зубами.— Ну кого-то хоть подозреваешь?

— Хватит вам, — недовольно проворчал Осман. — Послушайте лучше, что я вам расскажу, да и Камиль о боли забудет. И обед готов, присаживайтесь...

На улице послышался топот десятков пар ног, гвалт, крики:

— Держи, держи Биби-ханум, держи.

Камиль вскочил на ноги, постоял несколько секунд и устремился на улицу. За ним последовали другие.

16

Ему стоило большого труда догнать, а затем и перегнать орущую толпу.

Когда уже оставалось несколько десятков метров до сельсовета, он вырвался вперед, схватил задыхав-

шуюся Биби-ханум за руку, устремился к калитке и, толкнув ее во двор, а сам оставшись на улице, заорал во все горло:

— Стойте-е-е, стой-те-е-е!..

На крыльцо сельсовета выскочил председатель, лицо его было бледно.

Толпа ткнулась в передний ряд и остановилась в трех шагах от Камиля.

— Вы что, под суд хотите? — заорал он снова, перекрывая ропот толпы. — Вы же истопчете старую женщину!

— Кто ты такой нас поучать?..

— Ты гость и не командуй тут...

— Откуда тебе знать, кто такая Биби-ханум...

— А ну, убирайся с дороги...

Крики и угрозы вырывались из толпы как выстрелы.

— Уйди с дороги, сомнем...

— Она накликала на нас беду...

— Глупые, — закричал Камиль и краем глаз увидел, как к нему пробиваются сквозь плотную толпу Мустафа, Осман, Наби. — Глупые, в какое время живете? Как может женщина, человек вызвать землетрясение, вы в своем уме ли? Мне стыдно за вас.

— Она ворожбой занимается и гаданием, — послышался неуверенный голос.

— Да, она колдунья...

— Подавай сюда Биби-ханум...

— Тихо, вы что, совершенно потеряли намус и председателя сельсовета перестали уважать, как ведете себя?.. Ворожбой занимается... А вы не ходите к ней, насильно за подол тянет она вас, что ли? Срам, сколько в вас еще суеверия.

— Ты на нас не замахивайся, мы — честные труженики! — крикнули из толпы.

— Нуцалхан, ты не смеешь так говорить!—крикнул Камиль. — Ты бесчестный человек!

— Оскорбляют, — завопил Нуцалхан. — Ответишь перед судом, все они будут свидетелями.

— Я могу повторить, бесчестный. Не ты ли вечером сокрушал ломом свой дом? Если ты мужчина, выйди сюда, ответь джамаату.

Толпа замерла, затем над головами волной прокатились удивление и ропот.

— Ты врешь, нечестивец. Не верьте ему, люди, его заворожила Биби-ханум.

— Тогда пойдем к тебе домой.

— Не-е-ет!

— Пойдем, Нуцалхан, пойдем...

Камиль вошел в толпу, она расступилась перед ним, давая дорогу, вслед заторопился председатель сельсовета.

— А ты уверен? — успел шепнуть он на ухо Камилю. — Иначе будет худо.

— Иначе я и не пошел бы, — ответил Камиль.

Ввалившись во двор Нуцалхана, толпа застыла в изумлении, затем в едином дыхании выдохнула: «Вах!» Стены дома были исковерканы.

— Для чего ты это сделал? — спросил голос из толпы.

Нуцалхан забегал перед домом, хватаясь руками за воздух.

— Землетрясение это, землетрясение, оно ведь и вас покарало...

— Нас землетрясение, а ты для чего такой добротный дом ломом — непонятно.

Толпа молчала.

— Не ломал, люди добрые, не верьте ему, он все надумал, землетрясение это...

— Опозорил весь аул, перед гостем опозорил, намус уронил, — сказал тот же голос.—Не жить нам с ним вместе. Выселить его...

Нуцалхан разинул рот, глотнул воздух, поперхнулся:

— Как так, братья, как же так можно...

— Выселить, — поддержало несколько голосов, и вся толпа загудела, — выселить.

— Брат, хоть ты заступись, Аллахом прошу,— Нуцалхан бросился к председателю сельсовета. — Аллахом заклинаю, помоги, не дай испить чашу позора на склоне лет, мы же с тобой родственники, в нас течет одна кровь, смилуйся, помоги!

17

К концу дня небо заволокло тяжелыми низкими тучами, они висели над аулом, поглотив окружающие горы, и, казалось, до них можно было дотронуться рукой. Пошел дождь.

Мустафа натянул между деревьями брезент, собрал под него свою семью, тепло одел мальчишек и укутал

одеялами. Сумерки, барабанная дробь дождя по брезенту, мрачная тишина рождали в душе смутную тревогу и беспокойство.

Заблеяли овцы. В углу двора замычала корова, жалобно и протяжно.

— Хороший концерт, — сказал Мустафа, — совершенно не боятся ни окрика, ни палки...

— Пойду в дом, — сказал Камиль.

— Ты что, смерти ищешь? — прикрикнул на него беззлобно Мустафа.

— У каждого на лбу написан жизненный путь, но счастье в том, что прочесть никто не может.

— Суеверен! — изумился Мустафа.

— Объективный взгляд на мир вещей, на жизнь. — Камиль встал и направился к дому. Войдя в комнату, он на ощупь нашел выключатель и включил свет. Ярко вспыхнула лампочка. В комнате было чисто. «Наверно, хозяйка днем вынесла не одно ведро песка и мусора», — подумал, усаживаясь на диван и извлекая из кармана записную книжку и ручку. Надо было записать происходящие в ауле события.

Дверь с треском распахнулась, и в комнату вошел Мустафа с детьми на руках. Оставив дверь открытой, он присел на диван, посадив сыновей на колени, и недовольно проворчал:

— Что ты за человек, не дал мне спокойно досидеть в своем шалаше.

— Я тебя не тянул, — сказал Камиль.

— Тогда, может быть, телевизор включим?—Мустафа вопросительно глянул на него.

— А почему нет! С ним куда веселей, чем с тобой,— Камиль поднялся, включил телевизор и, спрятав записную книжку в карман куртки, зашагал по комнате.

— Послушай, Мустафа, чего ради ты пошел в чабаны? Получил высшее образование, работал зоотехником... Ну, чего ради? Дурь, что ли, проснулась?

— Ва-а, понимаю, жена нажаловалась, — снисходительно улыбнулся Мустафа.

— Да нет, причем тут жена...

— Понимаешь, Камиль, спор у меня вышел с руководством колхоза. Решил я доказать, что можно получить и сохранить от ста овцематок не сто, не сто десять ягнят, как у нас привыкли, а значительно больше.

— Получается?

— Еще как. И потом, мне нужны кое-какие выводы, опыты...

— Диссертацию пишешь?!

— Неужели и у тебя создалось мнение, что мы хуже других или другие чем-то лучше нас?

— Мо-ло-дец! — протянул Камиль удивленно. — И до сих пор молчал!

— Чего зря трепаться...

Внезапно под ногами задрожала земля, Камиль зашатался, протянул руку, пытаясь схватиться за дверной косяк, но в это время Мустафа вскочил с дивана, с детьми на руках рванулся вперед, вытолкнув Камиля во двор, и выскочил сам.

От крыши в разные стороны разлеталась черепица. Где-то глухо заурчало, словно в утробе громадного чудовища, погас свет, земля закачалась, содрогнулась, дом глухо осел, и жалкая крыша распласталась в грязи и пыли. Остервенело хлестал дождь. Тучи все ниже и ниже спускались над аулом, будто пытаясь придавить его свинцовой крышей. Яркие вспышки молний, ослепляя людей, прошивали небо и стремительно падали на землю.

— Аллах...

Страшный вопль перекрыл все шумы и грохот.

«Это Нуцалхан!» — подумал Камиль и выбежал на улицу.

— Вернись! — заорал Мустафа. — Вернись!..

Камиль с разбега вскочил на забор, вгляделся во двор Нуцалхана и замер. Огромная трещина расколола двор на две половины, на краю трещины стояла деревянная веранда. Дома не было.

— Нуцалхан! — закричал Камиль. — Нуцалхан, где ты, отзовись!..

На веранде что-то зашевелилось, поднимаясь. Это была женщина. Она, как слепая, спустилась во двор и вдруг зарыдала:

— Нуцалхан, Нуцалхан, где ты, что с тобой, Нуцалхан!..

18

Крыша дома вспыхнула от очередной молнии. Огонь быстро распространялся, пожирая бревна; даже ливень не мог прибить его.

— Жена, выноси добро! — Осман захватил топор и лом и взобрался на крышу.

Дождь остервенело хлестал по лицу, стучал по кожаной куртке, заливал глаза, а он рубил, рубил и рубил, чтобы остановить огонь, не дать ему пойти дальше...

— Осман!..

Голос, полный смятения и тревоги, заставил его вздрогнуть и глянуть вниз.

Жена стояла мокрая, жалкая и глядела в его сторону.

— Слезай, пусть сгорит этот дом, слезай, другой построим... Не шути с жизнью, подумай о детях...

— Уйди! — заорал Осман, сбрасывая вниз горящие стропила. — Прочь, за детьми присматривай. Ружья вынесла?

— Вынесла, Осман.

— А патроны, порох? — Осман, что было силы, налег на лом и сбросил бревно на землю.

— Они в подвале, Осман, я боюсь...

— Э, женщина... Быстрее, иначе дом взлетит на воздух.

Огонь начал сдаваться.

— Ну, что, вынесла?

— Вынесла, Осман.

— Закрой плотно, не дай промокнуть.

В тот же миг дом закачало, какая-то сила толкнула Османа, и, выронив лом, он рухнул вниз.

Когда он открыл глаза, жена вытирала ему лицо мокрым платком.

— Убери эти тряпки, я и без них мокрый,—сказал он хрипло и глянул в сторону дома. Огня не было. Не было и крыши.

— Эх, опять надо новый строить, — махнул рукой Осман. — Сейчас бы я выпил кружку родниковой воды.

19

— Мама, посмотри, что делается, — с ужасом произнесла Гюли, инстинктивно прижавшись к стволу дерева.

Биби-ханум обняла ее за плечи, прижала к себе, прошептала:

— Не бойся, доченька, может, обойдет нас стороной.

Земля загудела, появилась трещина, она зазмеилась,

расширяясь. Послышался звон медной посуды: нехитрый скарб Биби-ханум сполз в расширявшуюся трещину и исчез в ней.

С паласа, висевшего между крепкими ветвями деревьев над головой у женщин, ручьями стекала вода.

Женщины сидели оцепенев от ужаса, не в силах подняться. Крепко обняв друг друга, в немом молчании они смотрели, как расходится земля, поглощая в расщелину все, что лежит на пути: деревья, дома, вещи...

— Деяния Всевышнего не предугадаешь,— прошептала Биби-ханум. — Гюли, доченька, беги отсюда, беги...

— Не могу встать, мама, — прошептала Гюли, и по лицу ее заструились слезы. — Ноги онемели.

— Не губи себя, доченька, беги,—повторила Биби-ханум, словно не слыша Гюли.

— Куда бежать, куда? — вдруг зарыдала Гюли.— Где безопасное место, где?

— И то правда, — сказала Биби-ханум. — Вместе будем ждать свою судьбу.

Ослепительная стрела метнулась по небу и ринулась на аул. Грянул гром, казалось, небосвод раскололся надвое.

— Мама, смотри, — прошептала Гюли. — Трещина не расширяется. Ты видишь, мама?

— Тихо, не шуми, — сказала Биби-ханум. — Не глазей так на рану земли, не береди ее.

Они сидели под развесистым крепким деревом, на самом краю трещины.

20

Что-то рухнуло. Гул медленно поплыл над аулом.

Камиль спрыгнул с забора Нуцалхана и пустился бежать вниз по улице. Выскочив на площадь, Камиль увидел спешившего в сторону мечети человека с посохом.

— Не ходи туда, там опасно, — крикнул он вдогонку, но тот, не обращая внимания, продолжал идти.

«Не слышит», — подумал Камиль. Он устремился за человеком, догнал его, дотронулся до плеча:

— Туда идти опасно. Ханипаша! Вы!?

Ханипаша повернул к нему злое, ненавидящее лицо и прохрипел:

— Отстань от меня, собачий сын, отстань...

Внезапно откинувшись назад, он поднял посох и занес над головой Камиля. Тот отпрянул в сторону. Посох с силой опустился на плечо и сломался. Несколько мгновений оба смотрели друг на друга. Неожиданно Ханипаша со словами «Тебе, змееныш, тут делать нечего!» крепко взял Камиля за плечи и сильно отбросил от себя. Камиль стукнулся спиной об стену, сполз на землю, потерял сознание.

Когда спустя минуту он пришел в себя, к Ханипаше подбегали двое мужчин. Один из них прихрамывал. Взяв Ханипашу за руки, они свернули в узенькую темную улочку.

Камиль тяжело поднялся, побрел по улице.

21

Прошло три дня после того страшного вечера. Земля еще продолжала изредка вздрагивать, но толчки шли на убыль. Люди перестали обращать внимание на гул, на дрожь земли...

Камиль стоял на летном поле в ожидании самолета.

— Спасибо, Камиль, доброе дело ты сделал,—сказал Мустафа. — Еще джамаат тебе свое спасибо скажет.

— Почему мне? — удивился Камиль. — Он давно находился под наблюдением.

— Ты разбудил зверя, вселил в него страх, вывел из логова. Такого зверя, хотя и опасного, легко подстрелить.

— Но он страшен в эти минуты.

— Ошибаешься, он труслив. Гнев и сила в нем рождаются от трусости. У Османа следовало бы проконсультироваться, он специалист по этой части.

— Будь здоров, Мустафа, передай привет ребятам, Наби, Осману. Приедешь в город — загляни обязательно.

— Приезжай в новый дом, — сказал Мустафа. — Без тебя не буду устраивать новоселья.

— Э-эй, подождите! — Размахивая руками, к самолету бежал Осман. — Уф, уморился, — сказал он, тяжело дыша. — Вот что значит прожить несколько дней в ауле. Человек без родной стихии, что орел без неба.

— Скажи лучше, что стареешь, — засмеялся Мустафа. — Куда путь держишь, орел?

— В город еду, в охотинспекцию.

— Это еще зачем?

— Как зачем? Вертолет просить. Туров пересчитать надо, может, полстада уже нет, — он хитро глянул на Мустафу, потом перевел взгляд на Камиля и произнес: — Свистом их не соберешь.

Они дружно засмеялись.

... Самолет оторвался от земли, набрал высоту и сделал разворот. Под крылом, внизу, лежал в развалинах аул. В километре от него расположился палаточный городок с прямыми длинными улицами.

— Красивая была долина, — сказал Камиль.

— Настоящее кладбище, — проговорил Осман. — Переселяться будем на плоскость, к морю.

— Простишься с турами?

— Зачем? Построю дом семье и уйду в горы. Человек без родной стихии, что орел без неба. Послушай, я тебе одну байку расскажу.

— Давай немного помолчим, Осман, наговориться успеем. Мне надо кое-что записать.

— И то верно, — добродушно сказал Осман и удобней развалился в кресле.

... Был полдень, окно искрилось от солнечного света. «Через несколько дней лето,—подумал Камиль,—а там и долгожданный отпуск.» Он хотел дать ход своей фантазии, когда услышал осторожный стук в дверь.

— Войдите, открыто! — крикнул Камиль, предполагая, что пришла медсестра делать укол. Послышались тихие шаги, и в комнату осторожно вошла девушка. Камиль долго вглядывался в нее, потом, улыбнувшись, воскликнул:

— Гюли! Садитесь, пожалуйста, в кресло, напротив. Чтоб я мог вас видеть.

Он попытался встать, почувствовал боль, сморщился:

— Простите, мне не разрешают вставать.

— Лежите, лежите, что вы, — произнесла Гюли. — Не беспокойтесь из-за меня. Я принесла вашу записную книжку.

— Как вас и благодарить, не знаю,—искренне обрадовался Камиль, — она мне так нужна... Где вы ее нашли?

— Осман передал... Вы забыли ее в самолете. Он не смог навестить вас, улетел в горы.

— Добился, — улыбнулся Камиль.

Девушка оглядела комнату.

— Мы так вам благодарны... за Арацхана. И мама моя, и его мама, и друзья ваши каждый день вспоминают о вас, — Гюли помолчала, опустила голову, затем словно спохватилась. — А за что Ханипаша убил Батырова? В ауле разные слухи ходят.

— Любопытно?

— Ходят разные небылицы.

— У Батырова были натянутые отношения со многими мунойцами, — стал рассказывать Камиль. — Но никто не знал, а тем более Батыров, что настоящий враг его — Ханипаша. Как-то на тропе Ханипаша столкнулся с Батыровым, который поднимался в гору, внимательно оглядываясь по сторонам. «Добрый день, старик, — сказал Батыров, — не дают мне покоя эти поганцы Осман и Арацхан. А ты что здесь делаешь?—удивился вдруг он. — Зачем забрался так далеко от аула?» — «Воздухом дышу, ноги укрепляю. Разве сравнить воздух аула и этой местности?» — «Не поднимайся больше сюда, старик, нельзя».

На плато базировалась авиачасть. И вот как-то в полдень, когда в шашлычной никого не оказалось, Ханипаша взял с прилавка нож и платок Арацхана, взял умно, своим платком, чтобы не оставить следов пальцев, и пошел на тропу.

— Эй, старик, не говорил ли я тебе, чтоб ты сюда не поднимался? — услышал он голос Батырова. И когда милиционер подошел вплотную, старик обернулся и вонзил нож ему в грудь. Потом бросил платок Арацхана и быстро спустился к шашлычной, чтобы вовремя занять свое место. Вот и вся история.

— Но почему он убил Батырова? — спросила девушка.

— Кровная месть. В гражданскую войну отец Батырова в перестрелке убил брата Ханипаши. У убитого не было сыновей, и Ханипаша поклялся отомстить...

— А кто вас ударил по голове?

— Он же. Подумал, что я иду по следу...

— Вы пишете статью об этом убийстве? — сказала Гюли.

— Нет, Арацхан на свободе, Ханипаша арестован. Дело закончено. Я сейчас пишу о мужестве мунойцев в дни землетрясения. Кое-что я испытал на собственной шкуре.

Камиль тяжело вздохнул и вытянулся на диване.

— Очень хочется пить. Не сварили бы вы кофе или крепкого чая?

— Но... я не знаю вашей кухни, — сказала смущенно Гюли.

— Там все на виду. Найдете.

Девушка встала.

— А кто же был тот, прихрамывающий? — спросила она из кухни.

— Сотрудник милиции.

Камиль, утомленный, прикрыл веки, и из тьмы на него наплыли картины землетрясения.

Он понял, что память о событиях в Муно будет жить в нем долго. Очень долго.

КАРДИБСКАЯ ОСЕНЬ

Это случилось высоко в горах. Там, где обрывают свой бег уродливые горбы, поросшие лесом, и далеко до снежной гряды простирается желтое плато.

* * *

Над горами забрезжил рассвет. В чуткую тишину стали вплетаться еще слабые, неясные звуки. Где-то, кажется, заскрипела арба, в густой листве зашуршал ветер, внизу, у реки, ухнуло. И наконец нетерпеливое, долгое и сладкое ржанье разорвало, казалось бы, установившийся покой.

Магома сбросил с себя бурку, которая упала на деревянный пол, приподнялся, подперев поясницу рукой, потом сел на грубо сколоченную тахту, обтянутую буйволиной кожей, и широко и протяжно зевнул.

— Кто ржет ни свет ни заря под моим балконом? — проговорил он громко, подходя к перилам. — Эй, кто ты? Алихан? Это твой конь. Что-нибудь стряслось? Вижу, в долгий путь собрался, вон как хурджинами обвешал коня.

— К детям ему. Зовут к себе. Если понравится — останусь у них.

— Как не понравится, они, если мне не изменяет память, где-то в низовьях Сулака живут.

— За Кизилюртом, у моря.

— Да, да, помню. Езжай, счастливого пути!

Конь опять заржал, тоскливо и долго, и голос Алихана недовольно проговорил:

— Не хочет трогаться, кажется, и не тяжело нагрузил. А может, запах твоей кобылки почуял?

— С хорошего места и дурак не тронется, — подумал про себя Магома, а вслух сказал:

— Память твоя что решето, Алихан. Хорошо было б моей кобылке под боком у твоего жеребца, да задрали ее волки. А ты погоняй, не то солнце тебя застигнет.

Магома долго смотрел вслед Алихану. Отсюда, с балкона двухэтажного дома, выложенного из крупного почерневшего от времени камня, просматривались плато и уплывающие вправо горы, дорога, спускающаяся в долину реки и дальше в аул Кардиб. До хутора Магомы не доносились звуки и запахи аула: аул лежал в лощине километрах в десяти, — лишь с мельницы, что стояла на реке, слышались голоса людей, скрипы колес, моторы автомашин.

— К детям еду, зовут к себе, — повторил Магома слова Алихана. — Ишь ты, к детям понесло, а детям никак лет за сорок.

Магома поднял с пола бурку, накинул на плечи и лег на тахту. Знобило.

С чего бы это? И утро не такое уж холодное, и слабости в конечностях не чувствую. А знобит всё больше... Шайтан принес ни свет ни заря глупого Алихана и столь же глупого коня. К детям едет, зовут к себе... тьфу. Забыл, старый дурак, мудрые слова: «Чем дальше — тем слаще, чем ближе — тем горше».

Магома повернулся на правый бок, поджал ноги и вдруг весь сжался, вцепившись пальцами в бурку. Его бешено трясла дрожь, стучали зубы, холодная струя, пройдя по позвоночнику, остужала тело. — Вот и всё, — спокойно подумал Магома, — не довёл до конца свой девятый десяток, а ведь отец прожил больше. Отец... ему не довелось испытать того, что выпало на мою долю. Что я говорю, глупец, отцу суждены были судьбой свои тяготы, мне свои.

Магома вдруг почему-то вспомнил Алихана и перекошенным от дрожи лицом улыбнулся. К детям едет, зовут к себе. А ведь я тоже ездил к детям, звали к себе, ох, как звали, поехал да вернулся.

И память припомнила Магоме.

Как только ни просили его: и письма писали, и сами наезжали, и стариков засылали — приезжай, отец, ты давно живешь без матери, трудно тебе, оставь этот богом забытый хутор, продай дом, овец, коз, продай всё и приезжай. Хочешь, живи в Буйнакске, нет — в Хасавюрте, в Избербаше, всё сделаем, чтобы ты не скучал: да разве дадут скучать внуки, телевизор, гости.. А там ты один-одинешенек, в тяжелую минуту некому и стакан воды подать...

Не просьбам внял старый Магома, а просто уступил. Отрешенно и просто уступил однажды. Вышел на балкон, бросил взгляд на плато, потом обернулся вправо, к горам, прислушался, что делается у мельницы — а была весна — и подумал: бессмертным всё равно не быть и вечно на эту красоту не глядеть... Вывел он из конюшни гнедого жеребца, расчесал ему гриву и хвост, надел свой лучший костюм — китель с отложным воротником, галифе, натянул на ноги хромовые сапоги, на голову, бережно держа двумя руками за тулью, посадил каракулевую папаху, вскочил в седло и погнал жеребца в Кардиб. Жеребец мотал головой, прядал ушами, косился то правым, то левым глазом, радостно ржал и, выбивая копытами гулкую дробь, не верил, что его хозяин способен еще гнать во всю прыть. Он проскакал по деревянному мосту, оставил за собой мельницу с ее ни с чем не сравнимым запахом, помчался вдоль реки, вдыхая её свежесть, и вскоре влетел в аул. На площади, у длинного годекана, стремена впились в живот, уздечка врезалась в губы, и он, взвившись свечкой, замер, потом опустил передние ноги и стряхнул пену с губ.

Магома спрыгнул с коня, обмотал повод вокруг ствола тоненького деревца.

— Ассалам алейкум, мир вам, друзья... — бросил он мужчинам, сидевшим на годекане.

— Ваалейкум ассалам, и тебе мир...

Магома сел на пригретое солнцем бревно, снял папаху и положил на колено.

— Что тебя привело сюда такого нарядного? — спросил один из стариков. На вид он был старше всех и крепче. — Не жениться ли вздумал?

— А тебе какая забота, Аспарух? Или решил замуж выйти?

Сдержанный смех пошел по годекану.

— Началось, — произнес кто-то. — Где Аспарух и Магома, там жди потасовки. Ну и друзья.

— Сбросить бы годков тридцать, ну пусть двадцать, такую бы устроили потасовку, а, Магома, скажи?

— Верно говоришь, Аспарух, да солнце не хочет катиться с запада на восток.

— Даже твой верный глаз заметил это, Магома? —

Аспарух вдруг захихикал, потом замолчал, выждал время. — Что тебя привело, говори.

Магома похлопал ладонью по шапке, словно сбивая с неё пыль.

— Решил к сыну ехать, в Шуру *.

— Тебе в Кардибе места мало, в Шуру захотел. Да ладно, езжай, и твоя голова иногда мудро мыслит. А к нам что прискакал? Прощаться?

— Овец продать надо, коз и муку...

— Поможем, Магома. Жеребца тоже продаешь?

— Оставлю у тебя, Аспарух, пока оставлю. И дом тоже, присмотри за ним.

— Что ему станется, дому, кому он нужен, сейчас вон какие светлые дворцы строят люди, на всю стену окна, а у тебя две бойницы и глыба камня. Ладно, не беспокойся, присмотрю. А конь славный, нельзя такого отдавать в чужие руки.

Замолчали.

— И когда же ты покидаешь свой хутор? — спросил Аспарух.

— Как распродам всё добро.

— А как ты простишься с друзьями, которые покоятся здесь? — Аспарух протянул руку в сторону гранитной глыбы, возвышавшейся на аульской площади.

— Да простят они меня, поклонюсь низко, до земли, да выпрошу прощения. Что было, то было. Сейчас... дети зовут.

Магома встал, подошел к гранитной глыбе, из-под которой бил родник, выпил несколько пригоршней студеной воды, остановил взгляд на выбитых в граните именах кардибцев, погибших в гражданскую и Великую Отечественную войны. Потом отвязал жеребца, вскочил на него и уже сверху бросил:

— Не тяни, Аспарух, с покупателем, хочется быстрей уехать, раз уж решил...

— Как ты доберешься в Шуру? — Аспарух поскреб ногтем кончик носа и усмехнулся. — На попутной машине, что ли?

— На чем же еще? Не такси же заказывать.

— Такси, конечно, не нужно, но трястись и болтаться на арбе с мотором в наши годы не подобает. Так и быть, Хаджи, мой сын, на «уазике» отвезет тебя.

---

* Шура или Темир-Хан-Шура — Буйнакск.

— Еще чего не хватало, чтобы Хаджи меня в Шуру вёз, — возмутился Магома.

— Вот старый дурень, — усмехнувшись, тихо проговорил Аспарух, и все сидевшие тоже усмехнулись, потом он встал, вытащил из кармана сигареты, спички и, прокашлявшись, громко сказал:

— Невелика фигура ты, тебя везти, дела у него там, ну и заодно тебя прихватит с собой.

— Ну если так...

И Магома пустил жеребца галопом.

В Шуру он приехал не с пустыми руками. Четыре бурдюка овечьего сыра и столько же масла, несколько мешков муки, пшеничной и кукурузной, битая птица, два черных барана, большие корзины кураги — всё это добро было встречено внуками возгласами и криками радости, да и лица взрослых светились радостью: сын гордился щедростью отца, невестка была довольна обилием продуктов. Магоме отвели комнату, в которой стояла железная кровать, старый платяной шкаф, стол, стулья и табуретки. Пол был устлан верблюжьим паласом. На завтрак, обед и ужин вся семья собиралась в большой гостиной, в остальное время, а у Магомы оно почти всё было свободное, он работал во дворе, в огороде. Магома сначала было удивился практичности сына, но вскоре понял, что в доме верховодит невестка; и идея закладки огорода принадлежала ей. Что только ни сажали они: лук и петрушку, укроп и сельдерей, клубнику и чеснок, помидоры и огурцы... Одним словом, за овощами, да и за фруктами, на базар не ходили. Всё было своё.

Вечером семья собиралась в гостиной. Зудел цветной телевизор, сын сообщал жене о делах на заводе, а та — о своих делах в детском садике, Магома рассказывал внукам сказки и разные охотничьи истории. Казалось, что нужно было еще ему, Магоме? Что? Ни в чем не испытывал нужды, в ласке был щедр, да и внуки отвечали ему тем же. А когда подкатывала, подступала к горлу тоска по зеленым вершинам и кручам, Магома уходил за город и бродил по горам...

... Прошло больше года, когда однажды Магома случайно подслушал разговор, который произошел между сыном и невесткой. Магоме не спалось. Где-то за полночь он вышел во двор и сел на табуретку под окном. Его слух уловил еле различимый шепот; он осмотрелся: двор был пуст. Вдруг за окном послышался

смех, потом женский голос со вздохом произнёс:

— Ну и жаден же твой старик. Сундук набит деньгами, а он бедняком прикидывается. Кому бережет, на тот свет, что ли, заберет с собой?..

— Перестань чепуху говорить, отчего ему быть богатым?

— Сам ты... чепуху думаешь. Всю жизнь он чабаном был, а как чабанам платят — не мне тебе рассказывать.

— И это обо мне, неужели обо мне? — спросил себя Магома. — Ну конечно, о ком же они могут говорить ещё, мой сын и невестка? Вот так значит, Магома, дожил ты до того, что и жаден стал, и скуп, детей обделил, а сундук полон деньгами. Верно невестка говорит, денег у меня немало, но зачем им деньги? Живут они неплохо, в достатке, нужды ни в чём не испытывают, дом себе построили... А дам денег — нет-нет да и проснется зависть, начнутся разговоры и пересуды... Пусть наживают достаток своим горбом, тогда он слаще будет...

— Хоть бы подарок сделал своей невестке, — послышалось опять из комнаты. — Ну, никакой благодарности ко мне, ухаживаю как за малым ребенком, стираю ему, готовлю горские блюда, а он всё это принимает как должное...

— Ну, что ты, в подарке нуждаешься или в словах благодарности? Отец тебя очень уважает, но пойми, он горец, кардибец, а кардибцы свои чувства скрывают глубоко...

— Как деньги в сундуке, — засмеялась невестка.

Магома покачал головой, поднялся и медленно пошел в свою комнату. До утра он не сомкнул глаз, ворочался в постели, кряхтел, поминутно пил воду и не мог утолить жажду: так сухо было во рту и жарко в груди. Утром, когда сын и невестка ушли на работу, Магома связал свои пожитки в большой узел, другой рукой подхватил сундук и вышел из дома. Внукам он сказал, что едет в Кардиб, пусть так и передадут отцу.

В течение всего долгого пути из головы Магомы не выходил разговор, услышанный им ночью под окном сына. И только увидя свой дом, показавшийся ему сейчас до боли близким, родным, словно живой человек, и войдя во двор, хранивший запах овец, сыра и солнца, он почувствовал, как в груди стал оттаивать тугой комок. Поднявшись на балкон, Магома долго

глядел на горное плато, облитое сумеречным светом, потом повернул голову к острым пикам, обросшим буйной зеленью, прислушался к звукам, доносившимся с мельницы и забыл Шуру. И неприятный разговор за окном.

На следующий день Аспарух привел Магоме жеребца, помог купить овец и коз, и потекли дни своим чередом.

...Озноб прошел. Чувствуя, как по телу растекается тепло, Магома облегченно вздохнул и проговорил:

— Пятнадцать лет прошло. А кажется — всё было вчера.—Он покачал головой, привстал, опустив ноги, и, чувствуя, как к нему снова возвращаются силы, сбросил бурку и спустился с балкона во двор.

Над седловиной , возвышавшейся над аулом Цумилюх, занималась заря, высвечивая зелень лесов.

— Марс...

Слова еще не успели слететь с губ Магомы, а огромный, почти с бычка, пес с коротко обрезанными ушами и обрубленным хвостом уже терся тяжелой мордой о его ноги.

— Ну, ну, довольно ласкаться, пора идти на пастбище, — произнёс Магома, потрепав пса за уши. — Пойдём, я тебя покормлю.

Магома налил в большой, почерневший от времени таз, в котором когда-то стирали белье, воду, бросил рядом большую тяжелую кость с клочьями мяса и опустился на ступеньку лестницы. Марс присел на задние лапы, некоторое время глядел на хозяина, потом подогнул передние лапы и принялся с хрустом, урча от удовольствия, грызть лакомую кость.

— Поторапливайся, дружок, скоро солнце взойдет,— заметил Магома и пошел выгонять овец и коз. Вскоре двор огласился бестолковым блеянием. Марс отпил добрую половину воды из таза, поднял на хозяина глаза.

— Нет, сегодня я не пойду на пастбище. Сам веди их. Сначала спусти к реке, пусть напьются вдоволь, а потом гони на плато, на вчерашнее место. Ты понял меня?

Пёс завилял коротким хвостом и побежал к воротам. Магома подтолкнул тяжелые ворота, они нехотя и со скрипом распахнулись, и животные повыскакивали со двора. Маленькая отара побежала было вверх, в сторону плато, но Марс выскочил вперед, выпучив

глаза, зарычал на вожака — длиннорогого белого козла, заставил его повернуть к реке, и овцы устремились вниз.

Магома еще некоторое время смотрел вслед уходившим животным, потом закрыл ворота и пошел прибирать на первом этаже, служившем и конюшней, и кошарой, и складом, где он держал часть продуктов. Здесь были добротно сделанные перегородки для хранения сыра, масла, бузы, вырыт довольно глубокий погреб, пристроены крепкие полки, для овец и коз постелена свежая солома, для жеребца старые шкуры. Мясо и мука хранились в основном на чердаке.

Магома вымел жесткой метлой старую сваливающуюся солому, сгреб её в угол двора и поджег, потом, вырывая вилами от стога добрые, увесистые куски и широко шагая, перетащил свежую солому, вывел жеребца, пустив его гулять по двору и, уже умаявшись, опустил в огромный глиняный кувшин поллитровую деревянную кружку и одним духом, делая большие глотки и чувствуя, как застывают зубы, выпил холодной бузы. Он крякнул, вытер губы тыльной стороной ладони и поднял брови. За воротами сигналила машина.

— Кому понадобилось будить тишину? — крикнул Магома. — Ни стыда у вас, ни любви к горам.

— Это мы, кудада*, — послышался весёлый голос.

— Мы — не имя. Кто вы?— Магома шёл к воротам, чувствуя в откликнувшемся голосе что-то знакомое.

— Аслан и Шагид...

— Ну, конечно, это Аслан, — сказал про себя Магома, — его голос. Как я мог забыть? Да и запомнить мудрено — не частые гости, не часто видимся.

Магома распахнул ворота и встал в сторонку, пропуская белые «Жигули».

Из машины, вставшей посреди двора, вышли двое молодых людей. Один из них, среднего роста, широкоплечий, черноволосый, улыбаясь подошел к Магоме и крепко обнял за плечи. Другой, высокого роста, худощавый, с болезненной бледностью на лице, подождал, пока первый выпустит Магому из объятий, потом взял руку Магомы своими обеими руками и как-то осторожно, бережно поцеловал заросшие короткой седой щетиной щеки. Глаза у Магомы повлажнели, он громко, чуть грубовато произнёс:

— Идите в дом, чего здесь встали. Ещё скажете своим, что старый горец и к очагу не пригласил.

— И ты можешь подумать, что так и скажем? — шутливо спросил черноволосый.

— Может и скажешь, Аслан, чего только язык не скажет, если разум позволит себе дремать.

— Красиво говоришь, кудада.

— Это не я говорю. Жизнь говорит. Да что я вас, мужчин, уму-разуму учу. Вон какие вымахали здоровые и красивые. Настоящие мужчины рода Магомы. Если бы сбросить лет десять, я бы померялся с вами силой, прикинул бы, на что вы способны. Да вот никак не свалишь с плеч хурджины времени, так они вросли в меня, точно горбы на верблюде. Хе-хе, ну-ка, марш в дом.

Аслан пошел первым, за ним последовал Шагид, вслед и Магома.

— Как мои правнуки растут, здоровы, не болеют?— спросил Магома, поднимаясь по лестнице.

— А чего им болеть, если родились от таких здоровых мужиков? — Аслан засмеялся.

— Ты больше не подарил мне никого? Шагида не спрашиваю, он деда не обидел.

— Мне хватает и одного. К чему собирать футбольную команду?

— А у меня вот была, как ты говоришь, футбольная команда. Только в живых остались пятеро, твой отец, Шагида и три дочери — ваши тети. И ничего, жили, выросли, разлетелись во все стороны. А правнуков сколько стало! У Шагида только шестеро детей... а ты... скупой ты, Аслан.

— Нет, кудада, не скупой, а жадный. Жадный до жизни. Я хочу увидеть, познать, почувствовать всё, а разве с детьми позволишь себе это?

— Скупой. Ты не хочешь тратиться на них, отдавать им своё тепло, душу, сердце. Это скупость. В кого ты такой пошёл? Не в отца, наверное, в мать...

— Хорошо же ты нас встречаешь, кудада! — протянул Аслан.

— А я вас не звал к себе. Но поскольку приехали, целовать и обнимать не намерен. Ты родился и вырос в городе, в Шуре, привык к мягкому обхождению. А я — горец из Кардиба, ценю в мужчине мужское...

* Кудада — дедушка (аварский яз.).

— И чего вы затеяли перепалку? — произнес Шагид. — Сколько лет не виделись, а нужных слов не найдете.

— Потому и мелем языками, чтобы не расплакаться, — ответил Магома.

Но Аслан последних слов уже не слышал. Он вошел в комнату, застыл, скрестив руки на груди, и удивленно произнес:

— Вот это да!.. Мы думаем, он живет отшельником на хуторе, а здесь цветной телевизор, радиола, «Ригонда», кажется, да, «Ригонда», пол весь в коврах, в углу шикарная деревянная кровать, а комната-то, в ней уместится вся моя трехкомнатная квартира. Вот тебе и отшельник.

— Не думай, что мы здесь одичали. Поинтересней и побогаче тебя живём.

— Побогаче, может быть, — проговорил Аслан.

— Почему может быть? Показать тебе моё богатство? — Магома широко улыбнулся. — Ладно, сначала покормлю вас, а потом уже всё остальное, что вас интересует. Ты, Шагид, полезай на чердак, возьми муку, Аслан принесет снизу мясо. Там на жерди баранья туша висит, а я пойду попробую печь растопить. Мужское блюдо будем готовить.

Вскоре в летней кухне под навесом, в каменной печи, пылал огонь, Аслан разрезал мясо и бросал в чугунный казан, а Шагид, засучив рукава рубашки, месил на большом деревянном блюде тесто. Магома, растопив печь, сидел на низкой скамейке, очищал зубчики прошлогоднего чеснока от сухой хрустящей шкурки и бросал в почерневшую деревянную ступку. Мужчины готовили хинкал.

— Как вы оказались у меня? — не поднимая головы, спросил Магома.

— В Кардибе были, гостили у своих, — ответил Шагид. — Вот и заехали проведать тебя.

— А чего это ты такой желтый, как шафран? Болеешь, что ли, или Киев тебя так перекрасил?

— Болею, наверное. Печень шалит.

— Печень — это плохо. От газа и чада, которые выпускают машины, какую только заразу не прихватишь. — Магома бросил быстрый взгляд на Шагида.— В горах надо пожить тебе, я тебя травами подлечу да настоящим мёдом. Не говори, что в городе есть мёд, видел я этот мёд, который делается на сахаре. Тьфу, жульё... пчел сажают на сахар, ну какой от него мёд? Слышишь, Шагид, приезжай, подлечу тебя. Мужчина должен быть здоровым, тогда и жене, и детям он в радость. А больной — он жалок и тоску нагоняет.

— Мужчина должен быть как я, — молвил Аслан и искоса глянул на Магому.

— А кому от тебя радость?

— Так и некому? Жене и ребенку.

— Жене... жену ты поедом ешь, каждую копейку считаешь, каждую тряпку перебираешь, такой уж ты хозяйственный мужик.

— Откуда ты наслышался этих бредней?..

— Будь я на месте твоего отца, отрезал бы тебе уши как бодливому бычку, — продолжал Магома, не обращая внимания на грубость Аслана. — Но отец твой самый мягкий в семье, а ты... в мать ты пошёл.

— Ты так говоришь, будто знаешь мою мать.

— Знаю, — коротко сказал Магома и замолчал.

Замолчали все. Шагид раскатал из теста длинный батон, нарезал его кусочками и бросил в казан, в котором кипел жирный бульон.

— Я приготовлю поесть, а вы принесете казан.

Магома тяжело поднялся и со ступкой в руке пошел в дом. Скатерь он расстелил на полу, покрытом толстым шерстяным паласом, широким жестом бросил рядом три плоские подушки, бережно положил плоские лаваши, разложил тарелки, потом с первого этажа принес овечьего сыра, кувшин с бузой и прилег на одну из подушек. Умаялся.

Вскоре поднялись внуки, неся казан с хинкалом.

— Расщедрился, кудада, — воскликнул Аслан, бросив взгляд на скатерть. — Настоящее горское угощенье.

— Послушай-ка, Шагид, ты, по-моему, мне что-то обещал, — проговорил Магома, прищурившись и откусывая от зубчика чеснока, не обращая внимания на Аслана.

— Ах, — Шагид опустил казан на деревянный поднос и развел руками, — совсем запамятовал. Я сейчас.

Он выбежал из комнаты. Аслан посмотрел ему вслед и усмехнулся:

— Видать, ты ему чем-то угодил.

— Не всех же ругать и поучать. Велел его отцу разрешить сыну ехать учиться куда хочет. Да, да, велел, тот не хотел отпускать сына из дому. Уехал Шагид в

Киев, поступил в институт, а дальше сам знаешь. Стал хорошим специалистом, работает на заводе. Вот теперь и угождает мне.

— Везет тебе, кудада.

— А меня все везут. И жеребец везет, и Марс однажды вёз, когда медведь слегка подмял... Теперь Шагид везет.

Шагид вбежал в комнату, отдышался и протянул Магоме коробочку.

— Возьми, кудияб эмен *.

— Ну, внук, большое тебе спасибо за подарок.

— А что там? — Аслан с любопытством вытянул голову.

Магома распечатал картонную коробку, достал из неё другую, чуть поменьше, обтянутую черной кожей, осторожно открыл и тихо, зачарованно произнёс:

— Линза.

— Что? — протянул Аслан.

— Линза.

— Какая еще линза?

— Для телескопа.

— Ничего не пойму, кудада. Для какого еще телескопа?

— А у меня на чердаке телескоп установлен.

— Ты что, звездочетом заделался?

— А чем я хуже звездочета? — Магома засмеялся. — А все вы... Помнишь, когда я жил в Шуре, у вас, мы вечерами по телевизору космонавтов смотрели, о разных звездах и мирах беседы вели. А уезжая от вас, я купил телескоп... И стал по ночам разглядывать звезды. Ты не поймёшь, какое я получаю удовольствие. Вокруг меня как вино бродит аромат сена и колкого ночного воздуха, а в глаза дышит холодный, зеленый свет звезды. Смотрю я на звезды и думаю: неужели и наша земля может стать такой вот холодной, безжизненной, неужели в один несчастный день всё может сгореть?..

— Быстро же ты перешел от линзы к политике, — усмехнулся Аслан.

— Я старый солдат. Две войны пережил. А ты... от линзы к политике... Эх, молодость. Если бы все глядели через линзу, их бы зачаровала Вселенная... А тебе, Шагид, большое спасибо, не забыл просьбу старика.

* Кудияб эмен — дедушка.

Ну, а теперь пора наполнить стаканы бузой и приняться за хинкал.

Ели смачно, аппетитно. Когда всё было съедено и выпито, молодые убрали посуду, прибрали, и все трое вышли на балкон. Солнце перевалило за полдень, и здесь было тенисто и прохладно. Впереди, до далекого заснеженного хребта, лежало горное плато, облитое ярким горячим золотом. Аслан и Шагид сели на крепкие табуреты, прислонившись к стене, и вытянули ноги.

Магома несколько раз прошелся по балкону, потом забрался на тахту, подтянул ноги и обхватил их под коленями руками, глядя вдаль.

— Красиво, — проговорил он. — В любое время красиво. Сейчас плато цвета рыжей лисицы. Пройдет некоторое время, окрасится в цвет бурого медведя, потом серого волка, а там и черного ворона... На охоту не пойдёте? Я вам снаряжение приготовлю.

— Не собираемся, кудада, мы завтра уезжаем, — сказал Аслан.

— Недолго вы у меня гостите.

— В Кардибе засиделись.

— От Кардиба до моего хутора очень далеко... — Магома усмехнулся. — Мои бодрые ноги успевали туда и обратно, пока покойная хозяйка коз доила. Что-то ко сну меня клонит, вздремну я немного, да и вы идите отдыхать.

— Мы пройдёмся, наверное, немного, — сказал Шагид. — Ты как, Аслан?

— Где тут пройдешься, на что и кого смотреть? Пойдём вздремнем часок, а там и кудада проснется, и сказки нам на ночь расскажет.

— Да, да, идите, потом расскажу, — проговорил улыбаясь уже сквозь сон Магома.

Отрывистый лай разбудил Магому. И тут же голос Шагида раздался под балконом:

— Что ты ищешь, не могу понять? Потерял что-нибудь?

— Не твоего ума дело, — ответил грубо Аслан.

— Ну и хамовитый же стал ты.

— Мой недостаток, не тебе тужить.

За воротами опять раздался лай. — Да ведь это же Марс пригнал животных, — сказал про себя Магома, — долго же я спал.

— Кто там во дворе, Шагид, Аслан, откройте ворота.

— Проснулся, кудада? — откликнулся Аслан. — Что ты сказал? Открыть ворота? Этот пёс разорвет нас на части. Я не берусь.

Магома кряхтя встал, провёл ладонями по лицу, окончательно отгоняя сон, спустился во двор и толкнул ворота. Напирая друг на друга и блея, во двор вбегали бараны и козы, внося с собой терпкий, густой дух. Последним вошёл пёс. Он остановился, увидев незнакомых людей, насторожился, потом оскалился и, пригнув голову, глухо зарычал. Но Магома не дал ему озлиться: он провёл рукой по загривку и спокойно, внушительно произнёс:

— Свои, Марс, свои, иди грызи кости, — потом повернулся к внукам: — Не дразните его. И не бойтесь. Не показывайте своего страха.

— А чего нам его бояться? Собак будто не видели, — отозвался Аслан.

— Видать-то много видал, да почему-то чуть в штаны не наложил. Вон на лестницу полез. Марс, пока ты не занялся костями, загони коз, я руки вымою.

Магома направился в летнюю кухню, вымыл руки в бочке, сполоснул рот, выплюнул, взял в руку два ведра и пошел через двор, гремя ими. Присев на табурет, он зачмокал языком, ласково похлопал козу по спине и взялся пальцами за вымя, приговаривая: — Где ты гуляла, ласковая, что ты ела, красивая, наверное, вкусную травку, которая прорастает из сердца земли, и запивала ее студеной водой из речки, студеной водой от того снежного хребта, который виден с нашего балкона. И грелась на солнце. Все соки сейчас в тебе, моя белоснежная, и соки земли, и неба, и гор, и потому тебе тяжко, ведь столько соков в тебе бродят, но подожди немного, я тебе помогу, сейчас тебе станет легче...

По дну ведра стучали струйки молока, коза стояла неподвижно и благодарно, а Магома всё говорил и говорил. Откуда только слова находились! Он сам иногда спрашивал себя об этом, но тут же объяснял: от одиночества. Надо с кем-то говорить, с кем-то делиться, человек не может молчать, и он вступал в беседы с Марсом и жеребцом, козами и баранами, и что удивительно — пес и конь его понимали, коза прислушивалась к голосу, а бараны оставались баранами.

Подоив коз, Магома вышел с двумя полными ведрами, присел на нижнюю ступеньку лестницы.

— Аслан или ты, Шагид, принеси лаваш, сыр и кружки. Будем ужинать. Что может быть на вечер лучше свежего молока? Глядите, как пар поднимается от него.

Внуки поставили рядом табуретки и принялись аппетитно есть лаваш с сыром и запивать молоком, черпая его кружками прямо из ведра.

— Ты, кудада, потому так бодр и весел, что пьёшь постоянно свежее козье молоко, — произнес Аслан туго набитым ртом.

— Конечно! — воскликнул Магома. — Утром молоко, днём буза, вечером молоко, ночью чистый горный воздух. Где ты найдешь такую пищу? Мы еще забыли про мясо черного барана.

А про себя подумал: «Только не понимаешь, да что я говорю, старый дурак, не хочешь понять, именно не хочешь понять, каким трудом всё это достается здесь. В горах».

Мужчины опорожнили почти ведро молока, а оставшееся Магома слил Марсу. Потом принёс из кухни глиняный кувшин, налил в него содержимое другого ведра, поставил кувшин между колен и принялся перебрасывать от руки к руке, взбивать масло.

— Так какую сказку вам рассказать, внуки мои? — губы Магомы тронула улыбка.

— Ту, которая пострашней и подлинней, — засмеялся Аслан.

— Смеешься, а в детстве ты слушал разинув рот. Да еще плакал от жалости к обиженным. В детстве ты был мягче душой, щедрее.

— А сейчас скупее стал?

— Я тебя знал маленьким. Сейчас ты для меня неведом, как зеленая звезда. Смотрю я на неё, — дышит, светит, но не греет. Холодная, для себя живет. Нет, нет, это пока не сказка... — Магома помолчал, задумался и начал... — Жила над Кудияб-росо, двуглавой горой, царица звезд Пери-Астара. Днём она спала в белой кружевной постели, а ночью выходила в небо. Выходила в зеленом наряде, и тысячами цветов переливались драгоценные камни на её длинном платье. Любила она обходить свои владения, на людей глядеть, себя показать. А между крутолобыми головами той горы аул лежал. И жили в нём люди бедно. У кого был скот,

топили сакли кизяком, если же не было скота, жались к согретым солнцем камням, а ночью, закутавшись в бурки, глядели в небо. Словно небо должно было облегчить суровую участь этих людей.

Как-то ночью вышла Пери-Астара на прогулку и видит: сидит у холодной сакли дед, потирает руки да покашливает. Подошла она поближе и спрашивает:

— Здравствуй, старец, почему ты здесь сидишь? Ты уже стынешь, и бледность покрывает твои щеки.

Поклонился низко ей дед и говорит:

— Куда же мне идти, царица звезд? В сакле холодно, как в могиле. Вот и сижу здесь, жду, когда меня позовут на небо.

— Неужто тебе плохо живется, старец?

— Был молод — жилось сладко, мог ходить куда угодно. Пришла старость — и тенью моей стала горечь. За что ни возьмусь — тяжко. И мрачные думы одолевают — почему в те, далёкие годы, не ушёл я отсюда, не покинул навсегда это богом забытое место.

— Неужто оно так скверно, старец!

— Куда еще сквернее... Дров не нарубишь для очага, зверя не убьешь для плоти, воды родниковой не выпьешь. Куда ещё сквернее?

— А если всё это будет?

— Люди воспрянут духом. Люди станут красивыми, здоровыми, перестанут жить в страхе. Разве ты не видишь, царица звезд, что страх перед завтрашним днём согнул их, сгорбил, наложил на лица печать уныния и тревоги...

Пери-Астара отошла от старца, и тому показалось, что пришел, наконец, и его час. Он провёл ладонью по лицу, плотней закутался в бурку и стал ждать, глядя в небо. Наконец снова появилась царица. Она близко-близко подошла к старцу, отчего озноб пошел по его худой спине, и спросила звонко:

— А ты и тебе подобные люди не будете скучать по мне, по моим драгоценностям и красоте?

— От драгоценностей какой прок, а вот по красоте тосковать будем. — И внезапно старец забеспокоился, заволновался и спросил: — Царица звезд, что это ты надумала делать?

Но Пери-Астара вдруг засмеялась, повела плечами, закружилась, и тут с её платья стали сыпаться драгоценные камни.

И там, куда они упали, вырос густой зеленый лес.

А царицу звезд больше никто не видел. Которая она из тех, что в небе? Ищет человек её по сей день и не может найти... Ну, послушали вы сказку, сбил я вам свежего масла на утро, а теперь пойдемте, побродим, на мельницу сходим, к чабанам заглянем, горным воздухом подышим.

— Что бродить зря-то, горного воздуха не видели? — пробурчал Аслан. — Я останусь.

— Нет уж, все пойдём, уважь деда. Может, в последний раз и видимся-то, годы мои вон как вытянулись... А дела свои, — Магома бросил взгляд на Аслана и улыбнулся, — потом сделаешь. Впереди ещё ночь у нас.

— Какие у меня дела? — встрепенулся Аслан. — Нет у меня никаких дел.

— Ну нет, так нет. Тем лучше. Пойдемте, что ли. Марс, пойдём и ты с нами?

Пёс глухо рявкнул и забежал вперед.

Так и пошли они с хутора вниз: впереди пёс, за ним Магома и Шагид и последним Аслан. У реки Магома остановился, зачерпнул ладонью воду, выпил, потом обмыл лицо.

— Здесь мы с Аспарухом делали запруду и резвились, пока каменные жернова перемалывали кукурузу. Целая вечность будто прошла, а река всё та же, не убавилось воды в ней, не прибавилось.

— И всё ты помнишь, дед? — наигранно бодро спросил Аслан.

— Нельзя не помнить свои истоки, внук.

Зашли они на мельницу, посидели с мельником чуточку, а просидели полчаса, надышались свежей мукой, поговорили о мирских делах, посудачили и посплетничали. Потом поднялись на третий серпантин, посидели с чабанами у костра и снова посудачили и посплетничали. Магома бросал в костёр хворост, смеялся по-молодому задорно и весело, пил бузу и рвал зубами мясо, и, казалось, он снова был молодым. Потом они перешли через реку по висячему шаткому мосту, вышли на плато и направились к хутору. Было тихо и спокойно, луна облила всё вокруг холодным призрачным светом и остужала горы, леса, небо.

Магома поднялся на балкон, сел на тахту, потом осторожно лёг навзничь, накрылся буркой и зевая проговорил:

— Выпейте айран на ночь, освежит вас.

— А ты почему не выпьешь? — спросил Шагид.

— Выпью, если угостишь. Но меня айран уже не освежает. Только воспоминания... освежают меня.

Он взял из рук Шагида кружку, приподнялся, выпил, вытер рот ладонью и продолжил:

— Как сегодня. Правда, немного притомился, но зато сколько было воспоминаний, душа радуется. Идите спать, поздно уже.

Внуки вошли в комнату, а Магома еще долго смотрел на небо, пытаясь разглядеть старческими глазами звезды, но они в лунном сиянии словно оттаивали как кусочки льда.

— Что ты рыщешь по комнате, как волк, — донесся до слуха Магомы голос Шагида. — Что с тобой происходит?

— Не твоего ума дело, спи, — сказал Аслан.

Что-то тяжело упало на пол. Зазвенело. — Медный таз, — подумал про себя Магома и улыбнулся: — Надо же такое — в мать уродиться. Жаль мужчину.

Над плато растянулся протяжный высокий звук и растаял — пролетел самолет. Заржал жеребец, потом отрывисто, коротко дважды залаял пёс. И всё стихло.

— Жаль мужчину, — повторил про себя Магома и вдруг отчётливо вспомнил тот день, когда отправился с сундуком в сельсовет. Когда это было? Месяца три или четыре назад... Сел он на жеребца, поставил впереди себя сундук, аккуратный, резной, со всякими животными и птицами, вырезанными по дереву, и направился в Кардиб. В сельсовете кроме председателя никого не было.

— Приветствую тебя, председатель, — громко произнес Магома, со стуком поставив в угол кабинета сундук.

Председатель сельсовета пятидесятилетний Рапани, высокий, седой, худощавый, но жилистый мужчина, приветливо улыбнулся, поднялся из-за стола и повёл Магому к креслу:

— Садись сюда, Магома, здесь мягко.

— Нет, я привык к жесткому... А впрочем дай-ка хоть раз и мне понежить иссушенное временем тело.

Он опустился в кожаное кресло и утонул в нём. Магома крякнул, вытянул ноги и произнес:

— Будь у меня такая уютная вещица, я бы потерял вкус и чабанить, и охотиться. Век бы не вылезал из неё. И напридумает же человек на горе себе такую

усладу. — Он еще раз крякнул и провёл ладонью по лицу.

— А я к тебе по делу, председатель. Придвинь к себе сундук и загляни в него.

Рапани удивленно глянул на Магому, молча встал, перенес сундук к столу, открыл крышку и уставился не мигая. Потом перевёл взгляд на Магому и тихо спросил:

— Нашёл?

Магома, внимательно наблюдавший за председателем, вдруг захихикал, прикрыв рот рукой, потом откашлялся и проговорил:

— Много такого ты видел на горных дорогах и тропах?

— Ни разу не видел.

— Что же тогда спрашиваешь?

— Неужели твои?

Лицо Магомы внезапно стало серьезным. Он заложил руки между колен и задумчиво произнёс:

— Сколько лет ты меня знаешь, председатель?

— Столько, сколько живу на свете.

— Сколько лет я работал в колхозе чабаном?

— До войны и после войны. Сколько живу на свете.

— А ты спрашиваешь: «Неужели твои?» Мальчишка...

Рапани растерянно глядел на Магому и никак не мог взять в толк, чего от него хочет этот почтенный старик.

— Мальчишка... — повторил Магома и, следя за растерянным взглядом Рапани, мягко улыбнулся. — У меня таких сыновей, как ты, двое, да ты их знаешь, тоже мальчишки, дочерей трое, все имеют детей, внуков, живут хорошо, красивей и удобней, чем мы с тобой. И вот решил я, чтоб на эти деньги ты построил хороший детский сад-ясли для маленьких кардибцев. Уразумел?

Рапани вышел из-за стола и заходил по кабинету, ни с того ни с сего вдруг гулко застучало сердце. Он подошёл к тумбочке, на которой стоял графин, долго смотрел на него, выпил воды и снова зашагал.

— Я что-то нехорошее предложил тебе? — сказал Магома, прищурившись.

— Нет, нет... просто... необычно это, впервые...

— Дай-то Бог, чтоб стало обычным. Ну что, берешь?

Наконец Рапани очнулся от наваждения, сел за стол, придвинул к себе бумагу и ручку.

— Надо составить акт.

— Какой еще акт? — удивился Магома, вытянув шею.

— Акт о том, что ты дал мне столько-то рублей на строительство детского сада-яслей.

Магома положил руки на подлокотники и громко расхохотался.

— Ты что думаешь, председатель, я не верю тебе?

— Всё должно быть по закону, — рассудительно сказал Рапани. — Мы должны составить документ о том, что ты сдал свои сбережения советской власти, да еще копию документа я тебе вручу. Всё должно быть по закону.

— По закону, так по закону. Я разве возражаю? Только об одном прошу тебя: чтобы он носил моё имя.

— Кто он? — не понял Рапани.

— Аждаха с горного плато. Помнишь, о нем говорили прошлой осенью.

— Какой ещё аждаха?

— Да детский сад.

Рапани схватился обеими руками за голову и с силой откинулся на спинку стула.

— Ты издеваешься надо мной?

— Я же всегда говорил, что вы мальчишки, — примирительно сказал Магома. — Я прошу, чтобы детский сад носил моё имя.

— Ну... этого я не могу... Если ты был бы героем войны или героем труда... Нет, не могу...

— Героем... — передразнил Магома. — Красным партизаном я был? Был. С Аспарухом бандитов изгоняли, советскую власть для тебя утверждали. Документы есть у меня и свидетели, Аспарух. В коллективизации участвовал? Участвовал. Первыми колхозниками были с Аспарухом. Потом Аспарух стал председателем, а я пошел в чабаны. В войну где был? На фронте. С Аспарухом. Кавалеры трёх орденов Славы. Это что тебе, не герой? Потом опять чабанил, орденом Ленина наградила меня советская власть. Это тоже тебе не герой? Эх ты, мальчишка! Для тебя обязательно, чтобы на груди золото сверкало. А если Магома, Аспарух и другие не щеголяют, не высовываются, они

не герои?.. Героем человека дела делают, а не язык.

— Да ты не волнуйся. Что мы, не знаем тебя? Соберем сельсовет, поговорим, решим...

— Поговорим... решим... Я же тебя не заставляю мое имя высекать на стене детсада. Поговорим... решим... Так бы и сказал: соберем сельсовет. А то какими словами сразу прикрылся: героем надо быть... Ох, как удивил! Давай забирай деньги и верни мне сундук, мне на хутор пора, заболтался с тобой.

— Ты прости меня, Магома, если что не так сказал, ведь необычно всё это...

— Для тебя необычно, для нас обычно.

— Не спеши, Магома, сейчас составим акт, все по закону...

— Составим, составим, только деньги выгребай, не то передумаю, — Магома хитро улыбнулся и прикрыл лицо ладонью.

Рапани быстро встал из-за стола, открыл тяжелую дверцу громоздкого сейфа и высыпал в него деньги. Потом повернул к Магоме удивленное лицо и проговорил:

— Мы же не сосчитали сумму?

— Если ты мне веришь на слово, я тебе назову, садись, пиши акт.

... Высоко в небе снова раздался длинный, протяжный звук. — Быстро бежит время, — произнес про себя Магома. Кто бы мог подумать, что над этими горами когда-то полетят самолеты. Да ещё на такой высоте, что и не видно их: только звук касается уха, словно звон комара. Магома закрыл глаза и тут же уснул.

Разбудил Магому глухой стук и звон железа. Он открыл глаза и не поверил себе: солнце уже умывало небо. — Неужели я так долго спал? — спросил он себя. — Ну, конечно, самому трудно поверить в это. Никогда так поздно не просыпался.

Он поднялся с тахты и глянул во двор.

Шагид чистил машину.

— Собрались в дорогу?

— Пора, дед. Пока заедем в Кардиб, соберем вещи, уже и полдень будет. А путь долгий.

— Да, путь долгий. Сколько суток до Киева на твоей машине?

— Три-четыре дня. Ночью сплю. От Махачкалы, конечно.

— То-то же... — усмехнулся Магома. — От Кардиба до Шуры почти день приходится петлять.

Магома сошел во двор, отворил ворота, выгнал баранов и коз и похлопал пса по спине:

— Гони их и сегодня без меня, сначала к реке, как и вчера, а потом на плато. Видишь, мне надо гостей проводить.

Пёс потёрся головой об его живот, завилял коротким хвостом и побежал за животными. Магома не стал смотреть, как Марс будет сбивать их в одну кучу и поворачивать к реке; он вернулся к Шагиду, несколько минут смотрел, как тот копошится в моторе, потом спросил:

— Аслан где? Не проснулся еще?

— Раньше меня, — буркнул Шагид.

— Заканчивай работу, надо завтракать, — сказал Магома, направляясь к летней кухне.

— Нет, дед, не будем, честное слово, времени нет.

— Ну, вам видней.

Магома подошел к рукомойнику, сполоснул лицо, принес из погреба глиняный кувшин и поставил на нижнюю ступеньку.

— Кислого молока поешьте.

— Это с удовольствием. Спасибо, — сказал Шагид, вытирая ветошью руки.

Магома поднял голову: насвистывая залихватскую мелодию, спускался Аслан.

— Как спалось, внук?

Аслан налил в кружку кислого молока, выпил, наполнил еще кружку и задумчиво произнёс:

— Не знаю даже, как ответить. Как я спал?.. Как никогда. Это тебе что-нибудь объяснит?

— Почему же нет? В горах с непривычки всегда так спится.

Магома замолчал. Молчали и внуки.

— Вот что, Шагид, ты пройди в кухню и сними с жерди тушу барана, а Аслан принесет с чердака мешок муки. Поделите на двоих.

— Да что ты, дед, не надо, мы... — начал было Шагид, но Аслан оборвал его:

— Что ты ломаешься, тебе от чистого сердца дает дед родной, а ты песни неясные поёшь.

И быстро взбежал по лестнице. Вскоре он вернулся с мешком на плече.

Пока внуки укладывали тушу и муку в багажник,

Магома вывел во двор жеребца, обтёр его, расчесал холку и хвост и стал прилаживать седло.

— Жеребца тоже даришь? — шутливо спросил Аслан.

— Провожу вас, — коротко ответил Магома.

Наконец внуки сели в машину и выехали за ворота, Магома вдел одну ногу в стремя, легко вскочил в седло и, тронув жеребца, последовал за ними.

Жеребец бежал легко и свободно. Магома чуть покачивался в седле, глядел на машину, идущую впереди, и почему-то грустно становилось на душе.

— Что это со мной происходит? — сказал себе Магома. — Совсем раскис. Погостили ночь и едут к семьям, и за то спасибо, что заехали, повидали старика. Нет, не то, совсем не то я думаю и говорю. Родных захотелось...

Да, родных захотелось повидать. Ну ты посмотри, что за создание человек! Увидел двух отпрысков рода и захотелось повидать родных.

Машина въехала в реку, осторожно перебралась на противоположный берег и быстро пошла по ровной дороге вдоль берега. Магома недолго следовал за ней; натянув поводья, он погнал жеребца, перегнал машину и встал поперек дороги. Внуки поняли. Они одновременно открыли дверцы машины, вышли к деду, не дав ему сойти с коня, обняли, приложились щекою к щеке, потом влезли в машину и уехали. И только три слова витали еще в воздухе: «Мы еще приедем!»

Магома повернул жеребца и поскакал к себе на хутор.

Запахи родного двора успокоили его. Он спешился, притворил ворота, поднялся на балкон, но сидеть здесь в такое время ему показалось скучно, и он вошел в комнату. Заложив руки за спину и ссутулившись, зашагал из угла в угол, ругая себя за то, что не пошел на плато. — Ну что я буду делать целый день, что?— твердил он про себя. — Нечем заняться, а там Марс, бараны, чабаны, что-то надо придумать... — Но он ничего не мог придумать. Потому что не хотел.

Он взял с подоконника линзу, повертел её так и сяк и опустил руку: и линза не вызвала интереса.

Наконец, чтобы скоротать или, вернее, убить время, он решил поспать.

Магома поднялся на чердак, где было темно и прохладно, лёг на душистый ворох соломы и с удо-

вольствием почувствовал, как из тела стала уходить тяжесть. Вскоре глаза его стали узнавать знакомые предметы, а потом натолкнулись и на сундук. Магома улыбнулся, закрыл глаза и уснул. Люк на крыше был открыт, и в него вливался чистый и свежий воздух. Спустя некоторое время люк залил солнечный свет и огненный квадрат упал на Магому.

Магома что-то пробурчал во сне, отвернул лицо от света, потом машинально отполз в сторону и откинул правую руку. Пальцы разжались, из ладони на солому выскользнула линза.

Огненный квадрат медленно, но упорно приближался к ней.

* * *

Тонкую струю, поднимавшуюся от крыши дома Магомы в ясное небо, первыми приметили чабаны на горном плато. Чабаны вскочили на коней и помчались, не отрывая взгляда от хутора. На их глазах струя превратилась в клубы чёрного дыма, потом из-под крыши с какой-то яростью вырвалось яркое пламя, и огонь объял дом. Если бы в небе не было солнца, можно было бы подумать, что оно в дикой пляске, ярости и страсти вцепилось в каменные стены, распушив огненные космы. Когда чабаны остановили взмыленных коней и спешились, дом уже остывал. Почерневший от дыма и копоти жеребец дико ржал и взбивал копытами землю.

Чуть позднее примчались кто на чём кардибцы, им в лощине пожара не было видно, и о случившемся оповестил сын мельника. Их взорам предстал каменный остов дома. Словно сторожевая башня минувших веков.

Гибель Магомы потрясла кардибцев. Даже они, привыкшие к суровым условиям жизни, даже они дрогнули от столь ужасной смерти... Но когда кто-нибудь из редких приезжих вдруг спрашивал, почему не видать Магомы, отвечали спокойно:

— Ушёл в горы, в леса. Охотнику не подобает сидеть у очага.

ПРИШЕСТВИЕ

1

Город к этому факту остался безучастным. Как и ко многим другим, которые в последнее время пытались омрачить жизнь его обитателей. А впрочем, какое можно было ожидать участие, если случилось весьма обычное, прозаическое явление.

В один день, в одно и то же время на новом кладбище были преданы земле пять усопших.

— Что же тут особенного? — скажет читатель. — Всякий усопший должен быть предан земле, а если речь идет о количестве их, то все во власти, как говорят ныне, Всевышнего...

Именно к факту количественному небольшой город как раз и остался безучастным. А ведь на новом кладбище в один день, в одно и то же время пять похоронных процессий до этого никогда по узкой, тесной тропке не пробирались, пять гробов одновременно в чрево глинистой земли никогда не опускали...

Такое случилось впервые за всю историю нового кладбища, возраст которого исчислялся двумя десятками лет.

Итак, город к такому факту остался безучастным.

2

Она с трудом разлепила тяжелые веки. Приподнялась. В кромешной тьме пахло сосновым деревом.

Она стряхнула с себя сон, медленно прошлась — глаза уже привыкли к темноте, оглядела себя до ног, улыбнулась, довольная собой, тихо произнесла:

— Облачили в дорогое платье, обули в любимые туфли. Какая щедрость. Неужели только сейчас я должна была понять, как душевно они ко мне были

расположены — усыпили как Мерилин, нарядили словно Дездемону...

Она вгляделась в темноту и увидела свое отражение как в зеркале.

На неё смотрела молодая женщина с голубыми глазами. Густые шелковистые волосы волнами ложились на плечи. Кожа на чистом, гладком лице блестела. Шелковое платье бирюзового цвета чуть прикрывало изящные туфли того же цвета.

— Как мне жаль его, не сумевшего сберечь такую прелесть... Променял меня на костлявую потаскуху. Глупый, да у неё ни грудей, ни бедер, ну макаронина в «ливайсах» и только.

Она закружилась, легкое платье взвилось, обнажив длинные красивые ноги.

— Не сумел сберечь такую прелесть, — произнесла она уже с сожалением в голосе и умолкла.

Где-то в стороне послышался шорох, затем стук размеренных шагов, и из темноты выступил мужчина. Выше среднего роста, представительный, он был одет в черный костюм. На крупном лице выделялись глаза, большие мешки под ними и четко очерченные губы.

— Я приветствую вас, Элиза.

Голос у него был низкий, бархатистый.

— Вы уже встали, маэстро? — игриво спросила она, но тут же осеклась, словно наткнулась на невидимую преграду. — Позвольте, почему вы меня знаете?

— Помилуйте, как можно не знать милую примадонну. Я старался не пропустить ни одного спектакля с вашим участием. Я даже некоторым образом влюблен в вас.

— Что вы говорите?

— Представьте себе. Кир Кимыч, ваш истинный и давний поклонник.

— Потому и последовал за мной? Пожертвовали собой во имя великой, всепоглощающей любви?

— Вот тут вы немного неточны. Я бы жил с вашим образом в сердце, но... мои силы подточил «Наполеон».

— Хотите сказать, интрижка компаньона?

— Вы как никто другой проницательны, что не характерно для примадонны, простите за отступление.

— Так что же вас спустило сюда?

— Я, кажется, сказал, что вы проницательны.

— Само собой разумеется, — Элиза тряхнула го-

ловой, разметав волны волос. — Передо мной преуспевающий бизнесмен или банкир...

— Вы чудо! — воскликнул Кир Кимыч, завороженный её роскошными волосами, и осекся. — А это что за диво?

К ним приближался молодой мужчина в джинсовом костюме и охая опустился на землю, прислонившись к стене.

— Ты своим видом хочешь сказать, что не столь короток был путь в мир теней? — спросила Элиза.

— Путь мы все проделали равный, — устало махнул рукой молодой мужчина. — Просто я, как бы вам сказать, состою из дробных частей.

— Глядя на вас, этого не скажешь.

— Так ведь под гладкой кожей и мышцами раздробленных костей не увидишь.

— Ой, какие страхи... — Элиза зажмурилась, тряхнула головой, глянула в темноту и тихо воскликнула: — Боже, вот и бабуля явилась.

Седая изможденная старушка еле тащила ноги. Подойдя к молодому мужчине, она попыталась присесть, но не удержалась и рухнула на землю.

— Дистрофик, — произнесла Элиза.

Старушка, кряхтя и охая, долго поднималась с земли, наконец села, подогнув под себя ноги, прислонилась к стене.

— Ты, случаем, не доктор, доченька? — слабым голоском пропела она.

— Нет, бабуля. А тебя доктор довел до такого состояния?

— Что ты, что ты, милая... Дай Бог ей здоровья. Она часто обращалась ко мне со словечком этим — дистрофик.

— Красивые слова произносить они умеют, — сказал Кир Кимыч. — Да вот беда — лечить давно разучились. А вы какого мнения о них, Элиза?

— Наша бабуля усохла от недоедания, — Элиза артистично протянула руку в сторону старушки, медленно подошла к ней, затем повернулась к Киру Кимычу. — Как вы можете не видеть перед собой, маэстро, жертву голода?

— Жертву голода? — удивленно произнес тот. — В наше время?

— Именно, маэстро, ее убил голод. Я бы сказала, изъел, изглодал...

— Мне кажется, ты доктор, доченька, — пропела старушка. — Что таишься от меня?

— Да не доктор я, бабуля, артистка я, а то, что тебя уморили голодом, и дураку ясно.

— Никто не морил меня, неправду говоришь. Скажешь такое... Морил... Я и Пашку, сыночка, подкармливала, и внуков, огород-то мой, что во дворе, хоть и махонький, и фрукты мне приносил, и ягоды, и цветы. Кто же меня морил? Никто не морил, скажешь такое...

— Верно, бабуля, все верно, сына и внуков кормила, а себя уморила, — заключила Элиза.

— Нехорошо ты обо мне думаешь и говоришь, доченька, не по-христиански...

— Дохристианилась, бабуля, так дохристианилась, что сын голодом распял — уморил.

Голос Элизы, в котором зазвенел металл, привел старушку в ужас. Она приложила истонченные руки к пергаментному лицу и застонала:

— Как ты можешь... как ты... это не по-христиански. Не позволю Павлушу моего проклясть. Не позволю...

— А вот ещё один убиенный подходит, — жестко произнесла Элиза. — Погляди, бабуля, на него, поплачь по нему. Вот Человек, убиенный человеком.

Из темноты вышел мужчина и прислонился к стенке.

— Природа создала всё живое и неживое на Земле на радость себе, на благо Земле, на украшение её бескрайних полей и лесов, гор и морей, и нет на Земле ни одного существа, которое без надобности, без острой необходимости убивало бы другое. Сытый лев не раздерет антилопу. Непотревоженная змея не ужалит путника. Непуганый медведь пройдет стороной. Более того, зверь никогда не убьет своего сородича. Слышал ли кто-нибудь из вас, чтобы тигр загрыз тигра, волк—волка, барс—барса... И только гомо сапиенс, в душу которого в библейские времена вкрался Азраил, способен осквернить не только все окружающее, но и изничтожить себе подобного. А ведь Бог дал ему разум и высек на скрижалях заповеди, чтобы человек везде и во все времена подтверждал свое высокое предназначенье!..

Элиза говорила, высоко подняв голову и выбросив вперед красивые руки, и все четверо завороженно глядели на неё, не в силах оторвать глаз.

— Вы Горгона. Вы так похожи сейчас на Горгону,— проговорил изумленно Кир Кимыч. — Это ваша лучшая, самая блистательная роль, моя драгоценная примадонна...

— Нет, маэстро, это оскорбительно для меня. — Её крепкий голос откатывался в тьму и возвращался в волнах эхо. — Нет, я не Горгона. Почему бы вам не сравнить меня с Фемидой? Почему бы мне не свершить правосудия над теми, кто осквернил заповеди творца, растоптал смысл и суть предназначенья человека, высшие его нравственные ценности, уподобился зверю алчному. А ведь зверь так низко не пал, как гомо сапиенс. Как страшно звучит, вслушайтесь только в эти слова, как страшно звучит: человек, убиенный человеком. Какие силы, какое искусство проявляет природа, чтобы в любви и согласии зачать человека, родить и уберечь от болезней и мора, и как просто, как бесцеремонно можно оборвать его путь на Земле. Мы, рожденные природой, вскормленные ею, погублены человеком. Я посылаю на его голову проклятье.

— Проклятье... — повторили за ней три голоса.

— Что вы говорите? Нельзя так, одумайтесь, не гневите Бога, будьте милосердны и терпимы. Все мы под одним небом... — испуганный, слабый голос старушки осекся, и под сводом опять звенел голос Элизы:

— Мы посылаем на головы оскверняющих название и назначенье человека проклятье...

— Проклятье... Проклятье... Проклятье...

Брошенные как тяжелые камни слова волнами откатились в глубь тьмы и к своду. Промозглый свод несколько раз вздрогнул.

Лица трех мужчин были холодны и суровы. Старушка, закрывшись руками, беззвучно плакала, и обильные слезы стекали по подбородку.

3

Глубокой ночью жители города проснулись в тревоге и смятении...

От легкого покачивания полов и стен дребезжала и звенела посуда в буфетах и сервантах, трещали обои, утробно гудели трубы.

Многие, наспех одев детей, выбегали во дворы, на улицы и располагались подальше от домов.

Проснулась, пришла в движение земля. И, словно одумавшись, угомонилась.

Но люди долго не могли прийти в себя, успокоиться.

4

— Хочу навестить свою родню, — задумчиво проговорила Элиза, жестко произнеся последнее слово.

— Нам как быть? — подал голос Кир Кимыч.

— Ах, вы обделены ими? — усмехнулась Элиза.

— В таком случае придется всем разойтись, — проговорил Кир Кимыч.

— Почему же? Можно держаться и вместе, совершим своего рода культпоход или экскурсию, назовите, как хотите...

— Слыханное ли дело? — ужаснулась старушка.— Чтобы усопшие вышли из могил? Как можно?

— Можно, можно, — перебила её Элиза.

— Господь покарает... как можно...

Элиза рассмеялась и поднялась наверх.

Стояла тихая ночь. Одутловатая луна щедро заливала серебряным светом небо и землю.

Элиза, умело огибая ограды, обходя репей, багульник, иван-чай, вышла за ворота, вытряхнула из туфель песок, поправила платье и пошла по тротуару, ровной лентой протянувшемуся под акациями.

Дом, у которого остановилась Элиза, был одноэтажный. Он расположился в глубине двора, защищенный от соседних высоким забором.

— Как вы проникните... — проговорил было Кир Кимыч и осекся.

Элиза прошла сквозь забор, ступила на мощенную кирпичом дорожку, вошла в дом. За ней последовали остальные. В комнатах было душно и неприятно от спертого воздуха. Элиза открыла форточки, вошла в спальню, присела на кровать. Молодая женщина спала, укрывшись по грудь простыней.

— Как тебе спится, подруга? — проговорила Элиза, пристально глядя в лицо женщины. — Кошмары не снятся? Может, ты пребываешь в сладких объятиях моего супруга? Ответь мне, открой глаза, посмотри на меня...

Женщина распахнула большие глаза, уставилась в

пустоту, попыталась повернуться на бок, но Элиза строго проговорила:

— Не спи. Я пришла издали, а ты не желаешь со мной поговорить? Понимаю, ты меня не видишь и не слышишь. Напряги внимание, все свое внимание. Я Элиза, твоя подруга, я Элиза, теперь ты видишь меня? Слышишь меня?

Женщина вскрикнула, в её крике был ужас и страх, и отвернула голову.

— Не бойся, Мэри, я тебе не причиню зла. Ты ведь никогда меня не боялась...

— Ты... ты призрак? — задрожал голос Мэри.

— Пришла из нового дома проведать тебя. Там неуютно, тоскливо, здесь... ну что тебе объяснять, придет время, сама познаешь.

— Ты что же, в тот дом, в новый дом не возвратишься?

— Как тебе сказать... Когда сыграю ещё одну роль, последнюю роль в последней пьесе.

— Сыграешь роль? В каком качестве?

— Сейчас в моде призраки, привидения, домовые и лешие, чудища всякие... Чем я не ко двору? Кстати, за что надо было меня убивать? Ради кого? — резко сменила тему разговора Элиза.

— Убивать? Я никого не убивала. — Мэри объял ужас. — Не убивала я.

— Не лги. Ты постоянно подсыпала в мой бокал таблетки.

— Побойся Бога, я не...

— Перестань, Мэри. Ради кого или ради чего? Сначала я думала, ты хочешь стать примой... Но когда увидела, как ты отдавалась Софрону... Я вас застукала в ванной, в рождество. Тебе нужен был не он, а его деньги, его положение. А потом и мое место в труппе. Но неужели для этого надо было убивать человека?

Мэри встала с кровати и нервно заходила по комнате.

— Ты бы его не отдала мне, — зло выкрикнула она. — Я видела, как ты его любила.

— Он знает, что ты меня усыпила?

Мэри долго молчала, уставясь в пространство, где сидела Элиза, потом выдохнула:

— Нет.

— Что ты мне подсыпала в первый раз, на вечере?

После спектакля «Три сестры», который прошел с триумфом. Ты должна помнить тот вечер.

— Крысиный яд.

— И я не умерла.

— Я была поражена. Была в шоке.

— Я вылила шампанское себе на грудь. Тебе издали этого было не видно, а соседям я со смехом объяснила, что люблю купаться в шампанском.

— Но как ты узнала, что я подсыплю...

— Покровительница спасла. Накануне ночью приснилась мне и предупредила...

— Чушь какая-то.

— А то, что я здесь сижу перед тобой, разговариваю с тобой, как понимать? Тоже чушь?

Мэри долго молчала, застыв у окна, потом осторожно спросила:

— А на моих именинах что тебя уберегло...

— От смерти? — не дала договорить Элиза. — Просто в твоей компании я уже не прикасалась к бокалу. Откройся, когда ты сумела меня усыпить?

— Софрон усыпил тебя, — проговорила Мэри.

— Кто? Не поверю.

— Я подсыпала лошадиную дозу люминала в бутылку с оранжадом, которую он купил тебе на праздник весны. Пока мылся у меня в ванной, достала бутылку из кейса и успела положить обратно.

— Что он нашел в тебе, не уразумею. — Элиза окинула её долгим оценивающим взглядом. — Кости и кожа, фанера, да и только. Чем ты могла его завлечь?

— Страстью, — взорвалась Мэри. — Да, страстью, я умею любить. А впрочем, я не очень нуждаюсь в его любви. Мне нужны его общество, состояние... Как я живу? Постоянно в нужде, от зарплаты до зарплаты, жажду вкусной еды, красивой одежды, высшего общества, эта жажда иссушала меня, и Софрон казался тем родником, который мог её утолить. Почему не кто-то другой, а он? Да потому, что он был рядом, под рукой, а ты уже начинала вызывать во мне ревность, злость, ненависть. Такая же баба, как и я, ты ходила в шелках и мехах, ужинала в ресторанах, проводила отпуск на Канарах и Гавайях, а я увядала в этой зловонной кухне, по нескольку лет носила платья и обувь, не могла избавиться от манной каши, постного супа, яичницы и кильки. Убожество бытия, бессилие угнетали, отупляли мой разум, позволяя душе лелеять и растить

чудовищную ненависть. Только этот дом, оставшийся от родителей, и согревает.

— На несчастье других строить свое счастье? — проговорила Элиза. — Я-то в чем виновата?

— Просто ты была рядом, — устало сказала Мэри. — Далеко идти не хотелось.

— Так значит, как я поняла, ты не любишь Софрона? — после небольшой паузы спросила Элиза.

— Нет.

— Так же, как и меня, можешь его убрать со своего пути?

Элиза тряхнула головой, повела плечами, прошлась по комнате и встала против Мэри.

— Фанера, да и только. Что в тебе находят мужчины?

— Страсть, — зло повторила Мэри. — Жадность к жизни.

— Эта жадность и иссушила тебя, а не манная каша и яичница. Разве же можно так остервенело ненавидеть себе подобных? Прикрой тело, ты стоишь голая, на тебя смотрят мужчины.

Мэри недоуменно взглянула на нее.

— Мужчины? Откуда им тут взяться?

— Взгляни в гостиную. Сосредоточься, напряги свое внимание.

Мэри окинула взглядом гостиную. В темноте стали вырисовываться контуры голов, плеч... Она в ужасе закрыла глаза, чувствуя, как спину прошивает острый холодок, потом, подчиняясь неведомой силе, распахнула их и застыла, онемев.

На стульях, словно призраки, сидели трое мужчин и старушка.

Мэри глядела на них, судорожно дыша, внезапно дыхание её оборвалось, и она рухнула на пол.

5

Комнаты первого этажа были темны и пусты. Лишь в кабинете, расположенном в конце второго этажа, горел свет.

Они вошли и уселись на просторном кожаном диване, только Кир Кимыч остался стоять, пристально глядя на мужчину, поглощенного работой. На массивном

столе лежали стопки финансовых документов, деловые бумаги, счетные машинки.

— Не доверяет никому, — усмехнулся Кир Кимыч.— Жаль мне его: не по нему этот бизнес.

— Хотите сказать — не по Сеньке шапка? — Элиза рассмеялась.

— Он хилый, умом и волей. В нем только одна черта сильна, пожалуй, две — зависть и желание. В моем банке ни один человек мне не был так предан, как Серж. И он же меня и предал. А как красив, стервец. Серж, ты слышишь меня? Красивый ты, стервец, говорю.

Мужчина поднял голову, вгляделся в комнату, затем откинулся на спинку кресла, прикрыл веки. Посидев в таком положении минуту, он открыл глаза и спокойно проговорил:

— Я знал, что ты придешь.

— Знал? — удивился Кир Кимыч. — Это для меня ново. Ты, как я знаю, не увлекался оккультными науками.

— Ошибаешься, увлекаюсь теми чудачествами, которые вы, так называемые здравомыслящие, высмеиваете, не признаете. А потому не боюсь ни призраков, ни пришельцев. К слову сказать, я вижу не только тебя, но ещё четырех субъектов, расположившихся на диване.

— Ну надо же... — поразился Кир Кимыч. — И давно ты это... общаешься с другими мирами?

— Как сказать... — Серж пожал плечами.

— А раньше вы не подумали о том, что после совершенного вами убийства Кир Кимыч может вас навестить? — полюбопытствовала Элиза. — И попытается отомстить?

Серж задумался, потом спокойно произнес:

— Нет, не подумал. Представьте себе, тогда, в тот момент, и в мыслях не было, что он явится в виде призрака.

— Так огромно было желание и слепа зависть?

— Откровенно признаться, не знаю. То, что эти чувства двигали мною, верно, но сказать, что они затмили передо мной все... — Серж отрицательно покачал головой.

— И вы не боитесь отмщения? — спросила Элиза.

— Я родился под созвездием Скорпиона и совершенно равнодушен к смерти, — улыбнулся Серж. — А вы, чувствую, небезразличны к астрологии.

— Да что вы говорите? — шутливо засмеялась Элиза.

— Знакомы и с медитацией?..

— Ах, не надо, — отмахнулась Элиза. — Сейчас речь не обо мне, о вас, о вашей нелюбви к боссу.

— Просто я хотел владеть банком единолично, быть боссом. Ну, быть боссом и все тут. Словно эту мысль мне внушили внеземные силы. Она не давала покоя, преследовала, терроризировала меня, адская мысль, ниспосланная из чрева бездонной Вселенной. И я опоил босса. Я не предполагал, что ему будет больно: он стонал, плакал, корчился. Слава Богу, недолго. Я просил, умолял небо, чтобы его мучения кончились быстро.

— И оно вняло тебе? — спросил Кир Кимыч.

— Да. Я думаю, да.

— А кто обратится к небу за тебя? — спросил Кир Кимыч.

Серж долго сидел задумчивый, потом произнес:

— Не знаю. Никто.

6

Двор был завален строительным мусором. Стены недостроенного дома, залитого лунным светом, походили на театральную декорацию. Осторожно ступая, будто могли пораниться или испачкаться, они вошли в помещение, которому предназначалось стать комнатой, и остановились. На ворохе соломы, укрывшись буркой, спал человек. Сон его был не безмятежен: похрапывание чередовалось со стонами, временами переходившими в визг.

Молодой мужчина в джинсовом костюме отделился от группы, подошел к спящему, приподнял бурку, задумчиво проговорил:

— Неужто совесть замучила?

Человек застонал и жалостливо произнес:

— Замучила.

— Не думаю, что она у тебя есть, Кафир.

Человек сдернул с себя бурку, резко приподнялся, сел и возвел глаза к небу.

— Я слышу тебя, Ислам, слышу твой голос, ниспосланный Аллахом с неба. Я знал, что ты придешь.

— Я здесь, перед тобой, посмотри на меня...

— Ответь, там, на небесах, покойней, чем на зем-

ле? Хи-хи-хи. — Кафир захихикал глупо. — Там покойно, красиво, да, да, а здесь голову терзают думы, тревоги, заботы... где достать, как достать, у кого достать, хи-хи-хи... Тридцать лет я ковырялся в земле от зари до зари, в колхозной вязкой земле, и что я нажил? Разбитые руки и ноги, больную спину и косые взгляды уважающих себя людей?

— Ты не очень ломал голову над тем, как доставать. Куртку снял с брата, сказавшись безденежным, «КамАЗ» купил на мои и свои деньги, дом строишь, выклянчив кредит...

— О небо, это голос Ислама, он знает все, он видит все, душа его будет следить за мной, следовать всюду... Аллах акбар...

Кафир встал и заметался по комнате.

— Зачем ты меня разбудил? Я так сладко спал и видел свой дом, свой сад во дворе, своих детей под фруктовыми деревьями. И вдруг ты подал голос с неба и развеял мой сон. Зачем ты это сделал?

— Я хочу узнать от тебя, услышать из твоих уст, почему ты сбросил меня в пропасть. Как ты мог решиться на убийство?

— Хи-хи-хи... Азраил вселился в душу... Аз-ра-ил...

Кафир с криком бросился на лежанку и укрылся с головой.

— Он лишился ума, — сказала Элиза, молча наблюдавшая сцену. — Его мозг оказался слабее сердца, разум уступил душе.

Кафир воровато, пугливо стянул с лица бурку и крикнул несильно и визгливо:

— Ислам, ты меня слышишь?

— Слышу,— коротко произнес Ислам.

— Ты меня слышишь? Клянусь пророком Мухаммедом, я и не помышлял об убийстве своего компаньона. Ведь мы с тобой вместе купили машину, вместе делали одно дело. Как истинно верующий человек, я не смел убивать тебя. Да и не убивал я тебя, нет...

Кафир внезапно вскочил с лежанки и забегал по комнате, спотыкаясь о камни, кирпичи и строительный хлам.

— Азраил... Когда машина пошла над пропастью, я вдруг услышал шепот Азраила на ухо: сбрось его из кабины — и машина твоя. И все заработки твои... Сбрось, никто не узнает, что это твоих рук дело. Это Азраил тебя сбросил.

— И я падал триста метров, разбиваясь о камни... — Хи-хи-хи... Я остановил машину, присел на краю пропасти... Тебя не было нигде, Ислам. Я уже хотел спуститься за тобой, но вдруг услышал твой голос с неба и понял, что ты там, уже там, в небесах, в мире чистоты и покоя. Хи-хи-хи... Ты слышишь меня, Ислам?

— Пойдемте, он лишился ума, — повторила Элиза, и они пошли со двора, сопровождаемые глупым хихиканьем и визгливым голосом.

— Ты слышишь меня? В небесах покойно? Не тревожно?.. Почему ты молчишь? Ненавидишь? Презираешь? Не держи зла на меня. Возлюби и облюбуй мне место, хи-хи...

7

Старушка вошла в сени и всплеснула руками:

— Господи, и Павлуша здесь...

Худой, сутуловатый молодой мужчина вылез из погреба, вытер рукавом обильный пот со лба и, устало ступая, вышел во двор.

Элиза из любопытства подошла к погребу. Вдоль стен рядами были уложены баллоны с вареньем, соленьем, маринадом, камышовые корзины с фруктами...

— О-ля-ля, — произнесла она, обернувшись к старушке. — Погреб добром набила, а себя голодом уморила.

— Опять за свое, доченька, и ела я, и пила, компоты, соки пила...

— По тебе и видно.

Мужчина внес два ведра груш, поставил их на пол, сморщился, поднял к потолку лицо и дважды оглушительно чихнул.

— Простыл, сыночек, пропотел и простыл, не бережет себя, — жалостливо проговорила старушка.

— Поговори с сыном-то.

— Господь с тобой, доченька, что ты такое говоришь. Боже упаси, испугается. Виданное ли дело усопшему разговаривать с живым.

— Ты-то, бабуля, верующая.

— Господь вразумил.

— Так представь, что с сыном будет разговаривать душа твоя.

— Нет, доченька, негоже так. Испугается он... Неверующий он у меня.

— Оно и видать, — усмехнулась Элиза.

— Глянь, какая краса у сына моего. Господь наделил.

— Не похож он на тебя, — словно отрезала Элиза.

Лицо у мужчины было узкое и длинное, на нем резко выделялись острый нос и такой же острый подбородок. Длинные волосы закрывали уши и шею.

— Хищник, — добавила Элиза, вложив в короткое слово презрение.

— Негоже так, доченька, Павлуша у меня добрый, сердешный.

Элиза не стала слушать старушку, прошла в комнаты. Их было три. Обставленные старинной резной мебелью, они выглядели как-то неуютно, может, оттого что стены и полы были оголены. Коврики, паласы и дорожки, скатанные и перевязанные, громоздились на диване.

— Мебель-то антикварная, красота какая, — проговорила Элиза. — Из натурального дерева. Ей цены нет сегодня.

Мужчина поднялся из погреба, плотно закрыл его, умылся, надел чистую рубашку, запер на два замка входную дверь, затем калитку, подергал для надежности и пошел споро.

— Не решился ночевать в пустом доме Павлуша-то, к деткам пошел.

— Поминки хоть справил? — усмехнулась Элиза.

— Справил, небось, как не справить по матери поминки, справил, справил.

— Скоро управился. Уж больно скоро добро собрал.

Элиза повернулась и пошла на улицу.

Ночь была светла, тепла и тиха. Распухшая как на дрожжах луна, заляпанная пятнами, висела над головой, готовая вот-вот сорваться вниз, лопнуть и разлиться по земле прохладной и вязкой жидкостью.

— Ведите, остались вы, — обратилась Элиза к третьему мужчине.

— Я не поведу вас.

Элиза удивленно взглянула на него.

— Утомился от этих сцен. Да и все утомились.

— И вы не желаете уяснить мотивы вашего убийства?

— Наша ситуация и козе ясна: два кандидата в депутаты баллотировались на одно место. И дикий Запад оказался прав: Боливар двоих не вынес. В седле удержался мой соперник, потому что я поскользнулся и упал с горы.

— С какой ещё горы?

— Где любил проводить свой досуг.

— Философ,— пробурчал Кир Кимыч.

— Если бы, — вздохнула Элиза. — Паяц.

— Боливар двоих не вынес, — повторил мужчина.— А что касается соперника... — он замолчал, потом добавил: — Каждому воздастся по его делам.

Элиза развернулась и пошла уверенной походкой, увлекая за собой остальных.

— Теперь куда, моя примадонна? — спросил Кир Кимыч.

— В прокуратуру.

— Куда-а-а?.. — удивленно протянул он.

— Неужели вам не любопытно услышать мнение прокурора обо всех этих нечистых и нечестных играх? Мне любопытно, и я направляюсь в прокуратуру.

8

Крупный, грузный мужчина вошел в кабинет, напевая веселую песенку, бросил на стол кожаную папку, раздвинул тяжелые шторы на окнах, впустив яркое утреннее солнце, и сел в жесткое кресло. Побарабанив большими толстыми пальцами по столу, он поднял телефонную трубку, задумался, бросил её на рычаг, раскрыл папку и разложил перед собой её содержимое. Он перебегал глазами с одной бумаги на другую, возвращался, ещё раз вчитывался и переходил к следующей. Толстые губы его шевелились в такт чтению, большие мохнатые брови то и дело поднимались и опускались. Зазвонил телефон. Он приподнял трубку, чуть подержал и положил обратно на рычаг.

— В ваших бумагах нет ничего тревожного, надеюсь?

При первом слове он резко поднял голову и обратил взгляд к дверям. Потом оглядел комнату.

— Вы меня увидите, если сумеете сосредоточить внимание.

Глаза его забегали из стороны в сторону.

— Я перед вами, напрягите внимание. Вы меня видите.

Человек разглядел сначала очертания мужчины, потом в холодном призрачном свете — женщины, и закрыл глаза, резко откинувшись на высокую спинку кресла.

— Не пугайтесь, ничего страшного не произойдет,— повторила Элиза.

— Я и не думаю пугаться. Просто... это так неожиданно...

— Может, это сон, вам привиделось? — сказала Элиза.

— Может, сон! — повторил мужчина, открыл глаза и тут же зажмурился. — Нет, это явь.

— Распахните очи, здесь я не одна.

— Как? Ещё призраки?

Он медленно открыл глаза, вгляделся, удивленно протянул:

— Откуда вы явились на мою голову? Расскажу кому о вашем визите — посчитают, что я тронулся умом.

— Ну вот видите, вы не испугались.

— Я начитался о вас, слава Богу, так много, что готов поверить и в мир теней, и в параллельные миры, и в другие измерения, и в пришельцев...

— Мы с вами родственные души. Я в жизни... поглощала так много литературы о непознанном мире и тайнах мироздания, что уже начинала верить во все, а главное — совершенно, ну ничуть не боялась смерти.

— Погодите, — мужчина пристально вгляделся в неё. — Мне ваш облик кого-то напоминает...

— Не актрису ли Солнцеву?

— Точно. Её самую.

— Это я и есть Элиза Солнцева.

— Но как вы оказались там... то есть... я совсем запутался, — мужчина тряхнул большой головой. — Как вы стали призраком?

— Вопрос довольно остроумный, если не считать его глупым. Нас забрала в мир теней смерть.

— Нас? Кого вы имеете в виду?

— Вглядитесь.

— Боже мой! — воскликнул мужчина, но в его глазах не было страха, лишь удивление. — Сколько вас!

— Результат насильственной смерти, — резюмировала Элиза. — Вот мы и явились к прокурору потребовать воздать убийцам должное.

— Помилуйте, вот уже месяц у нас не заведено ни одно уголовное дело.

— Так заведите, всех нас постигла насильственная смерть. Кроме старушки, она умерла от истощения, сама себя убила. А нас четверых у-би-ли.

— Чем вы это докажете?

— В том-то и дело, что нечем. Мы ведь призраки. А вот вы нам и поможете.

— Чем?

Элиза задумалась.

— Мы вам напишем, — неуверенно проговорила она. — Каждый изложит свою историю.

Мужчина долго смотрел на неё, потом расхохотался.

— Ну, актриса, ничего не скажешь. Что я представлю суду, письма с того света?

Теперь засмеялась Элиза.

— С вами не соскучишься, — сквозь смех проговорила она. — Почему же вы не завели уголовные дела?

— На кого?

— Разумеется, на убийц.

— Смерть подтверждается медицинским освидетельствованием и свидетельскими показаниями. Первое не установило факт убийства, вторых не было. Вот вас, извините, какой смерти подвергли?

— Как понять «какой»? Смерть — она и есть смерть.

— Ну, способ убийства.

— Лошадиная доза люминала.

— А дело не завели, посчитали, очевидно, да нет— наверняка, что вы покончили с собой.

— Но я-то знаю убийцу, — воскликнула Элиза.

— Вы, может, и знаете, но только вы. А против вашего убийцы улик нет. Никаких. И потому для правоохранительных органов он не существует.

— Улик нет, — задумчиво проговорила Элиза. — Кандидата в депутаты сбросили с горы — тоже улик нет.

— Да, я слышал о том, что он разбился... Никаких следов насильственной смерти.

— И они, эти нечисти, которых я называю убийца-

ми, будут продолжать безмятежную, сладкую жизнь на земле?

— Мы с вами не знаем всего. Может, ночами их терзают совесть и жуткие видения?

— Вы хотите сказать, что Творец, создавший нас и Вселенную, воздаст им должное?

— Может быть, — вздохнул прокурор. — Должен же над нами властвовать светлый разум?

— Адью, прокурор, благодарю, что вы не испугались нас и выслушали.

Элиза театрально поклонилась, тряхнув своими роскошными волосами, и направилась к выходу.

9

У кинотеатра «Планета», обложившись фанерными листами, красками, кистями, длинноволосый парень в шортах и майке малевал афиши. Элиза остановилась рядом с ним, подняла с земли чистую кисть, окунула в баночку с краской и принялась выводить на чистом листе фанеры буквы. Парень замер. С раскрытым от изумления ртом и расширенными глазами он безмолвно глядел, как кисть размашисто выводила слова: «Меня, актрису драматического театра Элизу Солнцеву, подвергла насильственной смерти...»

Парень похолодел, его даже передернуло, попятился, потом мигом поднялся по ступенькам, вбежал в фойе и сильно захлопнул дверь. Немного успокоившись, уняв бешено стучавшее сердце, он прильнул к стеклу: в воздухе мелькали четыре кисти.

Элиза бросила кисть, полюбовалась намалеванным текстом.

— Бабуля, а ты почему не пишешь? Грамоте не обучена?

— Пошто обижаешь, доченька, обучена и грамотна я, да вот не убивал меня Павлуша, пошто грех на душу брать и сыночка родного распинать?

— Как знаешь. А мы своих убийц предадим гласности. Хоть так, может, призовем на них гнев людской и божий.

Элиза и попутчики подняли щиты и направились к площади.

Плывшие по воздуху щиты с именами убитых и убийц казались фантасмагорией.

Услышав о том, что такое может происходить, ни один здравомыслящий житель Анжи не поверил бы. Но это происходило в городе, на главном проспекте, выходившем на площадь.

Четыре щита с именами убитых и убийц плыли по воздуху.

Люди, пораженные столь необычным видением, замирали на месте, потом, словно очнувшись ото сна, медленно, но неотступно следовали за ними. Взрослые сдерживали эмоции, молодые перебрасывались шутками, смеялись, дети галдели, улюлюкали от восторга.

То и дело слышалось:

— Как, Солнцеву убили? Убила Хватова? Не может быть...

— Чушь собачья, чему вы верите?

— Ну вот, красным по белому писано.

— Что это такое? Кто двигает щиты?

Люди поднимали головы, оглядывались, озирались, ища механизмы, приводные ремни, но... их не было. И удрученные продолжали переговариваться и спорить:

— Ты гляди, и банкира убили... А я знал его, толковый был мужик.

— Вот паскуды, мать твою, как они могут парить? Я понимаю, когда летают призраки, привидения, но щиты как могут, тут что-то не то... Тут кто-то над нами издевается...

Толпа росла. Это была уже масса, живая масса в несколько тысяч, которая продолжала увеличиваться.

Выйдя на середину площади, Элиза остановилась.

— Нам следует разоблачиться. Иначе не поверят.

— Мы напугаем их, — предостерег Кир Кимыч. — Глядите, как накалились страсти.

— Не испугаются. Наши люди не из пугливых.

Элиза на минуту задумалась, глубоко вздохнула и громко, стараясь перекричать гул, воскликнула:

— Люди моего города!

Масса, ахнув, отхлынула, словно тугая волна, ударившаяся о скалистый берег.

— Люди, не бойтесь, мы не сделаем вам ничего плохого...

Масса отхлынула ещё дальше.

— Не пугайтесь. Вглядитесь в нас. Напрягите волю, вглядитесь, и вы увидите нас.

— Я вижу! — раздался вдруг душераздирающий голос, он принадлежал мужчине.

— И я вижу, — заорал мальчик. — Призраки. Вижу призраков.

Масса шарахнулась назад.

— Пять, их пять... — снова заорал мальчик.

— Призраки, призраки, — взвизгнуло несколько голосов. — Сгиньте, сгиньте, окаянные...

— Ну зачем же так, они вам ничего плохого не сделают, — послышался низкий бархатный голос, и вперед выступил седой крупный мужчина. Он остановился в нескольких метрах от Элизы и проговорил:

— Вы испугаете людей. В толпе могут случиться обмороки.

— Вы-то не испугались? — спросила Элиза.

— Я психоаналитик, к тому же с некоторых пор стал увлекаться оккультными науками.

— С вами все ясно. А я требую правосудия, вернее, мы требуем.

Запели милицейские сирены, затем сквозь густую массу людей на площадь выступили несколько милиционеров. Пожилой капитан отделился от них, подошел к седому мужчине, поднял взгляд на щиты:

— Чем вы здесь любуетесь? Людям заморочили головы призраками, а вы потакаете хулиганью.

Он протянул руку к щиту, намереваясь взять его, но щит отпрянул. Капитан удивленно взглянул на седого, снова ринулся к щиту. И снова щит отпрянул.

Толпа разразилась смехом и аплодисментами.

— А вас не интересует, почему щит висит в воздухе? — спросил седой.

— Хулиганство, и только,—буркнул капитан.

— Его держит призрак.

— Что? И вы — туда же? С ума все посходили, что ли?

— Всмотритесь внимательно перед собой, напрягите мысль: перед вами стоят...

Капитан вдруг отпрянул, зажмурился, потом медленно открыл глаза, лоб его покрылся испариной: перед ним стояли пять призраков. Рука его невольно потянулась к кобуре, седой заметил движение и внушительно сказал:

— Капитан, разве можно стрелять в пустоту? Поймите, это призраки, они — не материальное тело, а призрачное, ваши пули пройдут сквозь пустоту и убьют людей.

Рука замерла на кобуре. И сползла.

— Капитан, мы требуем наказать наших убийц. И только, — сказала Элиза.

Капитан безмолвно обратился к седому. Тот успокаивающе кивнул:

— Да, капитан, они умерли насильственной смертью, но ни на одного из убийц не заведено уголовное дело.

— Кто их убил?

— На щитах все написано, — сказал седой.

— Кто писал? — коротко вопросил капитан.

— Призраки.

Капитан провел ладонью по лбу, потом прикрыл ею глаза. Минуту он безмолвствовал, затем опустил руку и тяжело вздохнул:

— Наваждение какое-то.

— Будет что вспомнить. Не каждому удается видеть призраков, — усмехнулся седой.

— Так как же, капитан, вы займетесь нашими убийцами? — спросила Элиза.

— Нет, конечно. Какие против них улики?

— Что вы заладили одно и то же — улики, улики...— взорвалась от негодования Элиза. — Прокурору нужны улики, милиции — улики. Видать, нам придется самим мстить.

— Вы ещё и грозить вздумали? — повысил голос капитан. — Явились черт знает как и откуда — и грозить? И что вы за существа — разобраться надо. Ну погодите...

Он быстрым шагом направился к милиционерам, взял у одного из них радиопередатчик и принялся что-то требовать: вид его был решительный и суровый.

— Меня не перестает поражать человеческая глупость, — проговорил седой. — Видишь же, черт тебя побери, что перед тобой не материальные существа. Нет, надо напоказ выставлять свою ограниченность.

— Спектакль, — проговорил Кир Кимыч.

— Вы правы. Именно спектакль. Это лучший спектакль, в котором я сыграла свою лучшую роль. Поглядите на эту многотысячную массу зрителей, сколько в их душах трепетного страха, неуемного желания познать тайны неподвластного нам мира, робких попыток обратиться мысленно к Творцу, вселенскому разуму, вы поглядите, они намагничены мной...

Элиза двинулась к людям, и огромная плотная масса с шумом отхлынула, как огромная тугая волна, но

как только Элиза вернулась на место, масса придвинулась.

— Спектакль, — повторил Кир Кимыч.

— Мир — театр, и люди в нем актеры, — улыбнулась Элиза. — Знаете, кому принадлежат эти слова?

— Шекспиру, моя примадонна, — воскликнул Кир Кимыч.

— Да, он их сказал. Но принадлежат они древним эллинам. Сегодня я убедилась, что эллины имели основание так говорить. Мы все заняты в одной пьесе, и ставит её Творец на сцене, которая называется планета Земля. Действие её происходит в Европе и Азии, Америке и Австралии, и каждому народу, каждому человеку отведена своя роль. Сыграл — ушел: материя истлела, а дух воспарил, чтобы спустя десятилетия в иной оболочке вернуться и сыграть в очередном спектакле. Одна пьеса сменяет другую: копты прекрасно исполняют свою роль и уносят с собой древнюю цивилизацию Египта, затем блистают филистимляне, шумеры... Каждое тысячелетие — новая пьеса, Творец совершенствует игру актёров, все больше расширяет сцену действия. Эллины, римляне, скифы, сарматы, готы, гунны... Затем пьеса с Иисусом в заглавной роли. Мы песчинки на этой театральной сцене... Что можем значить мы, если исчезают целые государства, могущественные племена, сталкиваются, перемалываются народы... А игра не кончается. На смену одному спектаклю приходит другой — одну цивилизацию сменяет другая, одну общественную формацию — следующая, одних актеров — новые... Спектакли не кончаются, ибо нет конца жизни, которую создает Творец. Весь мир — театр, и вся Вселенная — театр, и другие Вселенные в других измерениях — театры. А театр — это игра: действие, движение, порывы, страсти, кипения, борения, которые и есть реакция распада атомного ядра, что мы называем упрощенно жизнью.

Элиза умолкла.

Седой мужчина завороженно смотрел на неё, потом произнес:

— Ваш монолог убедителен. Я восхищен вами.

И низко поклонился ей.

Воздух огласился воем сирен, и из тесного коридора, образованного в многотысячной людской массе, выползли на площадь одна за другой три пожарные машины. Они развернулись фронтом. Бойцы пожарной

команды споро протянули брандспойты, молодой лейтенант дал команду, и тугие струи воды ударили в сторону, куда указывал рукой капитан милиции.

Водяной шквал сбил с ног седого мужчину, он упал на асфальт, потом привстал на колени и продолжал находиться в такой позе, чтобы не быть снова сбитым. Элиза с попутчиками удивленно поглядывали на происходящее. Увидев их невредимыми, толпа одобрительно загалдела, зааплодировала, молодежь принялась освистывать пожарных. Видя, что напор воды не возымел действия на призраков, капитан милиции как-то растерянно съежился и сник.

— Довольно играть комедию, Элиза, — сказал тихо Кир Кимыч. — Они-то не виноваты.

— Вы правы, — вздохнула Элиза, — пора завершать спектакль.

Они бросили фанерные щиты на землю и стали невидимыми для людей. Миновав площадь, Элиза с попутчиками вышла на тихую улочку, которая вела прямо к кладбищу.

10

Была уже ночь, когда они спустились к себе.

— Я не хочу, я не желаю, чтобы мой убийца продолжал спокойно жить и радоваться жизни, — устало, но твердо проговорила Элиза. — Это противоестественно, нарушение всех законов мироздания, заветов Творца: отняв жизнь у себе подобного, не чувствовать угрызений совести, не познать страха, не испытать кары. Я посылаю на головы алчущих, оскверняющих название и назначение человека проклятье...

— Проклятье, проклятье, проклятье.

Брошенные как тяжелые камни слова волнами откатывались в глубь тьмы и к своду. Промозглый свод несколько раз вздрогнул.

Лица трех мужчин были холодны и суровы. Старушка, закрывшись руками, беззвучно плакала, и обильные слезы стекали по подбородку.

Глубокой ночью жители города вновь поднялись в тревоге и смятении.

Снова проснулась, пришла в движение земля. Сильнее, страшнее, чем накануне.

Наспех одев детей, люди выбегали во дворы, улицы, располагались подальше от домов. До рассвета они не сомкнули глаз.

Утром перед ними предстала страшная картина: улицы были изувечены и изуродованы глубокими трещинами.

Затем по Анжи прошел слух, что в некоторых районах разверзлась земля.

К полудню жители города с ужасом перешептывались: пять особняков исчезли с лица земли, провалились в преисподнюю.

ПРИВИДЕНИЕ ВЕДЕТ НА ГОЛГОФУ

1

Он проснулся от неясного, трепетного чувства, возникшего не от страха, а от загадочно вырисовывавшегося в пустоте Образа.

Он спустил ноги с кровати и уперся взглядом в темноту. В четко обозначенном квадрате просматривался Образ.

Он зажмурился и сидел в таком положении долго, потом медленно открыл глаза, надеясь, что наваждение исчезнет.

Образ не исчезал.

— Кто ты, призрак, Иисус, Будда, Магомед, Кришна? Я не знаю тебя, кто ты? — закричал он и не услышал своего крика.

— Я тот, к кому ты часто обращался мысленно, кого желал увидеть воочию.

Голос, исходивший от Образа, был низкий, приглушенный, успокаивающий.

— Никого я не желал видеть.

— Не лги себе и не вселяй в душу свою страх. Ты чрезмерно интересуешься космологией, ты часто мысленно ищешь контакта с нами, с тем, что вы называете вселенской субстанцией, высшим разумом, представителем иного, неведомого вам, землянам, мира.

— Нет...

— Не лги себе, успокойся. И взгляни на меня.

Вокруг Образа засияло кольцо голубого света, четко обозначились большие глаза, высокий лоб, прямой нос, четко очерченные губы, крепкий подбородок. Лицо было красивое, словно высеченное умелым мастером.

— Не меня ли ты искал во Вселенной?

Голос вывел его из оцепенения.

В постели зашевелилась жена, перевернулась на

бок, беззлобно, стараясь не развеять сна, заворчала:

— Боже мой, опять ночные бдения. С ума сойти с тобой. Тебя это до добра не доведет, Ким...

Она зачмокала губами и затихла.

— Не искал я тебя... — сказал Ким.

— Не бойся меня. Я брат тебе. Я желаю, чтобы ты увидел, в каком мире грязи и лжи обитают многие земляне и как чист мой мир, чисты воздух его и помыслы его обитателей. В сравнении познается истина. Следуй за мной, брат.

— Нет, нет, — встрепенулся Ким. — У меня дети, пятеро малых детей. Я не могу оставить их на произвол судьбы. Ты выше меня разумом, ты поймешь меня. Дети без отца...

Четко очерченные губы растянулись в улыбке, хотя большие глаза оставались холодными.

— Не волнуйся, ты будешь дома к утру.

— Не причиняй мне зла, брат. Я интересовался тобой, жаждал увидеть тебя не для того, чтобы ты осиротил моих детей. Вот я вижу тебя, говорю с тобой и верю, что есть ваш мир, мир высокоразумных существ, мир высокой цивилизации. И мне больше ничего не надо. Я увидел тебя — и исчезли сомнения, больше ничего не надо...

— Брат, ты ничего еще не знаешь. Ты не ведаешь о существовании других измерений, параллельных миров, ты не можешь себе представить, что обитатели космического пространства несут в себе положительные или отрицательные энергетические блоки, или, как говорят у вас, на Земле, заряды добра и зла, что добро многие-многие тысячелетия оберегает вашу планету от насилия и зла, хотя оно и просачивается к вам. Ты начитался немало и о площадках для наших космических кораблей на Земле, и о визитах инопланетян... Но не лучше ли увидеть нас воочию, брат?

— Мне достаточно и этого, — произнес Ким, а про себя подумал: осиротеют, пропадут без меня дети.

— Не пропадут без тебя дети. Откуда в твоей душе столько страха?

— Ради Господа, прошу тебя, нет.

Ким закрыл лицо руками и низко согнулся под неимоверной тяжестью, неизвестно откуда свалившейся ему на плечи. Это длилось секунды. Когда он поднял голову, Образа уже не было. Перед ним в кромешной тьме четко выделялся проем двери. И в этот проем.

вдаль, в тьму уходил длинный коридор. И притягивал какой-то загадочной, непознанной силой...

Ким встал и безропотно вошел в коридор.

2

Вокруг был лес. Густой, промозглый.

В тишину то и дело вплетались скрип, хруст, чавканье, сопенье, какие-то утробные и гортанные звуки, а Ким продолжал стоять и слушать, словно завороженный, и только когда сверху на него полилась жидкость, которая растекалась по голове, лицу, плечам липкой массой, он брезгливо поежился и полез в дупло, откуда только что вышел.

Здесь было теплее и уютнее, чем снаружи. В дальнем углу, обложенном большими пахучими листьями, росли диковинные грибовидные травы, излучавшие слабое мерцание. Ким сел на листья, потом прилег; они показались ему мягкими, как поролон.

Блуждая взглядом по дуплу, Ким вдруг споткнулся о черный проем двери. Тот же проем, тот же длинный темный коридор, который вывел его сюда, в этот лес. Казалось бы, Кима должно было охватить желание вскочить и вбежать в темный коридор, который вернет его домой. Но он даже не шелохнулся. Тот ли это коридор? Не выведет ли он в еще худший, нет, не худший, в более таинственный мир? Эта мысль, спокойная, рассудительная, не позволила ему встать с пахучих листьев, но он продолжал упорно глядеть в проем. И вдруг поймал себя на желании увидеть Образ.

Желание было страстным.

Но Образ не являлся.

Ким тщательно пытался сосредоточить свою волю, свои силы на этом желании, но они почему-то рассеивались, а он снова собирал их, и они снова и снова рассыпались. Тогда он в сердцах воскликнул: «Будь ты проклят... Явись, наконец, предо мной или подай хоть голос...»

И тут услышал смешок — короткий, веселый, звонкий.

Ким привстал и стал озираться. Глаза, привыкнув к темноте, пытались обнаружить живое существо. Дупло было пусто. И только когда взгляд его случайно остановился на отверстии, служившем входом, он за-

мер. Там, в другой жизни, в земной, у него волосы встали бы дыбом, а здесь он просто замер, не испытывая ни тревоги, ни страха. В дупло вползало странное существо. Оно состояло из огромной лохматой головы, подобия лица, заросшего густой шерстью, и короткого, с вершок, туловища. Конечностей не было, оно передвигалось на бесформенной скользящей массе.

По телу Кима прошла дрожь.

— Прочь отсюда, гадость, тьфу.

Существо залилось смешком и заскользило ближе к нему.

— Да что ты за пакость, кто тебя такое сотворил?

На лице, если можно было назвать эту волосатую округлость лицом, расширялись и сужались три светящиеся точки.

— Это его глаза, — удивленно подумал про себя Ким. — Что за гадкое существо? Домовой не домовой, леший не леший. Тьфу. — И вслух произнес:

— Убирайся, иначе не сдобровать...

Ким попытался поднять лист, но тот оказался на удивление тяжелым, и его потуги вызвали смешок у существа. Тогда он ухватился за сук двумя руками, натужно подтянул к себе и приподнял. Голова существа вдруг расплющилась, оно перевоплотилось в бесформенную жидкую массу и вытекло из дупла.

— Боже мой, — произнес Ким, — куда я попал, в чей загадочный мир? Не лучше ли было полететь с ним на другую планету? А может, я именно на другой планете? На другой планете? Но я же не летел, я вошел в черную дыру... Да черт его знает, кто правит нами и мирами.

Он осторожно вышел из дупла и обомлел. Глаза его расширились от удивления.

В голубом свете рождавшегося дня пред ним предстал диковинный лес. Невиданные в жизни, неслыханные в сказках деревья были неимоверных размеров. Ширина стволов была ничуть не меньше ширины его дома, а каждый лапчатый тяжелый лист мог бы накрыть четверть его двора. Густые колючие кусты были усеяны плодами всевозможных цветов величиной с крупную тыкву. Сверху, с густых крон, стекала вязкая жидкость, в воздухе она приобретала формы загадочных странных существ, издававших странные звуки и исчезавших в густой, высокой, жесткой траве.

— Боже мой, — уже беспрерывно шептал Ким, — что же это такое, в чей мир я попал, как из него выбраться? Что за пакость меня окружает?

Веселый, беззаботный смешок прервал его сетования. Повиснув на ниточке вязкой жидкости, на него смотрело трехглазое волосатое существо. Раскачавшись, оно сделало несколько кувырков, забулькало, засопело, превратилось в вязкую массу и плюхнулось вниз.

Ким долго и бессмысленно смотрел на эту феерию, потом, словно очнувшись от наваждения, собрался было зайти в дупло, чтобы отдохнуть от диковинных красок и картин, как услышал странный хруст. Будто перемалывали кости.

Ким прижался спиной к дереву и затаил дыхание. В нескольких метрах от него, ссутулившись шло массивное, покрытое густой шерстью двуногое существо. Мощные конечности его с хрустом подминали и ломали твердую жесткую траву. Длинные руки свисали до колен. Каждый шаг его сопровождался храпом. Внезапно оно остановилось, опустило голову, словно принюхиваясь к земле, и медленно повернулось в сторону дупла.

Ким обомлел. Случись это видение в земной жизни, он бы мгновенно поседел. А тут только обомлел.

Существо обладало одним глазом. Вместо носа торчал хоботок, который поминутно раздувался и сжимался. Из провала, где должен был быть рот, торчали два клыка.

Двуногий волосатый великан подошел к Киму, испуская тошнотворный запах, и где-то в глубине его провала послышались какие-то звуки.

Ким не сводил с него бессмысленного взгляда, звуки стали настойчивыми, сильными, лоб великана напрягся, голубой глаз стал багроветь.

— Что-то он спрашивает, — догадался Ким. — Но что? Неужели хочет узнать, откуда я явился?

Неожиданно для Кима великан взял его осторожно обеими лапами и посадил на плечо.

— Ты что, ты что делаешь, ты что позволяешь себе? — заорал Ким. — Опусти на землю. Я разобьюсь, если упаду. Опусти, говорю, зверюга...

А великан принялся пересаживать его с одного плеча на другое, играл как с игрушкой, и в провале булькали, скрипели и свистели звуки.

— Да опусти ты меня, зверюга... — И вдруг Кима прорвало:

— Эй, назвавшийся братом, где ты, куда делся ты? Разве я об этом мире мечтал? Я грезил космосом, неведомыми планетами, неведомой жизнью, а ты меня завлек в вонючий кошмар. Эй, высший разум, яви свой образ, и я спрошу тебя: так ли мы договаривались познавать друг друга...

— Не кричи и успокойся, — услышал он внезапно низкий, приглушенный, успокаивающий голос. — Успокойся и изгони из себя страх. Я понимаю, это страх кричит в тебе, а не злоба. Изгони страх. Ты упрекаешь меня в том, что я завлек тебя в вонючий кошмар. Не я ли тебя звал в космос? Ты отказался. Ты испугался. Как же ты думаешь познать Вселенную? То, что ты назвал вонючим кошмаром, не что иное, как другое измерение. Да, брат, ты попал в другое измерение, перепутав коридоры, или, по-вашему, черные дыры. Но есть еще параллельный мир...

— С меня довольно, — закричал Ким, которого великан успел опустить. — Мне всего увиденного хватит на оставшуюся жизнь.

— Как же ты наивен, человек. С таким желанием ты далеко не уйдешь от своей деревянной кровати. Иди. Воля твоя.

Ким ступил в темный проем дупла.

3

Коридор был длинный и светлый, устлан ковровой дорожкой. Под потолком ярко горели люминесцентные лампы.

— Куда я попал? — изумленно прошептал Ким. И вдруг, взметнув радостно руки, заорал что было мочи: — Ура-а-а, я вернулся... Я вернулся...Я вернулся...

Крик его слабел, утасал, наконец удрученный Ким замолчал. Сначала он испугался, что его сочтут за сумасшедшего, но видя, что на его голос, как и на него самого, никто не обращает ни малейшего внимания, совершенно растерялся. Мимо проходили сослуживцы, посетители, множество знакомых лиц, и никто, ни один из них его не замечал.

— Да что же случилось, почему они меня не замечают? — удивился Ким и встал в коридоре специально

так, чтоб его задели. Шедшая навстречу начальник планового отдела, дородная женщина, казалось, вот-вот столкнется с ним, но она прошла сквозь него, а он даже не ощутил ее прикосновения.

— Боже мой, неужели я... — Ким испугался даже развить и осмыслить догадку и ткнул кулаком в стену. Рука его мягко прошла сквозь стену и исчезла в ней. Тогда он последовал вслед за рукой, совершенно не испытывая сопротивления каменной кладки, и очутился в бухгалтерии. Выйдя так же через стену, он пошел по коридору, смеясь и подпрыгивая, словно на него напало бесово веселье.

— Боже мой, я стал призраком. Призрак бродит по коридорам власти, иду, бойтесь меня. Я вижу все, что вы творите, я невидим. Бойтесь меня.

Но его никто не слышал, и он это уже ясно сознавал, и еще понял наконец, что он никакой не призрак, а вошел не в ту черную дыру и попал в параллельный мир: живёт в том же мире, что и люди и их окружение, но как бы за зеркальной шторкой — он их видит и слышит, а они его — нет.

Он прошел сквозь дверь приемной председателя исполкома, окинул взглядом посетителей, откровенно полюбовался стройными ножками и красивой полуобнаженной грудью секретарши Марины, несколько раз позволил себе погладить их руками, на что она совершенно не отреагировала, затем вошел сквозь стену в кабинет и плюхнулся на диван.

— Привет, шеф, какие думы тебя гнетут? — весело бросил Ким, закинув ногу на ногу. — О благополучии горожан или о личном... апчхи. — Он громко чихнул, высморкался. — Извини, пожалуйста, простыл в загадочном лесу.

Пожилой лысый мужчина, сидевший за огромным письменным столом, заваленным папками, перебирал деловые бумаги, одни подписывая размашистым почерком, другие откладывая в сторону. Отворилась дверь, вошел высокого роста дородный мужчина и, растянув рот до ушей, направился к столу.

— Как тебе удалось пройти через кордон? — спросил Мухтар, продолжая просматривать деловые бумаги.

— Уже и забыл? Ты вызвал меня срочно на совещание. А кошечке в стол коробку конфет в папке с тесемочкой.

— Система новая, а методы старые.

— К чему их ломать, если они эффективны. Так что, друг, включай мой завод в список приватизируемых. Как бы мне не потерять его.

— Ну сколько тебе объяснять, не могу, понимаешь, не могу.

Камал раскатисто захохотал.

— Ты да не можешь. Рассмешил.

— Списки составлены в комитете по приватизации госкомимущества, там, — Мухтар поднял указательный палец кверху. — А наша комиссия продает уже согласно списку.

— А ты мне продашь? Скажи честно.

— Тебе? Одному? — Мухтар усмехнулся. — Ты знаешь, что приватизировать должен коллектив.

— Боже мой, о чем ты говоришь, да откуда у рабочего деньги? Такие деньги. Я выкуплю, а им буду отцом. До этого был хозяином завода и теперь буду.

— Слушай, друг мой, оборонка не приватизируется. А твой завод работает на оборонку.

— А я его переведу на ширпотреб.

— Такую махину? — Голубые глаза Мухтара округлились.

— Мне не скорлупа черепахи нужна, а яйцо.

Ким встал, подошел к Мухтару, шлепнул ладонью по его лысине и опустился в кресло напротив Камала.

— То Ким твой сушил мне мозги, теперь ты продолжаешь сушку, — устало проговорил Камал.

— Какой Ким?

— Да твой председатель комиссии.

— Теперь дошли до меня, — сказал Ким и скрестил на груди руки.

— Ким? Ким Кимов? Что-то его на планерке не было.

— Послушай, сколько лет мы знаем друг друга, двадцать, тридцать, сколько раз сидели рядом на свадьбах... А вспомни молодость нашу, выезды на природу, девочки, брудершафт...

Ким долго и пристально смотрел на хрустальную пепельницу, стоявшую на приставном столике. Попытался сдвинуть ее рукой. Рука скользнула мимо. — Тьфу ты, — произнес в сердцах он и сосредоточил свое внимание, всю волю на пепельнице, повторяя: — Я чувствую тебя, я чувствую, я двигаю, двигаю, вот она пошла, пошла...

Пепельница заскользила по столу.

Ким от радости закричал и подпрыгнул в кресле. Камал выпучил глаза и тихо произнес:

— Что такое?

Ким опять сосредоточил внимание на пепельнице и подтолкнул ее. Она вновь заскользила.

— Слушай, у тебя магнит под столом?

— Какой магнит? При чем тут магнит? — недоуменно спросил Мухтар.

— Вот, пепельница двигается. — Камал не отрывал глаз от стола.

— По-моему, в молодости я за тобой не наблюдал чудачеств, — усмехнулся Мухтар.

— Ладно, черт с ней, с пепельницей, — Камал махнул рукой.— Значит, решим так: приношу всем трем твоим дочерям банкноты на приданое.

— А зачем они мне, бумажки...

— Правильно мыслишь, бумажки есть бумажки. Ювелирные гарнитуры с белыми камешками куда лучше...

— Вот и торг начался, — воскликнул Ким, — где бы я еще такое подслушал, не попади в параллельный мир. Торгаши... Так они и нажили свои невидимые капиталы.

— Слушай, перестань, — раздраженно произнес Мухтар. — Не могу я приватизировать оборонку, понимаешь ты это или нет? Не входит твой завод в список.

— Ну, если не нужны гарнитуры... — Камал задумался. — Мог бы построить твоему отпрыску дом. Ну что ты гневаешься, я же вижу по глазам, не гневайся, береги здоровье. Почки, видать, уже болят — мешки под глазами. Дом из силикатного кирпича, в два этажа, с колоннами, резными окнами...

— Слушай, пошел ты на хрен, — зло посмотрев на Камала, прохрипел Мухтар. — Убирайся или я тебе дам по морде.

— Ты? Мне по морде? — удивленно округлил глаза Камал. — И кто мне это говорит...

— Два сапога пара, — сказал Ким и поднял пепельницу.

Камал и Мухтар замолчали и пораженные глядели, как в воздухе плыла хрустальная пепельница. Чуть позже, спустя минуту, их обуял страх.

— Привидение, — вдруг закричал Камал, — в твоем кабинете привидение.

Он вскочил с кресла, но прямо перед его лицом застыла пепельница. Он забежал за стол, пепельница устремилась за ним. С истошным криком «Привидение!» он рванулся к дверям, резко распахнул их и буквально вылетел из кабинета.

Ким швырнул пепельницу на диван и последовал за ним.

4

Камал влетел в кабинет заместителя председателя исполкома, возбужденно размахивая руками:

— Привидение в кабинете власти, привидение... До чего мы дожили, Салим, привидение...

Крупнолицый, чернобровый, черноусый мужчина поднял на него круглые, как у мыши, глаза.

— Ты что, с утра перебрал?

— Перебрал? Я? Непьющий Камал? Дурррак... Привидение в кабинете твоего шефа.

— Да брось ты ерундить. Говори, с чем пришел?

— С чем пришел... — передразнил Салима Камал. — Пришел-то я по делу, но привидение все расстроило.

— Опять двадцать пять. — Салим отбросил ручку. — Ты видел его, это привидение?

— Нет, — протянул Камал.

— А что же ты долдонишь?

— Но ведь пепельница летала. По воздуху.

Салим с ухмылкой глянул ему в лицо.

— Камал, может, все-таки перебрал?

— Дур-р-рак...

— Ну, привидение должно привидеться, понимаешь, как призрак, в белом балахоне или еще в чем-то...

— Это в сказках. В белом балахоне.

— А ты говоришь, пепельница летала. Летала, говоришь, пепельница?

Ким, слушая их, хотел было включить телевизор, но передумал. Дай-ка послушаю, до чего они договорятся, решил он.

Салим вышел из-за стола. Невысокий, грузный, он прошелся по кабинету, остановился у дверей:

— Ты побудь минутку, я сейчас, — сказал он задумчиво и вышел.

Пошел к шефу выяснять обстоятельства, улыбнулся

Ким, но решил не следовать за Салимом.

Вернулся Салим минут через десять, задумчивый и удрученный.

— Привидение, говоришь? А может, все-таки домовой?

Камал удивленно поднял на него глаза:

— А при чем тут домовой?

— При том, что мог быть домовой. Барабашка. Полтергейст.

— Ну, договорились наконец, — рассмеялся Ким. — Так приступайте же к делу.

Словно прочитав его мысли, Салим сел на диван, откинулся на спинку и закинул ногу на ногу.

— Излагай, с чем пришел.

Камал отрешенно махнул рукой:

— Да что там излагать... С приватизацией приходил.

— С чем, с чем? — мышиные глаза Салима расширились.

— Приватизировать думаю завод.

— Да ты о чем? Оборонка не входит в список.

— А ты возьми и внеси.

Салим долго глядел на Камала с удивлением и вдруг раскатисто рассмеялся.

— Что на тебя нашло? — нахмурился Камал.

— Домовой, — по щекам Салима потекли слезы.

— Не поминай, не то появится.

Наконец Салим успокоился, вытер лицо пухлыми ладонями, облегченно вздохнул:

— Фу, уморил. Послушай, Камал, а ты уверен, что рабочие оставят тебя директором? Десять тысяч рабочих?

— А кого еще они могут избрать директором? — удивленно произнес Камал. — Ведь я же покупаю.

— А с их акциями ты не считаешься?

— Да какие у них акции, это фикции.

— И нахал же ты, Камал, — проговорил Салим и улыбнулся сочиненному каламбуру.

— Большой же нахал ты, Камал, — повторил Ким, внимательно слушавший их беседу.

— Ну, допустим, купил ты завод, а через пять лет государство возьмет и отберет его, — произнес задумчиво Салим.

— Как это возьмет и отберет? — поразился Камал.

— А как это сейчас берет и продает? Строй поме-

няется, система. Начнется экспроприация экспроприаторов.

— Астапирулла, — Камал развел руками. — Я же не буржуй-кровопийца, я же для людей, для рабочих...

— Ну вот и пусть остается так, как есть. Для рабочих.

— Ты мне голову не морочь, — Камал поднял указательный палец и принялся помахивать им.—Ты мне голову не морочь. Есть у вас тут еще один неподкупный законник, Кимом зовется. А тебя я уломаю. — И он рубанул по воздуху рукой.

— Ты не кричи, — прервал его Салим. — Двери тонкие.

— А потому... — Камал ткнул в воздух пальцем и чеканно закончил, — возьми и впиши.

— Как это возьми и впиши?

— Очень просто. Возьми ручку и впиши в список мой завод.

— Ты в своем уме? Ты меня толкаешь на превышение полномочий, на махинации... — Глаза Салима налились гневом. — Ты за кого меня принимаешь?

— Именно за того, за кого и следует, — Камал снова рубанул рукой по воздуху. — Потому и говорю: возьми и впиши.

— Как ты себе это представляешь? Ка-а-ак?..

— А вот так, — рассмеялся Ким, поднялся с дивана, подошел к столу, взял ручку и написал на чистом листе название завода.

Салим и Камал завороженные, раскрыв рты, глядели, как ручка выводит на бумаге слово. Потом, не сговариваясь, переглянулись и съежились.

— Астапирулла... — прохрипел Камал. — Что я тебе говорил? Теперь веришь? Привидение...

— Не-е-ет... домовой, — протянул Салим.

Ким подошел к Салиму и провел пальцами по ребрам. Салим захихикал, увертываясь и поеживаясь.

— Что ты хихикаешь? — испуганно спросил Камал.

Ким с силой сдавил Салиму бока: тот подпрыгнул и завизжал. Камал испуганно вскочил и собрался бежать к дверям, но Ким выставил на его пути кресло, и тот застыл в оцепенении.

— Это добрый домовой, — сказал Салим не своим голосом. — Скажи, барабашка, ты добрый или злой?

— Бедный Салим тронулся, — прохрипел Камал.

— Барабашка, мы же тебя не обижаем, ответь нам, ты добрый или злой?

Ручка побежала по бумаге, оставив слова: «Для кого добрый, для кого злой».

— Астапирулла... — прохрипел Камал. — Защити, Аллах, нас, грешных, от сил неземных и чар бесовских.

Ручка опять побежала по бумаге, выводя слова: «Большой нахал же ты, Камал».

— Вай, вай, вай, — трижды произнес Камал и бессильно рухнул в кресло: выйти из кабинета у него уже не хватило сил, и ноги стали словно ватные.

Ким включил телевизор, кабинет заполнила музыка из чаплинских фильмов.

— Барабашка, ты меня уважаешь? — спросил Салим.

— Уважаю, уважаю, — вывела ручка, — еще как уважаю.

— А Камала?

— Пакостник и нахал этот мерзкий Камал, — вывела ручка.

— Он поэт! — воскликнул Салим.

— Что ты говоришь? — в ужасе произнес Камал.— Вай, Аллах, Салим рехнулся.

— Ха, ха, ха, — захохотал Салим, — наш барабашка поэт, значит, он не может быть злым.

— Все, что сотворено Аллахом, угодно мне, все то, что не сотворено им, мерзко, — произнес чуть ли не торжественно, но с заметным страхом, Камал.

— Ах так, — усмехнулся Ким, — тогда получай.— И плюнул ему в лицо.

Камал вздрогнул, провел рукой по лицу и, размазывая мокроту, завопил.

— Видал, ты теперь видал, что это привидение?

Салим весь трясся от смеха.

5

Мухтар засиделся на работе дотемна.

И все это время рядом с ним в кабинете, развалившись на диване, сидел Ким. Где-то после шести часов ему показалось, что с Мухтаром происходит что-то неладное: тот перебирал деловые бумаги и внезапно замер, взгляд его застыл, лицо стало багровым от прилива крови.

Ким внимательно наблюдал за Мухтаром. Тот долго сидел молча, и видно было по движению скул, как нелегко ему сохранить спокойствие и снять напряжение. Наконец Мухтар забарабанил пальцами по бумаге, потом аккуратно положил ее в кейс и подошел к окну.

У окна он простоял долго. Очень долго. Когда стемнело, Мухтар с кейсом в руках вышел из исполкома, сел в свой «мерседес-бенц» золотистого цвета и неторопливо поехал в юго-восточную часть города, район особняков у моря.

На заднем сиденье безмятежно сидел Ким.

Мухтар остановил «мерседес-бенц» у двухэтажного дома Салима, взял с сиденья кейс, запер дверцу машины и размеренным шагом направился к резной калитке.

Визит шефа Салима не столько удивил, сколько озадачил, но он как истый хозяин, расплывшись в улыбке, повел гостя по винтовой лестнице наверх, в кабинет. Аккуратно положив кейс на полированный стол, Мухтар снял пиджак и опустился в удобное мягкое кресло.

Ким не раз бывал в этом доме, построенном с купеческим размахом и со вкусом. Почти все делегации, которые приезжали в город из различных стран, Салим приглашал к себе, устраивал им пышный прием и утверждал свой имидж в городских кругах, особенно деловых.

— Что-нибудь выпить найдется? — спросил Мухтар утомленно.

— И выпить, и закусить... Мы же не последние люди с тобой.

— Я имею в виду пиво холодное. Или чай.

— Пиво? И пиво есть. Баварское.

Салим принес пиво, налил в хрустальные бокалы.

Мухтар пил медленными, долгими глотками, чувствуя, как жидкость утоляет не только жажду, но и смывает накопившуюся злость. Он налил второй бокал и так же долго пил его содержимое.

— Удивился моему визиту? — наконец спокойно спросил он Салима.

— Не без этого. Мы ведь очень редко видимся за стенами.

— Меня насторожил твой смех.

— Какой смех? — удивился Салим.

— Твой смешок и хихиканье. Об этом все судачат в исполкоме.

— А-а-а-а, смех... барабашка. Он из твоего кабинета ко мне переселился.

— Какой еще барабашка? — Мухтар пристально взглянул на Салима.

— Ну, домовой... Он у тебя пепельницей водил по кабинету, а меня замучил щекоткой.

— Чем?

— Щекотал постоянно.

— Глупости, — хмуро произнес Мухтар. — А это тоже барабашка? — Он глазами указал на кейс.

— Это? — мышиные глазки Салима забегали от стола к Мухтару и обратно. — Это кейс.

— Открой его. Открой, не бойся. Там нет никакого барабашки. Достань список. Список приватизируемых предприятий. Читай, да не весь список, последнюю строчку.

Салим уперся взглядом и медленно и изумленно произнес:

— Ва-а-ах...

— Артист, — протянул Мухтар, — разыгрываешь сцену умело.

— Ты что, умом тронулся? На что намекаешь?

— То, что ты рехнулся — твоя беда. Но зачем мне пакости делать?

— На что ты намекаешь? Я такую подлость... никогда не позволю себе. — Лицо Салима наливалось кровью, глаза расширились. Он едва сдерживал себя.

— Скажи, зачем мне пакости делать? Не стал ты председателем исполкома — не я же виноват. Не набрал голосов. Твой клан теперь на мне вымещает злобу. Выдвинули тебя в замы, какую провернули работу, я сам как загнанная лошадь метался от одного к другому, увещевал, просил, обещал, клялся... ради того, чтобы успокоить, умиротворить твой клан. И вот настал час подставить меня под удар. Решили все-таки выжить? Не выйдет, я сам не уйду, пусть народ решит...

— Не вписывал я этого, — вдруг заорал Салим. — Не вписывал.

— А кто же вписал? — приглушенно и загадочно спросил Мухтар. — Кроме тебя никто ко мне не входил.

— Не вписывал я этого, — повторил Салим. —

Входил к тебе Камал, еще до меня.

— При мне он к столу не подходил. Впрочем, к столу подбежал, когда в воздух поднялась пепельница. А потом побежал к тебе разрабатывать план.

Ким хохотал безудержно и весело, слушая перепалку облеченных властью взрослых мужчин.

— Какой план... — с издевкой произнес Салим. — Этот нахал работает нагло.

— Поэтому ты и продал ему продовольственный магазин.

— Ты продал... — передразнил Салим. — Я спас тебя, считай. Он бы тебе душу вымотал и какую-нибудь пакость сделал бы. А так — продал-то я не ему, а брату жены, директору магазина. Как полагается.

— Два сапога пара. Хозяин-то Камал — деньги он выложил.

— А это не наше дело, — Салим замолчал, потом тихо проговорил: — На деле оказался жадным, скот.

Мухтар последнюю фразу пропустил мимо ушей и задумчиво произнес:

— Кто же мог вписать?

— Кто же, кто же, — повторил Салим и вдруг воскликнул: — А барабашка?

Мухтар изумленно посмотрел на него.

— Слушай, ты на самом деле в здравом уме?

— Да перестань говорить глупости, — отмахнулся Салим, — у меня в кабинете барабашка писал.

— Как... писал...

— Ручкой писал по бумаге. И Камал видел.

— И что писал?

— Я спросил, добрый он или злой. Он ответил: для кого добрый, а для кого злой... Послушай, Мухтар, а почерк... Почерк мне кажется знакомым...

Ким схватился за голову и сокрушенно, но совершенно без страха, проговорил: «Боже мой, почерк-то мой они знают, вот чудило гороховое...»

— И чей же он по-твоему?

— Я даже боюсь произнести, — растерянно проговорил Салим. — Почерк...

— Ну, ну, смелей...

— Почерк Кима. Кима Кимова.

— Кима? А он при чем тут? — изумленно произнес Мухтар, передернув плечами.

— Не знаю. Похож...

— Дай-ка список. — Мухтар взял из рук Салима

лист, внимательно посмотрел на последнюю строку и тоже растерянно произнес:

— Похоже. Но его весь день не было на работе.

— Не было. Жена звонила, встревоженная, в милицию сообщили... Никаких следов пока, — Салим замолчал, потом гневно произнес: — Дур-р-рак. Сколько раз я ему говорил — не читай эту белиберду.

— О чем ты, какую белиберду?

— Да он же накачал себя этой литературой о космологии, внеземной цивилизации, летающих тарелках, иных мирах. Дурак, — смачно заключил Салим.

— Ты думаешь? — Мухтар вопросительно взглянул на него.

— А куда он мог деться? Жена говорит, утром в постели его не было. Труп нигде не обнаружен. Куда делся Ким Кимов?

— Налей холодного пива, Салим, — попросил Мухтар.

— Пива не налью, тебе машину вести... Хорошего крепкого чаю принесу.

Ким встал, тяжело вздохнул и побрел домой.

6

Четырехкомнатная квартира Кима была полна народу. Родственники, съехавшиеся из близлежащих городов и селений, сидели удрученные и потерянные, как на поминках. В гостиной мужчины перешептывались и пили чай, женщины сидели на полу в детской комнате, в кабинете сидели его дети и дети родни.

Визит родственников вызвал на лице Кима озорную улыбку, но мысленно подсчитав, какую брешь пробьют их бдения в семейном бюджете, со стоном схватился за голову. Как их разогнать, подумал Ким, как объяснить жене, что он жив и пусть родственники не печалятся и разъедутся, как? Написать записку? Не испугается ли? Присмотрюсь-ка к ней.

Ким вошел в детскую и опустился на ковер рядом с женой.

Она сидела спокойная, заплаканное лицо было припудрено.

— Плакала, очевидно, встречая гостей и выслушивая сочувствие, — усмехнулся Ким.

И как бы в подтверждение его слов жена спокойно произнесла:

— Сколько я его оберегала, сколько просила, умоляла: «Перестань читать эти книги, они тебя до добра не доведут.» Бывало, ночью проснется, сядет на кровати и смотрит в какую-то точку. Что ему мерещилось, кого он видел, не знаю. Все мужчины как мужчины, дела проворачивают, деньги делают, а он...

— Ну, она в порядке и в здравом уме, — сказал себе Ким, поднялся, вошел в спальню, достал из ее тумбочки бумагу, аккуратно вывел: «Не волнуйся. Я жив. Попал в другой мир. Разгони родственников — пустят по миру. Постараюсь скоро вернуться». Засунул записку под ее подушку и лег в постель. Уже засыпая, сокрушаясь, подумал: везде оставляю следы. И услышал спокойный, мерный голос: «Успокойся, ты не преступник.»

7

Светало, когда Ким вышел из дома. Сквозь запертые двери он прошел в исполком, затем в свой кабинет, сел за пишущую машинку и отстукал две записки. Содержание их было коротким: «Салим, жду тебя у родника на Атлы-Буюне в семь часов с подарком. Камал»; «Мухтар, есть важное дело, жду у родника на Атлы-Буюне в семь часов десять минут. Камал».

Предвкушая удовольствие от намеченной встречи, Ким положил записки Мухтару и Салиму в верхние ящики столов и направился на завод. В приемной директора он отстукал третью записку следующего содержания: «Камал, дело улажено, жду у родника на Атлы-Буюне в семь часов. Салим», потом прошел в кабинет и положил ее на стол.

Облегченно вздохнув, Ким вытянулся на диване и закрыл глаза.

Его разбудил гулкий стук каблучков. Секретарша, догадался Ким, скоро придет и сам хозяин.

Но хозяин уже входил в кабинет. Он широко распахнул окна, подошел к столу, прошелся по кабинету, вышел в приемную, оттуда послышалось девичье хихиканье и учащенное дыхание, потом хозяин снова прошелся по кабинету, встал у стола и уперся взглядом в

записку. Он поднял ее к глазам, бросил на стол, повернулся к двери.

— Ната, кто сюда приходил?

— Никого не было, шефуня, — ответил звонкий, игривый голос.

— А вчера?

— Никого. Вас же не было.

Камал пожал плечами и подошел к окну.

— Что-нибудь случилось? — спросила Ната.

— Срочное дело наметилось с утра. Наверное... пусть планерку проводит Сан Саныч.

— Поняла.

Камал лихорадочно заходил по кабинету, схватился за виски и принялся растирать сильными пальцами.

— Не надо. Отмени. Сам проведу.

— Поняла, шефуня.

Ким не стал дожидаться планерки, вышел на улицу и сел в директорскую «Волгу». Камал появился спустя полчаса. Он долго не мог завести машину, наконец она тронулась с места и узкими улочками выкатила на проспект.

Камал остановил «Волгу» у увитого плющом особняка, задумчиво подошел к парадному входу, остановился, повернул к калитке. По просторному ухоженному двору бродили две крупные немецкие овчарки. Увидев хозяина, они подбежали к нему, но внезапно замерли, обнажили клыки и залились лаем.

— Вы что, хозяина забыли, а ну молчать...

Камал закрыл калитку и направился к летней кухне, выложенной из бутового камня.

— Молчать. Да что с вами случилось?

Овчарки, неистово лая, рвались куда-то в пустоту, хватали острыми зубами воздух, но не чувствуя ни мяса, ни крови, приходили в еще большую ярость.

— Так это они меня учуяли, — поразился Ким. — Ну надо же... Они учуяли призрак, который привел их в бешенство...

Камал тем временем открыл тяжелую бревенчатую дверь, обернулся в сторону псов, потом махнул отрешенно рукой и вошел в кухню. Она была просторна и уютно обставлена. Он с трудом отодвинул двухкамерный финский холодильник, нагнулся, поднял крышку люка и спустился в погреб.

Ким ахнул от восторга: погреб был превосходно отделан: пол выложен цветной цементной крошкой,

стены — жженым кирпичом, в четырех углах светили бра. «Умеют же люди делать бункера», — вздохнул Ким и принялся наблюдать за Камалом. Тот прошел к дальней от люка стене, после недолгой и неясной манипуляции выдвинул из нее кирпич, второй, затем запустил в нишу руку и вытащил несколько переплетенных пачек денег. Они были с разными ассигнациями: от десятирублевых до пятитысячных. Камал перебрал несколько и остановил свой выбор на двадцатипятирублевках. Наполнив кейс пачками денег, закрыл его, а груду пачек с другими ассигнациями забросил в нишу. Затем заложил нишу, поднялся из погреба, задраил люк и поставил на прежнее место холодильник.

— Ах ты, сука, ах ты новоявленный нувориш, — взорвался Ким, побагровев и весь дрожа от ярости, — дерьмо поганое, миллионер вонючий, сейчас я так разворошу твое гнездо, что ни гроша не оставлю на твой черный день, вампир проклятый... — Он проник обратно в погреб и запустил уже было руку в нишу, когда понял, что эта акция должна быть второй, первая состоится вечером у родника. Но неосознанная сила заставила его выгрести из ниши все содержимое. У его ног громоздилась горка новеньких свежепахнущих пачек, шкатулки с золотыми изделиями, драгоценными камнями. Та же неосознанная сила подняла его в кухню, заставила взять коробок со спичками, спуститься в погреб, поджечь ассигнации.

Они не желали гореть, увертывались от огня, сворачивались, скручивались, полуобугливались и гасили пламя. Пальцы его опять чиркнули спичкой, вспыхнуло слабое пламя, но деньги никак не сгорали. И видя, что здесь огонь не властен над богатством, и в душе кровью обливаясь за прокопченные, полусожженные, истерзанные банкноты, Ким вышел из погреба, покинул особняк и побрел по улицам, удрученный событием утра.

8

Ким поднялся к роднику, когда гора, одетая в зелень смешанного леса и густого кустарника, купалась в золоте солнечного света. Отсюда, с высоты, открывался красивый вид на просторно раскинувшийся внизу город, пересеченный проспектами и окаймленный с двух сторон зелеными полями и виноградными плантациями. Город упирался в море, которое уходило к горизонту и там сливалось с небом.

Ким сидел на пахучей густой траве и перебегал взглядом от квартала к кварталу, выискивал, выхватывал из огромного массива знакомый дом, полюбившийся парк, до боли родные старые улочки, а на душе было скверно. Он никак не мог забыть гору денег и спасовавший перед ней огонь. Огонь, который оказался бессильным, беспомощным перед плотно упакованными купюрами.

— Как же все это погано, — сказал он себе, — мерзко, противно. Всего каких-то семь-восемь лет назад не было роскошных особняков и «мерседесов», миллионеров. Люди жили ровно, не выпячивались, может, у кого и было богатство, но скрывали, боялись. Даже номенклатура пыталась скрывать свой образ жизни. Пыталась. А сегодня что творится... Тьфу...

Ким в сердцах плюнул и выматерился. Для чего же надо было на всех митингах, в газетах топтать коммунистов, большевиков... В своей массе они не имели и мизерной доли того, чем сегодня располагают торгаши, коммерсанты, биржевики. Значит, переворот? Коммунистической идеологией размахивали как красным плащом, вызывая ярость загнанного стада, открывая другому сословию путь к кормушке? А с ним и обиженным, незамеченным, затертым бывшей номенклатурой? Выходит так?

Солнце скользило уже за гребень горы, меняя краски природы, но Ким смотрел на них с безразличием, они не вызывали в его душе ни восторга, ни радости, ни удивления. Думы о человеческих пороках, словно тяжелая вязкая масса, заливали мозг.

На серпантине горной дороги замелькала «Волга». Ким пригляделся к ней, за рулем, как ему показалось, сидел Камал.

Ким не ошибся. Спустя некоторое время на тропинке появился Камал, неся в правой руке кейс. Он поднимался медленно, тяжело дыша, жадно глотая воздух широко открытым ртом. Дойдя до родника, он бросил на траву кейс и растянулся рядом.

— Чтоб тебя волки съели, шайтан, — проговорил он хрипло. — Лучшего места не мог найти, сволочь.

— Жаль мне тебя, — проговорил Ким, — для кого ты накопил такое богатство... если сердечко трепещет как рыбка на сковороде?

Незаметно из кустов появился Салим. Он встал над распростертым Камалом и устало вздохнул.

— Что случилось?

Камал выпучил на него глаза, присел.

— Как понять твои слова?

— Чего ты вызвал меня? Назначил встречу, так сказать. Я и спрашиваю, что случилось?

— Я не вызывал тебя. Ты сам меня вызвал.

— Ты что, умом тронулся? — повысил голос Салим, весь побагровев. В записке черным по белому написано: «Салим, жду у родника. Камал».

— Ты сам, наверное, чокнулся. В записке, тобой написанной, знаешь, что говорится? Не знаешь? Так слушай: «Камал, дело улажено. Салим.»

— Какое еще дело? — взорвался Салим.

— А я откуда знаю? Тебе знать. Я подумал, что речь идет о приватизации. Вот и кейс прихватил с собой.

— Боже мой, да что же это такое! — Салим схватился за голову. — То ты мне вчера мозги всякой чепухой засорял, то Мухтар душу трепал, что же с нами происходит... Боже мой... А вот еще одно явление...

К роднику пригнувшись шел Мухтар. Подняв голову и увидев Салима и Камала, он остановился и тяжело выдавил:

— Сволочи. Ох и сволочи. Все-таки мне яму роете.

— А ты как здесь оказался? — изумленно проговорил Салим.

— Вот мерзавец, еще и издевается. На, читай, — Мухтар протянул записку.

Салим взял ее дрожащей рукой и принялся медленно, по слогам читать: «Мухтар, есть важное дело. Жду у родника на Атлы-Буюне в семь часов десять минут. Камал».

— Не писал я ничего, — заорал вдруг Камал. — Ни тебе, ни Салиму. Никому не писал. Детьми клянусь. Аллахом клянусь.

В другой раз Кима эта сцена рассмешила бы до слез, но сейчас ему стало их почему-то жалко. Очень жалко.

— Может, все это дело рук полтергейста? — тихо прошептал Салим.

— Привидения? — испуганно повторил Камал.

— Вы что, рехнулись на этом привидении? Все свои нечестные махинации хотите им прикрыть! — захлебываясь от гнева, заорал Мухтар. — Вот и кейс с тобой. Ну-ка, покажи, что у тебя в кейсе? Открой, я требую, открой...

Камал схватил кейс, но Мухтар рывком вырвал его, открыл.

— Вот в чем дело. Это и есть важное дело? Купля-продажа? Ах вы, сволочи...

Бледный в гневе Мухтар размахнулся и швырнул кейс далеко в сторону; высоко над кустарниками кейс распахнулся, и из него словно бабочки посыпались банкноты.

В первые секунды Камал остолбенел, потом рванулся вслед за исчезнувшим кейсом, и вдруг из-за кустарников раздался дикий крик, который быстро удалился и угас. Салим и Мухтар, не сговариваясь, переглянулись и заторопились к тому месту, куда побежал Камал. Они не успели встать на отлогий край горы, как земля рухнула вниз, увлекая их за собой.

Ким некоторое время отдыхал от поднятого тремя мужчинами шума и скандала. Тишина и покой снова объяли успевшие потемнеть лес, кустарник, отроги горы. Небо над морем заметно потемнело и покрылось фиолетовыми лоскутами облаков.

Откуда-то послышались стоны. Потом приглушенный, хриплый голос с болью позвал:

— Салим... Ты где? Салим.

— Здесь я, тьфу, рот полон земли. А-а-ай... — застонал тот. — Нога, нога...

— Что с ногой?..

— Нога поломана, Мухтар. Ты можешь встать?

— Не могу пошевелиться. Деревом придавило...

— Потерпи. Сейчас приползу. А где Камал, что с ним?

— Не знаю... мне трудно дышать...

Ким поднялся и осторожно направился к кустарникам. В сорока метрах от родника, там, где должен быть отлогий спуск, Ким увидел грубый срез оползня. На камнях, траве, кустах, тут и там валялись банкноты. Ким машинально взял несколько пачек, засунул в карманы, потом нагнулся, чтобы разглядеть потерпевших, но вдруг перед ним разверзлась черная дыра и какая-то сила затянула его в темную бездну.

9

Ким лежал на кровати и удивленно оглядывал комнату. Небольшая, всегда убранная, она была неузнаваема: тумбочки завалены выстиранным бельем и детской одеждой, в углу за зеркалом громоздились дорожные сумки и баулы, какие-то свертки. Вошла жена, притворив за собой дверь. Не включая света, она открыла платяной шкаф, достала из-под вороха белья кошелек, включив настольную лампу, принялась со вздохом отсчитывать деньги.

Внезапно, словно что-то почувствовав спиной, она медленно повернулась и обомлела. Ким приложил палец к губам и тихо проговорил:

— Тихо. Не пугайся, это я.

Жена испустила глухой стон, закрыла руками лицо и затряслась от рыданий.

— Не пугайся, это я, — повторил Ким. — И не шуми. Родня услышит тебя.

Жена рыдала беззвучно. Наконец, успокоившись, она прошептала:

— Я так и знала... Я будто знала... Завтра же выброшу все твои газеты и журналы.

— Только посмей.

— А ты мне еще угрожаешь? Ах ты...—она не могла подобрать нужное слово. — Ах ты... нарожал кучу детей, а теперь гуляешь в космосе? Скоро найдешь там девку и забудешь нас?

— Ну что ты мелешь? — простонал Ким.

— Я еще и мелю... Старый дурак.

— Ладно, хватит. Родне пока не говори, что я нашелся, потерпят до утра. Да, ты мою записку обнаружила?

— Обнаружила, обнаружила...

— А в городе ничего не произошло за это время?

Ким хотел убедиться, на самом ли деле у родника случился оползень, но тут же поймал себя на мысли, что он произошел совсем недавно и вряд ли о нем уже знают.

Жена не сводила настороженного взгляда с постели, потом испуганно выдохнула.

— Откуда это у тебя?

— Что? — удивился Ким.

— Вот это. — Она указала рукой, и Ким только сейчас обратил внимание на банкноты. Он улыбнулся

и успокоенно сказал себе: «Значит, все случившееся не сон». А жене прошептал:

— Твои расходы покрыть... Наверное, потратилась немало.

— Откуда они у тебя? — снова повторила жена.— Настоящие или ихние? Настоящие, наши — одна, две, три... восемь пачек. Двадцать тысяч. Боже мой, кого ты ограбил?

— Слушай, перестань кудахтать. Убери деньги, успокойся и дай мне уснуть. Завтра обо всем расскажу, честное слово, расскажу.

Он отвернулся и уснул.

Было за полночь, когда Ким проснулся и сел в кровати. На него из темноты с улыбкой смотрел Образ.

— Боже мой, опять ты! — простонал Ким.

— Это тебя волнует? Ты уже преодолел испуг, в твоей душе нет страха, она теперь живет желанием познания, — сказал умиротворяющий голос. — Познания развития человека на Земле, иной цивилизации, космических миров. Разве тебе было неинтересно побывать в параллельном мире, познать, в каком мире грязи и лжи обитают многие земляне?

— Интересно... но..

— Но тебя удерживают дети, — продолжил вслух его мысли Образ и засмеялся. — Не беспокойся, к утру ты вернешься. Выгляни в окно.

Ким поднялся, подошел к окну и прильнул к стеклу. Метрах в ста от дома над пустырем светились разноцветными огнями иллюминаторы корабля.

РАССКАЗЫ

ФАРФОРОВАЯ ЧАШКА

Ей снился сон.

Она торопливо шла по улице, оглядываясь по сторонам, косясь на прохожих.

Ей казалось, что все смотрят на ее крепкие ноги, в ее сияющее от счастья лицо. Учащенно билось сердце.

Она тяжело раскрыла веки. Потолок. Люстра с пятью помутневшими от пыли плафонами. Буфет. Взгляд скользнул по комнате и замер на широкой спине, загораживавшей почти весь стол.

— Сема, пить, — проговорила она.

Отодвинув стул, он медленно поднялся, пошарил быстрыми глазами по буфету, по тумбочке, которая была завалена пузырьками с лекарствами. Она натянула левой рукой одеяло на подбородок и виновато сказала:

— Стакан... разбила... Последний-то...

Несколько минут они молчали. Потом старушка так же тихо произнесла:

— Там... железная кружка...

Он не отвечал. Невидящими глазами смотрел в окно, в которое билось, как слепая сова, солнце.

— Пить, Сема...

Он подошел к буфету и остановился перед ним как перед божеством. На стеклянных полках лежали фарфоровые чашки. Открыв дверцу шкафчика, бережно вытащил одну из них, подержал в руке, потом осторожно положил на место. Сколько им было лет? Тридцать? Сорок? Все это время стояли здесь, лаская взгляд, непригубленные.

— Пить... — послышался снова шепот.

Он взял чашку, нерешительно, медленно, потом быстро подошел к тумбочке, налил из графина воду

и подал в левую руку старушке. И снова опустился на свое место, навалившись на стол грудью.

Его, Семена Григорьевича, седая как лунь большая голова была совершенно свободна от мыслей. Он ни о чем не хотел думать. Он давно перестал думать о детях, которые где-то и как-то жили, о немощной жене, которую несколько месяцев назад разбил паралич, о себе, хотя ему в последнее время до боли становилось тоскливо и грустно, и беззвучно рыдал где-то в глубине груди другой человек.

Он не позволял себе ни о чем думать. Жизнь отцветала, и осталось совсем немного. Не было никаких желаний, никаких побуждений. И только одна страсть еще теплилась. Страсть к красивым, изящным вещам.

Звон, резкий, острый, заставил его вздрогнуть. Он испугался страшного предчувствия, вобрал голову в широкие крепкие плечи и опустил лицо в ладони. Потом медленно, очень медленно повернул голову туда, откуда донесся звон.

На полу лежали холодные кусочки разбитой чашки. Над ними висела рука. Худая, обтянутая желтой кожей, словно пергаментом, рука. Он поднял взгляд и встретился с ее глазами. В них, бывших серых глазах, удивительно сохранивших еще блеск и мысль, на морщинистом и маленьком, как кулачок, лице застыл ужас. Они кричали истошным немым криком. Они просили пощады.

Он ничего не сказал. Отодвинул стул и тихо, сгорбившись, вышел. В узком коридоре было темно. Под ногами натужно и грустно скрипели и вздыхали доски. В другой раз он обязательно остановился бы, надавил бы несколько раз ногой и горестно и тяжко вздохнул бы, сетуя на беспомощность. И обязательно беззлобно плюнул бы. Но сейчас ничего не хотел замечать: ни темноты от навалившегося на землю сумрака, ни скрипа пола. Он прошел в конец коридора, остановился у запертой наглухо двери. Достал из кармана связку ключей, подержал нерешительно в руке, так же нерешительно, дрожащими пальцами засунул длинный ключ в скважину, медленно отпер дверь и, протиснувшись в комнату, поднял руку, шаря по стене. Щелкнул выключатель, вспыхнула лампочка. И тысячи тончайших лучиков и искр, фиолетовых, синих, зеленых, розовых, красных, ударили в глаза. Он зажмурился, потом, протерев мясистыми пальцами веки, оглядел комнату и до-

вольно улыбнулся. Но улыбка получилась грустная и легла только на уголок рта. На стеллажах, установленных вдоль трех стен, стояла покрытая тонким белесым слоем пыли посуда. Умелой хозяйской рукой аккуратно были уложены в ряд изящные чашки на блюдечках, рюмки и фужеры из тончайшего хрусталя, изрезанные замысловатыми кружевами узоров и рисунков, графинчики всевозможных форм... Это были творения искусства. И он гордился ими. Да разве только гордился... Каждая из этих вещей была частицей его жизни. Сколько лет он приобретал их! Приобретал, не останавливаясь перед ценой. Приобретал, оставляя семью неделями без рубля. Приобретал, обуреваемый подчас страхом и угрызениями совести, что упустит и потеряет. Так сильно было раболепие перед изяществом. И страсть присвоения.

Мягко ступая, он приблизился к стеллажу, осторожно взял с полки большую глубокую чашку, щелкнул по ней ногтем, отчего она зазвенела, и вспомнил, как из нее однажды хотел выпить чаю Колька, он отодрал его за уши, чтобы не брал без спроса. Он легонько провел ладонью по чашке, сдул пыль, положил на место. Потом потянулся к верхней полке, где стояли на тоненьких ножках фужеры. Те, с бирюзовым отливом, поставил на стол в свой день рождения Сашка и получил подзатыльник и отеческое повеление заменить их гранеными стаканами: гости обойдутся и без фужеров.

Взгляд его остановился на маленькой фарфоровой чашке. Какое воспоминание она хранила? Он потер лоб, не отрывая взгляда от нее. Ах да, это ее доставала старуха украдкой из буфета. Он догадывался по тому, как чашка часто меняла свое место на стеклянной полочке. Вот он и перенес ее сюда, без лишнего шума, наставлений и поучений.

Он бережно положил ее на ладонь, приподнял к свету, осмотрел со всех сторон. И задумался, закрыв веки. Шумным роем в голове, тяжелой и стареющей голове, заметались мысли. Перед глазами всплыли крепкий волевой подбородок со строго очерченными губами, укоряющие большие глаза Сашки, пергаментная рука старухи... Он тряхнул головой, отогнав их. И снова они выплыли из тьмы: хмурый взгляд Кольки, шевелившиеся Сашкины губы, маленькое безжизненное лицо старухи... Им овладело вдруг смутное желание выхватить образы сыновей, задержать их хоть ненадолго, всмотреться в них, вспомнить. Но они как назло уходили в тьму и выплывали, сливаясь и расчленяясь, но уже бледнея, угасая, смутные и схематичные.

Вздрогнули плечи. Он вздохнул, опустив руку... Острый звон отрезвил его, мгновенно отогнав мысли. Он опустился на корточки, стал собирать дрожащими пальцами кусочки фарфора, прикладывать их друг к другу. Потом поднялся, быстро прошел в угол и вернулся с маленькой бутылочкой клея. Присев на корточки, принялся склеивать кусочки. Лоб покрылся испариной. Уголки губ дрожали. Закончив работу, он устало поднялся, держа осторожно на ладони чашку. Вот так и жизнь, подумал он, тонкая, хрупкая. Дорогая и изящная. Разобьется на черепки — ни красоты, ни удовольствия. Как у старухи. Но человек склеенный все-таки как-то проживет. А чашки... Боже мой, какое теперь от нее удовольствие... Какая-то дьявольская сила вдруг вселилась в душу: он сжал чашку в руке, потом с размаху ударил об пол и стал топтать каблуками, разбивая и дробя. Потом, не давая себе отчета, машинально, еще не остывший, стряхнул с ближайшего стеллажа фужеры.

Глаза его горели лихорадочным блеском. Он топтал чашки, рюмки, фужеры до тех пор, пока они не превращались в груду мелких осколков. Потом сильной рукой сбрасывал со следующего стеллажа. В комнате все звенело, скрипело, скрежетало, гудело. Его ухо смутно улавливало голос старухи, тревожный и молящий. Она называла его. Она звала его. А он не мог уйти. Ему уже было больно, страшно больно за погубленную посуду. Какая-то сверхчеловеческая жалость охватила его. Долгие годы жизни стирались в стеклянную пыль. Но остановиться он уже не мог, не было сил. Казалось, остановись на миг — разорвется сердце. И он крушил.

Душераздирающий крик заставил его вздрогнуть. Он застыл, тяжело дыша, дрожа всем телом.

И снова острый, режущий душу крик, который был полон отчаяния и боли, огромной боли:

— Сема-а-а-а...

И глухой стук.

Он оглядел комнату, усеянную тысячами мелких звезд и солнц. И выбежал в коридор.

На полу лежала его старуха.

Он несколько минут стоял пораженный тем, как она

могла встать и выйти сюда, потом включил свет и вздрогнул. Холод пробежал по спине. Лицо старухи было безжизненно. Умерла? Нет, не может быть. Не надо, нет. Он бросился бегом на кухню, намочил под холодной струей воды платок, неловко и быстро провел по лицу старухи, шее, груди. Потом поднял ее и бережно понес в комнату, приговаривая:

— Как же ты, как же ты так...

Он уложил ее в постель, накрыл одеялом, вытер осторожно выкатившуюся на шершавую щеку слезу и снова упал грудью на стол. Усталый и совершенно опустошенный.

Старуха зашевелилась. Ему показалось, что она всхлипнула.

ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СТУПЕНЬКА

Их было шестьдесят шесть. Каменных, заросших истоптанными травинками, полевой сумкой, дерном... Пятьдесят, как ни удивительно, ровно пятьдесят, вели от аккуратно выложенной булыжниками улочки вверх, к асфальтированному шоссе. Шестнадцать — вниз, к домику, утопавшему в зелени фруктовых деревьев и виноградников. Выцветший штакетник отделял от улочки двор, расположившийся в низине, словно в яме.

Их было шестьдесят шесть. Крутых, каменных, но уже разбитых и истертых временем. И каждое утро высокого роста плотный мужчина поднимался по этим ступенькам. На самой верхней он останавливался, тяжело дыша. Потом оборачивался. За серыми шиферными крышами лежало море. Отсюда, сверху, оно казалось маслянистым, холодным, спокойным. А на его тонкой, как нить, полоске, там, где она сливалась с небом, лежала небольшая мандариновая долька. В эти ранние часы она на глазах надувалась, округлялась. И, оторвавшись от воды, повисала в голубом воздухе, превращалась в солнце.

Он жадно выхватывал с залитого золотом горизонта белые суда, легкие рыбачьи лодки, серые паруса. И, улыбнувшись доброй улыбкой прожившего большую жизнь человека, направлялся к шоссе.

Возвращаясь вечером, он снова останавливался на ступеньке. Впереди во тьме вспыхивали и мгновенно

таяли рубиновые глаза бакенов. Да глухой рокот, поднимавшийся снизу, из глубины, и переходивший в шипенье, висел над засыпавшим поселком.

В этот день он возвращался домой позже обычного. Сойдя с автобуса, свернул в аллею, засаженную стройными высокими тополями, и, пройдя небольшое расстояние, усталой походкой вышел к ступенькам. Далеко внизу темную ткань вечера простреливали золотые огни электрических лампочек. А над железнодорожным узлом, источаемые многоваттными прожекторами и мириадом лампочек, дрожали сполохи. Только небо было темно, не потревоженное мерцанием звезд. Да круглый лунный желток прикорнул к его невидимому, но ощутимому боку.

Он медленно спустился по ступенькам. На улочке передохнул, потом открыл калитку. На ощупь, ногой нашел сколоченную из досок лесенку и стал осторожно спускаться. Рядом послышался шорох, в лицо дохнуло теплом. Огромная собака бросилась ему на грудь, потом под ноги и стремглав скатилась вниз.

Спустившись с последней ступеньки, он споткнулся и выругался:

— Тьфу ты, черт подери... Впрочем, при чем тут черт-то. Стар...

Он долго ковырялся ключом в замочной скважине, наконец открыл дверь, вошел на веранду и включил свет. Снял легкое демисезонное пальто, прошел по всем комнатам, защелкал выключателями. Он любил, чтобы свет горел во всех комнатах. И первым долгом, возвращаясь домой, включал обильно утыканные лампочками люстры, а затем уже готовил себе ужин. И сейчас, залив весь дом светом, он зажег газовую плиту, поставил греть вчерашний борщ собственного приготовления, нарезал в тарелки колбасу, сыр, хлеб. Приготовив все к ужину, вышел в спальню, снял с себя серый костюм, любимый костюм мышиного цвета, который носил уже пять лет, аккуратно повесил на вешалку и спрятал в шкаф, переоделся в теплую пижаму. Борщ уже подогрелся, когда он вышел на веранду. Отлив себе полтарелки, накрошил в кастрюлю кусочки черствого хлеба, вышел во двор и, подойдя к конуре, вылил содержимое в металлическую миску. Собака, выбежав из тьмы, лизнула его в лицо теплым языком и наклонилась над миской.

Только после этого он приступил к ужину.

Поужинав, он помыл посуду, сел в мягкое кресло перед телевизором. Рядом, на столике, лежали письма. Старые и два свежих. Он получил их утром, но не распечатал, любил читать вечером, после всех дневных забот. Вскрыв один конверт, вытащил вдвое сложенный лист, разгладил его ладонью. На губы легла мягкая улыбка. Письмо было от дочери.

«Дорогой папочка, здравствуй. Мы очень соскучились по тебе. Так хочется быть вместе, рядышком. Но, видно, судьба жить врозь. Не тянет меня на юг, к морю. Не знаю, то ли в детстве насладилась им, то ли что еще... Да и Мише нельзя. У него специальность северная. Крепко целует тебя Наташа. Она очень благодарна дедушке за шубку. Сколько было радости... Наташа уже ходит в музыкальную школу и учится играть на фортепиано. Если бы ты видел, как она гладит ручками пианино и рассказывает гостям: это мне дедушка Боис купил. «Эр» до сих пор не выговаривает... Извини, папочка, пришел Миша, надо его накормить. Целуем тебя крепко-крепко. Вера и Наташа».

Он отложил письмо на колено, затем вскрыл другой конверт, так же бережно выпрямив лист...

«Папочка, милый, здравствуй. Целуем тебя с Наташкой. Как ты там живешь, один-одинешенек! Наверное, запустил все свое хозяйство, постарел, устал. Ведь пять лет мы уже не виделись. Я бы тебя пригласила к нам погостить, но больно далеко ехать. Да и холода здесь большие. А тебе там должно быть хорошо, в своем большом доме...»

Он свернул письмо, закрыл глаза. Стало легко и темно. Откуда-то издалека выплыл дом. Большой, увитый виноградными лозами. «Так это же мой дом, — мелькнуло в голове. — Ну, конечно. Ступеньки, садик, террасы...» И опять наплыли воспоминания. Вспомнил, как выравнивал землю, убирал камни, носил чернозем, закладывал фундамент... Вспомнил, какой радостью светились глаза жены и маленькой дочурки, когда заселили новый дом, когда в первый раз зацвел сад...

Он встряхнул большой заснеженной годами головой, открыл глаза. Переложил на колени старую стопку писем. Минуту глядел на них в задумчивости. Потом стал читать первое, подвернувшееся под руку.

«Милый мой старичок. Я сейчас вспоминаю, с каким наслаждением слушали твою игру на концерте, с каким трепетным волнением и вниманием смотрели на

твои пальцы. Ты так умел заставлять страдать и радоваться... А сейчас даешь уроки детям. Разве тебя не тянет к покою? Неужели деньги — мерило жизни...»

Он тяжело вздохнул, развернул другой лист...

«Спасибо тебе за помощь. Большое-пребольшое. Купили мы на эти деньги Мише пальто. Замучила меня Наташка. Просит купить велосипед. И слушать не хочет, что денег нет. Напиши, говорит, дедушке, он обязательно пришлет. А как я могу тебя просить? Ведь тебе самому-то жить надо, да пора на пенсию, давно пора. Я думала взять тебя к себе, но боюсь, тяжело будет жить на Севере. И вряд ли ты бросишь дом... Такой дом! Верить не хочется, что такой дом можно потерять. Слушать не хочется. А давать уроки музыки детишкам надо прекратить. Береги свое здоровье. Ты же сам любил говорить: «Деньги в могилу не возьмешь». Не будь рабом денег. Я очень беспокоюсь за тебя. Звонят. Наверное, Миша. Спешу. Целую крепко. Береги себя...»

Он протер легонько пальцами веки, встал, рассыпав письма, сгорбившись, постоял в нерешительности на веранде, глядя в темень, потом, будто решившись, вышел во двор. Не сделав и шести шагов, он споткнулся и в сердцах выругался:

— Ах, черт тебя побери. Опять эта кочка...

Из темных зарослей выбежало что-то большое, закружилось вокруг него, поднялось на задние лапы, положив передние на грудь, и лизнуло его в подбородок.

Он обнял собаку за шею и со вздохом проговорил:

— Бобылями мы с тобой в этом большом имении.

Потом приподнял его морду, заглянул в глаза:

— Понимаешь, вот как обернулось дело-то. «Не будь рабом денег, — пишет Вера. — В могилу их никто с собой не возьмет». А у меня, дружок, ни гроша-то за душой нет. Понимаешь, ни гроша. Все отсылал. Мне с тобой много ли надо? И работал, чтобы на ноги их поставить. А вот как обернулось дело-то.

Ему хотелось поговорить с кем-нибудь. Но соседям свою боль не раскроешь. А собака, она — существо умное, хотя и бессловесное. Подняв морду, собака глядела ему прямо в глаза и мигала, а в глазах было столько нежности и грусти, словно она и на самом деле понимала своего хозяина. А может, и понимала.

— Вот так, дружок, в этом имении нам дни коротать. Продавать его не позволено...

Он горько улыбнулся, потом, погладив собаку, оттолкнул от себя. Та мягко спрыгнула на передние лапы, подняла глаза на хозяина и стала вилять хвостом.

— Что, скучаешь? Знаешь, чертяга, завтра не пойду на работу. Одобряешь, значит? Будем с тобой ступеньку мастерить, шестьдесят седьмую. Больно часто спотыкаться стал.

Собака опять подпрыгнула, норовя лизнуть в щеку, но он отмахнулся и пошел в дом. В гостиной он открыл оба окна и долго стоял, любуясь вечерним морем. Там, в темноте, скользили голубые и зеленые огоньки, вспыхивали и гасли рубины, что-то гудело и охало, но он знал, что это идут суда, горят бакены и дышит море. Жизнь не затихала и вечером. Жизнь не затихнет и ночью.

Потом он пошел в спальню, вынес футляр, бережно вытащил из него скрипку. Приставив к уху, подергал струны, настроил и широко и длинно провел смычком. Скрипка заплакала, защебетала, заговорила... И уже до самой полуночи не умолкала. Она страдала и радовалась, кипела негодованием и ласкала вместе со старым музыкантом.

Утром его подняли с кровати глухие удары по калитке и лай собаки. Обычно он просыпался с рассветом. Но сегодня впервые за долгие годы позволил себе поваляться в постели. Он не торопясь опустил ноги в шлепанцы, надел халат и, мурлыча только что придуманную наспех мелодию, пошел отворять калитку. Почтальон принес телеграмму. Он расписался, развернул вчетверо сложенный листок.

«Папочка, поздравляем днем рождения Вера, Наташа, Миша».

Он потер ладонью лоб, виновато улыбнулся.

— Бог ты мой, сколько ж мне стукнуло! Совсем запамятовал... шестьдесят шесть, кажется.

И, укоризненно покачивая головой, провожаемый внимательным взглядом собаки, он медленно пошел в дом.

РАБ

Сытин стоял у окна, прижавшись лбом к потеплевшему стеклу, и вглядывался в лес. Его одолевала бессонница. Подремав часа два, он прошагал всю ночь

из угла в угол своего кабинета, полистал несколько книг, рукописи, пытаясь заставить себя взяться за перо. Но работа не шла. И вот он битый час стоял у окна и вглядывался в лес.

Сытин относился к числу хороших, умных писателей. Газеты с его рассказами зачитывались до дыр. Тонкие книжки не залеживались на полках магазинов... Но вот уже в течение долгих месяцев Сытин не написал ни одного рассказа.

Все началось с того дня, когда он задумал построить дом у леса. Нужны были деньги, и он зарабатывал их, выполняя сотни заказов. Брался за все, что предлагали в издательствах и редакциях газет, и из всего выколачивал, как сам выражался, деньги для строительства дома вдали от шума городского.

Долгие месяцы провел он со строителями. Вместе с ними готовил раствор, подгонял кирпичи, сидел на стропилах крыши, вдыхал дурманящий запах свежего леса. А когда они ушли, заново сам перекрашивал оконные рамы, двери, полы.

— Мастера оказались недобросовестными, схалтурили... Всего не доглядишь,—объяснял он жене и маленькой дочке, когда они смеялись над его необычным увлечением, незаметно переросшим в страсть.

За все эти месяцы Сытин не написал ни одного рассказа. Если в первые дни строительства ему не давала покоя жажда творчества, она звала, мучила, влекла, а он заглушал, душил ее, то сейчас вдохновение к нему не приходило. Сытин болезненно сознавал, что давно пора вернуться к любимой работе, но на него напала апатия и не было мыслей.

Небо стало серо-голубым.

Сытин распахнул окно, глубоко вдохнул пахнущий хвоей воздух, вдохнул до боли в груди. Потом в пижаме, накинув на плечи пиджак и засунув у порога ноги в шлепанцы, неслышно вышел из дома и пошел по дорожке, выложенной битым кирпичом, к лесу. Не дойдя до него, Сытин остановился в раздумье, свернул вправо, где, извиваясь, бесшумно в молочной дымке текла река, и пошел по берегу.

Было тихо. На противоположном крутом берегу сидели рыболовы. Глядя на них, Сытин улыбнулся, зазевался и ступил в воду. Холодная вода освежила ноги. Он беззлобно выругался, вышел из воды, потом весело рассмеялся.

— Тихо, шальной! — услышал он чей-то сердитый шепот.

Этот пологий берег казался Сытину пустынным, и шепот удивил его. Внимательно вглядевшись, он увидел на кряжистом стволе дерева, дугой выгнувшемся над водой, Митрича. Босой, в белой рубашке и серых холщовых штанах, закатанных до колен, он сидел на стволе, свесив ноги, весь обратившись в слух.

Сытин вскарабкался к нему, сел, тоже свесив ноги, и прошептал:

— С добрым утром, Митрич. Богат улов?

Митрич кивком головы показал на берег. На траве лежали окуни.

— Один, три, шесть, — сосчитал Сытин. — Когда же ты успел?

Поплавок задергался и ушел под воду. Митрич поднял удилище. Над водой засеребрилась, затрепетала маленькая рыбка. Митрич осторожно бросил ее в воду, затем насадил на крючок червя и закинул леску далеко вперед.

— Говоришь, когда успел? — В серых глазах его заиграли смешинки.—Моя песня, мил друг, кончается. Вот и спешу жить. Ночь-то, вишь,—загубленные часы. А я их забираю, забираю. Рассвет, река, воздух ядреный; слышь, как пахнет лес-батька, это все и есть жизнь. Сам знать-то должен, писатель.

Все это Митрич произнес шепотом и снова замер, уставившись на поплавок. Вдруг, резко дернув удилищем, отчего Сытин вздрогнул, он вытянул из воды леску, схватил скользкого окуня большой костлявой рукой, снял с крючка, бросил на траву и, насадив на крючок короткого толстого червя, размахнулся удилищем.

— Мастер ты, Митрич, дай бог другому молодому угнаться, — прошептал Сытин, внимательно наблюдая за нехитрой работой старика.

— Мастер, мастер, — согласился Митрич.—Вот и ты мастер... Читали, поди, тебя в нашем поселке мал и велик. Умных людей народ почитает. Да вот забыл ты народ. Дар божий твой заховался, что ли, где? А народ умное слово любит и ждет...

Сытин почувствовал, как кровь прилила к лицу. «Какое дело этому старому поселковому почтальону до меня? — подумал он. — Разве я сам не чувствую?»

Сытин глянул искоса на Митрича, на его смешно

согнутую фигуру, простое, доброе лицо, и рождавшаяся в душе досада исчезла.

— Строился я долго, Митрич, времени много ушло, — сказал он.

Старик не ответил. Он долго, не отрываясь, смотрел на гладь воды, потом заметил:

— Времечка дорогого ушло много — не вернешь. Оно как река: сверху гладь, покой, а внизу течет и течет бесперебойно.

Поплавок задергался и ушел под воду. Митрич продолжал:

— Построй я себе избу-красавицу — лучше ловить рыбку не стану. Построй соловью золотую клеть — лучше петь не будет. Вот в поселке живет Федька. С женкой живет вдвоем. Много ль надо? А чего только не понастроил: и избу велику, и сараи, и гараж...

— Знаю я его, — сказал Сытин. — Это же раб вещей.

— Так чего ему не хватает? А он строит и строит. Кому и для чего? Леший его поймет. Вот ты, мил друг, сказал — раб. Может, раб, а может, не раб. А народу радости от него — ни чуточки.

Митрич замолчал, потом будто про себя прошептал:

— Глядишь, природа и ум здоровый дала, и талант, и мастерство каждому. А многие губят свой талант.

Сытин спрыгнул со ствола и тихо пошел по густой сочной траве, омытой росой.

Из головы не выходил разговор с Митричем. «Удивительный старик, — думал Сытин, — проницательный. А умен, старый черт!..»

Разговор с Митричем навел его на другую мысль. Неужели и он страдает этим пороком, он, писатель, которого любит и чтит народ? Быть того не может. Строительство дома еще не говорит о том, что он, Сытин, стал рабом... Всякое живое существо строится. Вот Федя — это дело другое, это совсем иной человек. Типичный стяжатель. И вообще, какое он имеет отношение к Феде? Он и Федя — люди совершенно разные, два полюса одной земли.

Сытин остановился, провел ладонями по лицу, потом, широко раскинув руки в стороны, так, что пиджак упал на землю, глубоко вдохнул колкий воздух, поднял пиджак и, перекинув через плечо, пошел размашистым шагом.

Сытин вспомнил, как появился Федя на строительном участке.

Он перемешивал лопатой раствор, когда услышал за спиной приятный баритон:

— Здравствуйте, сосед. Слышал о вас, вот решил посмотреть, как строитесь.

— Здравствуйте, милости прошу, проходите.

Сытину понравились, пришлись по душе крепкая, ладная фигура Феди, ясный взгляд больших серых глаз, высокий умный лоб под шевелюрой пшеничных волос.

— А строитесь вы добротно!

Сытин с улыбкой наблюдал, как Федя хозяйским глазом окинул дом, территорию двора, провел ладонью по кирпичной стене, поднявшись на веранду, попробовал прочность досок, потом, довольный, качнул головой.

— Добротный дом. А впрочем, я бы еще пристроил мансарду. Нет, не возражайте, нужна будет, да и красиво. А вот здесь — летнюю кухню, чуть подальше — гараж. Без машины жизнь в тягость. А во дворе — сад. К чему вам цветы? Захотелось — и купить можно. Фруктовый сад — вот что я посадил бы. Фрукты — свои: ешь вдоволь, наелся — продать не грешно...

Сытин слышал многое о Феде, верил и не верил слухам, думал встретиться, познакомиться, узнать поближе.

И теперь ему становилось не по себе от этого разговора. «Стяжатель, — подумал он, — настоящий стяжатель, умный, жадный, расчетливый».

Сытин хотел ответить, что человек живет не ради садиков и домиков, но Федя, будто прочитав его мысль, с иронической улыбкой добавил:

— В жизни, знаете, не только есть идеалы, но и одеяла, кровати, буфеты, гамаки, машины... Вы не подумайте, что я проповедую накопительство, однако то, что можно иметь, следует иметь.

Сейчас, вспомнив монолог Феди, Сытин снова задумался. Как помочь ему, как спасти? Человек утопает в болоте обывательщины. Написать рассказ о стяжателе? Это поможет... Узнает себя, обидится? Да черт с ним, но зато может задуматься, ведь не глуп же, не глуп. Да, надо написать рассказ.

Эта мысль не давала ему покоя в течение всего

пути. Поднявшись на веранду, Сытин устало опустился в кресло-качалку, откинул голову на высокую спинку и закрыл глаза, твердо решив про себя: днем обязательно сесть за работу, обязательно...

Постепенно дрема стала охватывать его... Погружаясь в теплый, мягкий сон, он вдруг вспомнил, что надо бы кухню отделать кафелем. «А работа? — ужаснулся он. — Я же должен писать, я обещал себе!.. О стяжателе. Да, первым делом о стяжателе. Помочь человеку... А может, завтра? Завтра! Боже... Надо еще деревья посадить, вишни, яблони. Фруктовый сад... свой сад...»

И Сытин уснул.

Из-за леса вставало солнце.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

Впервые охотничье счастье улыбнулось ему. Мечтал иметь медвежью шкуру, а стал владельцем живого медвежонка.

Он вышел из лесной чащи, опустил на землю мохнатое, теплое существо, вытер фуражкой пот, струившийся со лба, провел ею по влажной шее и снова нахлобучил на голову. Потом прислонился к кряжистому стволу дерева, поставил ружье рядом прикладом на землю и облегченно вздохнул.

Еще час тому назад, пробираясь сквозь густые заросли с медвежонком, он понимал, какую опасность навлек на себя: разъяренная медведица пустится в преследование. Нет, он не боялся ее, он вообще не знал чувства страха. Но в чащобе трудно было рассчитывать на победу.

И сейчас он облегченно дышал, прислушиваясь к гулкому биению сердца. Еще минуту назад оно колотилось так неистово, что готово было разорваться...

На земле кувыркался медвежонок, обнюхивая траву, сапоги, приклад ружья.

Он смотрел на этот живой комок, наслаждавшийся беззаботной жизнью, не познавший еще друзей и врагов, и теплая улыбка ложилась на его узкие, резко очерченные губы. Он улыбался одними губами, глаза оставались холодными, внимательными, настороженными. Ему не стоило большого труда представить

себе, как это забавное существо будет бегать по его квартире, застланной шкурами зверей, кувыркаться, баловаться с внучатами и недовольно ворчать на взрослых.

А потом... настанет день, когда его придется отдать в зоопарк. А в его богатейшей коллекции не будет доставать медвежьей шкуры, ради которой он предпринял это путешествие в лес. Вряд ли кто из знакомых и друзей решился бы отправиться в остывающий осенний день на медведя один.

Он отправился в незнакомый, дремучий, казавшийся нарисованным на мускулистой горной груди лес.

Сначала на попутной машине с лихим шофером мчался по узким, разбитым дорогам, сползавшим к пропасти. Затем ехал на скрипучей арбе со словоохотливым худощавым старым горцем. И часа три шел пешком, взбираясь по крутым тропинкам все выше и выше, ползая на коленях, хватаясь за кусты, припадая грудью к земле. А из головы не выходили слова горца:

— Зачем тебе медведь, сынок, не жир ли нужен? Не жир, говоришь? Так почему же без надобности убивать его? Живая душа... За свою жизнь, сынок, я не убил ни одно живое существо. Даже курицу не зарезал. Улыбаешься? Что поделаешь, уж так устроен человек, он на все падок. Ел я и мясо курицы, и мясо марала, и мясо медведя ел, сынок, но убить их сам не мог. Может, слабость это моя — не знаю. Живая душа...

Он хотел ответить старику, что все созданное природой — для человека. Смотреть на уток и перепелок, маралов и медведей, любоваться и восхищаться ими было бы глупо. Природа постаралась сделать человека владыкой всего живого на земле, и он пользуется своим правом и могуществом. И в этом нет никакого преступления. А что касается его, то он вышел на охоту ради медвежьей шкуры... Он хотел ответить, но воздержался: поймет ли старик правильно.

Каждый врач его отделения имел свое хобби. Седоусый Филиппыч был заядлым филателистом и на этой почве сдружился со всеми ребятами со своей улицы, Зиновьич — нумизматом, Серафимовна имела в своем архиве более трех тысяч открыток, Кафаров собирал значки, покупая их у мальчишек по баснословным ценам, а новоиспеченный ассистент хирурга Вагабов сооружал из обыкновенных спичек изумительные терема, мечети, дворцы. Коллеги из других отделений смеялись, и довольно открыто, над их чудачествами. Но они не обижались: «Каждому свое»,— отвечали на иронические реплики коллег. А он, главный хирург отделения, улыбаясь, а часто даже и с хохотом объяснял:

— Каждый сходит с ума по-своему.

Он был хирургом с именем. Не одну сотню людей спас от неминуемой смерти. Тонкие, уверенные, умные и сильные пальцы оперировали сердце и легкие и всегда возвращали человеку жизнь. Всегда, потому что чувство неуверенности не было знакомо им. А в свободные дни они так же уверенно нажимали на курок — и лес оглашался предсмертным ревом или стоном животного.

Охота была его увлечением, вернее, вначале была увлечением, а затем стала необходимостью. В поединке со зверем он испытывал свой характер, проверял силу и мужество, оценивал себя.

Правда, в последнее время, после перенесенного инфаркта, он уже не ходил на крупного зверя, хотя глаз его еще был зорок и рука тверда. Довольствовался мелкой дичью. Но как-то за воскресным столом друзья заметили, что в его коллекции недостает медвежьей шкуры.

Был субботний вечер, и все коллеги по отделению сидели в его гостиной. Они собирались семьями поочередно у каждого. Пили шампанское и танцевали, ели дымящийся, ароматный шашлык и рассказывали всякие были и небылицы. Потом, который уж раз, рассматривали богатую коллекцию шкур и восхищались. И снова пили шампанское. И Серафимовна, допив бокал вина, сказала:

— А знаете, Мустафа, кажется, вашей коллекции для полноты не хватает медвежьей шкуры.

Все ее поддержали.

Вечер продолжался, звенели бокалы, дом гудел от смеха и хохота, а мысль о медвежьей шкуре засела глубоко в мозгу и уже не давала покоя. Две недели он мучился этой мыслью.

...Сердце стало давить, появилась тошнота. Он достал из кармана куртки металлическую коробочку, открыл крышку, положил в рот таблетку. «Неужели

снова начинается?» — подумал он, но без тени тревоги и страха. Потом поднял ружье и уже собрался подхватить медвежонка, как вдруг в чащобе отчаянно захрустели ветки.

Из зарослей вышла огромная бурая медведица. Увидев человека, она замерла и уставилась на него. Медвежонок, до этого беззаботно бегавший по земле, вдруг со всех ног, спотыкаясь, пустился бежать к матери. Она обнюхала его, ласково, но крепко подтолкнула лапой к густым зарослям и подняла морду. В глазах ее не было ни злобы, ни ярости, лишь выжидание. Они пристально смотрели друг на друга, потом медведица стала тяжело пятиться назад. Он облегченно вздохнул, расслабился, но, глядя настороженно на медведицу, подумал: «Сейчас она уйдет — и ни медвежонка тебе, ни шкуры. А шкура, какая шкура! Чертовски хороша!..»

Звери уходили. Под их тяжестью трещали ветки.

И уже безотчетно, поймав на мушку висок медведицы и вздрогнув от слова, внезапно пришедшего ему в голову, — «убийца», он нажал курок.

Ему показалось, что десятки стволов, переломившись со странным треском, обрушились на землю. Рев, в котором смешались отчаяние и боль, вспорол тишину. Медведица встала на задние лапы, большая, тяжелая, страшная в ярости, и двинулась к нему.

«Промах, — подумал он, быстро перезаряжая ружье. — Первый промах в жизни. Значит, я становлюсь стар... В мои-то годы...».

Он прицелился медведице в голову, и в эту минуту к горлу подступила тошнота, голова закружилась, сердце забилось неровно, с долгими перебоями.

Им овладело неведомое до этой минуты отчаянное желание жить, и, трезво сознавая, что между ним и медведицей идет поединок за жизнь и что он, именно он, должен стать убийцей, и покрывшись испариной от этой мысли и от нахлынувшей на него страшной слабости, нажал курок. И свалился на землю.

Рев и грохот давно растаяли в синем небе. Лес погрузился в тишину. По траве бегал медвежонок. Он подкатывался к огромной медведице, визжа, облизывая ее языком, потом перебегал к человеку, обнюхивал его бледное лицо, ружье, лежавшее поодаль, бессильно тыкался мордой в охотничью сумку и снова беззаботно перекатывался по траве.

ЛЯГУШОНОК ПО ИМЕНИ КЛИМ

— Вот здесь и будем отдыхать мы с тобой, Кнопка,— сказал Булатов, осторожно опуская на песок байдарку.

— Ага, — коротко ответила Кнопка.

— А не надоест тебе море?

— Не... е... е... не надоест...

Кнопка, белокурая девочка лет четырех, с широкими плечами, крупной спиной и крепкими ногами, стояла у самой воды в шортах и завороженно смотрела на море.

— Ну-ка, дай руку, пойдем, поможешь мне подмести двор, — сказал Булатов, и они пошли к бревенчатому домику, огороженному деревянным забором.

Булатов был единственным горожанином, а точнее — первым и последним, выбравшим местом для своего дачного домика, или, как он смеясь выражался, летней резиденции, берег моря. Все другие расположились у канала, вытянувшегося вдоль автострады, посадили на своих участках фруктовые деревья и виноградники, и многие уже пожинали плоды своего труда; он относился к ним с неприязнью, считая, что они возбуждают частнособственнические настроения, и утверждал, что земельные участки следовало бы выдавать коллективам, а не частным лицам.

Сам он свой домик, состоявший из просторной комнаты и веранды, служившей и кухней, и гостиной, построил у рыбацкого поселка, проводил здесь не только отпуск, но и все свободное время. Даже в поздние осенние и зимние дни, когда работа требовала уединения и тишины.

Распахнув окна и двери, Булатов подмел полы, натянув на веник старый чулок, смел со стола пыль и песок; затем, намотав мокрую тряпку, бывшую некогда брюками, на швабру, освежил полы и, влажный от пота, вышел во двор.

Оставшись в одних шортах, сбросив сковывавшие движения рубашку и сандалеты, он принес в ведре воду и окатил двор.

Звонкий смех дочки остудил его трудовой азарт. Булатов разогнул спину, глянул через забор и вдруг широко улыбнулся, едва удержавшись от смеха. На берегу стоял небольшого роста мальчишка в ластах и в маске и смотрел в их сторону. У ног его лежал прозрачный полиэтиленовый мешок, кишевший раками.

— Кто же ты будешь: дядька-черномор или человек-амфибия? — спросил Булатов, продолжая улыбаться.

— Лягушонок, — закричала Кнопка и снова засмеялась. — Лягушонок он!

И на самом деле, подумал Булатов, похож на лягушонка, а вслух сказал:

— Какой же он лягушонок? Рыцарь... Подойди, рыцарь...

Мальчишка снял ласты, потом маску, и Булатова поразило его лицо: нежное, словно оно светилось откуда-то изнутри, и глаза слишком серьезные, в которых осела печаль. Мальчишка прошел к забору, на минуту исчез, потом на заборе показались его руки и спустя минуту голова: он висел на руках.

— Ты уж вошел бы во двор через калитку, — сказал Булатов.

Мальчишка подтянулся, вскарабкался на забор и спрыгнул во двор.

— Так и расшибиться можно, — сказал Булатов, в душе радуясь этой мальчишеской выходке: он любил смелых, решительных, самостоятельных ребят.

Мальчишка, не обращая внимания на его слова, серьезно оглядел двор, дом, потом мужчину и девочку и спросил:

— Так это ваш дом?

— Мой, — сказал Булатов.

— Хороший, — сказал мальчишка. — Только маленький.

— Нам хватит, — сказал Булатов. — Давай знакомиться, что ли? Меня звать дядей Серго.

— Клим, — сказал мальчишка, протягивая руку.

Булатов осторожно взял его ладошку в свои большие ручища и улыбнулся: вот бы со стороны посмотреть сейчас на них или сфотографировать — почти двухметрового роста мужчина и малюсенький мужичок.

— Что же ты не знакомишься с девочкой? — спросил Булатов, когда Клим сел на камень, уткнув личико в острые коленки.

— А что она под мальчишку подделывается? — спросил в свою очередь Клим. — Не уважаю таких.

— Ну и ну, — удивился Булатов. — Боишься, что завоюет твое царство?

— Не боюсь. Я ничего не боюсь. Просто девчонка должна быть девчонкой, а не наполовину...

— Ха-ха-ха... — Булатов разразился смехом. — Ну

и мужик. Впрочем, ты прав. Но ведь она еще совсем маленькая. А я-то думал, что ты рассерчал на нее за Лягушонка.

— Пускай зовет, как хочет, — снисходительно сказал Клим. — Она еще маленькая. Таким все дозволено.

Булатов смотрел на мальчишку и удивлялся его серьезным суждениям. Интересно, сколько годков ему, подумал он, и вслух спросил:

— В школу-то ты ходишь, Клим?

— Нет, мне семь лет еще не исполнилось. А вы футболист, наверное, или тренер?

— Нет, почему ты так решил?

— Футболисты бывают такими здоровыми.

— В молодости, наверное, и я играл в футбол, а сейчас преподаю в институте. Ты знаешь, что такое институт?

— Как не знать, — серьезно сказал Клим и вдруг встал. — Есть хочется. Пойду домой.

— А ты поешь у нас, — предложил Булатов. Мальчишка все больше нравился ему. — Кнопка сейчас принесет тебе молока и бутерброд с колбасой. Надеюсь, колбасу любишь, а нет — сообразим что-нибудь повкуснее.

— Люблю, — тихо сказал Клим, — а есть у чужих не могу, совестно. Это заработали вы, а я не хочу быть нахлебником.

— Почему же? — удивился Булатов. — Мы же с тобой друзья. Сейчас вместе приберем двор и пойдем завтракать.

Спустя десять минут они сидели за столом на веранде, дети уплетали бутерброды, запивая молоком, а Булатов медленно потягивал из глиняной кружки пиво и посасывал сухую воблу. Внезапно Клим выскочил из-за стола, бросился стремглав со двора. Булатов, удивленный, собрался было подняться и выйти вслед за ним, как тот вбежал на веранду и бросил на пол с дюжину раков.

Кнопка сначала взвизгнула, потом захлопала в ладоши и, бросив свой бутерброд на стол, спрыгнула на пол.

— Очень вкусно к пиву, — коротко сказал Клим, взглянув на удивленного Булатова. — Там еще целый мешок для бабушки. Она их варит. И продает.

— Папа, наверное, погиб? — осторожно спросил

Булатов, боясь нанести мальчишке душевную травму, но тот спокойно возразил:

— Я его не знаю. Мне о нем ничего не рассказывают. Зато ребята смеются: ты вылупился, говорят, как утенок, из скорлупы.

— Ничего, брат, — успокоил его Булатов, погладив по головке, — мы вот тоже вдвоем, без мамы.

— Что, тоже не было? — участливо спросил Клим.

— Была у нас мама, умерла.

Булатову хотелось многое объяснить Климу, да и успокоить его, но он тут же подумал, что ничего мальчишке объяснять не надо, он достаточно много понимает и умен.

Некоторое время спустя они вышли во двор, ослепительно сверкавший под солнцем. Клим задержался у калитки и спросил:

— Можно я к вам буду заходить?

— Не только можно, но и нужно, — сказал Булатов, — мы же с тобой уже друзья.

Клим ушел. Булатов долго глядел, как мальчишка волок по песку мешок с крабами, в другой руке держа ласты и маску, потом столкнул байдарку в воду, усадил Кнопку, сел сам и, оттолкнувшись от берега, уверенно и сильно стал грести в море.

Утром следующего дня, проснувшись рано и выйдя к берегу, Булатов был приятно удивлен. На песке лежал полиэтиленовый мешок, в котором барахтались несколько раков.

Он сел на песок, и, нежась в ласковом тепле восходящего над морем солнца, стал ждать мальчишку. Клим появился из воды неожиданно: отдуваясь и фыркая, вышел на берег и бросил раков.

— Как называть вас: ловцом раков или искателем жемчугов? — шутливо спросил Булатов.

Мальчишка поморщил лоб.

— Жемчуга здесь не водятся, — сказал он задумчиво, — а раков сколько угодно.

— А знаешь, дружок, я хочу подарить тебе спиннинг, — сказал Булатов.

Мальчишка серьезно посмотрел на него и тихо произнес:

— У меня все есть. И спиннинг, и удочка, и закидушка есть. Просто мне нравится ловить раков.

Булатов поднялся, постоял у кромки воды, любуясь гладью моря, ослепительно сверкавшего под разгорающимся солнцем, потом вошел в воду и, перевернувшись на спину, поплыл. Когда-то в далекой юности он увлекался плаванием и греблей, имел спортивные разряды и теперь, чередуя разные стили, совершенно не чувствовал усталости, а наоборот, получил хороший заряд бодрости.

Когда он, наконец, лег на спину и раскинул руки, предвкушая покой, рядом всколыхнулась вода, заискрились брызги и высунулась русая головка с фырканьем и сопением.

— Еле догнал вас, — сказал Клим, перевернувшись тоже на спину и слабо пошевеливая ногами.

— Однако ты молодец, — удивился Булатов, — хватило духу заплыть так далеко... А как обратно — осилишь?

— Передохну малость... Мне ласты помогают.

Но Булатов знал: ласты помогают умеющим плавать. Не умеющих тянут на дно.

Когда они вышли из воды, Кнопка резвилась у берега. Присев на плоский, отполированный стихией камень, Клим долго следил за ее игрой, потом обратился к Булатову:

— Кнопка не умеет плавать?

— Пока нет. Надо будет учить.

— Если хотите, я ее научу, — серьезно сказал Клим.

— Плаваешь ты отменно, думаю, и тренером будешь хорошим. Обучай.

Булатов лег на песок и стал глядеть, как мальчишка о чем-то долго говорил с Кнопкой, потом та посмотрела в сторону отца, вошла в море и стала размахивать руками, опускаться с головой под воду, и он задремал. Открыл глаза Булатов внезапно. Кнопка строила замки из песка. Заметив, что отец проснулся, она подбежала и села ему на плечи.

— Папочка, я проголодалась, — сказала она.

— А куда девался твой тренер? — спросил он.

— Лягушонок? Пошел ловить раков.

— Почему ты его зовешь Лягушонком? Он не нравится тебе? — спросил Булатов.

— Просто он такой маленький и в ластах похож на лягушонка.

— Он хороший мальчик, — сказал Булатов, — у него следует поучиться самостоятельности. Как только

он вылезет из воды, пойдем завтракать. Я думаю, ты не будешь возражать?

— Что ты, что ты, папочка? — защебетала Кнопка и скатилась на песок.

На следующий день после ухода Клима Булатов, уложив Кнопку спать, сел за работу — он готовил к изданию свой научный труд, и только к ужину поднялся из-за стола. Выпив с Кнопкой по большой кружке холодного молока и поев бутербродов, они оделись и отправились на прогулку. Он медленно и задумчиво шел по берегу, мысленно рассуждая сам с собой, и вздрогнул от неожиданного восторженного возгласа Кнопки:

— Папочка, глянь, Лягушонок, папочка...

Булатов поднял голову и только сейчас заметил, что они пришли в рыбачий поселок. На крыше приземистого каменного дома, прислонившись к трубе, стоял Клим. Услышав крик Кнопки — «Эй, Лягушонок», — тот нехотя поднял голову, глянув вниз, встал во весь свой коротенький рост, напоминая оловянного солдатика, прошел за трубу и исчез. Спустя минуту он уже стоял у распахнутой калитки. Лицо его расцвело улыбкой гостеприимного хозяина.

— Баба, к нам гости! — радостно закричал он во двор.

— А мы гуляли по поселку и увидели тебя на крыше, — сказал Булатов. — Кажется, ты уже покоряешь крыши? А там, гляди, и к небу подберешься?

Булатов окинул быстрым взглядом небольшой двор, увитый виноградником, вгляделся в пристроенную в дальнем углу летнюю кухню и поймал себя на том, что ищет кого-нибудь из взрослых домочадцев. Из кухни вышла дородная старушка и, переваливаясь с ноги на ногу, направилась к ним.

— Здравствуйте, гости дорогие, милости просим в дом. Нам Климентий о вас все уши прожужжал, заходите в дом, отдохните, а я вам горячих пирожков принесу, прямо со сковородки.

— Помилуйте, в такую жару и в дом? — сказал Булатов. — Мы здесь, на воздухе, посидим да и домой скоро отправимся.

— Прямо со сковороды, — продолжала старушка, словно и не слышала Булатова. — А в доме свежо, из морского камня построен-то.

Она принесла тарелочку вкусно пахнувших пирожков, положила на сколоченный из досок столик, за который сел Булатов с Кнопкой, потом пододвинула тарелочку ближе к девочке и ласково сказала:

— Ешь, деточка, ешь, внученька, махонькая такая, а небось, уже плаваешь?

Кнопка взяла пирожок, откусила и, обжигаясь, воскликнула:

— Вкуснятина какая!

Потом, словно вспомнив, что надо отвечать старушке на вопрос, сказала:

— Ага, меня Лягу... меня Клим учит плавать.

Клим сидел все это время тихо, внимательно наблюдал за бабушкой, словно контролируя каждое ее слово. Потом, будто спохватившись, сказал:

— А у меня есть свой уголок, хотите посмотреть?

— Ну-ка, веди, посмотрим твой уголок, — сказал Булатов, и, оставив бабушку сидеть, они втроем пошли в дом. Уголок Клима состоял из небольшого светлого столика, полочки, на которой аккуратно расположены были несколько старых игрушек, большой набор морских раковин. Но гордостью Клима были новые учебники, которые ему купила недавно бабушка.

Он бережно и осторожно прикасался к каждой книжке, но когда произнес:

— А я скоро в школу пойду учиться... — в его глазах вместо обычного радостного детского возбуждения от заманчивого и неведомого вдруг вновь приоткрылась какая-то затаенная детская печаль. Та самая печаль, какую Булатов заметил при первом знакомстве с мальчиком.

— Сильно манит учеба? — спросил Булатов.

— Ага! — произнес Клим коротко. — Я хочу стать капитаном.

— Прекрасно! — заметил Булатов. — Но чтобы стать капитаном, надо много знать.

— Я знаю много. И плавать умею, и нырять, и команды капитанские... Вот только кораблем управлять надо научиться...

Булатов чуть было не рассмеялся над потешной детской наивностью, но вовремя удержался: неуместный смех мог бы встать незримой стеной между ним и мальчишкой. Он проговорил тихо и серьезно:

— Вот чтобы управлять кораблем, надо большую школу пройти.

И тут Клим выложил то, что, видно, не раз волновало его детскую душу:

— Это верно, — сказал он серьезно и рассудительно. — Но вот беда: бабушка-то раков ловить не может. Потому она и обращается ко мне: «Кормилец ты мой единственный...»

— Вот что тебя смущает!—про себя сказал Булатов и внезапно вспомнил печаль, скользнувшую в глазах мальчишки. — Вот оно что...

Он несколько раз прошелся из угла в угол, поглядел в окно, за которым синело море, потом, переведя взгляд на мальчишку, произнес:

— А знаешь, Клим, приходи ко мне почаще. Будем вместе вопросы жизни решать.

— Так вы же скоро уедете! — сказал недоверчиво мальчик.

— Верно, скоро уедем, — задумчиво проговорил Булатов. — Но ведь воскресенья я всегда провожу в своем домике. Вот и приходи каждое воскресенье.

— Значит, можно? — оживился Клим, и в голосе его прозвучала радость.

— Можно, даже нужно, Климентий.

Булатов возвращался к себе в сумерках, посадив Кнопку на плечи. Он шел и думал о мальчишке по имени Клим.—Чем привлек меня этот лягушонок, ловец раков? — спрашивал он себя. — Нет, не внешностью, не смелостью, просто, очевидно, самостоятельностью своей, не по возрасту зрелым мышлением и серьезностью. Он желает казаться настоящим мужчиной, и не знает мужской любви и ласки. Мальчишке необходима мужская дружба, для него она и совет, и опора, и защита.

И внезапно Булатов понял, что он, именно он, к которому привязался Клим, и никто другой, в ответе за судьбу мальчика, и что он будет, постарается быть ему настоящим большим другом. Да и бросить мальчишку, отвернуться от него он уже не сможет, потому что не будет доставать ему не по годам серьезного взгляда и детской мальчишеской философии. Он постарается быть ему настоящим большим другом.

От этой мысли Булатову стало светло и радостно на душе, он снял с плеч Кнопку, обнял крепко и прибавил шагу.

БЕГ ВРЕМЕНИ

Поезд прогромыхал, и опять наступила тишина.

Поезда проносились через каждые полчаса с севера на юг и обратно, сотрясая землю, как хромые чудовища. Поезда бывали разные: товарные, пассажирские и почтовые, и вторые почему-то казались ему роднее, словно несли в себе человеческое тепло.

И когда все вокруг обволакивала тишина, притупляя мозг, душу, ему вновь неудержимо хотелось грохота, и тот не заставлял себя ждать.

В открытое окно вливался запах моря: нестерпимо остро пахло водорослями, и он вдруг подумал, что никогда и ни за что не променял бы их на цветы, так тонко и в то же время так сильно, страстно, настойчиво говорил этот запах водорослей о свежести, о романтике, о юности... Он долго сидел, устало откинувшись в кресле, затем внимательно, оценивающе глянул на свою работу и решил, что такой картины он еще не писал и, наверное, больше не напишет. Впрочем, он всегда так думал, создавая свое очередное полотно. Многие его работы успешно экспонировались на выставках, были приобретены музеями, и имя его произносилось с почетом и уважением. Но он этого не замечал, вернее, не хотел замечать, уйдя в мир творчества, созидания, в котором были и горькие дни разочарования и отчаяния, и счастливые мгновения торжества.

Он потер утомленные веки, еще раз глянул на полотно и остался доволен.

На картине мчался поезд, кружа в вихре тугого воздушного потока золотистую листву. По обе стороны насыпи стоял лес, желтый, утомленный, задумчивый, устремленный к небу, а оно, небо, мягкое и ласковое, исполосованное закатными красками пепельного цвета, переходило в золотистый, который узкой полосой сливался с горизонтом.

Он хотел назвать картину «Осень», просто и понятно всем, но какое-то подсознательное чувство подсказало ему, а потом и навязало другое название — «Бег времени», которое ему поначалу не понравилось, а затем пришлось по душе своим философским подтекстом, и казалось, что удачное название радовало его больше, чем сама работа.

В самом деле, думал он, и в стремительном движении поезда, и в роняющем листву осеннем лесе, и в

спектре угасающего дня и вечернего неба — во всем ощущается неподвластный нам бег времени.

Снова прогромыхал поезд, рассеяв мысли. Он встал, подошел к окну. Метрах в пятидесяти дышало море...

Он переехал на окраину города из центра и ничуть об этом не сожалел. Соленое море, ночной порт, восходы и закаты давно привлекали его и теперь стали частью его жизни. Здесь он творил, здесь собирал друзей по случаю окончания работы, а чаще и без случая, просто распить доброе сухое вино. Здесь было покойно, удивительно красиво, и все же чего-то недоставало для полноты жизни.

Он еще некоторое время постоял у окна, потом принял душ, оделся и вышел на улицу. Он любил одеваться со вкусом, что внушало людям невольное уважение уже к самой внешности его. И сейчас старушки, сидевшие на дворовой скамейке, тепло поздоровались с ним и с каким-то умилением долго глядели вслед, перешептываясь, пока он не завернул за угол. Он прошелся по новому микрорайону, развернувшемуся вширь, поросшему, словно исполинскими баобабами, многоэтажными домами, посудачил со знакомыми, и внезапно неодолимое желание потянуло, позвало его в центр, старый, милый одноэтажный центр, где прошла большая часть его жизни, и, недолго думая, он сел в подошедший полупустой автобус и через полчаса был на площади. Здесь он вышел и пошел пешком, бесцельно, ни о чем не думая, ни с кем из знакомых не останавливаясь. Хотелось просто побыть одному.

На город давно опустился вечер, из ламп струился лунный свет, когда он очутился у остановки маршрутного такси. Длинная очередь томилась в ожидании машин. В нем проснулся художник, и он стал читать, изучать лица. Его отвлек женский голос:

— Динго, далеко не уходи.

Он оглянулся, стал искать собаку, но ее нигде не было видно.

И снова женщина повторила:

— Динго, я тебе говорю?

Чуть поодаль от него прыгала маленькая девочка, и он понял, что обращение это предназначается ей. Он глянул в толпу, поймал устремленный на девочку беспокойный взгляд женщины и признал в ней мать. Внезапно что-то знакомое вспыхнуло в его памяти. Он подошел к женщине и сказал:

— Добрый вечер, Динго!

Женщина взглянула на него удивленно, потом спокойно сказала:

— Вы меня с кем-то путаете.

— Нет, не путаю, Динго. — Он продолжал улыбаться.—Ведь ты же была Динго. Вспомни двор в лунном переулке, игру в испорченный телефон. Это было лет двадцать назад, вспомни, пожалуйста. И того, кто тебя окрестил этим именем...

Женщина приложила маленькую ладонь к щеке, посмотрела на него долгим, пристальным взглядом, словно возвращавшим издалека что-то забытое, близкое, и тихо, жалостливо произнесла:

— Боже мой, это ты... Не может быть!

— Почему же не может быть? Я-то тебя узнал, и изменилась ты очень мало, даже вовсе не изменилась, просто стала взрослей...

— А ты неузнаваем, такой модник и... седой, в такие годы.

— Битамина не хватает и поломанного телепона...

Она глянула на него и вдруг звонко рассмеялась.

— Ты все такой же шутник, только стал крупней... Или нет?

— Ты хотела сказать — постарел.

— Хотела бы — сказала. — Она озорно взглянула на него серыми глазами, и он вспомнил большой кирпичный дом, полутемный двор и озорных девчонок, ни в чем не уступавших мальчишкам. Он приехал в город из высокогорного селения, устроился на первых порах у дяди, с утра до позднего вечера готовился к поступлению на факультет живописи так упорно и усидчиво, что только дядя, возвратившись с работы, чуть ли не силой выставлял его во двор — побыть на свежем воздухе. Здесь он и увидел ее. Стройная, крепкая девчонка первой подошла к нему, и он уже думал, что она протянет ему руку для знакомства, но она окинула его с ног до головы взглядом больших серых глаз и дерзко спросила:

— Откуда ты выискался такой хилый и длинный?

В первую минуту он растерялся, часто заморгал глазами, потом почему-то облегченно вздохнул и неожиданно для себя бодро ответил:

— Битамина не хвата...

Она удивленно подняла брови, очевидно, не поняв ответа, внезапно вскинула голову и задорно засмеялась.

Ей вторили ребята из беседки. А потом они играли в испорченный телефон, а он называл его поломанным телепоном, вызывая веселый смех.

В один из поздних августовских дней, когда были сданы все экзамены, он вынес во двор мольберт, краски и на глазах у ребят в течение четырех часов написал ее портрет, а она в благодарность за работу подарила ему книгу «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». Он долго рассматривал красивую цветную обложку, на которой были изображены девочка и собака, потом вдруг заявил, что нарисовал бы лучшую картину, и наконец выпалил:

— А что такое Динго?

— Динго? Это дикая собака, — сказала она.

— Дикая собака?

— Ну конечно. А ты не знал?

— Тогда я буду называть тебя Динго.

— Почему? — удивленно спросила она.

— Потому что я так хочу. Потому что это имя тебе идет... Потому что...

— Вот еще фокусы. — Она повернулась и пошла домой, унося свой портрет.

Ему тогда было семнадцать лет, ей — пятнадцать.

Через некоторое время он перевелся на учебу в Москву, потом прошли годы, юность осталась далеко позади, и Динго с большими серыми глазами не вспоминалась, хотя почему-то ему особенно нравилось писать портреты сероглазых женщин. Спустя много лет он обосновался в южном городе, где когда-то в сказочном прошлом прожил всего несколько беззаботных месяцев, обрел имя и популярность и дарил людям радость красоты и красок...

— Динго, иди сюда, — окликнула женщина девочку.

Девочка подбежала, глянула на него большими синими глазами и прижалась к матери.

— Ну, здравствуйте, Динго. Как тебя зовут по-настоящему? — сказал он, тепло глядя на девочку. Та запрокинула голову, посмотрела на маму и, словно получив разрешение, произнесла:

— Светланка.

— Ах, вот как! Очень мило. А я-то подумал...

Девочка озорно пробежала по нему глазами:

— А знаете, кем я стану, когда вырасту? Я стану

художницей и буду каждый день рисовать мою мамочку.

Девочка посмотрела нежно и преданно на маму, и та, улыбнувшись, обратилась к нему:

— Помнишь портрет, написанный во дворе? Забыл... Он очень нравится Динго, и она находит, что я и сейчас очень там похожа. А ты забыл все-таки, признайся.

— А твоя девочка очень забавна, — сказал он, не отвечая на ее вопрос. — Презабавна.

— Как и все дети, — поправила она.

— Впрочем, и ее мать была такой же...

Он щедро улыбнулся, и то ли под его теплым добрым взглядом, то ли от нахлынувших, порой так необходимых человеку, воспоминаний юности, она тихо рассмеялась и прошептала:

— Нет, право, ты все такой же, каким был много лет назад.

— Может быть, — сказал он задумавшись и, чуть помолчав, повторил: — Может быть...

— Тебе тяжело живется? — спросила она осторожно.

— Нет... Пожалуй, скорее слишком легко...

В это время подкатил легкий, юркий двенадцатиместный автобус, очередь хлынула к нему, девочка и мама помахали ему рукой и скрылись в сутолоке салона. И машина умчалась.

Он некоторое время глядел на поредевшую очередь, потом заметил, что стал накрапывать дождик, и медленно направился домой. Путь был утомительно длинным, но отдавшись всецело думам об устроенности человека в жизни, о счастье, вороша прожитые свои годы, он подошел к своему подъезду, вошел в квартиру и, не включая света, опустился в кресло. Он окинул взглядом комнату, на стенах которой темнели квадраты картин, закрыл глаза, но покоя не было, и он понял, что ему чего-то недостает, не хватает. И только спустя полчаса, совершенно устав от непрошенных дум, вдруг понял, что ему не хватает девочки Динго! И еще неясно осознавая свои действия, охваченный каким-то беспокойством и страшным желанием видеть рядом крохотное умное существо, вышел из дому и пошел пешком к центру города. «Дети — вот что так ярко и точно определяет бег времени, — думал он. — Они рождаются, цветут и растут, встречают и провожают вес-

ны и зимы. А земля цветет, и зелень сменяет снега, и виски обсыпает серебро, и снова пьянит дурман разнотравья.

Так стремительно и жестоко время».

Он шел по полуосвещенным улицам и знал, что завтра снова пойдет на остановку маршрутного такси и снова увидит пятилетнюю Динго, обязательно увидит, потому что за незначительную частицу дня она внесла в его устоявшийся уклад жизни какую-то новизну, еще не окончательно и ясно осознанную им.

Но он знал и другое, то, что время вечно молодо для людей сильной, неиссякаемой воли. Именно она, воля, вызывает в людях неистребимую потребность созидания и творчества, не давая стареть сердцу и угаснуть разуму.

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ

Ослепительно блистая, белоснежная яхта отошла от причала и заскользила по зеркальной глади озера.

Яшка, черный, как сажа, вытянул стройную шею, развел крылья, шумно захлопал ими, словно пробуя на прочность, и, аккуратно сложив, заскользил вслед за яхтой.

Было ясное осеннее утро.

Вокруг стояла покойная тишина.

Густо-синее небо, сосновые леса замерли в умиротворенном благостном молчании.

Яшка плыл за яхтой, не отрывая от нее восторженного взгляда.

— Какая прелесть, — сказал он себе и повторил: — Прелесть, прелесть...

Ему захотелось поделиться своей радостью, восторгом, вызванными этой бесшумно летящей птицей. Он оглянулся, приметил на берегу одиноко стоявшего мужчину и вдруг устремился к нему.

— Я знал, что ты придешь ко мне, потому поспешил вернуться, — сказал Яшка, высоко задрав голову и ликуя от счастья встречи.

— Какой ты красивый, однако! — произнес мужчина, ласково поглаживая Яшку по голове. — Я не перестаю любоваться тобой, твоей гордой грацией... Ты чудо природы...

— Я всю ночь ждал этого утра, встречи с тобой,— сказал Яшка. — Ты мне очень понравился. Мне кажется, мы с тобой чем-то схожи, правда, я пока еще не уяснил — чем.

— И почему тебя природа окрасила в черный цвет— не пойму. Но ты не огорчайся — ты мне такой больше нравишься. Ты, наверное, голоден?

Мужчина сел на скамейку, достал из кармана сдобную булочку, накрошил ее и поднес на ладони Яшке.

Лебедь ел медленно, долго, потом посмотрел благодарными глазами на мужчину и положил ему на колени голову.

— Очень вкусно, — сказал Яшка, — и колено у тебя теплое... Так тепло и покойно мне бывало в детстве под крылом у матери.

— Умная ты птица, — вздохнул мужчина, нежно поглаживая Яшку по шее. — И, наверное, тебе ужасно одиноко и скучно здесь, вдали от своего птичьего племени. Не так ли, дружок?

Яшка мотнул головой и издал протяжный звук.

— Неужто ты меня понял? — улыбнулся мужчина.

— Почему ты всегда один? — сказал Яшка. — И задумчив. Чем мне тебе помочь, разбить твое одиночество? Человек — не птица, он не может жить один... Да и птица не может, но она привыкает к человеку и мнит, что обрела второе счастье, лишившись свободы. Призрачное счастье...

— Мне все кажется, что мы понимаем друг друга, — проговорил мужчина. — Какие умные у тебя глаза!.. А теперь я оставлю тебя, пойду разогрею свои онемевшие мышцы.

Мужчина сел в лодку, отвязал ее от причала, опустил весла в уключины и сильными гребками поплыл в озеро.

Яшка некоторое время смотрел ему вслед, потом прыгнул в воду и пустился вдогонку. Он легко догнал лодку и поплыл вслед.

К концу дня мужчина к озеру не вышел. Яшка долго скользил по темнеющей воде, устремив взгляд на берег, потом еще около часа шлепал лапами по деревянному настилу причала и, наконец, решившись, углубился в лес.

Закат отгорел, становилось сумрачно.

Яшка подошел к одноэтажному коттеджу, медленно

обошел его, осторожно подкрался к светящемуся окну и вытянул шею.

На столе были разбросаны исписанные и чистые листы бумаги, ручки, газеты. Яшка клюнул в стекло. Мужчина не обернулся.

— Не пойму я, чем он занимается, — обиженно сказал Яшка, пробираясь сквозь деревья к озеру. — Появляется, когда желтеют и опадают листья, и исчезает, когда лед сковывает озеро.

Вдруг он насторожился, почуяв подозрительный шорох, и пустился, насколько был способен, бегом к воде. Ему почудилось, что за ним кто-то крадется...

Как-то погожим утром, когда Яшка ел из теплой руки мужчины, к причалу вышла женщина. Она была стройна и прелестна.

— Какая красивая! — воскликнул Яшка. — Она мне нравится. Я их сейчас познакомлю.

Он подошел к женщине и прислонил голову к ее груди.

Женщина отстранила Яшку и брезгливо поморщилась.

— Не пугайтесь, его чернота не пристает, — засмеялся мужчина.

— Думаете?

— Уверен.

— Отчего такая уверенность?

— Оттого, что думаю.

— Убедительная логика.

— Просто каламбур, — засмеялся мужчина. — Привычка детства. Вы, надеюсь, помните свое детство?

— Они, кажется, познакомились, — сказал Яшка, поворачивая поминутно голову на голоса. — Он больше не будет одиноким.

Яшка спрыгнул в воду и поплыл. Вода искрилась, играла и переливалась цветами радуги, слепила солнечными бликами, и все вокруг было ярко, прекрасно и величаво.

— Как мне хорошо! — кричал Яшка, раскинув веером большие черные крылья. — Как хорошо!

И не мог понять, что эту радость дарило ему не только восторженно яркое утро: в нем все ликовало оттого, что теперь его друг не будет одиноким.

А вечером ему вдруг стало грустно и тоскливо. Даже крупные зеленые звезды, на которые он любил глядеть часами, не утешили его. Он вышел на берег, по-

топтался, поглядел на желтые квадраты окон коттеджей и, низко опустив голову, ступил в воду и лениво поплыл.

— Скучно ночью, — сказал Яшка.

— Скучно мне,—крикнул он, но никто не откликнулся на его крик. Над озером замерла гнетущая тишина.

Спал в эту ночь Яшка тяжело и тревожно: что-то острое давило грудь и теснило дыхание. А утром, когда из-за леса выкатилось солнце, он потянулся, расправил крылья, высоко поднял голову, глубоко вдохнул полной грудью холодного, вкусного воздуха и забыл ночные кошмары.

А потом была встреча с друзьями. Яшка, довольный, шагал между женщиной и мужчиной и клевал с его ладони тонко нарезанные ломтики яблока. Но когда неожиданно в кустах показалась белая лохматая собака, Яшка спешно побежал к берегу и спрыгнул в воду.

— Куда ты? — удивленно крикнул мужчина.

— Это мой враг, — прокричал Яшка. — Он всегда преследует меня.

— Неужели ты испугался собаки?

— О, ты не знаешь моего врага, — сказал Яшка.— У него очень коварные повадки. Он может подойти незаметно сзади и схватить за горло. Это моя смерть!

— Неужели ты испугался собаки? — снова спросил мужчина, потом нагнулся к земле, словно ища камень или палку.

Собака поджала хвост и убежала прочь по аллее.

Яшка шумно захлопал крыльями, развернул их широким веером и закружился по воде, вальсируя.

— Изумительное творение природы, — проговорил мужчина. — Чудо.

— Просто клад, — иронически произнесла женщина.

— Если хотите — да, с одним только но... Не надо снаряжать дорогостоящих экспедиций, пускаться на поиски, рыться в папирусах. Он открыт и доступен всем.

— Так-таки всем?..

— Да, всем! — произнес он твердо и осекся.

Женщина смотрела на него с добродушно-снисходительной усмешкой.

— Впрочем, нет, не всем. Все дело в том, что я порой обо всех сужу по себе...

— Не считаете ли вы себя идеалом? — с вызовом

спросила она, снисходительно улыбнувшись и быстро погасив улыбку.

— Почему бы нет? — теперь мужчина позволил себе улыбнуться, но в его улыбке было больше грусти. — Любой из нас готов воздвигнуть себе Александрийский столп. И ничуть не усомнится в своих достоинствах.

— Мне лично Александрийский столп не нужен. За свои достоинства я хотела бы от жизни совсем иного вознаграждения... А вы, оказывается, злой...

— Вы в этом суждении не оригинальны. Многие почему-то принимают мою страсть обнажать вещи, обострять чувства за озлобленность. Парадоксально, не правда ли?

— Скажите, пожалуйста, — вдруг прервала она его, — действительно ли мясо лебедя нежней и вкусней гусиного? Мне кажется, что оно должно попахивать рыбой. Я бы не смогла его есть.

— Что-о? — спросил он недоуменно. На его лице появилась болезненная гримаса, но, овладев собой, он тихо произнес:

— Неужели вы могли такое сказать? Нет, в вас просто заговорил дух противоречия. Ведь в глубине души вы так же, как и я, влюблены в эту прекрасную птицу, не правда ли?

— А разве все живое на земле требует любви к себе? — спросила она холодно.

— Нет, вовсе нет!.. Вы меня неверно поняли. Никто ничего не требует. Но наша с вами любовь ко всему прекрасному делает нас богаче, счастливей, выше, наполняет нашу жизнь и радостью, и смыслом... Впрочем, что это я стал говорить вам прописные истины, словно лекцию читаю? Взгляните на этого черного лебедя. Разве он не прекрасен в каждом движении своем? Яшка, подойди поближе.

Яшка доверчиво ткнулся головой ему в колени.

— Взгляните, как прекрасен лебедь в полете!

Мужчина поднял Яшку и подбросил в воздух, в сторону озера, но, к его удивлению, Яшка не взлетел: яростно хлопая крыльями, он тяжело опустился на берег:

— Я не могу! Со мною что-то сделали, после чего я не могу летать...

Мужчина подошел к нему, расправил крыло и тихо, с отчаянием произнес:

— Ему подрезали крылья!

— Вот вам и цена человеческой любви ко всему живому, — сказала она.

Она о чем-то говорила, говорила, говорила... но он не слышал ее: потом его вывел из оцепенения смех, неуместный, дерзкий, в котором чувствовалось даже торжество, и он резко сказал:

— Перестаньте! Как можно! Вот вы говорили о любви человеческой и ее последствиях. И вы правы. Любовь и жестокость — сестры. Только первое чувство рождается сердцем, второе — холодным, расчетливым разумом. Да, может быть, в чем-то вы и правы: ко всему живому на земле мы относимся с великой любовью и жестокостью.

— Вы сгущаете краски, так, словно на жизнь смотрите через чудовищно искажающее стекло. В жизни вам никак не обойтись без поводыря.

Он не стал отрицать правдивость ее слов и только тихо проговорил:

— И при всей искаженности взгляда моего я все-таки прав: любовь и жестокость идут рядом. Посудите, тот, что из любви к такому существу, как я, взялся бы быть его поводырем, тем самым обрек бы себя на большую жертву. И я был бы жесток, принимая такую жертву.

— Не беспокойтесь! — подхватила она. — Тот, кто взялся бы быть вашим поводырем, нашел бы, чем вознаградить себя за это....

Яшка, все это время наблюдавший за своим другом издалека, поверил в примирение друзей. Он радостно ринулся в воду.

Ночью пошел снег.

Утром пушистое белое диво окутало леса и землю.

Всю первую половину дня двое молодых плотников мастерили Яшке зимнюю квартиру. Они соорудили из бревен настил, накрыли камышом, поверх его — соломой, перенесли сюда домик и прикрепили этот живописный плот шестиметровыми канатами к причалу.

Яшка, печатая свои следы на снегу, то и дело подходил к мастерам и заглядывал им через плечо, испытывая к ним какую-то инстинктивную признательность.

— Топай, Яшка, топай, — смеялись они, осторожно поглаживая ему голову огрубелыми руками. — Не грусти, брат, в будущем году мы тебе хорошую подругу найдем.

А потом появились и его друзья. Они шли рядом,

высокие, красивые, о чем-то весело говоря, затем женщина нагнулась, схватила пригоршню белого дива и бросила в мужчину, и они стали бросать друг в друга, и вокруг них стало совсем бело и звонко от смеха. Потом мужчина накинул темный плащ на скамейку и они присели близко, плечо к плечу...

Яшка издали залюбовался мужчиной и женщиной и не заметил, как сзади подкралось что-то большое, белое и схватило его за шею.

— Ай, ай, ай, худо мне, — закричал Яшка, тщетно пытаясь высвободиться, неистово хлопая крыльями. — Худо мне...

Мужчина оглянулся на крик Яшки, оцепенел, затем рванулся со скамейки, неистово закричав:

— Пошла... пошла вон!

Женщина вздрогнула от его крика, потом ухватила его за руку и прикрыла ладонью ему рот.

— Ну, разве так можно волноваться? Ничего с Яшкой не случится. Побалуются и перестанут.

— Да как же!.. Эта скотина удавит Яшку! — воскликнул мужчина, пытаясь вскочить, но она снова усадила его.

— Не волнуйся, ничего не случится с твоим Яшкой.

— Где мои друзья? — закричал мысленно Яшка.

— Где мои друзья? — подумал он отрешенно.

— Где мои... — стало невыносимо трудно дышать.

— Где мо... где...

Ослепительно вспыхнуло солнце.

И свет померк в глазах.

Тело Яшки дернулось несколько раз, лапы подкосились, и он безжизненно скатился набок. Собака выпустила из пасти его шею, которая обрубком каната глухо упала на причал, и, пугливо озираясь, убежала в кусты.

Мужчина спрятал лицо в ладони, сдерживая гнев и рыдания, до крови закусив губу, потом вскочил и пошел прочь.

Черный лебедь лежал на снегу.

СОВЕТ ТОУФИКА-БУБЫ

1

Тоуфик-буба сполз на пол, поправил постель, превозмогая боль, вскарабкался на кровать, подогнул под себя ноги и стал совершать намаз. Со словами «Аллах бисмиллай рахман рахим» у него из горла вырвался приглушенный стон. К концу намаза он обессилел и бесшумно упал на бок.

За окном догорал день. Пятно заката растекалось по потолку.

— Что тебе ниспослал аллах, старик? — Нариман, улыбаясь, вытянулся, от чего натужно заскрипели пружины койки, неосторожно задел спинку кровати и взвизгнул от острой боли, пронзившей тело.

— Чтоб твоему аллаху пусто было, чтобы он остался без пальцев... — Нариман глянул в сторону Тоуфика-бубы, внезапно вскочил и поскакал на одной ноге к его кровати:

— Старик умер, старик умер!

Высокий, крутоплечий, он поднял старика, словно младенца, уложил в постель и громко крикнул:

— Зовите дежурного!..

— Оживает, — тихо произнес Салман, стоявший за спиной, — оживает, слава аллаху...

Тоуфик-буба застонал, с трудом разлепил веки и, глядя в потолок, прошептал:

— За что меня так жестоко карает аллах... что я совершил предосудительного, грешного... За всю свою долгую жизнь ни разу не захворал... И вот, на старости лет, когда одна нога уже в могиле... О аллах, лучше бы ты меня послал к моим праотцам...

Нариман глянул на маленькое сухое лицо старика, заросшее короткими седыми волосами, встретился с голубыми глубоко посаженными глазами, улыбнулся и поскакал к своей койке. С шумом опрокинувшись на спину, он зевнул и пробурчал:

— Аллах глух к твоим мольбам и просьбам, старик. Ты уж сам позаботься о себе.

— Чепуху несешь, парень, — Салман сел на свою кровать, вздохнул. — Молод, кровь кипит, а жизнь не с того конца познаешь. Все мы дети аллаха...

— Тоже правоверным стал, — Нариман раздельно,

язвительно повторил: — Пра-во-вер-ный. — И зло засмеялся.

— Э, нечестивец, не оскверняй имя аллаха, — послышался слабый голос Тоуфика-бубы.

— Ты слышал, старик, он правоверный...

— Грех смеяться над верующим, сынок. Надо уважать всякого человека, даже только потому, что он рожден человеком.

— Правильно говоришь, Тоуфик-буба... Чему только их не учат теперь, а уважение к аллаху... э-э-эх. — Салман зло ударил костылем о пол.

— Прекратите базар, — прокатился бас с четвертой койки. — Болтают о всякой чепухе, покоя нет...

Наступила тишина. Тоуфик-буба долго смотрел на потолок, потом тихо произнес:

— Все от аллаха, всему жизнь и смерть дает он. Тебе бы знать Коран... Мудрая книга, сынок. Не грех ее знать и молодым: вреда никакого, а пользу может принести.

— Нам она ни к чему, старик, — тихо ответил Нариман. — Пичкать голову всякими хабарами.

— Это ты зря, — донесся бас с четвертой койки.— Старик прав. Знать надо все.

— И этот нечестивец подал голос, — пробурчал Салман и собрался было выйти из палаты, но его остановил голос Наримана:

— Не могу понять, с каких пор деляги и спекулянты стали верить в аллаха, а аллах покровительствовать им.

В горле Салмана что-то забулькало, зашипело, потом он с силой выдавил кашель и закричал, весь побагровев:

— Спекулянт ты, твой отец, весь твой род!.. Кепек оглы... Ни капли стыда и совести не осталось у тебя. Таким ли думал вырастить тебя старый Самед, мир праху его. Тоуфик-буба, меня... я отдал столько лет своей жизни торговой работе, а этот нечестивец... — Салман повернулся к Тоуфику-бубе, сверкая маленькими черными глазами и раздувая и без того большие ноздри, под которыми торчали, как пики, черные густые усы. — Это я дожил до такого дня, что меня спекулянтом обозвали!.. Аллах тебя покарает за это, о аллах...— Он поднял лицо кверху и, стуча костылями, вышел из палаты.

— Все мы дети аллаха, сынок, — Тоуфик-буба в

другое время прочел бы и тому, и другому назидание, которое у него походило на сказку из «Тысячи и одной ночи», но сейчас не было сил, да и мысли заняты другим: он не хотел идти под нож хирурга, да еще на восьмидесятом году жизни. Его тяготила больничная обстановка, и он вот уже несколько дней тоскливо пел тихим хриплым голосом: «Эзиз даглар, эзиз даглар...» Будь он моложе хотя бы на двадцать лет, то обязательно сбежал бы куда глаза глядят, только бы не под нож... Какой срам!.. Да еще этот больничный халат, эти соседи по палате, зубоскалящие по всякому поводу и без повода...

— Спекулянт, да еще какой,—сказал Нариман. — В соседнем от меня ауле живет. Дом как крепость, двор ломится от фруктов. Забор высотой в два метра. Каждую осень уезжает на Урал, на Север торговать своим добром, а магазин на замке. Разнесет слух, что едет желудок лечить, и исчезает месяца на два. Разве твой аллах так велел людям жить? Да и аллах ему для ширмы...

— Не гневи аллаха, — простонал Тоуфик-буба, схватившись за живот. От острой боли на лбу выступила испарина.

— А ну тебя, старик, — Нариман в сердцах повернулся к стене, — с твоим аллахом. Почему-то он не вылечил тебя до сих пор. Темнота...

За дверью послышался стук, шарканье ног, затем в палату вошли медсестры с носилками.

— Бабаев, готовимся к операции...

Тоуфик-буба побледнел, оторвал руки от живота и замахал ими на медсестер.

— Аллах... Не дай мне взять на душу грех, избавь меня от этих женщин...

Но они, не обращая внимания на заклинания, осторожно подняли его, уложили на носилки и пошли по коридору. Тоуфик-буба лежал без движения, затаив дыхание и закрыв глаза: он готов был сгореть от стыда и позора. Второй раз он попадал на носилки помимо воли своей. Раз в ауле, когда за ним приехала «скорая помощь», и вот сейчас... Тоуфик-буба чувствовал, как его внесли в кабинет, опустили на пол. Он приоткрыл глаза: медсестер не было. Кабинет пуст. Он осторожно встал, отворил дверь, крадучись, бочком вышел в коридор и, опустив голову, засеменил к своей палате.

Войдя под удивленные взгляды соседей, он лег на кровать и с головой укрылся одеялом.

— Если меня не обманывает чутье, наш старик сбежал... Ха-ха-ха...

— Э-эх, неудачливый сын почтенного отца, — Салман, стоявший в дверях, горестно и сокрушенно вздохнул. — Ушел, не убежал, а ушел. Аллах увел его из-под ножа этого лопоухого Марка Наумыча.

— Ты на что намекаешь? — прокатился бас из угла. — Прав Нариман, оказывается, у тебя низкая душонка, тьфу...

— Что вы все на меня взъелись? Чем я не угодил? Чтобы божья кара пала на вас... — закричал Салман, брызгая слюной. — Разве я думал оскорбить чем-то этого мучителя... Э-э-э, врача... Вот он отрезал мне полноги, я же ничего не сказал...

— Тебе бы обе отрезать, — пробубнил в подушку Нариман и зажал уши: он понял, что сейчас польется брань.

Тоуфик-буба стянул с лица одеяло, окинул взглядом палату и тихим, назидательным тоном произнес:

— Если хотите знать, да простит нас, грешных, аллах, род человеческий пошел от них. И пророки у нас одни. Да и будет вам известно , что Сулейман и Дауд не кто иные, как Соломон и Давид... О-о-о, аллах...

Он опять застонал.

— Разве я что-нибудь плохое сказал? — вкрадчиво произнес Салман. — Не оскорбил, не обидел. А впрочем... — он на минуту замолчал, сощурил глаза. — Ты почему убежал из операционной, Тоуфик-буба? Не от гяура ли?

В коридоре послышались приглушенные возмущенные голоса. Потом в палату вошли медсестры, беззлобно ругаясь, уложили Тоуфика-бубу на носилки и понесли.

Все это произошло так быстро, что он не успел вымолвить ни слова, только испуганно и тоскливо поднял вверх, а потом и совсем закрыл глаза. Он открыл их только тогда, когда его положили на операционный стол.

Над ним висела огромная лампа, по обе стороны стояли люди в белых халатах.

Тоуфик-буба горестно вздохнул и прошептал:

— О аллах, прости меня, старого, что я взял на себя тяжкий грех...

Из глаз выкатились слезы и поползли по щеке к уху.

— Почему вы боитесь, отец? Ничего страшного с вами не случится. Вот выъежем лишнее, и будете жить еще сто лет...

Тоуфик-буба увидел над собой низко склоненное лицо. Оно было красиво. И большие карие глаза, и полные по-девичьи губы, и подбородок с ямочкой — все дышало добротой. Только уши... они не понравились ему: уши торчали в стороны, как ручки кастрюли.

— Я верующий человек, сынок, — тихо проговорил Тоуфик-буба. — Не подобало мне на старости лет лежать на этом столе под такой лампой.

— Веъующий, говоъите? Ну что же, все мы веъующие, без нее, без веъы, жить нельзя.

Тоуфик-буба насторожился: не ослышался ли он, неужели это говорит доктор? Он широко и настороженно раскрыл глаза и встретился взглядом с доктором.

— Да, да, отец, без веъы жить нельзя.

— Правильно, сынок, верные слова говоришь, — не сдержавшись, прошептал Тоуфик-буба.

— Только бог-то у каждого свой.

— Аллах, сынок, только один...

— Считают так, а на деле? Вот ваш сосед по палате, Салман, азве он веъит в твоего бога? Для него бог — деньги. Дневная выъучка. Вот для Наимана бог — пъавда.

— Но ведь ты не мюалим, сынок, а будто заглянул им в душу...

— И у вас свой бог, и этот бог — честь.

— Э-э-э-э, что ты говоришь? Честь тоже дается аллахом. Все от аллаха.

— Я тоже веъую, отец. Мой бог — вот они, — он поднял обе руки, растопырив пальцы.

Тоуфик-буба посмотрел в улыбающиеся большие карие глаза, внезапно весь сжался от пронзившей тело боли, устало вздохнув, сказал:

— Аллах у всех должен быть один, сынок. И все от аллаха. Он сотворил нам умные руки и деньги... Да простит он меня, делай свое дело, сынок...

Тоуфик-буба закрыл глаза и весь напрягся, чтобы не закричать от боли. Но ее не было. Он ощутил слабое давление на живот, затем услышал звук, будто разрезали высушенную буйволиную кожу. Потом уснул.

2

Тоуфик-буба сидел на веранде своего двухэтажного дома и, блаженно улыбаясь, грелся в лучах остывающего ноябрьского солнца. Глаза его под низко опущенной на лоб папахой были закрыты, между пальцами скользили и стучали черные шарики четок. Он изредка открывал глаза, оглядывал двор, по которому степенно вышагивали индюки и вприпрыжку бегали куры и петухи, и снова закрывал веки. Большая белая овчинная шуба, нагретая солнцем, навевала дрему. По улице протарахтел трактор, потом, разрезав тишину, промчалось несколько машин, оставив в воздухе звуки зурны, дробь барабанов, восторженные крики...

— Дай вам аллах счастья, — прошептал Тоуфик-буба, поняв, что мимо него проехала свадебная процессия.

Потом опять настала тишина.

Тоуфик-буба открыл один глаз и глянул во двор: у сваленной горки дров кот играл с мышью. Он подталкивал ее лапой, перекатывал по земле, захватывал в рот, потом выпускал и снова подталкивал... Устав, видимо, от баловства, кот прихлопнул мышь лапой и лег напротив, уставясь на нее. Внезапно мышь юркнула в дрова. Кот, словно выпущенный разжатой пружиной, метнулся за ней, ударился головой о поленья, забегал вокруг...

— Эх-хех-хе, эх-хе, стар стал, из ума выжил, эх-хе-хе, — забормотал Тоуфик-буба, давясь от смеха, потом вытер ладонью навернувшиеся на щеки слезы и закрыл глаза.

Его уже клонило ко сну, когда кто-то схватил его за рукав шубы, затеребил, приговаривая:

— Проснись, буба, проснись. Сабир-буба умирает.

Он разлепил веки, протер их ладонью. На него испуганно смотрел внук, семилетний Аслан.

— Что за вздор! Я его недавно верхом на лошади видел, а ты...

Но тут же вспомнил, что видел-то не так уж недавно, а до того, как был увезен в больницу, дней двадцать назад.

— Честное слово, умирает, я сам видел, я ходил к Абакару, а он говорит — буба умирает, сердце кто-то ему давит...

Тоуфик-буба встал, засунул ноги в азиатские калоши, взял в руку толстую дубовую палку и засеменил, перебирая четки. Он осторожно спустился по деревянным ступеням во двор, у ворот остановился и, не оборачиваясь, крикнул:

— Ты побудь дома, Аслан!

Тоуфик-буба вышел за ворота и, пригнувшись, медленно пошел по улочке вверх. Все эти дни он ходил не разгибая спины, боясь, что швы, наложенные доктором Марком, разорвутся. Дойдя до ворот дома Сабира-бубы, он остановился, передохнул, снял папаху, вытер со лба испарину, потом опять надел папаху на бритую голову и вошел во двор.

В углу двора невестка Сабира-бубы Гюльназ, красивая, с продолговатым лицом молодая женщина, возилась с телятами. На ее спине покоились, как змеи, две длинные толстые косы. — Да, она же была первой красавицей аула, — вспомнил Тоуфик-буба и, улыбнувшись, сказал:

— Мир вашему дому, дочка.

Женщина подняла голову, синие глаза ее покраснели от слез, лицо осунулось.

— День добрый, Тоуфик-буба, проходите в дом, я только-только вышла от него...

Тоуфик-буба медленно поднялся по ступенькам на веранду, вошел в комнату, сбросил у дверей калоши, приставил к стене палку, прошел к подушкам, уложенным вдоль стены, и сел на одну из них. На кровати, укрытый толстым шелковым одеялом, лежал старик.

— Э-э-э... как тебя свернула болезнь, — подумал Тоуфик-буба, перебирая четки и мысленно сокрушаясь: еще совсем недавно полное и румяное, лицо Сабира-бубы отекло и пожелтело. Потом тихо произнес:

— Салам алейкум, Сабир. Да возвратит аллах тебе силы. Я слышал, ты себя скверно чувствуешь...

— Ва... алейкум... салам, — тяжело, с длинными паузами произнес Сабир-буба. — Какой-то аждаха поселился в мою душу, аллах его забери, то сжимает сердце, то разжимает. Что делать — не знаю. Посоветуй, Тоуфик...

— Не знаю, что и посоветовать, аллах велик и всемогущ, да ниспошлет он тебе здоровье.

— Э...э-э...о-о-о, — простонал Сабир-буба, побледнев и скривив рот. — О-о-о, опять... схватил...

— У меня сердце никогда не болело. Не могу себе представить, ума не приложу, кто может сердце сжи-

мать, — Тоуфик-буба провел ладонью по лицу, задумался. — Снадобья принимал какие? Если нужно, Фирузу пришлю. Как рукой снимет.

— О-о-о... разное пил... много пил... А аждаха давит и давит. Видно, Тоуфик, он пришел по мою душу.

Помолчали. Тоуфик-буба опустил голову, потом тихо, но убедительно сказал:

— Значит, надо ехать к Марку... Да простит нас аллах за отступничество.

— Что такое Марку... о-о-о, давит, Тоуфик, как буйвол давит.

— Доктор он, Сабир, хороший доктор...

— Не говори так, или ты выжил из ума на старости лет... о-о-о.. Тоуфик, сам взял грех на душу и меня тянешь в яму...

— Ну и умрешь, отдашь душу аждахе.

— Доктор неверующий... И Фирузины снадобья не помогли... о-о-о.

— Ты верно говоришь, Сабир, только доктор Марк тоже верующий.

— Э-хе-хе, о-о-хе-е, э-э... — засмеялся сквозь боль Сабир-буба... — Семьдесят лет живу, мои уши не слышали такой небылицы.

— А теперь слушай. У него тоже есть аллах, свой, правда, но есть.

— Свой... какой такой свой, Тоуфик... Ты, я вижу, на старости лет свихнулся. О-о-о, давит проклятый аждаха. Верит, говоришь, э-эе... э-эе.

Оба замолчали. Тишина нарушалась то и дело слабым стоном больного да перестуком четок. Молчание длилось долго. Потом Тоуфик-буба, опершись рукой о пол, встал, засеменил к двери, сунул ноги в калоши, взял палку:

— Подумай, Сабир, жить и червь тоже хочет.

Затворив за собой дверь, он спустился во двор, зажмурился от яркого солнца и, подойдя к женщине, проговорил:

— Как же это, дочка, его скрутило... Такой был крепкий, веселый... Да, на все воля аллаха...

Женщина всхлипнула:

— Медсестра сделала уколы... Он кричал, не позволял. Мамед заставил...

— Да-а-а, на все воля аллаха, — повторил Тоуфик-буба и пошел к выходу. Остановившись у ворот, не поворачивая головы, он тихо сказал:

— Дочка, все-таки его надо отправить в город, в больницу. Пусть Мамед повезет его.

И вышел на улицу.

Он ступал осторожно, не разгибая спины, чуть прищурив глаза, волоча одной рукой за собой дубовую палку, а другой перебирая черные шарики четок и тихо напевая: «эзиз даглар, эзиз даглар».

ЗИМНИЙ РОМАНС

Снег обволакивал белой дремотой землю. Лес и озеро спали: ни звука, ни всплеска.

Белая тишь располагала к лени и безмятежным воспоминаниям, усыпляла мысль. Развалившись в кресле у раскаленного радиатора, Бахтин долго смотрел в окно, держа на коленях толстую тетрадь и шариковую ручку, потом бросил их на подоконник и закрыл глаза.

В полуоткрытое окно проникал морозный воздух, приятно освежая лицо, шею, грудь, изредка вызывая озноб во всём теле. Сегодня не работалось. День перевалил на вторую половину, и ждать от него какого-то чуда было бессмысленно.

Бахтин прошёлся несколько раз по комнате, сцепив за шеей пальцы тяжёлых рук, глубоко вздохнул и собрался снова плюхнуться в кресло, как вдруг внизу гулко хлопнула входная дверь, потом запел под чьими-то лёгкими шагами снег.

Опять эта женщина!..

Она стояла на снегу в чёрных сапожках, в короткой тёмной шубке, спрятав руки в карманы. Её огненного цвета волосы были уложены на затылке причудливым узлом. Она долго глядела на припушенные снегом деревья, потом медленно пошла по аллее, уходившей к шоссе.

Появление этой женщины в доме отдыха для Бахтина было счастливой случайностью.

Он привык к холостяцкому одиночеству и тишине, не любил веселые компании семейных друзей, где чувствовал себя неуютно. Он и не искал встреч... А с той минуты, как увидел эту женщину, почувствовал, что в душу вкралось смутное беспокойство.

Бахтин совершенно потерял покой. Где бы он ни

был, на катке ли, на прогулке по зимнему лесу, не мог ни на минуту забыть эту женщину. Она причиняла ему сладостную боль, изнуряющую тело и мысль. Эта боль заострилась после того случая, когда он, обуреваемый творческим вдохновением, нежданно-негаданно напавшим на него, гонимый вихрем мыслей, забрёл далеко в лес, настороженный, гулкий и ослепительный в своём белом одеянии, и вдруг услышал смех, который внезапно оборвался, а затем раскатился с прежней силой. Он обрывался несколько раз. Потом мимо Бахтина пронеслась на лыжах она, чуть погодя вслед за ней стремительно пронесся незнакомый молодой мужчина атлетического сложения, и Бахтин почувствовал себя оскорблённым, отвергнутым.

Бахтин долго стоял в странном оцепенении, потом поднял воротник пальто и побрел к дому отдыха. Поднявшись в свою комнату, он сбросил пальто, сел в кресло очень близко к радиатору, откинув голову на мягкую спинку, закрыл глаза. На обед в столовую он не пошел. На ужин явился поздно: полотёр натирал паркет. Наскоро поев, вернулся в свою комнату.

Несколько дней он не выходил ни на зарядку, ни на прогулку, ни на спортивные вечера и кинофильмы, а в столовую спускался, нарушая распорядок дня, когда плиты остывали, а зал был пуст. Он и спал мало, засыпая после полуночи, когда уже не в силах был отогнать сон и веки слипались помимо воли.

На исходе пятого дня Бахтин почувствовал себя опустошённым, словно все мысли и грусть, раздиравшие душу, вышли из него, вылетели, вытекли, он понял, что исписался, но это трезвое чувство не испугало его.

Вечером Бахтин спустился в фойе. В правой половине, в большой группе любителей литературной викторины, сидела женщина... Опять эта женщина... На какое-то мгновение он застыл, потом где-то в глубине души вспыхнуло и погасло чувство отрешённости, но его было достаточно, чтобы он смело, без робости подошёл и сел рядом в свободное кресло.

Бахтин внимательно слушал, как она первой отвечала на все вопросы культмассовика, и ответы её были точными, исчерпывающими, и неожиданно для себя спокойно обратился к ней:

— Вы, очевидно, преподаете литературу?

Она отрицательно покачала головой:

— Кем же вы работаете? — спросил Бахтин.— Извините меня за любопытство, но очень уж оно велико.

— А вы ведете размеренный образ жизни, — сказала она.

Несколько минут он сидел молча, сбитый с толку её ответом, потом решил, что терять, по сути дела, нечего, тихо и неуверенно сказал:

— Вот я... инженер, а в свободное время увлекаюсь поэзией.

— А я геолог.

Бахтин глянул на её тонкие длинные пальцы, покоившиеся на ручках кресла, тонкий профиль лица и, невольно улыбнувшись, недоверчиво спросил:

— Приехали из Сибири?

— Да.

— И, наверное, даже из Тюмени?

Бахтин хотел сказать, что в таком случае она должна знать геолога Гришу, Григория Григорьевича, но в это самое время на улице захлопали выстрелы, за окном рассыпался фейерверк, и все весёлой гурьбой выбежали в расцвеченную ночь. Было 23 февраля. Когда возбуждённые и продрогшие отдыхающие вернулись к своим местам, заиграла радиола. Бахтин, прислонившись к колонне, долго смотрел на женщину с огненными волосами, а когда зазвучал вальс, подошёл и пригласил ее на танец. Она несколько секунд нерешительно глядела на него снизу, потом покачала головой и вдруг, озорно блеснув глазами, встала. Она кружилась легко, почти не касаясь паркета, он смотрел ей в глаза, вдыхал запах её волос, чувствовал тепло тела и понимал, что через полчаса, через час она уйдет, и он опять потеряет эту женщину. А может...

— Вы говорите, что увлекаетесь поэзией? — перебила она мысли Бахтина. — А я танцами увлекалась...

Лицо её побледнело, она сжала губы, закрыла глаза.

— Вам плохо? — тревожно спросил Бахтин.

Она отрицательно покачала головой, он подвёл ее к креслу, усадил.

Культмассовик объявила «час любимого стихотворения». Поклонников поэзии оказалось немало, и де-

кламировали они с чувством и вдохновенно. Решившись, стал читать свою поэму и Бахтин.

Он читал, забыв о тех, кто слушал, а они, предавшись каждый своим чувствам, изумлённо глядели на чтеца, ловили живые, трепетные слова, затаив дыхание в ожидании чего-то таинственного, сказочного, мудрого и прекрасного. Бахтин читал, забыв обо всем, делясь думами и тревогами, тоской и болью, открывая свою душу, открываясь весь сам, как перед господом богом.

Уставший, сопровождаемый странной тишиной, он побрёл к своему креслу, потом фойе вздрогнуло от аплодисментов. Когда он обернулся к соседнему креслу, оно было пусто.

На следующий день Бахтин отправился на прогулку к железнодорожной станции. На шоссе было шумно. От проезжающих с ревом и свистом машин, от лучистого снега, от пронизывающего мороза ему стало весело, и он ускорил шаги, словно торопился на электричку.

Бахтин подошёл к станции одновременно с поездом, долго стоял под сосной, раздумывая, не поехать ли в Москву, и тут его внимание привлекли мужчина и женщина на платформе. Они обнялись, затем он вбежал в вагон. Двери тут же закрылись, словно ждали его, поезд тронулся, заклубился снег, и когда грохот утих где-то в дебрях леса и женщина спустилась с платформы, Бахтин узнал её.

Бахтин стоял не шелохнувшись, боясь, что она заметит его, но она прошла мимо, погружённая в свои мысли. Он долго глядел ей вслед, потом медленно побрел к дому отдыха другой дорогой, более короткой и знакомой ему одному. Спустя полчаса, уже у себя в комнате, он услышал, как вернулась она. Внезапно Бахтин решил, что ему следует уехать. Да, уехать совсем, домой, сократив на неделю срок пребывания в доме отдыха.

На следующий день после завтрака Бахтин уложил рубашки, белье и бритвенный прибор в объёмистый портфель из крокодиловой кожи, объяснил сестре-хозяйке свой отъезд срочным вызовом и отправился короткой дорогой на станцию. Ждать поезда пришлось недолго. Он выполз из белого захлестнутого снегом леса, замер на минуту, открыл свои двери, поглотив пассажиров, и умчался, оставив позади осиротевший перрон. Уже в вагоне электропоезда, покачиваясь на мягкой скамье, неотрывно и жадно глядя в окно на бесконечные леса, одетые в снег, он сожалел, что не мог всецело заполнить этой холодной белой красотой своё сердце, что всё вытеснила женщина с огненными волосами.

Бахтин закрыл глаза и вскоре под мерное покачивание задремал. Он проснулся от резкого толчка и, увидев знакомое здание Белорусского вокзала, схватил портфель и устремился к выходу. В тамбуре вагона столкнулся с женщиной, не глянув на неё, извинился, быстро сошёл на перрон, но какое-то подсознательное чувство заставило его обернуться: он оторопел, потом смешался.

— Здравствуйте, — сказала она, одарив его улыбкой.

— Здравствуйте, — ответил он, не зная, как держать себя с ней, и пошел рядом.

— Куда это вы собрались? — спросила она.

— Домой.

— Как так?! — удивилась она. — Разве ваш срок истёк?

— Срочный вызов.

— Вы же не врач!

— В нашей жизни всякое бывает. А вы... — он осёкся и виновато улыбнулся. — Прошу меня извинить за нескромный вопрос.

— Глупости какие... Не за что. Я приехала в министерство по делам.

Они пересекли шумную площадь и вышли на улицу Горького. Бахтин был счастлив, что рядом с ним идёт женщина, из-за которой он потерял покой и вот теперь уехал; идет она, именно она, в высоких чёрных сапожках, короткой тёмной шубке, опустив руки в карманы. Он видел рядом с собой её прелестный профиль и огненного цвета волосы.

— Хотите, я покажу вам Москву? — неожиданно для себя спросил Бахтин.

Она бросила на него взгляд, полный озорства и лукавства.

— Напрашиваетесь в экскурсоводы? Ну, ну... Показывайте.

— А не утомитесь?

Она отрицательно покачала головой.

— Я не забыл, что вы геолог... просто не хочется

верить, что такая хрупкая женщина может ходить в изнурительные походы... — он посмотрел ей в глаза и впервые за всё время улыбнулся своей щедрой и тёплой улыбкой.

У кинотеатра «Россия» Бахтин остановился и предложил ей сходить в кино.

Потом они обедали в ресторане, после обеда Бахтин повёл её на Красную площадь, рассказал, по чьей инициативе посажены ели у Кремлёвской стены, показал ей гостиницу «Россия» и Зарядье, вспомнив немного истории, затем провёл через Кремлевский двор и Боровицкие ворота на проспект Калинина, блиставший великолепными зданиями. У здания СЭВ он остановил такси, и они поехали на Ленинские горы.

Погода была великолепная, солнечная и морозная, внизу лежала Москва в снежном убранстве, родная и близкая, и Бахтину вдруг показалось, что, уезжая сегодня, он совершает большую, может быть, непростительную, непоправимую ошибку. Но пути к возврату уже не было, и он с тоской подумал, что ему решительно не везет в жизни. Отмахнувшись от мыслей, Бахтин показал своей спутнице университет, объехав его вокруг, затем такси помчалось по Ленинскому проспекту, и только когда выехали к Балчугу, он вспомнил, что спутница еще не побывала в министерстве, а день близится к концу. Она весело рассмеялась над его сомнениями:

— Боже, мне пора ехать обратно, какое уж там министерство. Завтра приеду.

На перроне Белорусского вокзала было шумно и суетно. Бахтин проводил спутницу до дверей второго вагона и тихо произнёс:

— Так я и не успел показать вам Москву.

— Не успели, Яузу и Сосновый бор, Сокольники и дворец Шереметьева, Третьяковку и музей Пушкина, Бородинскую панораму и ВДНХ, аллею Космонавтов и... удивлены? Я же коренная москвичка. Родные живут на Красной Пресне. Вы, может, даже видели моего брата, он несколько раз приезжал ко мне в дом отдыха.

Бахтин укоризненно посмотрел на неё.

— Почему вы меня обманули?

— Не забывайте, что вы сами напросились в экскурсоводы, а я решила доставить вам такое удовольствие. А знаете, я прекрасно отдохнула сегодня, спасибо вам за прогулку.

— Не за что, товарищ москвичка, — Бахтин глядел на неё с какой-то виноватой улыбкой, боясь, что она сейчас войдёт в вагон и навсегда исчезнет из его жизни.

— И всё-таки я геолог, поверьте мне, и живу сейчас в Тюмени. А мы так за целый день и не познакомились? Марина, — она протянула ему руку, потом шагнула в тамбур.

— Саша, — сказал он тихо. — Я все пытался спросить вас и не решался... Если только вы из Тюмени, то должны знать моего друга, Григория Катаева, он тоже геолог... Кстати, и его жену тоже зовут Мариной.

Нахлынули тёплые воспоминания, и он собрался было рассказать о друге, о том, как росли и учились вместе и почему-то с недавнего времени прекратили переписку, но поднял голову, поймал её настороженный взгляд, и в это мгновение, словно не давая опомниться, досказать, двери захлопнулись, вагоны поплыли. И поезд ушёл.

А ночью другой поезд увозил его домой, на юг, к морю.

Прошло два месяца. Образ женщины с огненными волосами стал заметно блекнуть в памяти. Как-то, возвратившись с работы и открыв почтовый ящик, Бахтин обнаружил конверт без обратного адреса, нетерпеливо распечатал его, развернул письмо и первым делом стал искать имя отправителя. Внизу стояло: Марина Катаева. Бахтин углубился в чтение.

«Здравствуйте, Саша! — писала она. — Вы, наверное, иронически улыбнётесь, нет, не можете вы так улыбнуться. Вы улыбнетесь щедрой, доброй улыбкой и вспомните грустную женщину, уходящую по заснеженной дороге. Куда, зачем? Этого не знаем подчас мы сами, и случается так, что уходим от своего счастья. Я не могу забыть дня, проведённого с вами в Москве, ваших глаз, сияющих и счастливых (я так хорошо их видела). Я ещё долго грезила вашей поэзией... Особенно главой «Женщина с севера».

В минуты творческих исканий
Мне, как предвестница добра,
Из пепла всех воспоминаний
Блеснешь ты слитком серебра...

Какие прекрасные строки. Саша, вы так и не спросили меня, почему я ушла в тот вечер...».

Бахтин читал медленно, и какая-то щемящая, раздирающая душу тоска разливалась по телу. Он перечитал письмо, уставился на размашистый и такой знакомый, очень знакомый почерк, задумался, закрыв глаза и покачивая головой, и вдруг разразился хохотом. Бахтин смеялся долго, до колик в животе, а по щекам его текли слёзы, и он не хотел думать, были ли они слезами радости или отчаяния...

Потом взял лист бумаги и крупно написал: «Уважаемый Григорий Григорьевич! Вы по сей день не стали серьезным человеком».

Бахтин не мог знать, что через несколько дней Гриша, добрый милый Гриша получит его письмо из рук Марины, тоже разразится долгим веселым смехом, потом, успокоившись, глянет на свои изуродованные ноги, устало вздохнет и, подтянувшись к столику, размашисто набросает на листе бумаги: «Милый мой Бахтин! Страшно хочу тебя видеть. Приезжай».

МУЖСКАЯ ЛЮБОВЬ

Бушуев сидел у горящего камина, бессильно опустив руки, и глядел на огонь. В ярком пламени чувствовалась неистовая сила, и Бушуев вдруг подумал, устало и бесстрастно, что именно такой силы лишена его душа, наполненная пустотой и безразличием. У Бушуева не было никаких желаний и побуждений, в эти минуты он жил пламенем, полыхавшим в камине.

Болезнь обрушилась на него нежданно, безжалостно скомкав и иссушив. Еще недавно сильный, здоровый пятидесятилетний мужчина был превращен в сухого, равнодушного старика. Если в первые недели Бушуев неистово боролся с болезнью, то теперь полностью уступил ей, отдал себя в ее клещи, поняв бессмысленность и тщетность борьбы. Он чувствовал, как с каждым днем теряет силы и все больше уподобляется мумии. Теперь его даже не трогали и не волновали переживания жены и детей, на лицах которых лежала печать постоянной скорби по родному человеку, уходящему от них.

По натуре он был щедрым, веселым, жизнерадостным человеком, и было у него много друзей. И сейчас они часто навещали его, принося с собой в дом шум, гомон, массу новостей и небылиц, улыбки и смех. Хозяйка бывала рада веселым нашествиям, сознавая, что они скрашивают унылую жизнь Бушуева, но во всем этом веселье чувствовалась боль прощания, боль потери. И Бушуев, как бы ни был он безразличен к себе, своему исходу, был благодарен друзьям. Сегодня Бушуев ждал их к вечеру. Утомившись глядеть в камин, он откинулся удобней на спинку кресла и закрыл глаза.

В доме никого не было: жена приходила с работы к пяти часам, нагруженная кульками и пакетами, а сын и дочь возвращались поздно вечером. Тепло камина приятно растекалось по телу, навевая дрему. Бушуев собирался уже заснуть, когда из-за камина к нему выступил человек с огненно-рыжим лицом, одетый в белое.

«В белом хитоне, прообраз римлянина, — недоуменно подумал Бушуев. — Что это за существо и откуда оно выискалось?»

— Не хочешь ли ты исповедаться, сын мой? — сказал человек в белом.

— Исповедаться? Я? — удивился Бушуев. — Лучше скажи мне, кто ты и как сюда вошел.

— Я тот, кто входит без спроса и разрешения в час нужды и необходимости, кто приносит душе покой и умиротворение, отпуская совершенные грехи...

— Позволь перебить тебя, — сказал Бушуев. — Я никогда, ни минуты не верил в бога и в его существование, не верю и сейчас. И грехов за мной нет никаких, поскольку не совершал их. А если бы и совершил, разве их отпущение что-то значит для тела человеческого?

— Оно облегчает душу, сын мой, и... Ты улыбаешься, ты смеешься над моими словами? Подобает ли тебе в эти минуты роптать на господа, сотворившего тебя? Не гневи его и возлюби посланника его, явившегося облегчить муки и боль твою, сын мой.

— Пошел прочь, — спокойно ответил Бушуев и перевел взгляд на камин.

— Сын мой, каждый человек в час своей смерти исповедуется, один перед господом, другой — перед страхом смерти, третий — перед совестью своей, — че-

ловек в белом присел на пуфик. — Ты видел много смертей и не можешь не согласиться со мной.

— Да, я видел много смертей, — сказал Бушуев,— и не могу с тобой согласиться. Отец мой всю жизнь совершал молитву трижды в день и, умирая, тихо и отчетливо назвал имена всех своих детей и внуков. И знаешь, кого он вспомнил? Не господа, нет, уже закрыв глаза, он чуть слышно выговорил «деде» — мама. И в миг смерти он был благодарен ей за то, что она даровала жизнь.

— Но в мыслях он исповедовался перед господом, сын мой, а мать дарована человечеству господом...

— Не перебивай меня, — нахмурился Бушуев,—ты пришел исповедовать меня, так слушай... О чем я хотел сказать? Да, моя мать всю жизнь жила с именем господа на губах. Она не совершала молитвы, не соблюдала религиозных праздников, просто осеняла все доброе именем господа и ложилась спать с его именем. Он стал для нее своего рода талисманом, которым она думала уберечь семью от бед и невзгод. Но, увы, беды и невзгоды рушились на нас, как гнилые балки: во младенчестве умерли мои братья и сестры, голод и холод надолго поселились в нашем ветхом доме. Или господу было радостью взирать на людское горе?

— Не богохульствуй, — сказал человек в белом.— Помни, что там ждет геенна огненная...

— Вот чем вы пугаете тщедушных, — улыбнулся Бушуев. — Так, о чем я говорил, да, и мать моя, закрывая глаза свои, тихо простонала «деде». Мама. Вот тебе и исповедь моя.

— Неужели тебе больше нечего сказать?

— Когда придет мой час, я скажу то же, что говорили отец и мать.

— И больше ничего? — удивился человек в белом.

— Ничего, — твердо сказал Бушуев.

— А великий грех твой?

— Нет у меня греха.

— Есть великий грех. Женщина, брошенная тобой. Или ты забыл её?

— То великая любовь, которой не понять тебе.

— Любовь? Ты оставил ее, лишил радости, обрек на вечную муку и называешь это любовью?

— Ты не точен, я обрек и её, и себя на муки и радости, а что без них жизнь? Как бочка без вина, как улей без мёда.

— Значит, ты грешен?..

— Разве любить грешно? — перебил его Бушуев, засмеявшись. — Или ты забыл «Возлюби своего ближнего как самого себя»... Да и твой господь разве не питает любовь к роду Адама?

— Ты путаешь любовь духовную и плотскую, сын мой.

— Не будь ханжой, не мне тебя учить, что на плотской любви зиждется род человеческий.

— О господи, прости сыну твоему его прегрешения. И все-таки я утверждаю, что ты совершил великий грех.

Бушуев посмотрел ему в лицо долгим пристальным взглядом, потом задумчиво произнес:

— Великий грех?.. Я виноват перед нею, и нет меры, которой можно искупить вину мою, но это не грех. Муки и радости, которые принесла с собой эта любовь, делали мою жизнь полной, позволяли трудиться и творить, вселяли уверенность в свои силы. В чем моя вина, скажи, какое обвинение ты можешь выставить против меня?

— Две жены, две семьи.

— И ты мне ставишь это в вину?

— Да, сын мой.

— Не зная всей моей жизни? — Бушуев болезненно улыбнулся, задумался, уставившись взглядом в пространство. — Это случилось тридцать лет назад, может, чуть больше. Я отдыхал у моря. В один из дней, когда горячее летнее небо заволокло тучами, мое внимание привлекла девушка, выходившая из воды. Она была очаровательна. Я не смел подойти к ней, она оделась и ушла. На следующий день я пришел к тому же месту в тот же час. Я познакомился с ней лишь через неделю, и мы полюбили друг друга. Уверяю тебя, то было не увлечение, а настоящая любовь. Мы жили вместе как молодые супруги, и, казалось, нашему медовому месяцу не будет конца, но он завершился через три недели, потому что мне надо было уезжать, а она оставалась, не хотела бросать свой дом, море, лес, ей вначале казалось, что все это богатство дороже любви. Мы жили письмами. Они шли каждый день, наконец мы поняли, что нам

нельзя жить друг без друга, мы просто не можем жить друг без друга. Летом мы должны были встретиться, чтобы не расставаться больше никогда.

Но начавшаяся война разлучила нас на долгие годы. В окопе, в блиндаже, в наступлении я постоянно думал о ней, и она стала моей мукой.

После войны я приехал к морю, в ее город, но не мог найти ее. Она не числилась ни в списках живых, ни в списках погибших. Я остался в том городе, чтобы иметь возможность каждый день видеть ее дом. Но однажды... проходя мимо дома, ставшего мне родным и одушевленным, дышавшего ее дыханием, хранившего запах ее волос и звук шагов, я оцепенел. Его разрушали, сносили. Я метался по городу, кричал во сне, плакал у моря, но чем я мог защитить мой ветхий дом, да имел ли право, ведь на его месте встанет другой, красивый... без следов пуль и опалин. Я беззвучно плакал, видя, что дом исчезает, и когда он сравнялся с землей — уехал.

Боль моя не утихала, воспоминания не угасали, жить в одиночестве было невмоготу... Спустя годы я женился на красивой, доброй женщине. Скажи мне, я совершил что-либо предосудительное, недостойное, нечестное или, как ты выражаешься, грешное?

— Нет, сын мой, и все-таки...

— Дай мне досказать до конца. Как-то, отдыхая у моря — я часто проводил свой отпуск в памятном мне городе, — в конце дня я случайно столкнулся с женщиной, которая мне показалась знакомой, очень знакомой, до боли знакомой. И только когда она исчезла в сумерках, я понял, что совершил страшную ошибку, не заговорив с нею. Я приходил к тому месту каждый день, пока, наконец, не увидел ее снова. Я окликнул ее по имени, она застыла, строго глянула на меня изумительными глазами, внезапно закрыла их и покачнулась. Потом, положив голову мне на грудь, она плакала долго, взахлеб. Нет, она не вышла замуж.

— Но почему вы не могли разыскать друг друга?

— Она жила на Урале и после войны долго не хотела возвращаться в свой разрушенный город. Она все же разыскала меня, поздно разыскала и не решилась разрушать семью: у меня уже было двое детей...

— Благослови ее, господь, и воздай ей должное на небесах, — проговорил человек в белом.

— Как мне надо было поступить, что предпринять? Бросить жену и двоих детей я не мог, я был бы мерзок сам себе, но любовь к той, моей единственной и неповторимой, жгла и иссушала меня. Чем я жил все эти годы, можешь ты спросить? Муками и радостями великой любви, тебе этого не понять.

— Господь... — промолвил человек в белом и исчез.

Бушуев открыл глаза, долго глядел в задумчивости в багровое от закатного солнца окно, потом прошел к письменному столу, отпер нижний ящик, вытащил стопку писем и снова уселся в кресло. Он медленно развязал тесемку, перевернул стопку, положил на колени, начав счет от последнего письма, приступил к чтению.

«1 сентября.

Бушуев, я хочу, чтобы ты был рядом, хотя и знаю, что мое желание сейчас неосуществимо. Хочу видеть тебя, слышать тебя, и что удивительно — вижу тебя и слышу. Это ужасно, но я не могу жить одна, мне кажется, что я лишилась самого дорогого и заветного в жизни. Об одном молю — пиши, хочу хоть в письмах чувствовать тебя. Милый, хороший, какой бы я ни была в твоих глазах несерьезной, прошу, очень прошу — приезжай ко мне навсегда. Мы с плюшевым тигром, помнишь, ты купил его мне накануне отъезда, будем очень ждать тебя. Была бы надежда, а женщина ждать умеет.

Будь покоен, целую крепко. Жду письма.»

«4 октября.

Милый, не можешь себе представить, как я ждала, все боялась, что не ответишь. Очень плохо сплю, болит сердце. Милый, не сердись на меня... Вначале я еще думала, что ошибаюсь, но сейчас с каждым днем все более убеждаюсь, что мне очень нужен ты, и никто другой... Мне очень тяжело без тебя. Как увидеть тебя? Я понимаю, что это невозможно, но невозможное еще желаннее... Боже мой, какое расстояние разделяет нас с тобой... Милый, не думай обо мне плохо, да и твой плюшевый тигр постоянно следит за мной, напоминая мне твои умные глаза. Я думаю, что мы с тигром дождемся тебя.

Я сейчас слушаю очень хорошую песню, будто нарочно сложенную обо мне. Почему тот, кого любишь, уходит от тебя? — поется в ней. Почему тот, кого любишь, не отвечает взаимностью, хотя сердце полно им

и живет им? Не уходи, я не верю, что ты найдешь счастье с другой, останься навсегда со мной.»

«3 ноября.

Добрый день, милый Бушуев!

Ты не можешь представить себе, как ошарашил меня телеграммой. Я уже думала, что не увижу и не услышу тебя больше, ведь после того, как я отослала письмо, прошел месяц, тягостный и безответный. Я уже думала, не обидела ли тебя чем-то, и корила себя. И вдруг телеграмма: «Почему не пишешь Не заболела ли жду ответа». Я чуть не заплакала...

Милый Бушуев! Где бы я ни была, чем бы ни занималась, я живу только тобой: никто мне не мил и не дорог.

Милый Бушуев, не можешь ли ты приехать в наши края хоть на день, хоть на час? У нас бабье лето уже прошло, осталась тоска, страшная тоска. Поверишь ли, как-то проснулась среди ночи и вдруг почудилось, что в эту минуту ты не один.

Остаток ночи проплакала...»

«10 декабря.

Милый, добрый Бушуев!

Страшно соскучилась по тебе, целыми днями вспоминаю все, что было между нами, не могу дождаться твоего приезда в Ленинград. Непременно дай знать, обязательно вылечу к тебе. Я так часто думаю о нашей встрече, что даже рисую в своем воображении, как встретимся с тобой.

Милый Бушуев, на дворе осень, мне одиноко, скучно и грустно без тебя, но я надеюсь, что мы будем вместе и никогда больше не расстанемся. Ты у меня все время перед глазами, Бушуев!»

«4 января.

Здравствуй, Бушуев!

Не ожидала я получить от тебя столь «приятное» письмо и, по-видимому, не заслужила его. У меня нет времени выйти на свежий воздух, не то что встречаться с кем-то... Возможно, я неправильно тебя поняла, слишком устала, не столько физически, сколько душевно, но мне кажется, я поняла тебя правильно.

Повторяю, я люблю, я живу тобой. Не в моей натуре жалеть о прошлом, тем более, если оно было так приятно мне, но осталось несбыточной мечтой, отдавшись болью в сердце.»

«1 февраля.

Милый Бушуев, здравствуй!

Очень сожалею, но не было никакой возможности выехать в Ленинград. Я специально работала без выходных, чтобы выкроить несколько свободных дней, но в эту злополучную неделю моей сменщице нужно было поехать к сыну, и мне пришлось работать... Ты, право, жесток. Не мучь меня, пожалуйста, упреками, мне и так тяжко. Я надеялась, что ты хоть на день заедешь ко мне.

Милый Бушуев! Очень прошу, пиши и почаще, письма дают возможность мне слышать тебя и чувствовать.

Добрый, хороший, извини за забывчивость, поздравляю тебя с днем рождения, целую крепко-крепко.

Бушуев, не будь жесток; я не забыла и не могу забыть тебя, очень жду писем, они успокаивают и позволяют надеяться на встречу.»

«2 марта.

Добрый день, Бушуев! Получила ответ, очень рада, что у тебя более или менее все наладилось. Погода у нас стоит скверная: мороз, ветер, сосны гнутся и стонут, море ревёт. Прямо поразительно, что у вас еще нет снега. Холодно, стараюсь быстрее попасть домой. Да и сапоги заказала себе такие, что с трудом натягиваю на капроновые чулки. Как-то надела теплые чулки и не могла снять сапоги, намучилась, прокляла их и себя. Сейчас работаю через день, нечем убить время. Очень хочется иногда сходить в кино, но одной неинтересно. Просиживаю ночи за чтением, посоветуй мне хорошую книгу. Перечитала недавно «Угрюм-реку» и совсем потеряла сон, все что-то мерещится. А до лета еще так далеко...»

«1 апреля.

Добрый день, Бушуев! Очень благодарна за внимание и нравоучения.

Милый мой, я не волнуюсь за твою судьбу, ты взрослый, серьезный мужчина и можешь сам о себе беспокоиться. Пошел ты к дьяволу и не читай мне нравоучений. Я знаю себя, по-моему, лучше и считаю себя более человечной... Не делай мне одолжений, не пиши, если не хочешь, и не надо упрекать друг друга. В каждом из нас есть много хорошего, а при желании можно откопать и плохое. Где-то я прочла,

что человек — это сказка, которая захватывает взрослого, но интересна... только ребенку».

«2 мая.

Здравствуй, Бушуев! Очень, очень буду рада увидеть тебя летом на взморье. Страшно соскучилась и хочу заглянуть в твои большие черные глаза. Целую крепко-крепко и жду письма.»

... Утомленный воспоминаниями и чтением, Бушуев сомкнул веки, собираясь вздремнуть, когда из-за камина вышел человек.

— Исчезнешь ты, наконец, сегодня? — простонал Бушуев. — Оставь меня в покое, я не хочу тебя знать и слушать.

— А ты вглядись в меня, — спокойно ответил гость.

Бушуев нехотя глянул в его сторону и вдруг боязливо съежился: здоровый, атлетически сложенный мужчина был очень похож на него.

— Кто ты? — тихо спросил Бушуев.

— Я — ты, точнее — твой двойник, — гость улыбнулся, это была его, Бушуева, улыбка. — Ну, как ты прожил жизнь свою?

— Ты спрашиваешь меня словно на исповеди, — сказал Бушуев. — Я не собираюсь ни исповедоваться, ни умирать.

— Прости меня, если мой вопрос причинил тебе боль. Я хотел спросить, счастливо ли прожил прошедшие годы, доволен ли жизнью?

— Да, счастлив и доволен, и иной не мыслю себе.

— Чем ты меришь свое счастье?

— Я был нужен людям, мой труд приносил им радость, заставляя их думать, мыслить, делал их добрей, благородней.

— Но одна деталь в твоей жизни смущает меня, да и вряд ли ее можно назвать деталью, она была источником твоего дыхания или, как ты считаешь, мукой и радостью.

— Ах, вот ты о чем... Ну что же, я не виню судьбу в том, что она поступила со мной подло...

— Ты веришь в судьбу? — перебил его гость.

— В судьбу? — Бушуев улыбнулся. — Да, но не в ту, которую якобы ниспосылает господь. Судьба в моем понимании — обстоятельства жизни, ее коллизии...

— Проще, проще, не блуждай в словесных кружевах. Ты веришь в судьбу, — и он захихикал.

По телу Бушуева прошла дрожь, он всмотрелся в гостя и оцепенел: перед ним снова был человек в белом.

— Ты веришь в судьбу, — твердо сказал тот и снова захихикал.

— Нет, — шепотом сказал Бушуев, придя в себя. — В твоем понимании — **нет.**

— Это вы, подобные тебе, придумали понятия с различным пониманием, трактовкой, объяснением, смыслом, чего только не придумали, чтобы как-то смыть грехи свои. И уже забыли, что человек зачат в грехе и рожден в мерзости, путь его — от пеленки зловонной до смердящего савана.

— Человек зачат в великой, всепоглощающей любви, — твердо сказал Бушуев.

— Чего стоит твоя любовь? — человек в белом зло и грубо глянул на Бушуева и осклабился.

— Тебе ли говорить о моей любви, ничтожество, — вспыхнул Бушуев. — Ты червь земли, черная память инквизиции, безропотный раб бесполого господа, что ты можешь знать о душевных порывах, великой скорби, безграничной радости, мужской любви. Ты — невесомое, бездыханное, эфемерное существо, проникающее в тайники человеческой души и смущающее ее, ты не можешь доказать свою любовь к человеку, кроме как заученными фразами о мифическом господе и его владениях, ты никогда не познаешь любовь, тебе суждено плестись за людьми, рыться в их грязном белье и быть оплеванным ими...

— Замолчи, нечестивец, замолчи.

— Ага, испугался? Ты осужден на вечный страх правдой. Но ты никогда не умрешь, ты бессмертен, потому что рожден человеком в минуту его душевной слабости, как джин, вырвавшийся из бутылки... Я устал, исчезни, я хочу уснуть.

— Но прежде ты должен уничтожить письма. Слышишь, жена отпирает двери, не причиняй ей боль, сожги письма, чтобы она не видела их.

Бушуев разлепил тяжелые веки, устало взглянул на письма, собрал их в стопку и бросил в камин. И когда огонь жадно набросился на них, Бушуев резко потянулся, выбросив вперед руку, и тяжело вскрикнул.

Острая режущая боль пронзила сердце, в голову ударила огненная волна, и неистовая сила толкнула

его на спинку кресла, которое, не выдержав удара, опрокинулось с грохотом.

Бушуев лежал на полу, подогнув под себя руку, лицо его было безмятежно и спокойно, можно было решить, что он спит, если бы не струйка крови, вытекавшая из уголка плотно сжатого красивого рта. Губы его чуть заметно дрогнули и застыли...

СТАНЦИЯ «ЩЕРБАКОВСКАЯ»

В это жаркое июльское утро, позавтракав одним из первых, он ушел от приятелей и, сбросив спортивный костюм на землю, расположился на стоге сена. Голова кружилась от запаха сена и земли, он долго наблюдал за движением белоснежных облаков, но скоро это ему надоело, и он спустился на землю, лёг на траву и стал смотреть на темную воду и пышный молчаливый лес, уходивший с противоположного берега вдаль.

По реке скользили лодки, и из них гулко и далеко разносились над водой смех и песни, на золотом пятачке пляжа разливалась музыка, бренчала гитара... Соседи по комнате и корпусу, с которыми он познакомился в первый же день приезда, баловались в воде и звали его к себе, вниз.

Ему хотелось уединения.

Его не отвлекли шорох и шелест, раздавшиеся рядом. Спустя несколько минут певучий женский голос спросил:

— Простите... Вы не из Баку?

— Нет, — неохотно ответил он, не повернув головы.

— Вы такой тёмный, и мне показалось...

— Вы уже определили мой интеллектуальный уровень? — он произнес это с улыбкой.

— Простите, я не в том смысле... Вы очень загорели, нет, впрочем, вообще смуглы. Потому и приняла за бакинца.

Он с самого начала упустил возможность разглядеть её, теперь же повернуться считал неуместным, но по чистому звонкому голосу он определил, что собеседница его юна.

— Значит, вы из Баку, — сказал он.

— Да, родилась в Баку, училась в Москве, потом в Баку. Институт закончила в Москве. Вы в Баку были?

— Был, — нехотя ответил он, — жил несколько месяцев...

— Несколько месяцев? — она засмеялась.

— Мне больше нравятся леса или горы, жить в уединённых местах, в глухих уголках... — ответил он.

— Да-а-а?..

— Там и воздух свежий, и никто не докучает моралью строгой.

— Вы, однако, злой человек, — сказала она.

— К тому же груб и невежествен, — ответил он.

— А мне очень нравится Баку, хотя и живу в Москве, — сказала она с какой-то тонкой, пронизывающей грустью.

— Я так ничего и не понял, — сказал он устало,— то вы бакинка, то вдруг москвичка, извините, не запутались вы в своей биографии?

Она тихо засмеялась.

— Нет, не запуталась. Я бакинка, а живу и работаю в Москве. Вот и вся загадка.

Он перекатился на спину, сел и глянул на собеседницу. Она была так изящна, что он с трудом заставил себя отвести от неё взгляд и внезапно стал перебирать в памяти имена великих ваятелей, создавших шедевры искусства, но ни на ком не остановился. И он заключил, что это творение природы не подвластно человеческому уму и рукам. Её чувственные губы что-то говорили, в карих улыбающихся глазах затаился блеск, она стояла перед ним как статуэтка, и он, поняв, что непростительно долго загляделся на неё, вдруг сник.

И ещё он почувствовал, как тяжело устал, долгое насилие над собой не проходило даром, и душа в нём устала, ибо он заставлял, понуждал её жить в неестественных условиях.

— Вы меня совсем не слушаете...

Он встрепенулся.

— Нет, почему же, я внимательно слушаю... — ответил он.

— Так уж и внимательно... Меня зовут Тамилла.

— Ах, да, простите. Меня Бахтияр.

— Ну вот, — воскликнула она обрадованно, — а говорили не бакинец.

— Южанин, но не бакинец. Открою вам тайну, турок я...

Она весело засмеялась.

Долго и внимательно слушая и не перебивая, он узнал, что собеседница его вот уже несколько лет работает в одном из институтов Москвы, имеет хорошую квартиру в центре города, очень любит плавать в бассейне на Кропоткинской, а ещё любит шампанское... Она рассказывала просто, непосредственно, не делая из своей биографии и увлечений никакой тайны или секрета, говорила долго, он изрядно утомился, выжидая, когда она сделает паузу, сослался на головную боль и, одевшись, ушёл.

Несколько дней он не видел свою новую знакомую. Утром уплывал с приятелями на лодках подальше от дома отдыха и до двух часов грёб. Силе и выносливости его удивлялись и видавшие виды гребцы. После обеда читал неимоверное количество газет. Перед ужином с приятелями спускался в бар: пили пиво и сухое вино, обсуждали различные житейские проблемы, играли в бильярд.

Вечером, наряженные, причесанные и выбритые, приятели растворялись в массе отдыхающих. Густобровый грузин Лаврентий и русоволосый омич Пётр уходили на танцы, грузный пермяк Володя резался в преферанс...

Он уходил в кино или в бильярдную.

Однажды, перед обедом, подходя к бару, он услышал знакомый голос.

— Здравствуй, Бахтияр.

Это была Тамилла.

— Здравствуй, я думал, ты уже уехала.

Он не знал, о чём говорить с ней, и пригласил в бар, но она отказалась.

— Чем ты занимаешься после обеда? — спросила она.

— Поглощаю газетные новости.

— Если ты не возражаешь, мы сходим в лес, по ягоды, ты любишь ягоды?

— Их тоже надо любить? — спросил он, глядя ей в глаза.

Она засмеялась, но в глазах её он прочёл затаенную тихую грусть. Приглашение в лес ошарашило и удивило его. Он не уважал инициативных женщин, но чтобы не обидеть и не показаться в её глазах не-

воспитанным, а вернее, неотёсанным, согласился.

После обеда они встретились на проселочной дороге, улыбнулись друг другу как старые знакомые и направились в лес. Он безуспешно старался предугадать ход её мыслей, поступков... Она казалась ему загадкой, ниспосланной природой. А может, она была данью за бесчисленные дни, проведенные в одиночестве и тоске.

Она углубилась в заросли, нагнулась, потом выпрямилась и поднесла ему на ладони красные ягоды.

— Попробуй малину.

Он не любил ягоды и корректно отказался. Тогда она взяла их двумя пальцами и вложила ему в губы.

— Открой же рот, выпадут. Глупенький, это не отрава. Вкусно?

И когда он утвердительно кивнул головой, предложила:

— Давай искать вместе.

Он чувствовал её близость, запах молодого тела и золотистых волос, видел тонкую шею и влекущие пурпурные губы и напряг всю свою волю, чтобы усыпить своё желание и не оскорбить её. И себя.

Она набрала много ягод. Он расстелил на земле газету и лёг: это было его любимое положение. Она присела рядом и стала просовывать ему в рот ягоды. Потом тихо спросила:

— Почему ты такой грустный?

— Жизнь прекрасна и удивительна,—он хотел перейти на веселый тон, но, глянув на неё, вздохнул: — Жизнь не так весела и прекрасна, Тамилла, как мы стараемся, пытаемся её представить. В ней больше грусти, неосуществленных желаний... Всё дело в том, что люди смотрят по-разному на неё: одни видят её красивой, в радужных цветах, другие—без прикрас... Одни смотрят, обманывая себя, усыпляя, другие — трезво, готовые ко всему...

— Откуда у тебя столько пессимизма?

— Некий мудрец сказал: мы приходим в жизнь, чтобы познать путь в смерть.

— Значит, сидеть и ждать её, отказав себе во всех удовольствиях и благах?

— К чему так утрировать? Мы и в радости, и в горести довольствуемся всеми благами жизни. Просто всё дело в том, что у одних чувство ответственности обострено, другие вообще о нем не задумываются.

Одни трудятся, чтобы оставить добрую память рук своих и мыслей потомкам, другие заняты лишь созерцанием и весёлым времяпрепровождением.

Она опустила свою маленькую ладонь ему на голову и стала осторожно гладить волосы.

— Мне кажется, ты очень одинок, Бахтияр, этим и объясняется обострение чувств, трезвость мысли... Как много седины на висках.

— Я считаю ничтожным человека, который вызывает к себе жалость, — сказал он тихо, и в голосе его появилась резкость.

Она не ответила, а только опустила руку ему на лицо. Он взял её в свои и поднёс к глазам.

— Какие нежные и хрупкие, тебе надо посидеть немного на вёслах.

Она звонко рассмеялась.

— Я уже видела один из уроков гребли. Всего-то полчаса катал меня супруг, а натёр себе кровавые мозоли.

Он почувствовал в груди зияющую пустоту, и ему показалось, что он сможет взлететь как шар в клочок голубого неба, замкнутый кронами сосен.

Она встала, подняла с земли корягу, напоминающую формой револьвер, и прицелилась в него, зажмурив один глаз.

— Вы приговариваетесь к смертной казни.

— Стреляй уж, — сказал он, — хуже не будет.

— Каково будет ваше последнее желание?— губы её улыбались.

— Двести граммов коньяка...

Она опустила «револьвер» и удручённо произнесла:

— Ты обманываешь себя и меня. Подумай ещё минуту... Итак, каково ваше последнее желание? Мы его готовы исполнить.

Глаза её выжидали.

— Сто граммов коньяка...

Она отшвырнула корягу и присела рядом с ним.

— У тебя очень красивые глаза! — сказала она тихо и задумчиво. — Грустные, выразительные, полные мыслей. Они похожи на глаза Антуана де Сент-Экзюпери!

— Тебе стало скучно? — сказал он. — Уйдем отсюда.

— Скучно — не то слово. Меня снедает хандра.

Я очень жестоко мучаюсь, мечусь, ищу разрядки, выхода...

— И давно она у тебя?

— Полгода, — прошептала она.

— Полгода?.. Так долго она не длится. Тебе плохо живётся?

Она не ответила.

Через несколько минут они встали и молча пошли из леса. На просёлочной дороге она положила руку ему на плечо, потом прильнула горячим лицом и прошептала:

— Как не хочется уезжать, Бахтияр, если бы ты знал, как мне не хочется уезжать. Особенно сейчас. Но завтра после обеда надо быть на работе. Ты позвонишь мне завтра домой? — она заглянула ему в глаза и, как ему показалось, прочла всё: и страстное, безумное желание обнять, поцеловать её пунцовые губы, спрятать лицо в её золотистых волосах, поднять на руки и понести по дороге до самого горизонта, и огромную волю, которой он сковал свои желания. — Позвони, пожалуйста, в одиннадцать ночи, я не буду спать.

И она несколько раз повторила семизначный номер телефона.

Вечером Лаврентий с хитрой улыбкой подошёл к нему и заискивающе, с акцентом спросил:

— Брат, ты где был, когда мы спали?

— Когда это вы спали? — он не понял вопроса.

— Когда мы после обеда спали?

— Читал газеты... — ответил он безразличным тоном.

— Видели мы твою газету. Она здесь с мужем отдыхает... а ты её в лес приглашаешь на прогулку? Хитрец!..

— С мужем?.. А кто её муж?

— Слава, баскетболист... Ах, хитрец!

Бахтияр знал Славу. Это был высокий, стройный, красивый грузин, очень скромный и тихий, даже ходил незаметно и стеснительно.

Лаврентий обнял его за плечи и произнёс:

— Ты ни в чём не виноват, у них что-то не ладится. А Тамилла изумительная женщина... И, как мне кажется, влюблена в тебя. Ну, как в лесу?

Он не удостоил Лаврентия ответом и, разбитый,

опустошенный, усталый, пошел спать, но ещё до поздней ночи ворочался в постели.

Воскресным утром Тамилла уехала. Провожал её супруг.

Вечером, в одиннадцать часов, Бахтияр опустил в телефонный аппарат пятнадцать копеек, поднял трубку, набрал семизначный номер... Он весь день заставлял себя забыть о ней, уверял себя, что не будет и не имеет права звонить, но какая-то неодолимая сила влекла его к телефону, и он еле дождался условленного часа.

— Я слушаю... Алло... Я слушаю... — в трубке раздался звонкий, ясный голос Тамиллы.

— Добрый вечер, Тамилла...

— Кто это, а, Бахтияр, здравствуй! Бахтияр, как ты прожил день?

— Плохо, твоя хандра передалась мне...

— Что ты, глупенький, всё время тоскуешь, будь немного жизнерадостнее, смелее...

— А мне сейчас стало еще горше, понимаешь, Тамилла...

— Ты думаешь, мне легко, если бы ты знал мою жизнь, Бахтияр... Как мне не хотелось уезжать из дома отдыха, особенно после нашей прогулки...

— Тамилла, извини меня за звонок, супруг твой, наверное, дома.

— Он в доме отдыха. Ты разве не знаешь его?

— Нет, не знаю, — прохрипел он.

— Я хотела тебя пригласить, да вот, понимаешь... У меня сейчас гостит подруга, приехала с мамой. Может, мы пойдем в кафе «Москва»?

— С удовольствием, Тамилла...

— И пригласим с собой Наташу.

— Кто такая?

— Подруга моя, та, что приехала...

— Думаю, она нам только помеха...

— Ну, ты о чём, Бахтияр... Как тебе не совестно... Так пойдём вдвоем в бассейн на Кропоткинской...

— Тамилла, я люблю уединенные места, а эти бассейны...

— Слушай, — перебила она его, — подруга уезжает с мамой в пятницу утром. Приезжай ко мне часам к пяти вечера, нет, в шесть. Доедешь до станции метро «Щербаковская»...

Она несколько раз повторила название улицы, номер дома, квартиры, но он запомнил с первого раза.

— Спокойной ночи, Бахтияр, не хандри, прошу тебя, приезжай ко мне весёлым, без грусти, понял? Спокойной ночи, до завтра, позвони в одиннадцать.

В следующий вечер он позвонил в условленный час, а в среду после завтрака вдруг почувствовал неодолимое желание пройтись по Москве. Быстро, второпях оделся и сел в автобус к экскурсантам, ехавшим на Выставку достижений народного хозяйства. Весь путь до Москвы, а он длился полтора часа, Бахтияр провел стоя, но совершенно не чувствовал усталости в ногах; вот только страшно гудела голова от непрекращавшихся песен, смеха и визга пассажиров. На Калининском проспекте он попросил шофера остановить автобус, выскочил на улицу и облегчённо почувствовал, что окунается в вязкую тишину, хотя улица бурлила людским потоком. Он прошёл проспект, вышел на Манежную площадь, поднялся по проспекту Маркса до «Детского мира» и вошёл в телефонную будку.

Набрав номер, он не думал, не верил, что на другом конце провода кто-то его сейчас, в полдень, может услышать. Не верил и потому бессмысленно прислушивался к долгим гудкам и смотрел на улицу.

— Алло. Я вас слушаю...

В какие-то доли секунды он почувствовал себя несчастным, нашкодившим ребёнком, который в таких случаях пытается скрыться, он уже готов был опустить трубку на рычаг, когда вновь вырвался из мембраны её голос:

— Я слушаю, кто это?

И он тихо проговорил:

— Это я, Тамилла, добрый день.

— Кто это? Бахтияр, ты? Боже мой, как ты очутился в Москве? Так внезапно, не предупредив меня? Где ты сейчас находишься?

— Я просто соскучился по Москве, Тамилла, одичал совсем в своём лесу.

— Где ты сейчас находишься, Бахтияр?

— В телефонной будке на площади Дзержинского. Любуюсь москвичами.

— Ты сможешь подъехать к станции «Щербаковская»? Боже мой, почему не предупредил меня вчера вечером... Мне через час надо быть на работе... Как же ты мог так...

— Я совершенно не думал ехать сегодня в Москву, Тамилла...

— Не теряй времени, Бахтияр, приезжай, я жду...

Он вышел на станции метро «Щербаковская» через восемнадцать минут. В костюме кремового цвета, изящная, Тамилла стояла у входных дверей. Увидев Бахтияра, она подбежала, протянув обе руки, уткнулась лицом ему в грудь и горячо зашептала:

— Что же ты так внезапно, глупенький...

Он не ожидал такой встречи, был сбит с толку, взял было её за плечи, но она пришла уже в себя и, отстранившись, спросила:

— Ну, как живёшь в своём лесу? Опять в уединении или уже нашёл подруг, с которыми делишь время?

— Похож на такого?

— Я шучу, не сердись... Как я хотела тебя видеть, если бы ты знал, — сказала она тихо.

— Я тоже, — проговорил он.

Они сели на скамейку, долго молчали, потом она сказала:

— Мне через двадцать минут надо быть на работе, Бахтияр. Ты, наверное, уедешь... Мои гости ещё не отбыли... Позвони мне вечером, хорошо? В одиннадцать часов. Я буду ждать. А сейчас проводи меня немножечко, ты ведь не торопишься никуда?

Она взяла его под руку, и они вошли в людской уличный поток. На Колхозной площади он посадил её в троллейбус, с неосознанной щемящей болью в сердце улыбнулся её лучезарной улыбке, долго еще смотрел вслед троллейбусу и бессмысленно пошёл по Садовой.

Теперь после каждого звонка ему становилось легко и светло на душе, удивительно легко и светло, чего он давно не ощущал и не испытывал. Образ Тамиллы, живой, очаровательный образ, стоял перед его глазами, и ему казалось, что он давно не знает одиночества.

В пятницу, когда все отправились на реку, он побрился, принял горячий душ, надел серый костюм, обул начищенные до зеркального блеска туфли и пошёл на станцию. Через полчаса электропоезд уносил его в Москву.

В четыре часа он был на Белорусском вокзале, самом уютном, чистом, аккуратном, как казалось

ему, спустился по улице Горького до проспекта Маркса, постоял на перекрестке, любуясь красивым сочетанием архитектурных стилей гостиниц и административных зданий, купил в гастрономе бутылку дагестанского коньяка, шампанского, коробку шоколадных конфет, потолкался ещё некоторое время в толпе москвичей и спустился в метро. Ровно без двадцати минут шесть он вышел из станции «Щербаковская». Дом, в котором жила Тамилла, стоял рядом, за станцией, и он решил это время выждать. Глядел на двенадцатиэтажный дом, похожий на башню, с той лишь разницей, что башня неприступна, а здесь все двери и окна открыты перед тобой, и представлял, что на седьмом этаже, за каким-то из этих окон ждёт Тамилла... Он стал уже рисовать своим неуёмным воображением её квартиру, уютную и тихую, ощущать и чувствовать её взгляд и нежное прикосновение рук, её ласки...

Внезапно к горлу подкатила тоска, такая острая и пронизывающая, что он почувствовал себя одиноким человеком, выброшенным в бурлящий, не знающий и не ждущий тебя людской поток. Вспомнил его, высокого, тихого и скромного супруга, с кроткими, опущенными глазами, тёплая волна ударила в лицо; волна стыда. Но чем я виноват перед ним, подумал он, я не разрушал семью, не обхаживал супругу и не завлекал её разными глупостями и побасенками. И что от того, если я посижу час-другой у неё... У неё? Но ведь это и его квартира, она вобрала в себя его тепло, его запах, глядит его глазами... Нет, дело даже не в том, совсем не в том...

Он мужчина, такой же, как и я, и я не могу, не хочу унижать достоинства этого мужчины.

Он посмотрел на свои запыленные за день туфли, поправил сползающий галстук, ещё раз окинул взглядом все окна, надеясь увидеть знакомое лицо, тяжело глотнул, силясь продавить, протолкнуть ком в горле, и медленно, с замиранием сердца пошёл от станции «Щербаковская» к Колхозной площади.

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА ГОРИНА

До отправления поезда оставался добрый час, и чтобы скоротать время, инженер Горин зашёл в железнодорожный ресторан. В зале было накурено, он приметил свободный столик в дальнем углу, у окна, открыл форточку и уютно расположился в кресле. Заказав молоденькой быстрой официантке бутылку пива и порцию шашлыка, он стал смотреть на посетителей ресторана, потом вспомнил Светланку, оставленную у сестры, представил, с каким нетерпением она ждёт сейчас полюбившиеся ей мультфильмы, да так полюбившиеся, что ничем не оторвешь от телевизора, смутился от острого взгляда буфетчицы, поняв, наконец, что он адресовался ему, но в это время подошла официантка с заказом, и он принялся за шашлык.

Горин был не из робкого десятка, и смутить его было не так-то просто, но под наглым, вызывающим взглядом он терялся, как ребёнок. И сейчас он ел горячие вкусные куски мяса и запивал их холодным пивом, не поднимая глаз. Когда Горин допил второй стакан и, медленно подняв голову, глянул в сторону буфета, он увидел женщину, стоявшую к нему вполоборота и заслонявшую буфетчицу. Её тонкий изящный профиль чем-то ему показался знакомым, он стал рыться в памяти, но тут женщина вышла, и взгляд буфетчицы, уже насмешливый, снова заставил его опустить голову. Стало скучно и душно. Он вдруг вспомнил, что на поезд должна быть объявлена посадка, расплатился с официанткой и вышел на улицу. Свежий воздух, шум и суета вокзала вернули ему бодрость, и он принялся гулять по перрону вдоль состава, удивляясь и улыбаясь суетливым хлопотам людей, которые прощаются перед дорогой, словно навсегда. Он шел медленно, нарушая обычный ритм перрона, его задевали, толкали, бросали на него осуждающие и гневные взгляды, но он улыбался и радовался тому, что вокруг него бурлила жизнь.

Горин поднялся в вагон, когда в репродукторе заскрипел простуженный голос, неясно кому принадлежащий: мужчине или женщине, и объявил об отправке поезда.

Войдя в купе, он увидел у окна женщину. Она обернулась на стук двери, коротко и быстро взглянула на

него, и он узнал в ней ту, стоявшую вполоборота у буфетной стойки ресторана.

— Добрый вечер, — сказал Горин, поднимая саквояж на верхнюю полку.

Женщина кивнула изящной головкой, потом присела на полку и уставилась в удаляющееся спокойное море.

«С соседкой мне не повезло, — подумал Горин, выходя в коридор, — неразговорчива, как концертная афиша, хотя, право, мила...»

Общительный по натуре, он везде умел сколотить весёлую компанию, помогая людям забывать на время разницу в рангах и в занимаемом положении. За какие-то несколько минут Горин собрал в соседнем купе, благо там были одни мужчины, веселую команду доминошников, а в дверях вымучивали время желающие сразиться в очередной партии.

Конец игре положила пожилая добродушная проводница, разогнав всех по своим местам. Был второй час ночи.

Когда Горин вошёл в купе, соседка спала. Он подтянулся на свою полку, разделся при тусклом фиолетовом свете и накрылся простыней. Всё это он проделал тихо, осторожно, чтобы не потревожить ее. Мерно стучали колёса, кто-то за перегородкой храпел, и он перевернулся на живот, чтобы заставить себя уснуть. Взгляд его снова упал на соседку, на её лицо, полуоткрытые губы, и он вздрогнул от шальной мысли и постарался прогнать её прочь.

Горину показалось, что он узнал её; только ей мог принадлежать столь чёткий, отточенный профиль, но он тут же подумал, что из двухсот пятидесяти миллионов несколько десятков или просто несколько человек вполне могут позволить себе быть похожими. Однако воспоминание нахлынуло, а вернее, шагнуло к нему грубо и бесцеремонно, увело его в то далёкое, которое называлось юностью и отделяло его от этой ночи пятнадцатью годами.

Горин ясно представил августовский день, когда он плыл в лодке по реке. Дышалось легко и свободно, и приятно было сознавать и чувствовать, как его молодые, сильные руки подчиняли своей воле лодку, несли ее против сильного течения. На жёлтом песчаном берегу он увидел девушку и весело окликнул:

— Не скучно, русалочка?

Она не откликнулась. «Гордячка», — подумал он, проплывая мимо. Потом вдруг причалил к берегу, выпрыгнул из лодки и подсел к ней. Он старался вызвать ее на разговор, задавал вопросы и сыпал остротами, а в мозгу шевелился вопрос: почему? Что толкнуло его к ней, сюда, почему он превратился в балагура? Одиночество? Она сидела, отвернувшись от него, потом, наконец, улыбнулась его шуткам и нехотя, без желания согласилась покататься.

Она сидела на корме тонкая, стройная, ладная и как-то строго и пристально глядела на него.

— Что ты смотришь синими брызгами? — спросил он, улыбаясь.

— А вы не тыкайте, — отрезала она негрубо.

— Привычка детства, — он не обиделся и продолжал улыбаться. — А вы не боитесь, что я увезу вас далеко, далеко...

— Не боюсь.

— И сделаю вас владелицей сказочного лимана...

— Не боюсь.

— И будете жить со своим сказочным принцем у синего моря, радоваться жизни и растить детей.

— Боюсь, что поплывёте не дальше острова.

— Кстати, он называется островом Любви.

Она удивлённо подняла брови.

— Да, не удивляйтесь. Было это сотни лет назад. Двое влюбленных, скрываясь от погони родителей и их свиты, заплыли на этот необитаемый остров и затаились, не подавая никаких признаков жизни. Более недели вокруг острова велись поиски, река в те времена была многоводной и бурной, никому в голову не пришла мысль, что они могли добраться до острова. Так и остались юноша и девушка навечно на острове, а из плоти их выросли ивы и камыши.

Она слушала его, глядя изумленными глазами, потом звонко расхохоталась:

— Ну и выдумщик же вы. Наверное, будущий писатель?

— Нет, будущий инженер.

Потом он лежал на песчаном полуострове, блаженно отдыхая, а она сидела рядом и, обхватив колени руками, смотрела куда-то вдаль, где простирались леса, а за ними голубой горизонт.

С этого дня они стали бывать вместе. Он мог часами слушать её, не перебивая, мог часами идти рядом или сидеть, и ему казалось, что все двадцать лет вот так рядом шла, была, дышала она. Ночью он долго не засыпал, перебирая в памяти события дня, а когда незаметно смыкались утомлённые веки, являлась она, и он снова жил ею. Во сне.

Накануне отъезда с турбазы они вновь посетили остров Любви. Был жаркий день, раскалённое небо накалило не только воздух, но и золотой песок, по которому они осторожно ступали, пробираясь к ивам. Улегшись в тени, он долго и пристально смотрел на неё, тихо позвал, взял за руки и привлек к себе.

Потом они лежали рядом и говорили о будущем.

Ранним утром они выехали с турбазы, целый день бродили по улицам города, старинным, сохранившим следы и отпечатки минувших веков, и новым, одетым в бетон и стекло высотных зданий, посидели в тихом, уютном ресторане, а на исходе дня он проводил её. На перроне они поцеловались, не смущаясь взглядов пассажиров и провожающих, и она зашла в вагон. Потом она появилась у своего окна, заплаканная, закрывая тонкой ладонью рот. Что-то вдруг подхватило его и бросило к дверям вагона, в коридор, в купе, к ней, но она вытолкала его в коридор и заставила спрыгнуть на перрон, и только тут он заметил, что поезд стал набирать скорость.

Они переписывались регулярно, потом он уехал на преддипломную практику, попал в аварию и более трех месяцев пролежал в больнице и еще месяц в санатории. Уже из санатория, с большим опозданием, он отправил ей письмо, полное любви и тревоги за неё, и через несколько дней получил его обратно с извещением, что адресат в данном городе не проживает. Беспокойство, отчаяние охватило его. Он списался с её институтом, узнал, где она работает, но ответ его не утешил: её там не было. Его вдруг осенила мысль, что она может быть в его городе, но вернувшись из санатория, понял, что её не было и здесь, лишь стопка писем, хранимая товарищами, аккуратно лежала в тумбочке.

И он сделал последний и окончательный вывод: она разуверилась в нем и надеется забыть его и обрести покой. Если только он возможен.

Она ещё долго жила в его памяти и потом погасла.

Спустя несколько лет он женился, но семейное

счастье сопутствовало ему недолго: жена умерла во время родов, и вся забота по воспитанию девочки легла ему на плечи.

...Горин проснулся внезапно.

Было позднее утро. В полуоткрытое окно врывался свежий воздух и ослепительный искристый сноп солнца. Соседки в купе не было, он быстро оделся, прихватил мыльницу и полотенце и вышел в коридор. Очереди, против ожидания, у туалета не было, и он долго обливался холодной водой, пока нетерпеливый стук не напомнил, что он находится не в своей квартире. Вернувшись в купе, Горин увидел соседку сидящей у окна, поздоровался и тут же загадал: если не ответит — он больше не обмолвится с ней ни словом. Но она ответила, потом взглянула как-то осторожно, и её взгляд снова напомнил ему что-то далёкое, давно забытое. Внезапно помутнело в глазах, на какой-то миг закружилась голова. «Не может быть, — сказал он себе, — не может быть. Да и по тому, как я безразличен ей, как она холодна со мной, можно судить о том, что она не знала и не знает мою особу. Но этот профиль... Конечно, из двухсот пятидесяти миллионов несколько десятков или просто несколько человек могут быть похожими. И всё-таки этот профиль очень знаком».

Горин сел напротив и обратился к соседке:

— Едем со вчерашнего дня и ещё не познакомились; в дороге бирюками быть не подобает.

Соседка, не оборачиваясь, улыбнулась.

— Далеко едете? — спросил он снова.

— До конца. И еще три часа.

— Не так далеко, конечно. А мне совсем близко.

Она вопросительно глянула на него.

— До Ростова, — пояснил он.

Замолчали. Молчали долго, и Горину казалось, что молчанию этому не будет конца, и он сейчас встанет, выйдет и больше не покажется в купе до самого Ростова, но вошла проводница, предложила чай, тут же появилась буфетчица с корзиной, наполненной разной снедью. Он купил ветчину, колбасу, булок, всё это разложил на столике, разлил в чашечки из фаянсового чайника чай и пригласил соседку к завтраку.

Она вежливо отказалась, потом, уступив его настоятельным просьбам, достала из сумки сверток, вы-

ложила на столик варенье, яички, масло, сыр и опять улыбнулась:

— Вы очень искусно и умело сервируете стол. Наверное, работаете в системе общепита?

— Вы угадали, но небольшого.

— Кафе?

— Семейного. Состоящего из двух человек: меня и дочурки.

Она попыталась заглушить смех, захлебнулась чаем, долго кашляла, вытирая слёзы с лица, потом тихо, сорвавшимся голосом произнесла:

— Шутник!..

Он не стал разубеждать её, поскольку не видел в этом необходимости, представил свою Светланку, неожиданно почувствовал тоску по ней и с какой-то усталостью в голосе произнес:

— Как осточертели эти командировки...

— Просто вы, наверное, по ком-то скучаете, — сказала она.

— Да, вы правы, по Светланке. Когда я уезжаю из дому и, казалось бы, окунаюсь в свободу, мне недостаёт хлопот, забот о ней, — он тихо засмеялся. — Я ведь не только папа, но и мама...

Она удивленно глянула на него.

— Когда я купаю её, она называет меня мамой, а если мы отправляемся погулять, в кукольный театр, на детскую площадку, я — папа. Вообще при людях в любом случае я — папа... Иногда приходится удивляться культуре поведения маленького человека.

— Сколько ей лет? — спросила она.

— Пять.

— Немного поздновато женились.

— Думал сначала крепко стать на ноги, выйти в люди. — Он не мог раскрыть попутчице свою сокровенную тайну, не мог сказать, что искал, ждал первую любовь, но она затерялась на необъятной земле, исчезла, ушла, «как с белых яблонь дым», оставив в его душе рану от сознания своей вины перед ней.

— У меня тоже растет девочка пяти лет, — сказала она тихо, глядя в окно. — Дети — это наша радость...

— Позвольте сделать нескромное замечание — вы немного поздновато вышли замуж!

Она улыбнулась.

— Мстите? Решила крепко стать на ноги, выйти в люди.

Они засмеялись.

— Вы так и не скажете, где живете?

— В квартире, конечно, не на улице, и в лучшем городе России, — сказала она.

— В Ярославле?

Она удивленно подняла глаза.

— Вы знаете?

— А что тут сверхъестественного? Ярославль и есть лучший город по красоте, чистоте и благоустройству. Чего вы испугались?

— Вашей осведомлённости.

— Ну, я не маг, не факир, не кудесник. Просто страшно люблю поглощать газеты. Как вы относитесь к периодической печати? Уважаете?

Она долго не отвечала, потом осторожно глянула на него и произнесла:

— Я сама работаю в газете.

— Значит, вы журналистка. А я инженер. Вот, наконец, и познакомились, не называя фамилий. А знаете, я так привык к мелким работам по хозяйству, что не мыслю уже себя без них. И Светланка смеётся надо мной: «Ты, — говорит, — папа, как настоящая мама варишь борщ». Влез я, одним словом, в женский халат и понял, что он удобен, более того, без него неуютно и холодно.

— А я в роли папы уже несколько лет, но, признаться, мне моя роль почти не удается.

Горин не стал спрашивать, почему она осталась без мужа, мало ли причин бывает для развода, мало ли несчастий подстерегает человека на каждом шагу, а лишь тяжело вздохнул и проговорил, обращаясь больше к себе, чем к собеседнице:

— Жизнь иногда бывает очень сурова, и именно к тем, кто любит её, жизнь. Где-то в юности делает подсечку, в молодости ударит в спину, а дальше глядишь — свалит с ног, разобьет в кровь нос, помнёт, изваляет, и как ни старайся храбриться, ты чувствуешь, сознаешь, что подмят, потрёпан, помнишь хлёсткие удары, нет-нет, да вздрагиваешь иногда, осязая боль... Ну, не буду вам мешать своей мрачной философией, отдыхайте.

Горин вышел в коридор, плотно закрыл дверь в купе и, чтобы развеяться и забыть хоть ненадолго попутчицу, лицо которой ему навязчиво что-то напоминало, заглянул к соседям. Здесь бесшумно резались в карты.

Он подключился к игре, пытаясь забыть и свою собеседницу, и недавний разговор с ней. Через несколько минут его поглотил азарт, и только когда поезд почему-то резко остановился и в коридоре стало шумно, а пассажиры стали часто произносить слово «Ростов», он вдруг спохватился, заскочил в своё купе, быстро причесался, завязал галстук, подхватил саквояж и, простившись с попутчицей, вышел на перрон.

Было жарко, от вагонов к лоткам и будкам бежали пассажиры, в воздухе звенели голоса мороженщиц, но почему-то тут же объявили об отправлении поезда. Очевидно, он запаздывал, и люди устремились к своим вагонам, словно пчёлы к ульям. Поезд бесшумно и плавно тронулся. Горин обернулся к своему вагону, увидел попутчицу и оцепенел. Она стояла у окна и, прикрыв ладонью рот, неотрывно и пристально глядела в его сторону, на него. Ноги Горина не подчинялись ни воле, ни разуму, словно вросли в землю, и вдруг в его голове вспыхнула мысль: она, это она... И когда мимо пронёсся последний вагон, какая-то сила толкнула его в спину, он было побежал, но было поздно.

Горин долго глядел вслед поезду, потом пошёл в город.

Он уже знал, он твёрдо знал, что встретится с ней.

Так уж устроен человек: со временем забывается самое дорогое, самое бесценное для него существо, если его надо забыть, но в тайнике души хранится воспоминание о нем, казалось бы, давно погасшее, давно нетлеющее. И в доли секунды оно может ожить, вспыхнуть с новой, невиданной силой, и уже не погаснет до окончания жизни.

УЩЕРБНЫЙ ДИСК ЛУНЫ

Муртуз стоял у мельницы и вслушивался в тяжелый утробный гул каменных жерновов. Из маленького оконца доносился запах свежемолотой муки.

Стояла осень. Вершины гор венчали снежные короны, а здесь, в низине, еще было тепло: грело солнце, багрянец не успел тронуть густые сосновые и березовые леса, в воздухе остро пахло хвоей и сырой землей.

Муртуз долго и задумчиво глядел на аул, располо-

жившийся в лощине между двумя горами, на большой фруктовый сад, заложенный в память о погибших, затем медленно — руки за спину — пошел к аулу.

В центре аула он остановился перед гранитной глыбой. На отшлифованной стене были высечены имена и фамилии... Их было много. У Муртуза зарябило в глазах.

Внизу, из гранитной тверди, по выбитому желобу стекала родниковая вода и уходила в землю, в невидимую щель.

Муртуз направился к годекану. Поздоровавшись со стариками, присел на гладкий, нагретый солнцем валун.

— Пришел прощаться, Муртуз? — спросил седобородый старец.

— Да, прощаться — вздохнул Муртуз, — приходится ехать с сыном к морю... Сердце разрывается. Как представлю, что больше... — суровое, мужественное лицо Муртуза дрогнуло. Он прошептал: «Братья мои, братья...»

— Не печалься, уста Муртуз. Вон какую память ты оставил детям нашим, внукам и правнукам... Стоять ему, скажу я тебе, вечно. А с сыном ехать надо. Да и далеко ли едешь? Раньше до моря на ишаке или арбе и за месяцы не добирались, а сейчас что... Аэроплан или эта стрекоза за пятьдесят минут привозит.

— Да, — хрипло проговорил черноволосый хмурый горец... — Пятьдесят минут. Пока пропустишь через жернсва шесть мешков зерна, можно слетать в Махачкалу и обратно. Вот как время обернулось.

— Им спасибо, — сказал старец, взмахнув посохом в сторону памятников. — Помнишь, Муртуз, гражданскую, когда выбивали бандитов Нажмутдина? Ты был худой, хрупкий в ту пору, совсем мальчишка, а дрался как настоящий горец. Уже тогда ты показал большое мужество. Если бы не удар твоей шашки, лежать бы сейчас костям Махмуда в земле.

— Да, верны твои слова, Шамиль, — сказал тот, которого звали Махмудом, — смерть уже глядела на меня из черного глаза винтовки.

— Много полегло тогда ребят, — сказал задумчиво Муртуз.

— Шестьдесят,—отозвался коротко кто-то. — Шестьдесят несчастных.

— Почему несчастных? — спокойно, но твердо произнес Шамиль. — Храбрецов. Героев. Ты помнишь Гази-

чекиста? Разве такого можно назвать несчастным?

— Гази-чекист воевал в Отечественную...

— А разве те шестьдесят уступали в храбрости и чести Гази-чекисту? Время разное, а подвиги одинаковые. Ты видел когда-нибудь, чтобы тур повернулся задом к волку? То-то. Дети наших матерей не рождаются трусами.

— Умно ты сказал, Шамиль,—произнес рыжебородый Булат, загорелое лицо которого сплошь было покрыто оспой. — Не знаю, кто как, а я не могу без боли в сердце смотреть на наших женщин, когда собирают фрукты. Они разговаривают с деревьями, как с живыми.

— Гази-чекист, — произнес задумчиво Шамиль. — Человек-легенда. Вы помните его?

— Как не помнить? — дружно ответило несколько голосов. — Могучий был человек.

— Да, могучий, — подтвердил Шамиль. — Когда Хадиял-хан со своими бандитами подстерег и убил младшего брата Гази-чекиста, последний дал клятву отомстить. Бандит узнал о клятве Гази-чекиста, и случилось так, что они встретились в лесу: громадный и тяжелый, как медведь, Хадиял-хан и Гази-чекист. Гази-чекист выхватил было револьвер, но тот хладнокровно остановил его:

— Меня убить ты сумеешь в другой раз. Опусти игрушку и не делай глупостей. Знай, что во мне говорит намус горца: в твоем роду не осталось мужчин, ты должен продолжить его. Только уговор: не преследуй нас.

— Отстать от вас, чтобы вы ночью, тайком, как волки, душили и уводили овец и коз, отбирали последний кусок хлеба у крестьянина и отсиживались в пещерах? И ты еще смеешь говорить о намусе горца? Нет его у тебя. Не будет тебе пощады, Хадиял-хан, как нет сейчас покоя от проклятий вдов и матерей, потерявших мужей и сыновей своих. Я все равно убью тебя.

Хадиял-хан ничего не ответил на слова Гази-чекиста, хмуро улыбнулся и ушел со своими бандитами в лес.

— Было это, — задумчиво проговорил Муртуз, стиснув громадные кулаки на коленях.

— И они встретились, — продолжал Шамиль.—Помните, как мы окружили банду и уничтожили ее? Жаркий был бой, что там жаркий — страшный. Немало наших мужчин полегло. Погиб и Гази-чекист. Он столкнулся с Хадиял-ханом на поляне, когда затихал бой. Выстре-

лили оба одновременно, и оба не промахнулись. Но Хадиял-хан еще долго корчился от боли и стонал, умоляя пристрелить, а Гази-чекист лежал спокойно, будто уснул.

— Могучий был человек. — сказал Муртуз, играя желваками.

— ... А если ты настоящий горец, проскачи по той тропе, не пожалею своего коня, на, бери, — нарушил установившуюся было тишину громкий голос.

Сухощавый, жилистый горец спрыгнул с разгоряченного коня, постоял, пошатываясь, в окружении ребят и тяжело сел на лежавшее у стены дома бревно.

— Ну, кто настоящий горец? Перевелись, ха-ха-ха...

— Карбуц, не продашь коня? — спросил юный голос.

— Продам.

— Дорого просишь?

— Почему дорого? Восемьсот рублей, хорошему человеку уступлю за шестьсот.

— Карбуц опять пьян,—проговорил Шамиль.—Трезвый он никому не дает своего коня, а сейчас кто угодно может его оседлать. Добрый конь у него, умный, много раз из беды выручал.

Конь с молодым наездником в седле, храпя, помчался по улице вниз.

Муртуз поднялся, медленно подошел к Карбуцу и присел рядом.

— Продаешь, я слышал, жеребца?

Карбуц растянул в широкой улыбке рот: от него разило водкой.

— Тебе продам за шестьсот рублей.

— Не продешевишь?

— Нет, я знаю, кому продаю. Шестьсот, по рукам?

Он протянул тонкую и похожую на кору руку, но собеседник осторожно отстранил ее.

— Ты не хочешь? Брат, это же не конь, это... Это огонь, скажу я тебе, клянусь моими детьми, огонь, редкий горец имеет сейчас такого коня. Попробуй поскачи на нем, я прошу тебя. Вот и он... Я прошу тебя...

Юноша соскочил с коня и многозначительно поцокал языком.

Каурый, тонконогий конь, кося глазами, нетерпеливо бил по камню и, довольный, храпел. Его горячие бока лоснились. Муртуз провел рукой по его шее: рука была тяжела и ласкова. Внезапно одним махом вскочил в седло. Конь под ним заплясал, заржал радостно, тепло, словно обрадовался наезднику. Муртуз взял в руки повод и, резко пришпорив, пустил его с места в карьер. Он проскакал мимо мельницы, пролетел по бревенчатому мосту и устремился на тропу. Муртуз чувствовал себя молодым. В ушах свистел ветер, в груди колотилось сердце, и, казалось, конь чувствовал настроение наездника.

Когда Муртуз вернулся, Карбуц вскочил с места, воскликнул:

— Муртуз, заклинаю Аллахом, бери, он твой, он рожден для тебя, за пятьсот бери...

Муртуз спрыгнул на землю, передохнул и, обняв за плечи Карбуца, улыбаясь, произнес:

— Доброго друга никому не смей продавать. Ему нет цены. Если даже не на чем спать и укрыться нечем, пусть у изголовья посапывает он.

— У меня все есть, Муртуз, кто в наше время плачет о бедности...

— Я не о бедности, — засмеялся Муртуз,—ты не понял меня. Ну, что ж...

Он пожал плечами и пошел вниз по улице.

Спускались сумерки. В печальном небе тускло поблескивала луна.

— Ущербный диск, — задумчиво произнес Муртуз. Да, жизнь напоминает луну, которая по неписаным законам Вселенной уходит на убыль. Луна тает и исчезает с небосвода, а я ухожу в небытие. С той лишь разницей, что луна вернется, а я нет. Неужели от меня ничего не останется этой земле... Не может того быть.

Муртуз достиг перевала, остановился, передохнул. Здесь было еще светло и прохладно. Перед ним задумчиво и величественно стояли горы. Далеко внизу, в лощине, лежал аул. В его домах зажглись огни.

Внезапно Муртуз обхватил руками ствол сосны и застонал.

— Не хочу... не могу уехать, — прошептал он, — здесь моя жизнь, мои братья... друзья... Нет.

По его скуластому широкому лицу сбежала слеза, потом другая. Вокруг не было ни души. Лишь в небе висела бледная луна. Она смотрела на землю слепо, словно чего-то выжидая.

А ВЫ ХОДИЛИ ПО СТЕРНЕ?

Двадцать пять лет прошло с того августовского дня, когда Мамаев покинул эти места. За двадцать пять долгих лет ничто здесь не изменилось. Так же мерно несла свои воды река, ускоряя бег в излучине, под обрывом, так же золотилось поле, за которым стояла стена леса, да за рекой шелестела роща. Так же висело бездонное чистое небо.

Мамаев полулежал на траве. Полчаса назад фольклорная группа студентов вышла из села Каринское, перешла реку по висячему мосту и, не устояв перед красотой природы, решила устроить привал. Ребята разбрелись кто поплавать, кто по ягоды, а кто понежиться на свежих копнах сена. Мамаев снял рубашку, скинул кеды и опустился на землю. Приятно грело солнце и веяло свежестью от воды.

— Скучаете, профессор?

Рядом опустился старший преподаватель Смирнов, с его крепкого молодого тела горошинами скатывалась вода.

— Выкупался? — не отвечая на вопрос, спросил Мамаев.

— Благодатный уголок, — Смирнов вытянулся на траве, подложив под голову руки, но через минуту перевернулся на живот, головой к реке.

— Чего так, уже сгорел, что ли? — усмехнулся Мамаев.

— Боюсь, — добродушно ответил Смирнов. — От загара становлюсь морковного цвета. Представьте мое лицо такого цвета. Понравится?

— И то верно, не всякая зайчиха позарится на тебя.

— Ну что вы, профессор, я совсем не о том...

— О чем «о том»? — слукавил Мамаев. — Я что-то не понял тебя.

Над водой прокатились мужские и женские голоса, потом тишину вспорол рев транзисторов. По реке шли лодки.

— Откуда взялись эти вандалы? — буркнул Смирнов, присев и обхватив колени руками.

— Из теремов, — ответил Мамаев.

— Откуда-а-а? — не поняв, переспросил Смирнов.

— За обрывом, в лесу, дом отдыха. Лет этак двадцать назад там стояли терема-коттеджи.

— И все-то вы знаете, профессор!

— Угу...

Лодки ушли вниз по течению, скрылись за изгибом, потом растаяли в воздухе звуки, и вновь все сковала тишина. На краю неба появились лоскутки белоснежных облаков, они меняли прямо на глазах свои очертания и формы и вскоре стали похожи на овечек, отбившихся от отары.

— ... А-а-а-а...

Звонкий девичий крик врезался в воздух, в небо, в реку, во все, что составляло в эту минуту природу.

Мамаев оглянулся оторопело, мысль, еще не оформившаяся, но уже охваченная тревогой, подняла его на ноги.

И снова крик повторился.

Смирнов уже бежал вдоль реки, громко вопрошая:

— Что случилось? Ребята, что случилось?

В ответ послышался задорный и веселый голос. Стоя на копне, загорелый студент комментировал:

— Наташа гуляет по стерне.

— Не паясничай, — не выдержал Смирнов. — Что там случилось?

— Я же вам говорю, гуляет по стерне, вот кавалер поднял ее на руки и несет к нам, как драгоценную ношу...

Мамаев опустился на траву, и светлая улыбка поползла по его крупному загорелому лицу.

— Нашла от чего кричать, — буркнул Смирнов, присев рядом. — Переполох устроила.

— А ты ходил по стерне? — спросил тихо Мамаев, продолжая улыбаться.

— А чего ради ходить по ней? — удивился Смирнов.

— Не случалось?

— Я вижу, профессор, вам довелось! — догадался Смирнов.

— Довелось... — Мамаев задумался и вдруг тихо, уютно как-то засмеялся. — Наташа заставила вспомнить и мою прогулку.

— Расскажите, профессор, я весь — внимание.

— Да и не захочешь — расскажу, — сказал, чуть переждав, Мамаев. — Я проходил практику в селе Каринское с однокурсником, вот также собирали фольклор, двое нас было. Имя его не осталось в памяти, а образ сейчас вспоминаю. Был широкоплеч, высок,

весельчак и задира, сам смугловат, а волосы необыкновенные, отливали фиолетовым цветом, и глаза синезеленые... Хороший был парень, да, кстати, не окончил институт. На кой черт, говорит, мне эта специальность, если у меня к ней душа не лежит, весь свой век буду маяться. Ушел в армию, потом, слышал я, поступил в военное училище и стал кадровым офицером. Так вот, проходили мы с ним практику в деревне. Аккуратно заносили в тетради фольклор, а вечером отправлялись в клуб. Оба мы были одного роста, крепыши, но у него было одно преимущество — находил подход к девушкам быстро.

Как-то субботним вечером после кино подходит он к девушкам и говорит:

— Вы потомка хана Мамая видали?

Те на него пялят удивленные глаза и не понимают.

— Ну того татарина Мамая, который Русь полонил, — говорит он.

Девушки сначала в смех, а потом делают серьезный вид и строго спрашивают:

— Ну так что?

— А то, — говорит он, — что мой друг — потомок того Мамая, — и указывает пальцем на меня.

Установилась тишина, десятки пар глаз сверлят меня. И снова вопрос:

— Ну так что?

— А то, что он мог бы полонить всех вас, но ваше счастье в том, что ему нужна самая красивая, самая лучшая.

— Ему Аленка нужна, так и сказали бы.

— А он на самом деле потомок Мамая?— спрашивают заинтересованно моего друга.

— Как пить дать.

— Чего же он не похож на татарина?

— Ассимилировался.

Наступила тишина.

— Чего-чего? — удивленно тянут девушки. Но тут кто-то из них же поясняет:

— Чего не понимать-то. Осеменился, говорят тебе. И всё тут.

Хохот стоял невообразимый.

Ну, потом мы с другом узнали, где разыскать Аленку, а работала она поварихой в Доме отдыха, и следующим вечером отправились к ней. Шли вдоль реки, по этому берегу, — Мамаев махнул левой рукой. — Аленка, конечно, когда узнала о цели нашего визита, сначала расхохоталась, потом вдруг стала серьезной и строго попросила нас не паясничать и не мешать ей работать. Ну, от моего друга так быстро не отделаешься, тем более, что она, я это почувствовал, и ему понравилась. А была Аленка очень хорошенькой и интересной... Я оставил их беседовать, то есть пререкаться, и пошел осматривать Дом отдыха. Когда я вернулся, мой друг сидел на ступеньках главного корпуса хмурый.

— Где ты шляешься?.. Я тут язык измочалил ради тебя, а ты ворон ищешь в лесу... Фольклор, да и только.

Я присел рядом и хлопнул его по колену:

— Да не кипятись, поболтал и ладно. Пойдем домой.

Он вытаращил на меня свои расширенные глаза.

— Какое еще домой!.. Она сейчас выйдет, пойдете гулять... Она готовилась к танцам, я ее уговорил пройтись по свежему воздуху, а потом будете скакать. Ну, я пойду искать себе партнершу.

И он ушел. А я остался ждать Аленку. Когда она вышла, мы, как старые знакомые, пошли по главной аллее, потом ступили на какую-то тропинку, а места были мне совсем незнакомые, и в разговоре не заметили, как вышли из леса. Хотелось посидеть, дать отдых ногам, но копны сена давно были заняты — к какой ни подходили, уже на расстоянии слышали осторожное — «ау», и какая-то неведомая сила толкнула меня идти в поле.

Мы шли медленно, я забавлял Аленку смешными историями, понимая, как она устала, но полю не было конца, идти было трудно. Земля набивалась в сандалеты, я старался ступать на какие-то кочерыжки, твердые, острые, но они больно давили в подошвы. Следом шла Аленка. Я стал уже оступаться, скоро выдохся и остановился. Мне почудился короткий смешок, но когда Аленка подошла, она была серьезная и утомленная. Ночь стояла безлунная, тёмная. Где конец поля, где лес, где река — я не мог определить. И внезапно охватило такое отчаяние, словно я находился в безжизненной пустыне, одинокий, беспомощный, обреченный. Я коротко и сильно размахнулся ногой и ударил по кочерыжкам, взрыхлив землю. Аленка засмеялась: что будем делать, Аника-воин? Только сейчас я вдруг понял, как ей трудно и больно идти по этим корявым, тугим,

острым росткам, которыми утыкано было поле, и предложил взять ее на руки. Она воспротивилась, отказалась наотрез. И мы пошли дальше, надеясь куда-нибудь когда-нибудь выйти. Вскоре я услышал за спиной короткий всхлип. Подождал Аленку и снова предложил взять ее на руки. После долгого обсуждения, вернее, препирательств, остановились на другом варианте: я посадил ее на спину. Это был какой-то ад... нет, не потому, что я нес ее на спине, ощущая всю. Я ее ощущал только секунды. Прелесть близости девичьего тела вышибло поле. Я шел, разгребая ногами землю, взбивая ее, ударяясь о невидимые, загадочные, непокорные и злые ростки, исцарапав и сбив сандалеты, набив в носки землю, которая между пальцами перекатывалась и превращалась в жижу. Ступни горели, острые тугие ростки утыкались в щиколотку, цеплялись за брюки, рвали носки, а ноги под тяжестью двух тел все глубже уходили в податливую, рыхлую землю. Была даже минута, когда отчаяние охватило меня, и хотелось уже сбросить Аленку как мешок и опуститься рядом и никуда больше не идти, сидеть и ждать в кромешной тьме, когда наконец кончится эта ночь... Но я пересилил себя, своё отчаяние, и ноги мои пошли как заведенные, словно уже подчинялись не мне, а двигались по какому-то закону механики.

Наконец я почувствовал, что стою на твердой земле. Не веря себе, сказал об этом Аленке. Она осторожно сползла со спины, ступила ногой и заявила, что здесь проходит проселочная дорога, которая ведет в Каринское. Идти в темную, непроглядную ночь к дому отдыха мы не решились и направились в деревню. Чтобы искупить свою вину перед Аленкой и позабавить ее, дабы забыть о проклятом поле, я принялся снова рассказывать ей истории и, хотя она и не смеялась, был рад, что хоть слушала. Наконец мы перешли реку по висячему мосту, ступили на противоположный берег. Аленкина изба стояла над рекой. Мы помолчали, потом протянули друг другу руки, пожали.

— Отдохни малость и выйди, я буду ждать, — сказал я Аленке. Она не ответила и заспешила к избе.

Я опустился на землю и сидел долго, глядя в ночь. А глядеть было не на что, все вокруг словно сажей накрыло. Только в деревне светились окна. Наконец я устал от сидения, встал и пошел по направлению к Аленкиной избе.

Я поднялся прямо по откосу, к задней стене избы, и наугад подошел к освещенному открытому окну. Мне почудился всхлип. Я осторожно, двумя пальцами чуть-чуть раздвинул занавеску. В маленькой комнате на кровати сидели три женщины. Аленка держала в руках туфли, лицо ее было мокро от слез. Мать, а что это была мать, я ни на йоту не сомневался, так она была похожа на дочь, мать улыбалась и успокаивающе водила ладонью по голове. А младшая сестренка вперила в Аленку удивленный взгляд.

— Лопух какой-то, — всхлипнула Аленка, — пропали мои туфельки.

Я бросил взгляд на туфли. Вид у них был ужасен. Я осторожно опустил занавеску и пошел к себе. Больше я Аленку не видел. Не ходил к ней. А вернувшись в город, несколько месяцев прожил на пирожках и чае, накопил денег и купил самые красивые, самые модные лакированные туфли. Конечно, размера Аленкиной ноги я не знал, взял приблизительно и наугад. Написал коротенькую записку, положил ее в посылку с обувью и отправил. В записке было всего несколько предложений, помню, я просил у нее прощения за причиненные неудобства в тот темный вечер и просил принять скромный подарок, а испорченные туфли выбросить. Ответа не получил, но и посылка не вернулась: значит, дошла.

Мамаев приподнялся, сел и, глядя на реку, спросил сам себя:

— С высоты моих лет, сейчас, я задал бы, конечно, себе вопрос: а в чем моя-то вина, что мы очутились на стерне в темную ночь? Но в ту далекую пору, пору юности, такой вопрос не стоял. Не мог стоять.

Он улыбнулся, посмотрел на Смирнова и проговорил:

— А все-таки удивительная эта прогулка — по стерне.

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАН

Монолог на площади Согласия 5

ПОВЕСТИ

Записки молодого журналиста 210
Слышать голос твой 210
Одна только любовь 238
Друг мой, Симон 255
Мальчик из детства 279
Происшествие в ауле Муно 303
Кардибская осень 343
Пришествие 369
Привидение ведет на Голгофу 393

РАССКАЗЫ

Фарфоровая чашка 418
Шестьдесят седьмая ступенька 422
Раб 426
Последний выстрел 431
Лягушонок по имени Клим 435
Бег времени 443
Черный лебедь 448
Совет Тоуфика-бубы 455
Зимний романс 463
Мужская любовь 470
Станция «Щербаковская» 480
Счастливый день инженера Горина 490
Ущербный диск луны 497
А вы ходили по стерне? 502

Феликс Михайлович Бахшиев

ПРИШЕСТВИЕ

Редактор *З. Алисултанова*
Художник *В. Кондашова*
Художественный редактор *М. Левченко*
Технический редактор *В. Гаджиева*
Корректор *Р. Канаева*

Сдано в набор 10.03.98. Подписано в печать 19.03.99. Формат 84 x 108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,15. Уч.-изд. л. 26,88. Тираж 500. Заказ 160. Цена свободная.

Дагестанское книжное издательство
Министерства по национальной
политике, информации и
внешним связям РД
367025, Махачкала, ул. Пушкина, 6

Типография им. С. М. Кирова
Министерства по национальной
политике, информации и
внешним связям РД
367025, Махачкала, ул. Маркова, 51

40=